



**МИХАИЛ  
ЛОРИС-МЕЛИКОВ**  
1825-1888



# ЛОРИС-МЕЛИКОВ



**Е. Холмогорова, М. Холмогоров**

**ВИЦЕ-ИМПЕРАТОР**

РОМАН



Москва  
АРМАДА  
1998

УДК 82-311.6(02)  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я5  
X 71

Оформление серии  
В. И. Харламова



Из энциклопедического словаря.  
Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. 35. СПб., 1890

Из Русского биографического словаря,  
издаваемого Императорским Русским  
Историческим Обществом. СПб., 1914



**ЛОРИС-МЕЛИКОВ** Михаил Тариелович (1825 — 1888) — граф, один из замечательнейших государственных и военных деятелей России, родился в Тифлисе в семье состоятельного армянина, ведшего обширную торговлю с Лейпцигом; учился сначала в Лазаревском институте восточных языков, потом в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. В Петербурге он близко сошелся с Некрасовым, тогда еще безвестным юношей, и несколько месяцев жил с ним на одной квартире. В 1843 г. Лорис-Меликов выпущен был корнетом в лейб-гвардейский гусарский полк, а в 1847 г. переведен на Кавказ, где участвовал в нескольких экспедициях. Когда во время восточной войны 1853 — 1856 гг. Н. Н. Муравьев обложил Карс, ему нужна была партизанская команда, которая пресекала бы всякие внешние сношения блокированной крепости. Лорис-Меликов организовал многочисленный отряд, состоявший из армян, грузин, курдов и других (здесь, как и во многом другом, Лорис-Меликову помогало знание нескольких восточных языков), и блистательно исполнил возложенную на него задачу. В 1861 г. Лорис-Меликов был назначен военным начальником Южного Дагестана и Дербентским градоначальником, а в 1863 г. — начальником Терской области. Здесь он пробыл почти 10 лет, проявив

© Холмогорова Е. С., Холмогоров М. К., 1998

© Сост., художественное оформление, АРМАДА, 1998

ISBN 5-7632-0782-3

блестящие административные способности: в несколько лет он так хорошо подготовил население к восприятию гражданственности, что уже в 1869 г. оказалось возможным установить управление областью на основании общего губернского учреждения и даже ввести в действие судебные уставы императора Александра II. Особую заботливость проявлял Лорис-Меликов о народном образовании: число учебных заведений из нескольких десятков возросло при нем до 300 с лишком; на его личные средства учреждено во Владикавказе ремесленное училище, носящее его имя. При открытии русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. Лорис-Меликов, состоявший уже в чине генерала от кавалерии и в звании генерал-адъютанта, назначен был командующим Отдельным корпусом на кавказско-турецкой границе. 12 апреля 1877 г. Лорис-Меликов вступил в турецкие владения, штурмом взял Ардаган, а после временного отступления, дождавшись подкрепления, и Карс, считавшийся до того неприступным.

Благодаря доверию к Лорис-Меликову местного населения и подрядчиков, он даже на неприятельской территории вел войну на кредитные деньги, чем доставил казне сбережение в несколько десятков миллионов. По заключении мира Лорис-Меликов был награжден титулом графа (1878 г.). В январе 1879 г., когда в Ветлянке появилась чума, Лорис-Меликов был назначен временным Астраханским, Саратовским и Самарским генерал-губернатором, облеченным неограниченными полномочиями.

Возвращение его в Петербург совпало с учреждением временных генерал-губернаторов в видах искоренения крамолы. В качестве временного генерал-губернатора шести губерний Лорис-Меликов был послан в Харьков. Из всех временных генерал-губернаторов Лорис-Меликов был единственным, старавшимся не колебать законного течения дел, умиротворять общество и укреплять связь его с правительством на началах взаимного содействия. Исключительный успех, увенчавший его деятельность в Харькове, привел его к призыву (1880 г.) на пост главного начальника Верховной распорядительной комиссии. 20 февраля неким Молодецким было совершено неудачное покушение на Лорис-Меликова.

После упразднения Верховной комиссии Лорис-Меликов был назначен министром внутренних дел и продолжал играть руководящую роль. Основная программа его деятельности заключалась в следующем: дать больше самостоятельности местным губернским учреждениям; привести к единообразию полицию и исключить в ней нарушение законности; обеспечить земству и другим сословным учреждениям возможность пользоваться предоставленными им правами; предоставить больше свободы печати в освещении работы правительства и многое другое. Программа, представленная на суд сена-

торов, широко охватывала все главнейшие части внутреннего управления. Помимо прочего, Лорис-Меликов в особой записке, имевшей огромный успех в правительственных сферах, выдвинул несколько вопросов относительно народного хозяйства, которые легли в основу деятельности правительства не только при Лорис-Меликове, но и после него. Он настаивал на понижении выкупных платежей с крестьян; на содействии крестьянам со стороны правительства при покупке земель при помощи особых ссуд; на облегчении условий переселения крестьян и содействии правительства в выселении их с густо населенных территорий в более свободные губернии. Но из числа прогрессивных мероприятий, задуманных талантливым реформатором, в промежуток времени с ноября 1880 г. по май 1881 г. были осуществлены на самом деле весьма немногие: особые обстоятельства — активизация революционной агитации и террора — отвлекали внимание правительства от решения намеченных вопросов.

1 марта 1881 г. император Александр II одобрил предложения Лорис-Меликова и повелел до напечатания оных в «Правительственном вестнике» подвергнуть их обсуждению в заседании Совета министров. Через несколько часов после император был убит революционером Желябовым.

Через пять дней после обнародования манифеста императора Александра III от 29 апреля 1881 г., которым все верные подданные призывались служить верой и правдой к искоренению крамолы, позорящей землю Русскую, граф Лорис-Меликов оставил пост министра внутренних дел по расстроенному здоровью. Преемником его стал граф Николай Павлович Игнатьев. После ухода с поста Лорис-Меликов уехал из Петербурга за границу и проживал большею частью в Ницце, где и скончался 12 декабря 1888 г. Тело его было привезено в Тифлис и там похоронено.

**Е. Холмогорова,  
М. Холмогоров**

**ВИЦЕ-  
ИМПЕРАТОР**

**РОМАН**





#### МИКО-ДЖАН



а каретой шли фуры с товаром. Везли ковры, иранский шелк и в двух последних повозках — фрукты: виноград в больших корзинах, груши, яблоки и лимоны. Иногда ветер, теплый, августовский, с прохладцей по утрам, доносил оттуда острые запахи кавказских плодов. Пока ехали по Военно-Грузинской дороге, запахи смешивались с ароматами садов, еще не убранных и свежих, а потом, когда кончились горы и за Кубанью открылась невиданная ширь сухих степей, эти запахи, долетая, вызвали острую тоску. Кони влекли тарантас вперед, на север, а запахи звали домой, в Тифлис, к маминей теплой ладони, к играм в тесном дворике с галереями, скрипучими лесенками и темными укромными уголками.

Степь надоела уже на другой день, и дорога казалась бесконечной. К тому же в Ставрополе конвой во главе с молодым, но очень уж свирепого вида, в надвинутой на глаза черной папахе, с огромными, медного цвета, усищами казачьим ротмистром Яковом Петровичем, сопровождавшим торговый караван на случай нападения горцев, оставил их. С казаками было весело и тревожно. Мико все ждал, когда на них нападут, рисовал себе, как он схватит пику у павшего казака и налетит на разбойника. Нет, лучше саблю, пика слишком тяжелая — он улучил момент, примерился. Увы, дорога прошла спокойно, их ни разу так и не обстреляли ни из-за скал, ни из густых

колючих кустарников. Казаки на привалах рассказывали то забавные, то страшные истории о войне с горцами, Яков Петрович только посмеивался в рыжие свои усищи, будто не имел к этим историям никакого отношения, но орден Святой Анны на его белой черкеске утверждал, что в иные минуты он бывал и не таким спокойным и улыбчивым. Жалко было расставаться и с Яковом Петровичем, и с его казаками. Дорога без них поскучилась. Степь да степь. Трава и солнце. Мы все едем и едем, а по карте Российской империи миновали дай Бог один дюйм.

Фуры вечно отставали, дядя Ашот дергал кучера, останавливал движение, выбегал смотреть, что случилось на этот раз. Он слал проклятья на головы нерадивых слуг, на старых и упрямых одров и кляч: «Это не кони! Это дохлые ишаки из гроба!» Сначала было смешно, уморительно — где это видано, чтоб ишаков в гробах хоронили, но дядя Ашот своих шуток не менял.

Миша закрывал глаза, голова кружилась от усталости, и сначала синюю тьму пронизывали серебристые иглы, потом тьма расступалась, очерчивалась гостинная в доме, постоялец Василий Васильевич раскуривает трубку и заводит разговоры о том, что Миша уже большой, что пора кончать беззаботное детство и надо ехать в Москву учиться, как Ломоносов. Москва — город большой, больше Тифлиса и совсем на Тифлис не похожа. В Москве Кремль с красивыми старинными башнями, университет на Моховой, совсем рядом с Кремлем, учрежденный, кстати, хлопотами Ломоносова еще при императрице Елизавете Петровне.

Отец сначала возражал: если Мико уедет и станет ученым или поэтом, кто ж делом будет заниматься, на что Василий Васильевич резонно отвечал ему: науки и искусства — тоже дело, и для человечества порою поважнее торговли. А Миша — мальчик способный, схватывает на лету, и грех великий не развивать такой талант, держать его втуне. «Богатство — вещь эфемерная, вам ли, Лорисам, не знать этого. Ты сам, Тариел, рассказывал, что предки ваши целым городом и десятками селений вокруг владели, а что теперь? Войны, воры, пожары — и нет ничего! И даже дворянское достоинство надо доказывать — вам, потомкам царей. А знания, умения — это такой товар, его только с головой оторвать можно», — говаривал Василий Васильевич Клейменов, горный инженер и майор.

В конце концов он разбудил в отце семейное тщеславие, тому уже виделась какая-то почетная мраморная доска с именем сына, выбитым золотыми буквами: «Михаил Лорис-Меликов». Сначала собрались было отрядить Мишу за границу, в Лейпциг у Лорис-Меликовых шла торговля, думали даже постоянную контору открыть, но все-таки Германия — чужая страна, чужой, никому в семье не известный язык, нет, надо в Петербург или в Москву. Лучше даже в Москву — еще давно, в начале века, Лазаревы открыли Институт восточных языков, и многие армянские семьи учат там своих детей. А уж после Лазаревского института прямая дорога в Московский университет. На том и порешили.

А мама при таких разговорах только вздыхала, глотая слезы, и, всегда такая строгая, стала потихоньку баловать старшего сына. Иногда как-то неловко становилось, когда она тихо звала: «Мико-джан, подойди, милый» — и, как маленького, гладила по голове. В дальнюю дорогу мама тихонько от отца дала шелковый черный пояс и шепнула: «Там деньги, береги их и не трать по пустякам». Такого рода заветы имеют правило вылетать из другого уха. А Мико был весь в трепетном азарте предстоящего пути.

Россия. Тифлис на карте в кабинете Василия Васильевича располагался внизу, среди коричневых Кавказских гор. Размаха руки не хватало от этого кружка до другого на пространстве зеленом, где нет никаких гор, — Москвы. Муха ползет к ней несколько минут, но никогда не доползает до конца — терпения не хватает, и она уносится то на лампу, то к окну. Москва пахла пылью старых книг из шкафа Василия Васильевича, клеем и типографской краской. И звучала новым именем — Миша. Не Мико, как дома, и не Михо, как среди сверстников из грузинских дворов, а по-русски — Миша. У папы это получалось неловко, «ш» звучало мягко и грустно, как сквозь слезы. У мамы не получалось никак, и для нее он оставался Мико-джан.

Степи, степи, изредка казачьи станицы, застроенные мазанками под соломенными крышами. Они совсем не похожи на кавказские сакли. Вдоль стен тянутся широкие лавки, в иных домах печи расписаны узорами. Но в конце концов и это приелось. Миша, когда останавливались на ночлег, уже не озирался по сторонам, а, быстро поужинав, валился в сон, как в черную пропасть, без дна и сновидений. А утром снова

в путь, в сухую степь под палящим солнцем над выжженным желтым пространством. И это Россия? Как скучно!

Только за Доном начались редкие леса, чудом выросшие посреди зноя. В дороге по югу России путника одолевает скука. Никакого разнообразия, не на чем глазу остановиться. Жесткие пижмы и седые, лохматые заросли иван-чая над ковылем — вот и вся растительность.

А горы, оставшиеся далеко позади, подгоняемые фруктовыми запахами от задних фур, ночами звали маминым голосом: «Мико-джан!»

Рогачевка — большое село на скрещении дорог. Отсюда можно уехать не только в Москву, но и в Царицын, на Волгу, а оттуда еще дальше — на Урал и в Сибирь. Громадность России сказывалась в Рогачевке не только дальностью дорог. Село это заметно отличалось от казачьих станиц и южных деревень Воронежской губернии. Мазанки здесь были только на окраинах, а у церкви и базарной площади стояли деревянные избы, крытые дранкой. Новые избы были желтые и остро пахли смолой, они дразнили новизной соседние старые дома — их бревна были серы, как бы в седине.

Станция располагалась в самой большой новой избе — Миша с немалым любопытством осматривал это жилище: пол выстлан из широких тесаных бревен, а печь совсем не такая, как в Тифлисе и в казачьих хатах. Она царствует над всем в доме, занимая добрую половину горницы. На стене большой портрет государя императора под стеклом, усеянным черненькими точками от мух. Царь смотрит строго, как отец на расшалившегося мальчишку, и даже бакенбарды его, кажется, трепещут гневом. Пожалуй, и взрослые не могут позволить себе делать что в голову взбредет. Мальчику подумалось, что в их таинственной жизни свободы, пожалуй, меньше, чем было у него дома, в Тифлисе. Все — подданные русского императора, все оглядываются на его пристальные глаза и, ежась под ними, должны исполнять его волю.

Мише вдруг расхотелось ехать дальше, в Москву, в империю, под суровый взгляд государя. Он нащупал под курточкой мамин черный пояс, уже в который раз удостоверившись, что деньги его — целых двадцать рублей серебром! — на месте, не потерялись, не украдены, да и некому их красть, никто ведь не знает о его богатстве.

Постелили ему в маленькой комнатке отдельно от взрослых. Горела лампадка у закопченного образа, закопченного настолько, что едва-едва поблескивали печальные глаза Богородицы, а больше ничего не различалось, только угадывалось. Но глаза казались совсем мамиными, и Миша дорисовал ее лик мамиными чертами. Почему-то не спалось, впервые за всю эту долгую дорогу. Миша вертелся, вздыхал, закрывал глаза, но какая-то сила не удерживала веки в сомкнутом состоянии и разлепляла их. Он смотрел на лампадку, видел мамино лицо с добрыми и грустными очами Богородицы, опять вздыхал и силился уснуть.

Борьба эта, видимо, не совсем была безуспешной, его подхватывали какие-то кружащиеся ветры, втягивали во тьму, но оттуда его вдруг извлекал строгий взгляд императора с портрета, что в большой горнице за стеной, и Миша в легком страхе снова открывал глаза и видел лампадку, образ, оконный переплет и мглу за ним. И снова силился уснуть, и снова его кружили ветры, и он падал куда-то вниз, а на дне, куда он упал, оказалась детская, и подошла мама, тронула его голову мягкой ладонью и позвала: «Мико-джан!»

Он быстро вскочил, оглядываясь. Рубашка взмокла, сердце билось, но вокруг — тьма непроглядная, и только в красном углу тлеет лампадка. Во тьме, на ощупь, Миша оделся, вышел в сени. Тишина. В большой горнице похрапывают дядя Ашот, дядя Айваз, Леван, а из хозяйской половины и этих звуков не слышать. Он осторожно отворил дверь на крыльцо — новая, даже не скрипнула.

Как дождем, осыпало звездами. Даже голова закружилась, пока не понял, что звезды никуда не движутся, что они сияют над миром из далекого далека и у каждой свое место в своем созвездии. Но так много и так ярко! Тьма уже не казалась столь непроглядной, лунный свет отражался в росе, добавляя блеска к звездному мерцанию. Глаза потихоньку узнавали предметы вокруг, различили дорогу впереди от станционного здания к церкви.

Миша бесшумно, еле дыша сошел с крыльца, сделал осторожный шаг вперед, еще один, смелее — следующий, и вот он идет все быстрее и отважней по дороге к центру села. Не сбиться бы. Но даже в темноте Миша различил ту улицу, по которой они въехали в Рогачевку. Мощная ива, разбитая молнией, указала, что путь его верный.

Еды он с собой, конечно, не взял, он купит хлеба, огурцов и мяса в ближайшей деревне, там, может, и лошадь наймет, а пока идти легко и беззаботно. Луна, звезды, ночная тишь, и хочется петь грузинские песни. Миша и пел, смешивая одну с другой, как позволяла память, только негромко, а то еще разбудишь людей в домах, поднимут тревогу, поймают. Миновав иву, Миша пустился бегом и за околицей почувствовал себя наконец на свободе: твердый тракт ведет к дому, в Тифлис, взрослые купцы и слуги крепко спят и спохватятся не скоро. Мама! Мама! Я к тебе!

И только когда село за спиною скрылось, перешел на размеренный шаг большого солидного человека, знающего цель своего нелегкого пути. Он пересчитал свои деньги в потайном пояске, двадцать целковых, должно хватить, дядя Ашот куда меньше потратил. Правда, он так азартно и шумно торговался, что все сбегались вокруг посмотреть на хитрого армянина. «Ты меня по миру пустить хочешь, да?!» — кричал дядя Ашот, и глаза его горели не отчаяньем, а лихим озорством, и мужики уступали, невесть как поддавшись, половинную цену. Нет, мне так не сторговаться, но мне одному и надо меньше, подумал мальчик и выкинул заботу из головы.

А тем временем стали просыпаться и щебетать веселые птицы, и как-то незаметно в светлеющей мгле растворились звезды, побелела луна, на глазах становясь прозрачной, как облако. А сами облака чем левее, тем ярче покрывались румянцем, поначалу розовым, потом пунцовым, но и краснота была недолгой, уступая место желтизне. И вдруг брызнуло солнце прямо в глаза, ослепив в первый миг и заполнив душу внезапным счастьем. Миша опять пустился бегом вприпрыжку, распираемый утренней радостной силой. Так и бежал до верстового столба, указавшего, что от Рогачевки он отделился уже на целых четыре версты. Надо беречь силы, решил мальчик и снова перешел на шаг.

Облака в небе рассеялись совсем, теплый ветер чуть веял навстречу, а солнце что-то быстро разогнало утреннюю прохладу и стало припекать, припекать, втягивая в себя силы и замедляя Мишин шаг. Он стал как-то вязнуть, одолевая тепло, хотелось пить, а голову отяжелел туман. Все-таки ночь почти вся прошла без сна, в глаза будто песку насыпали, мальчика сморило окончательно. На обочине обозначилась уютная ямка, его повело туда. Прилег, укрылся курточкой от солнца и крепко-крепко уснул.

Тревога согнала сон с Ашота. Он аж подскочил с постели. В горнице темно и тихо. Посапывает молодой Леван, беззвучно спит, сжавшись калачиком под сбившимся одеялом, Айваз. Но неспроста тревога выбросила Ашота из сна. Он вышел в маленькую комнату к Мише, на цыпочках приблизился к мальчику... Да только мальчика-то никакого не было. Пуста была его кровать, как ни шупал Ашот, рука проваливалась в мягкий матрас. Может, на двор вышел?

Ашот вернулся в горницу, нашел лампу, зажег. На дворе чуть брезжило.

— Миша! — тихо позвал Ашот.

Никакого ответа.

— Мико!

Тишина.

Он обошел двор, заглянул в нужник, в сарай, обследовал все углы, освещая лампой, будто не мальчишку искал, а оброненный башмак, — никакого проку. Пропал Мико!

Ой, что будет! Тариел голову снесет! Проклятый мальчишка! Сбежал!

— Айваз! Леван! Проспали! Проворонили!

Ашот разбудил тумаками своих товарищей, все вместе — станционный смотрителя — шум, гвалт поднялись в избе.

Смотритель, человек в больших годах и малых чинах, много повидал на своем веку и был единственный, кто в этой сумятице хранил спокойствие и трезвую голову. Он сказал Ашоту:

— Вас со слугами семеро, а дорог четыре. Мальчишка ваш в Москву не побежит, разве что заблудится. И на Украину не побежит, и на Волгу. По дому соскучился, а значит — берите коня и тихим шагом назад, на ту же дорогу, по которой пришли. Дай Бог, верст на десять ушел, не больше. И на другие тракты можно кого из вас отрядить, да только едва ли он не к дому направил стопы свои. Кстати, о стопах. Ты тут избегался весь, а следы-то и затоптал. А сейчас они на песке видны еще, приглядишься.

Слова мудрого человека поостудили Ашота.

— Леван, у тебя глаз молодой да зоркий, готовь коней, мы с тобой пойдем. И на следы смотри.

И правда, за разбитой ивой на песке обозначился след взрослой ноги, и вел он в сторону Кавказа.

— Дядя Ашот, кажется, нашли.

— «Нашли» — это когда целым-невредимым назад приведем. Мало ли тут сорванцов бегают! О, горе мне! Позор на мою

седую голову! Скажи, Леван, моя седая голова заслужила позора? Что я скажу Тариелу? Мальчишку, щенка не углядел! Как мне смотреть в его честные глаза!

— Да что вы, дядя Ашот! Вот же следы, их далеко видно, найдем мы нашего Мико, куда он... — Леван не договорил. Из-за околицы повалило огромное стадо, все смешалось в мычании, окриках пастуха, лае собак. Кони топтались на месте в тесной толпе напуганных коров.

Ашот напустился на пастуха:

— Дурной башка! Ты не видишь — честные люди едут! Куда коров гонишь!

— А ты не ори! Тоже мне барин сыскался! Куда надо, туда гоню! А коров не пугай — не твои!

— Слушай, хватит ругаться! У меня беда. Мальчик пропал. Ты мальчика не видал, черненький такой, длинноногий?

— Сбежал, что ль? От такого сбежишь — и ног не почувешь! И давай проваливай отсюда, всех буренок мне перебесил.

— Злой ты человек, пастух. У людей беда, понимаешь, а ты зубы скалишь. Ну как не стыдно?

— Да не видал, не видал я никакого мальчишку! Может, зря ищешь, у тебя дорог много, а у него всего одна. — Мысль эта невеста с чего развеселила пастуха. Позвал подпаса: — Гришка! Тут мальчонку ищут, может, видал?

— Не-а, дядя Федот, не видал.

— Ну вот, и Гришка не видал. А он зоркий и прыткий. Не было тут никакого мальчика! У него своя дорога.

— Тьфу, дурной! Бог тебя покарает! — Дядя Ашот обиделся и помрачнел.

С добрых полчаса они выбирались из ревущей массы животных. Следы, конечно, потерялись, затоптались, и они скакали вперед уже наугад. И конечно же проскочили. Вот уже десятая верста прошла, двенадцатая — мальчишки нет как нет. Пуста дорога.

Проехали еще с полверсты, и Леван сказал те слова, которые вот уж час мучили Ашота и которые он боялся произнести сам:

— Бесполезно. Заблудился Мико. По другой дороге пошел.

Наверно, надо было скакать во весь опор, мчаться, чтобы пустить в погоню всех слуг, направив на все четыре стороны. Но солнце так припекало, а мысли были так печальны, что Ашот и Леван отдались на волю Провидения и лень своих

коней и ехали шагом, посматривая по сторонам. Еще через версту поворотили назад.

Жара стояла невыносимая, кони еле плелись, но вот вдали зоркий глаз Левана заметил черный бугорок на обочине; ни слова не говоря, Леван прищипорил коня, а дядя Ашот никак не мог справиться с разомлевшим своим одром. Зато когда пробудил коня, того понесло вперед, мимо Левана, зачем-то сошедшего с дороги. Да ясно зачем! В уютной ямке на обочине тихо спал Мико. Он так жалко съёжился, утомленный солнцем и шестью верстами пешего пути. Плетка, предназначенная для спины беглеца, безвольно поникла в руке.

— Мико-джан! Нашелся!

## АУДИЕНЦИЯ

Бесхлопотных должностей не бывает. Начальник Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, шеф корпуса жандармов Александр Христофорович Бенкендорф с какой-то стати должен теперь свое — нет, не свое: ничего своего у Александра Христофоровича, почитай, с декабря 1825 года не было — государственное время тратить на заботы о каком-то шалуне мальчишке, которого выгнали — и правильно сделали! — из Лазаревского института восточных языков, почетным попечителем коего и был Начальник Третьего Отделения С.Е.И.В. Канцелярии. Должность парадная, предполагавшая лишь редкие торжественные, как праздник, посещения и еще более редкое присутствие на экзаменах, да и то если случается бывать в Москве. Крамольных веяний, слава Богу, никакие ветры из этого армянского заведения не заносили, и московское дворянство радостью почитало воспитывать там своих отроков. Лазаревцы составляли потом особую гордость Московского университета — нигде так хорошо не готовили к академической науке. И вот на ж тебе!

Александр Христофорович принял вид не свирепый, но строгий, отчески суровый, о чем доложило ему маленькое зеркальце, хранимое в ящике письменного стола и являвшееся на миг перед приемом любого лица, допущенного в кабинет. Вызвал адъютанта:

— Пригласите Лорис-Меликова Михаила.

— С сопровождающим?

— Нет, одного.

Весь последний месяц прошел в бесконечных выговорах и попреках, сожалениях и покаянных молитвах. Хотелось умереть и родиться заново и никогда больше в жизни не повторять ничего подобного. Но поздно, поздно... И не видать ему Московского университета как своих ушей. Приказ об исключении висит в институте в актовом зале на самом видном месте в назидание младшим ученикам и потомству. А ему вдруг, под самый выпуск, страстно захотелось учиться: он только-только вошел во вкус чтения трудных книг и радости понимания истин, казалось, никогда не доступных скромному уму. А в мире взрослых не осталось ни единого человека, кто бы не воспользовался злобной радостью упрекнуть, хотя на опекуновском совете отнюдь не все голосовали за его исключение, были и заступники.

Зачем его привезли не в Тифлис, а сюда, в Петербург, Миша толком понять не мог. Дядя Ашот всю дорогу был с ним угрюм и молчалив, столичная родня встретила его все теми же выговорами и попреками, так что даже спрашивать о чем-либо бесполезно. И вот неделю спустя дядя Ашот привез его в знаменитое здание у Цепного моста. Вся империя трепещет, помянув этот особняк, один из красивейших в Санкт-Петербурге.

Благоговейная канцелярская тишь. Офицеры будто по воздуху летают — ни звяканья шпор, ни стука каблуков, подбитых сталью. И страх вползает в душу из входной двери, отворившейся навстречу. Ноги теряют силу в коленях. Тут мысль мелькнула, что потому и бухаются на колени перед грозным начальством, что ноги не держат. Мелькнула и исчезла — не место насмешке. Новая волна страха подавила ее. Лестничный марш одолевался, как гора Арарат. Дядя Ашот с трудом переводил дыхание — его тоже внезапный ужас одолел.

Адъютант Бенкендорфа был отменно вежлив и холоден. Он просил подождать, пока его высокопревосходительство не сочтет возможным принять. Почему-то это обстоятельство чуть даже поуспокоило и дядю Ашота, и Мишу. Хоть какая-то, а передышка. И понятно, конечно, что, вызванные ровно к 11 утра и ни на секунду не опоздавшие, сразу они приняты не будут — особа, важнейшая в государстве после императора, величайшую милость оказывает одним лишь тем, что снизошла призвать к себе — и кого? — нашкодившего мальчишку!

Тут, конечно, была политика, и политика высокая. Мальчишка принадлежал к знатному роду тифлиссских армян, записанному в VI книгу тифлиссского дворянства. Когда-то они

княжили в городе Лори, откуда и пошла их фамилия: Лорис-Меликовы. И много горюшка хлебнули со своим княжеством в этом азиатском проходном дворе: турки, персы, насильственное обращение в ислам, народные бунты... Слава Богу, вернулись в лоно Христианской Церкви, оправались от безвозвратных потерь (в том числе и княжества) и теперь являют образец верноподданности русскому императору. Авторитет их на Кавказе, еще не до конца покоренном, высок, и ссориться с армянской знатью из-за такого пустяка, как мальчишеская глупая выходка и еще более глупое и упрямое усердие институтского начальства, Санкт-Петербург не намерен. На вчерашнем докладе императору, точнее в приватной беседе после доклада, Александр Христофорович потешил царя этой смешной историей, и его императорское величество всемиловитейше изволили определить судьбу сорванца.

— Допусти его до экзамена в Школу юнкеров. Барон Шлиппенбах сделает из него человека.

Мальчишку, когда тот вступил в кабинет, Александр Христофорович узнал сразу. В прошлом году его успехи в турецком языке демонстрировали петербургскому гостю. Бенкендорф, за год до того сопровождавший императора в поездке по Кавказу, запомнил несколько фраз по-турецки и был доволен бойкостью ответа ученика, показавшего прекрасную осведомленность в знакомых почетному попечителю турецких речениях. За год мальчик вырос, над уголками губ чернели тени — залог будущих пышных гусарских усов. Но и узнав прошлогоднего отличника, сурового вида своего Александр Христофорович менять не стал — пусть трепещет, сознавая глубину вины и нравственного своего падения.

Было отчего трепетать. Кабинет, столь же обширный, сколь и аскетически пустой, внушал особое русское чувство — чувство высшей субординации. И мальчик, впервые в жизни переступивший порог казенного учреждения, преисполнился его выше всякой меры. Спустя много лет, вспоминая этот миг, Лорис-Меликов признается себе, что ничего гаже этого особого русского чувства он в жизни своей не испытывал. Портрет императора в рост слепил тщательно выписанной чернотой ботфортов и стальной голубизной строгих и беспощадных глаз. Хозяин кабинета смотрел столь же строго и беспощадно.

— Рассказывай, Лорис-Меликов Михаил, что ты там творил.

В голосе генерала звучал холодный, неприступный металл, и язык у Лорис-Меликова Михаила прилип к пересохшему нёбу. Захотелось расплакаться, как тогда в директорском кабинете, но плакать здесь категорически нельзя. Легенды о царском платке, подаренном Бенкендорфу при назначении шефом жандармов для утирания слез вдов и сирот, униженных и оскорбленных, Миша еще не слышал, но какое-то шестое чувство подсказало ему, что этот кабинет — не место для соленой влаги из глаз: здесь надо держаться мужественно и с достоинством вопреки внушенному с порога особому русскому чувству. Однако ж язык уму не поддавался и лепетал еле слышно о сознании тяжести проступка.

Бенкендорф о проступке бывшего пансионера Лазаревского института восточных языков был осведомлен до мельчайших подробностей. Этот юный стервец, тщательно выучив на уроке химии, кажется, технологию изготовления особо крепкого клея, не поленился испытать действие сего продукта на практике. Он приготовил клей и не придумал лучшего применения его, чем на стуле всем ученикам ненавистного математика. Визг несчастного Степана Суреновича, приклеенного к стулу, достиг Петербурга и донесся до высочайших ушей.

Александр Христофорович всякого навиделся в своей жизни. Перед ним стояли здесь и государственные преступники, и шпионы, и лукавейшие из царедворцев. Он прошел блестящую школу выдержки и поведения в свете и в должности, и во всей империи никто никогда ни при каких обстоятельствах не мог прочесть его истинных чувств на строгом, каменеющем по мере надобности лице. Он скрывал свое тайное преклонение перед мужественным Пестелем и брезгливое презрение к другому преступнику — сочинителю Рылееву, смутный страх необъяснимого, мистического свойства, когда приходилось выговаривать сочинителю Пушкину, скрывал свое явное умственное превосходство над любимым братом императора — великим князем Михаилом Павловичем; знание тончайших интриг, вечно затеваемых при дворе счастливыми и не очень соперниками его в искании царской милости, — любое человеческое чувство с легкостью мог скрыть Александр Христофорович. Но сейчас перед этим скверным мальчишкой всемогущий Бенкендорф вынужден был напрячь всю свою недюжинную волю. Генерал-адъютанта его императорского величества, кавалера высших орденов Российской империи, начальника III Отделения и шефа жандармов душил смех.

До крови прикусив кончик языка, Бенкендорф справился, наконец, с собою. Он выпрямился в позе назидательной суровости и стал внушать отроку Лорис-Меликову Михаилу, что проказа его есть не просто проказа, а покушение на основу основ государственной нравственности, коя состоит в беспрекословном почитании и уважении любого начальствующего лица. Что Табель о рангах, учрежденная Петром Великим, являет собою истинную конституцию Российской империи. Тут, правда, шеф жандармов чуть смутился, спохватившись: слово «конституция» в Российской империи — нехорошее слово, хотя и означает всего-навсего не более чем юридический термин, а именно структуру любого государства. Но не объяснять же всего этого мальчишке! Так вот, чтобы Лорис-Меликов Михаил впредь выучился государственной субординации, чтобы стал он верным слугою царя и отечества, дается ему последний случай проявить себя с лучшей стороны. Ему надлежит выдержать вступительный экзамен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и, если таковой с успехом будет выдержан, впредь являть собою образец скромности и достойного поведения.

На этом аудиенция была закончена.

Не понравился отроку Лорис-Меликову этот пышный дворец у Цепного моста. Ох как не понравился!

### КОНЮШНЯ

В Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров можно было получить весьма сносное образование, а можно — никакого. Последнее даже и к лучшему, как втайне считал основатель его великий князь Николай Павлович, будущий император всероссийский, но в пору устройства Школы о царской короне не помышлявший и грезивший больше о славе полководца. Младший его брат Михаил, следующий шеф Школы, когда императору стало не до детища своего, был, в общем-то, того же мнения. А въяе так считал директор школы генерал-лейтенант барон Константин Антонович Шлиппенбах — гвардеец до мозга костей. Константин Антонович полагал, что лицо, усердно занимающееся науками, никогда не может быть хорошим фронтовым офицером. Может, и справедливо полагал. Так ведь и не вышло никакого офицера из юнкера Семенова 2-го Петра, хотя тот блестяще сдал экзамены

не в четвертый, а сразу в третий класс и был первым учеником во все годы своего обучения. Он потом станет великим ученым, географом, статистиком, биологом, минералогом, его экспедиции 1856 и 1857 годов на Тянь-Шань прославят отечественную науку, и в ознаменование 50-летия сего научного подвига к фамилии его будет прибавлено — Тянь-Шанский. Но роты такому особенно на параде не доверишь. Мало того, что близорук, еще и рассеян. И из Плещеева Алексея никакого офицера не вышло — так и бросил Школу, недоучившись, в университет ему, видите ли, захотелось. А там стихи, социализм, тайные какие-то общества — и вот вам: суд, смертная казнь и — в замену ей по милости государя императора — солдатская лямка. А Константин Антонович предвидел такой конец и предупреждал Плещеева Алексея. И все же скорбел добрый генерал по такой участи несостоявшегося гвардейца — славный был юноша Плещеев и из хорошей родовой семьи.

Однако ж конец 30-х годов — эпоха странная. Застой, конечно, и в целом людская жизнь вполне вписывается в формулу: «Сегодня было как вчера, а завтра будет как сегодня». Это в целом, а в частности застойные времена чрезвычайно чувствительны к оттенкам и тихим, неслышным веяниям. А веяло просвещением. Хотя бы внешним его подобием. И вот именно барону Шлиппенбаху выпало преобразовывать Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1838 году вместо двухлетнего ввели четырехлетний, расширенный за счет введения новых предметов курс обучения, были приглашены и новые преподаватели, отмеченные доброй, благонадежной репутацией, а сама Школа переехала в новое обширное помещение у Измайловских рот.

Михаил Лорис-Меликов поступал в Школу на второй год после ее преобразования. Экзамены он сдал превосходно — особенно первый, по русскому языку. Учитель Прокопович был чрезвычайно растроган такими знаниями и чутким слухом юноши из инородцев. Умных людей всегда радует, если кому-либо удастся разрушить их заведомо предвзятое о себе мнение. Цифру «12» пылкий Николай Яковлевич вклеил в зачетный лист с таким восторгом и так жирно, что чуть было кляксу не посадил на важный документ. Надо же, «Горе от ума» знает и сам привел пример к однородным членам — «с чувством, с толком, с расстановкой»!

Другие экзамены после такого славного начала прошли легко, и с общим баллом 98 Лорис-Меликов Михаил был зачислен

в четвертый класс в эскадрон кавалерийских юнкеров. Классы в школе шли почему-то в обратном порядке, не с первого по четвертый, а, наоборот, с четвертого по выпускной первый.

Юнкера старшего класса встретили новеньких не так ласково, как учитель Прокопович. Как водится во всех закрытых мужских учебных заведениях, будь то Пажеский корпус или затерявшаяся в глухих степях Малороссии бурса, вновь поступившие с первого же дня подвергаются мучительнейшим испытаниям.

На второй или третий день жизни в школе юнкер Лорис-Меликов в некоторой задумчивости бродил по огромному рекреационному залу. Все здесь пахло недавним ремонтом, то есть штукатурной сыростью, паркетным воском, свежеструганым деревом, а главное, как во всех казенных, только что отремонтированных помещениях, — неудобом. Новая юнкерская форма тоже издавала грубоватый запах ненашенного сукна, была тесна и колюча и никак не давала почувствовать себя свободно. Посему и мысли посетили юнкера неудобные. Он вдруг понял, что вместо вольной университетской жизни, которая проехала мимо него, он заключен в казарму на целых четыре года, строгий барон Шлиппенбах давеча в своей приветственной речи дал понять, что спуску никому не будет, здешние дежурные офицеры умеют натягивать вместо лайковых перчаток ежовые рукавицы... Неистовый рев прервал его печальные мысли.

С другого конца зала с неумолимой скоростью неслась, скользя по паркету, на новичка целая группа крепко взявшихся за руки старших юнкеров. Это называлось «нумидийским эскадроном», и горе зазевавшемуся! Бежать от него некуда, но Миша был уже опытен в таких делах. Он разбежался, набрав скорость, и ринулся навстречу, норовя попасть между слабыми звеньями эскадрона. Прорвать эту цепь ему не удалось, но эскадронцы оценили смелость новичка, подняли на руки и стали подбрасывать как триумфатора. Миша и здесь был бдителен и понял, что со второго или третьего броска его непременно уронят и надо умудриться не упасть, а прыгнуть на ноги.

Он думал, что теперь-то уж от него отстанут. Черта с два! Этою же ночью в спальню кавалеристов четвертого класса ворвался, накрытый для устрашения простынями, все тот же «нумидийский эскадрон» из низкорослых юнкеров, оседлавших будущих кавалергардов, и стал поливать ничего спросонья не понимающих мальчиков холодной водой. Впрочем, среди них



Миша успел разглядеть однокашника из пехотной роты. На следующий день он подкараулил пехотинца в тихом уголке, зажал его там и стал учить уму-разуму, как то проделывалось в свое время в интернате Лазаревского института.

Участие Ивана Хлюстина, единственного новичка, в «нумидийском эскадроне» объяснялось просто: в третьем классе учились два его старших брата — отпетые удалыцы, гроза маменькиных сынков, каковых в Школе было немало: большинство юнкеров очутилось здесь после балованной жизни в богатых поместьях в глубине России. После науки, преподанной Хлюстину 3-му, от Лорис-Меликова отстали, а потом, выросши через год из детских забав, звали за собою в предприятия по-серьезнее — в кутежи по злочным местам Петербурга.

Изобретение «нумидийского эскадрона» приписывали юнкеру выпуска 1834 года Михаилу Лермонтову, но Лорис-Меликов этому не очень верил — в коридорах Лазаревского института подобные эскадроны были не в диковинку. Лермонтов же в тот год был в чрезвычайной моде, и Мише однажды зимой показали его на улице. Поразил взгляд, не подпускающий к себе. И на душе остался неуютный осадок, будто осадили за бестактность. И много-много лет спустя, когда в Школе возьмутся за организацию лермонтовского музея и генерал-адъютант Лорис-Меликов пожертвует сто рублей, его кольнет неясным стыдом, будто откупился от того рассеянного взгляда вскользь.

Город зачитывался «Бэлою» и «Фаталистом», только что напечатанными в «Отечественных записках», спорил о «Думе», не понимая, как отнестись к этой странной характеристике поколения, а в Школе юнкера, высунув язык, переписывали друг у друга проказливые стихи некоего Майошки из позабытого рукописного журнала «Школьная заря». Лорис-Меликов чуть не наизусть выучил «Гошпиталь» — об уморительных похождениях блудливого юноши, не ведая того, что судьба не раз еще столкнет его с героем проказливой поэмы князем Барятинским. Александр Иванович будет над ним командиром в отряде, собранном против Шамиля, а потом достигнет фельдмаршальского чина, станет наместником императора на Кавказе, так что много ему служить под началом этого героя. Но каждый раз, видя маленького ростом, изящного фельдмаршала, даже и при всех орденах в полной парадной форме, Лорис делал над собою хоть и легкое, но усилие, чтоб не сорвался с языка вечно на его кончике вертящийся стишок «Князь Б.,

любитель наслаждений». Отличая Лорис-Меликова, князь каждый раз поминал братство выпускников Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, но об однокашнике своем Михаиле Лермонтове, по прозвищу Майошка, сам не заговорил ни разу. Но как-то молоденький адъютант фельдмаршала, недавно выпущенный из Школы, вызвал-таки князя на откровенность.

— Ну что я вам скажу, в юнкерах он мало отличался от других — такой же шалый, как мы все тогда были. Иногда только впадал в задумчивость, так что никого не видел пред собою. А офицер из него вышел никудышный, хотя и храбр был отчаянно. Так ведь в нашем деле одной отвагой не возмешь — дисциплина нужна-с, дисциплина. Из литераторов один разве граф Лев Толстой отменным был офицером.

— А вы и Толстого знали?

— Немного, он года два служил на Кавказе. Вот у аула Шали на рубке леса и довелось с ним познакомиться. Он артиллерист был, кажется. Вы почитайте его кавказские рассказы. Там и обо мне есть.

Так и увел разговор о Лермонтове. Толстого же — в кавказскую пору всего лишь юнкера, выслужившего чин прапорщика, — князь, будучи уже генералом, едва ли мог различить в офицерской толпе, но льстили ему несколько строк о себе в «Набеге». Князь был тщеславен.

После гибели Лермонтова поднялась новая волна увлечения поэтом, и юнкера стали уже всерьез читать и стихи, и «Героя нашего времени», а листки с его юнкерскими шалостями передавали младшим. Интерес к такого рода сочинениям исчерпывается быстро, тем более что в Школе уже почти никого не осталось, кто помнил бы автора. Разве что полковник Андрей Федорович Лишин, при Лермонтове дежурный офицер, а ныне командир роты гвардейских подпрапорщиков, то есть пехотинцев. О нем, кстати, ходил лермонтовский стишок:

Вот выходит из дежурной,  
Весь в заплатах на штанах,  
Словно мраморную урну,  
Держит кивер он в руках.

Лишин относился к военной службе как к высочайшей святыне, всякое отклонение от формы воспринимал как личное оскорбление и не только подпрапорщиков гонял в хвост и в гриву, но и юнкерам от него доставалось. Добрейший и усер-

днейший Андрей Федорович никак не хотел верить, что великий поэт Лермонтов и воспитанник Школы 1834 года выпуска — одно и то же лицо.

— Нет, нет-с, никак такого не может быть. Юнкер Лермонтов был чрезвычайно неудовлетворительного поведения и даже курил табак! Никогда не поверю, чтобы столь дурной юноша с порочными наклонностями мог стать автором поэмы «Демон» и других сочинений, известных всей России. Да вот же-с, служит у нас дежурный офицер поручик Лермонтов — даже не родня поэту. И юнкер тот тоже небось однофамилец.

Так он и остался при своем непреклонном убеждении.

Учился Лорис-Меликов легко, рассеянно и незаметно. Он схватывал объяснения на лету, а сообразительность быстро увядала обрывки услышанного, если случались провалы в последовательном курсе. Так что к концу жизни, строго оценивая вольготную свою юность, он считал, что образование в Школе получил кое-какое, и во многих вопросах долго оставался дилетантом.

Интерес к наукам возникал лишь вспышками. Во втором классе курс минералогии читал горный инженер Иванов. Впрочем, читал — слишком сильно сказано. Он приходил в класс с ящиками, наполненными коллекцией минералов, садился за кафедру, вынимал какую-либо книгу и целиком погружался в нее, следя лишь за тем, чтобы ученики не шумели. Ящики эти живо напомним такие же, какими гордились когда-то тифлисский жилец Василий Васильевич. Лорис-Меликов попросил как-то Иванова показать ему коллекцию, и несколько уроков Иванов с жаром рассказывал о природе образования камней, об отличиях кавказских минералов от уральских и массу других интересных вещей исключительно одному Лорис-Меликову.

Курс всеобщей истории был прослушан весь безо всяких упущений. А иначе и невозможно. Шакеев, преподаватель этого предмета, вел свои лекции таким образом:

— В те времена, когда юнкера Лорис-Меликов и Нарышкин еще не играли в карты под партою, в Англии явилась незаурядная личность по имени Оливер Кромвель...

Любил же Лорис-Меликов русский язык, потому что Николай Яковлевич Прокопович не обременял их правилами, раздав программки к экзамену, а на уроках с почти юношеским увлечением читал им вслух сочинения друга своего и товарища по Нежинскому лицей Николая Васильевича Гоголя, предавался воспоминаниям о школьных забавах писателя, и с большим азартом комментировал малороссийские легенды в «Ве-

черах на хуторе близ Диканьки», и о самой Диканьке рассказывал, и об украинских базарах — совсем не таких, как в Петербурге и вообще в России. В старших классах Прокоповича сменил поэт Александр Александрович Комаров, который самого Пушкина знал и показывал альманах «Северные цветы» за 1832 год, где Пушкин напечатал комаровские стихотворения «Ночь» и «Маша». Лучших воспитанников Комаров приглашал к себе домой в субботу на «серапионовские вечера», где бывали все литературные знаменитости. Впрочем, Лорис-Меликов, хоть и был зван однажды, так посетить их, к будущей злой на себя досаде, не удосужился — интересы его в то время были довольно далеки от отечественной словесности.

Правда, не так, как ему самому это казалось.

На выходные он устремлялся вместе с товарищем своим Александром Нарышкиным на Грязную улицу, в дом Шаумяна, где втроем снимали они маленькую квартирку. Третьим был Николенька Некрасов — личность во всех отношениях замечательная. Познакомился с ним Лорис-Меликов в первый же год своей столичной жизни в пансионе профессора Беницкого, где его тифлисский приятель Самуил Панчулидзе готовился к поступлению в Школу, а Некрасов подрабатывал репетиторством.

— Несостоявшийся коллега, — представился тогда Николенька. Оказывается, отец отправил Николеньку в Петербург поступать как раз в их Школу, но упрямый сын не пожелал себе казарменной будущности и поступил вольнослушателем в университет, за что был отлучен отцом от всякой помощи.

— Свобода дороже. Я, юноша, человек избалованный, к роскоши привык. А что роскошнее свободы?

Парадокс этот чрезвычайно озадачил юнкера. Он уже хлебнул строгостей воинской жизни, командир эскадрона барон Каульбарс каждый раз, отправляя на гауптвахту не то что за шалость — за незастегнутый крючок у жесткого ворота, внушал:

— Гвардия — это образцовый порядок.

И уже через полгода от этого порядка захотелось на волю. Поскольку о воле теперь можно только вздыхать, в избранника свободы Лорис вглядывался с завистливым любопытством и дружи с ним не порывал. И когда подвернулась эта квартирка для вольной жизни, вспомнил о Некрасове и взял его в компанию.

Общую квартирку их Николенька быстро привел в беспорядочный поэтический вид. Повсюду валялись журналы, листы с набросками незавершенных рассказов, водевилей, стихов —

и все это корявым, неряшливым почерком. Правда, был уголок на письменном столе, где с большою аккуратностью содержалась текущая работа — гранки журнала «Пантеон русского и всех европейских театров» и «Литературной газеты», издававшихся Ф. А. Кони, где Некрасов служил корректором и печатал рецензии и стихотворения свои. Корректорскую работу Николенька называл барщиной, а труды для печати — оброком. Впрочем, что барщина, что оброк денег приносили мало, не больше, чем присылали родители Лорис-Меликову и Нарышкину, так что в бедности они были равны и беспечны.

— Барин мой Федор Алексеич — бедный, сам еле концы с концами сводит, но вот к праздничку дал на угощение, — говорил Николенька и выставлял на стол бутылку вина, хлеб и ветчину.

Дня три приятели не ведали забот, квартирка наполнялась самыми разнообразными личностями, щедро зазываемыми Николенькою, — петербургские типы, изучать их — одно наслаждение... А на четвертый «петербургские типы» бесследно исчезали, и Николенька подводил итог:

— В кармане — вошь на аркане, господа.

Господа юнкера выскребали последнюю мелочь, оставляли ее Некрасову на пропитание и, понурые, брели в Школу, где был им все-таки стол и дом. А как доживал неделю Николенька — одному Богу известно. Но вид у него всегда был беспечный и беззаботный. Один только раз Лорис застал своего друга в состоянии несколько странном. Лорис явился на квартиру в неурочный час. Николенька сидел у печки и с остервенением рвал какую-то брошюрку, не поддающуюся гневному его разрыву. Еще несколько таких же лежали рядом. «Н.Н. Мечты и звуки» было написано на обложке. Застигнутый врасплох, Николенька выдавил из себя усмешку:

— Предаю аутодафе свои юношеские глупости.

И тут все встало на свои места. Некрасов не расставался со старым, еще за март 1840 года, номером «Отечественных записок», где всегда лежала закладка на безымянной рецензии на эту книжечку. Впрочем, на полях рукою Николеньки было написано: «Белинский». И особо были отчеркнуты строки: «Если стихи пишет человек, лишенный от природы всякого чувства, чуждый всякой мысли, не умеющий владеть стихами и рифмою, — он, под веселый час, еще может позабавить читателя своею бездарностью и ограниченностью: всякая крайность имеет свою цену, и потому Василий Кириллович Тре-

диаковский, «профессор элоквенции, а паче хитростей пиитических», — есть бессмертный поэт; но прочесть целую книгу стихов, встречать в них всё знакомые и истертые чувствования («чувствования» жирно подчеркнуты второю чертой), общие места, гладкие стишки, и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек, — воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики...»

— Так это твои сочинения? — Вопрос, конечно, бестактный, и Лорис прикусил язык, смутившись.

— Мои, мои. Думал, что все, не осталось и следа, а вот сегодня, видишь, нашел-таки нераспроданные экземпляры. Поэзия, братец, как любишь ты говорить, тара-бара — крута гора, на нее так легко не взлезешь.

— Станные вы люди, поэты. Если бы я о себе прочитал такое, что в «Отечественных записках» о тебе написано, я б на дуэль вызвал за оскорбление чести, а ты за собой этот журнал таскаешь, а убиваешь свою же книжку.

— Меня за такие стишки еще не так выпороть следовало. На зеркало неча пенять, коли рожа крива. И смотреться почаще следует. Ладно, давай дальше жечь, помогай.

Прощальным взглядом, отправляя в печь, Лорис проводил такие строки:

Глубоко в сердце уязвленный,  
На всё он холодно глядит,  
И уж ничто во всей вселенной  
Его очей не веселит.

Всему он чужд — и нет тяжеле  
Его догробного креста,  
И носит он на грешном теле  
Печать поборника Христа.

Стихи эти никак не озвучивались глуховатым Николенькиным голосом, не вязались ни с образом его, ни с манерой речи. Лорис пробовал представить, как бы их продекламировал учитель Комаров, большой мастер чтения вслух, — и тут ничего не получалось. Конечно, верно подметил этот Белинский: правильность, гладкость и — скука. Но каково Николеньке третий год таскать за собой такую правду о себе?

— Прочь печаль, сотрем ее с чела! — завершив казнь стихам своим, возвестил Николенька. — Пойдем, я тебя с таким типом познакомлю! Полицейский сыщик, враль, каких мало.

В поисках сыщика приятели обошли с полдесятка дешевых трактирчиков. Наконец, Николенька указал на тихонького синоватого субъекта пожилых лет, пристроившегося в уголке шумного зала за стаканом жидкого чая. Лорис подумал, что, если бы и не предупредил его Некрасов, он все равно догадался бы о профессии субъекта. Глазки его, голубые и маленькие, глядели, как у мышки, когда она высовывается из норки и осматривается, не решаясь выскочить наружу. А как выскочит, засеменит мелко-мелко быстрыми ножками, бдительно озираясь, всегда готовая юркнуть в щель. Он и прошмыгивающую походочку представил себе и убедился потом, что угадал ее правильно.

— Афанасий Елпидифорович, — представился субъект и вид напустил на себя таинственный и важный. Разговор никак не клеился, пока Николенька не заказал водки. — Я на службе-с, мне лучше не пить, — попробовал было отнекиваться сыщик, но как-то не очень уж твердо, явно готовый поддаться уговору, с которым Николенька не замедлил.

Афанасий Елпидифорович быстро захмелел, таинственный вид недолго хранился на хитром лице его.

— Вы не смотрите, господа, что я в столь ненадлежащем наряде. Я государственный чиновник десятого класса. А здесь я маскироваться должен-с, чтоб быть слитым с толпою-с. Петербург, скажу я вам, большой притон-с. Все воры и злоумышленники стремятся сюда. Город большой, народу много, ограбит где-нибудь в Ярославле — и сюда, а полиция ищи-свищи его. Но они все тут, у меня на примете-с. — И он сжал тощий кулак свой, собравший все преступные нити в империи. — Вы читали-с про разбойника Ерофея Силина? Это я его выследил-с. Три недели ни сна ни отдыху не знал-с, жизнью рисковал-с, а выследил, и злоумышленник был пойман. С пистолетом-с! Мог и застрелить. Я, господа, каждый день жизнью рискую и кладу ее на алтарь отечества нашего. В меня не раз уже стреляли и ножом пырнуть пытались, а что поделаешь — служба-с. Вот и Силина — знаменитого разбойника выследил, не боясь.

— Как же ты его выслеживал? — Некрасов и виду не подал, что сомневается в подвигах сыщика. В газетах писали о поимке разбойника, но что-то не было среди отличившихся при сем полицейских чинов собеседника.

— Это тайна-с, великая тайна-с, господа. Главное — выбрать позицию. И все видеть, все слышать, все замечать, а

чтоб никто не видел. Это есть наружное наблюдение. Вы пока расплатитесь, а я выйду, и смотрите, как незаметно-с.

Поскольку Афанасий Елпидифорович изволил достаточно водки выкушать, выйти незаметно ему не удалось, прошмыгивающая походочка его была быстра, но не так чтобы твердо. Однако ж на улице глаза его смотрели ясно и трезво, и невесты старого приятеля под его цепким взглядом почувствовали себя разве что не преступниками.

Потом в компаниях Николенька удивительно точно представлял сыщика с его походочкой и хитрыми глазками. Он вообще был артистичен и гибок, изображая сыщика, удивительно съеживался, уменьшался в размерах, а ведь Афанасий Елпидифорович едва достигал ему плеча.

Под Рождество Нарышкин извелся зубною болью и из Школы на хлипкий, сырой мороз счел разумным не отлучаться. Лорис-Меликов явился на квартиру один. Некрасов ждал его в каком-то озорном возбуждении.

— У меня идея! Зайдем сейчас в костюмерную лавку, там переоденемся и поедem в гости.

И увлек недоумевающего юнкера за собою. В костюмерной лавке Николенька выбрал себе наряд средневекового венецианского дожа, а Лорис оделся испанским грандом. Они долго вертелись перед зеркалом, вид их для петербургской зимы был и так забавен, но Николенька потребовал для друга еще шпагу, и хотя испанской времен конкистадоров в лавке не нашлось, вполне удовлетворились русскою екатерининских времен. Свою одежду они оставили в лавке под залог в пять рублей. Денег же у них было восемь рублей тридцать шесть копеек на двоих. С извозчиком в оба конца должно хватить.

Ах, какие премиленькие девицы с восторженным визгом встретили гранда и дожа в бедной чиновничьей квартирке на Ропшинской улице! Ночь пролетела незаметно, как всегда пролетают в юности праздничные ночи. Вдруг ввалилась целая компания, куда-то ехали, где-то пили, целовались с красотками, снова пили, а проснувшись Бог весть где, подсчитали капитал — его едва хватит на извозчика добраться до дому.

И вот испанский гранд и венецианский дож, одолевая похмельную головную боль, взобрались к себе на третий этаж, а квартиру выстудило в их отсутствие насквозь: вчера, уходя, они оставили открытые форточки. И ни полешка у печки. Ни единого.

— Ну что, дон Мигеле, делать будем? — спросил венецианский дож, выстукивая дробь зубами.

— Я научу вас, досточтимый сеньор, гимнастическим упражнениям.

Гранд и дож соорудили из стульев нечто вроде гимнастического коня, но комната была тесна для разбега, прыжки дожу не давались, и кончилось все тем, что нескладный венецианец сломал стул.

— Раз так, досточтимый дон Мигеле, давайте-ка пустим его обломки на дрова.

Сказано — сделано. Но крепкие обломки стула никак не хотели поддаваться пламени. А последние стихи свои, мало отличавшиеся от тех, что разругал Белинский, Некрасов, убирая квартиру к празднику, не далее как вчера пожар беспощадной рукой.

— Я, досточтимый дож, готовлюсь к спартанской жизни русского воина. А посему жертвую мочалом из мягкого своего дивана для растопки, — заявил щедрый гранд и незамедлительно принялся терзать несчастный диван.

Перед печкой разостлали старый, траченный молью ковер, привезенный Некрасовым из Грешнева, и на какое-то время освободились от забот о тепле. Руки обогрелись и стали способны к письму. Тут же стали составляться записочки «бедному барину» Федору Алексеевичу Кони, Ивану Панаеву, Краевскому с просьбою войти в положение несчастных шалопаев и прислать немножечко денег. Лорис-Меликов такие же записочки отправил в Школу к Нарышкину, в офицерские казармы Гусарского полка приятелю своему корнету Василию Абазе, еще нескольким лицам.

Через час посыльный стал приносить вежливые ответы. Праздник решительно всех вверг в большие траты, а посему на ближайшую неделю ни у кого из сочувствующих беде молодых шалопаев лиц денег нет и не предвидится. С каждой новой записочкой о глубоком сострадании и невозможности помочь приятели все острее ощущали приступы голода. И заложить нечего. Подарок матери, две серебряные ложечки, Николенька всего на прошлой неделе отдал в залог негодяю Ширяеву, владельцу съестной лавки, и обещал уже расплатиться с ним, а тут... Все-таки решили пригласить к себе негодяя Ширяева.

Лавочник очень был удивлен столь экзотическим одеянием молодых людей. В тонких чулках вместо панталон и коротких

бархатных штанишках они попрыгивали, отогреваясь, перед гаснущей печкой, что навело грамотного, третьей гильдии купца на мораль из любимой его басни «Стрекоза и Муравей».

— А вы ведь вчера-с, Николай Алексеич, заплатите обещались.

— Да вот видишь как, Иван Семеныч, сложилось. — Некрасов был в эту минуту самое смирение и раскаяние. — Ты уж нас, дураков таких, выручи.

— Да как же я выручу-с? Хлебушек — он денег стоит. Да вам-то и мало будет хлебушка одного. А у меня под праздник господа, что платить умеют, все порасхватали-с. Вот один только студень остался, да и то для своей семьи, для детушек жена сберегла-с.

— Ах, Иван Семеныч, твоя доброта на три квартала вокруг всем известна. Ты уж запиши в счет моего долга еще рублик, дай поесть. Хоть что-нибудь.

— Никак не могу-с. Сам беден аки крыса церковная.

— Да вот же, смотри, мне редактор газеты пишет: в следующую пятницу гонорар даст. Так я тебе все до копейки верну.

— А что ж вчера не вернули-с?

— Иван Семеныч, — вступил в дело Лорис-Меликов, — у нас на Кавказе дворянину верят на слово. Я дворянин, и Николай Алексеевич дворянин. Наше слово крепкое. Теперь я отвечаю за его обещания.

Все ж таки уломали лавочника. Слуга принес тарелку со студнем и полфунта черного хлеба. Гранд и дож братски поделили трапезу.

А вечером примчался Саша Нарышкин. Он раздобыл-таки целый червонец денег и выручил друзей, посиневших от холода, из беды.

Жизнь в доме Шаумяна на Грязной продолжалась до самого лета, когда Лорис-Меликов и Нарышкин отправились в Петергофские лагеря, а потом Лорис, по завершении Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, был назначен в Гродненский гусарский полк, в столице бывал наездами и совсем было потерял своих приятелей. Но в 1847 году он встретил на Невском Николеньку... Нет, это уже был не Николенька — он встретил Николая Алексеевича Некрасова, издателя вновь процветшего журнала «Современник», поэта, автора стихотворений, за которые и перед самим Белинским не стыдно. Взглянув на одетого с большим вкусом господина,

трудно было догадаться, что всего три года назад барин Николай Алексеевич не знал, как улестить жадного лавочника, чтобы хоть корку хлеба одолжил до следующей недели. Но в остальном это был прежний Николенька, готовый на любую проказу; юмор и демократическая простота решительно не изменили ему. Снимал Некрасов роскошную квартиру у Аничкова моста и обставил ее хорошей мебелью от Гамбса. Это была их последняя встреча, хотя всю последующую жизнь, едва где-нибудь в журналах попадалась на глаза новая некрасовская вещь, Лорис-Меликов тут же впивался в нее и, читая, слышал, отчетливо слышал молодой голос Николеньки.

В 1875 году — Лорис-Меликов был уже генерал-адъютантом, начальником Терской области — к нему на прием явился болезненного вида и чрезвычайно бедно одетый человек — сосланный докторами на Кавказ и пролечивший все свои средства до последней копейки бывший редактор «Русского слова» литератор Николай Александрович Благовещенский. Он принес рекомендательное письмо от Некрасова, и Лорис-Меликов немедленно дал Благовещенскому денег и устроил его на вакантную должность секретаря Терского статистического комитета. Писать известному поэту ответ Михаил Тариелович постеснялся, думал дожидаться встречи, но потом было долгое лечение за границей, война, и когда Лорис-Меликов по окончании ее приехал в Петербург, Некрасова в живых уж не было.

А жизнь в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров шла своим чередом. В верховой езде Лорис-Меликов был из первых, фрунт его вольной душе давался тяжелее, но тоже сносно, а предметы академические при его бойкой памяти и сметливости особого труда не составляли. Правда, в самом начале весны юнкер загремел в лазарет, и надолго, было даже опасение, что выпуститься в нынешнем году не удастся.

Прекрасный город Санкт-Петербург. После азиатского глиняного Тифлиса, после беспорядочной русско-византийской Москвы, где в самом центре города не диво встретить деревенскую барскую усадьбу, избу, а тут же и целый квартал совершенно европейских домов, столица потрясает ровными, по ниточке, проспектами, единым ампирическим стилем дворцов... Да что говорить! Петр вырубил окно в Европу по европейским же образцам, а потомки его хоть в этом не отступили от его традиций и не позволили себе московских барских вольностей. Здесь и дома смотрелись гвардейцами в парадном строю. Да

вот беда — весь этот гвардейский строй на приморском болоте зиждется. И как ни крепок организм, а сырые, неверные зимы, дождливые лета ломают непривычного человека.

В Петербурге надо родиться. Лорис-Меликова как-то в печальную, задумчивую минуту занесло на кладбище Александро-Невской лавры. Он бродил по аллеям между великолепными памятниками, разглядывал эпитафии, читал имена полководцев, реформаторов, сподвижников русских императоров в их славных на весь мир и темных, злых делах, но чаще все-таки вовсе безвестные. Но вот что его тогда поразило. Век Петровых современников, людей, как известно, могучих телами и хорошо кормленных, был чрезвычайно краток: редко кто протянул за сорок. Зато внуки их — екатерининские вельможи, здесь, на болотах, родившиеся, — заживались разве что не до ста лет.

К весне Лорис вечно попадал в лазарет. Южный человек, он легок был на простуду. Распахивался навстречу первому солнышку, не помня о коварстве петербургского климата. Но в первом классе его свалила особенно злая болезнь. Суровый капитан Горемыкин, увидев лихорадочный блеск Лорисовых глаз и пунцовую яркость лица, прямо с урока тактики отправил юнкера в лазарет. Жар стоял дня четыре, но выздоровления на пятый не наступило, а, наоборот, началось какое-то долгое и противное недомогание с невысокой, но ежевечерней температурой.

Тоска неимоверная! В палате Лорис-Меликов лежал между двумя малолетками: четвероклассником Корнилием Бороздиным и третьеклассником Константином Савельевым. Как юнкер старшего класса, он их почти не замечал, хотя Коля Трегубов, его одноклассник, опекал Бороздина и защищал своего вандала (как называли в Школе самых младших подпрапорщиков и юнкеров) от непрестанных обид вандалов прошлого года. Протеже, как правило, допускались в компании своих патронов, но вели они там себя тише травы, без малейшего амикошонства. Субординация.

Два этих мальчика поначалу побаивались Лорис-Меликова, но Миша никогда не находил радости в издевательствах над младшими и, кроме насмешек, не позволял себе никаких видимых проявлений своего превосходства. А на насмешки соседи сами напрашивались. Бороздин по малости лет, наверное, любое слово воспринимал буквально и не в силах был различить иронию, чем немало потешал Савельева. Но и Савельев был хорош. Старшая сестра его вышла замуж за итальянского графа

Цуккато, и Костя всех уверял, что бездетный зять его непременно уступит ему свой почетный титул. За что и схлопотал прозвище Цукат. Но вскоре и насмешки иссякли, приелись, так что мир царил в палате. Мир и скука. Все анекдоты были пересказаны, карты и шахматы быстро надоели, а бронхит истачивал потихоньку силы и повергал бойкого юнкера в уныние. Особенно в ясные дни, когда солнце дразнило зайчиками и звало на свободу.

Излечение свалилось внезапно, и принесли его не лекарства. Савельеву из дому прислали новую книгу. «Похождения Чичикова, или Мертвые души» сочинения Н. Гоголя. Ее минувшим летом издали в Москве, в университетской типографии, о чем Лорису говорил еще Некрасов, слышавший о хлопотах в цензурном комитете князя Одоевского, Виельгорского и Белинского, но до Петербурга книга только-только доехала, так что даже Николенька ее еще не читал.

Лорис-Меликов на правах старшего тотчас же завладел книгой и читал, пока глаза не засыпало, как пылью, усталостью. Тогда он возвратил книгу Цукату и велел читать вслух. Оказалось, Цукат обладал незаурядным актерским талантом. Он читал на все роли и так уморительно, что вскоре в палату на громовой хохот, смешанный с кашлем, сбежались из других палат. Заставили читать сызнова.

И вот теперь каждый день, едва доктор Мейер закончит обход, а фельдшера наведут порядок и укроются в своей дежурной комнате, Лорис командовал:

— Давай, Цукат, доставай книгу. Читай!

На хохот сбежались фельдшера, пробовали утихомирить юнкеров — все же лазарет, вашим благородиям следует помнить, но Лорис и фельдшеров заставил слушать савельевское чтение.

В цепкой памяти Лорис-Меликова на всю оставшуюся жизнь как знак излечения от недугов и мира в душе осталась последняя фраза из гоголевской поэмы: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и косясь по-сторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства». И всегда в пути, куда б его ни заносила бойкая судьба, билось в мозгу с током крови — гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. И каждый вдох свободного ветра вселял чувство русского гражданства из посторонившегося народа —

чувство сложное, почти необъяснимое на словах ни родного армянского, ни столь же теперь своего — русского языка.

Дни летели навстречу выпуску, но тут судьба вновь погрозила пальчиком.

Уже в апреле 1843 года барон Шлиппенбах произведен был в генералы от инфантерии и назначен директором 1-го кадетского корпуса и одновременно управляющим всеми военно-учебными заведениями. В Школе же его место должен был занять отставной генерал-майор, произведенный, по случаю возвращения на службу, вновь в полковники Александр Николаевич Сутгоф.

Сутгоф только что вернулся из Парижа в свой дом на Невском проспекте. Он еще не успел приступить к новым обязанностям, как дворник донес ему, что одну из квартир снимает жилец, которого в доме никто никогда не видел. А на самом деле там настоящий притон для учащихся вверяемой ему Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Они там пьянствуют и даже приглашают неких дам непотребного поведения. Сутгоф тотчас же отправился проверить подозрительную квартиру.

Едва раздался звонок, юнкер Лорис-Меликов, стоявший на стреме и, по счастью, не успевший притронуться к своему бокалу, скомандовал тревогу и выпроводил товарищей через черный ход. Сам ушел последним, убрав следы пиршества. Однако ж во дворе, у самых дровяных сараев, где была спасительная щель в другой двор, выходящий на Малую Морскую, его остановил рыжий маленький полковник с лицом, изощренным красными пятнами от гнева:

— Юнкер, подойдите сюда! Ваша фамилия?

Отдав честь, представился:

— Юнкер Петров.

— Должен вам заметить, юнкер... — полковник смерил его взглядом задумчивым и чуть презрительным, — да, юнкер Петров, что вы в ненадлежащем виде пребывать изволите. Почему пыль на сапогах и воротник отстегнут? Я вас запомнил, юнкер Петров.

«Идиот! — клял себя дорогою юнкер Петров. — Не мог себе получше псевдонима придумать». Он уже догадался, что полковник — новый начальник Школы, и последствия его сегодняшней встречи запросто могут быть столь же печальными, сколь были они перед самым окончанием Лазаревского института. Даже посерьезнее — Школа под пристальным оком



императорской фамилии, а Михаил Павлович да и сам царь шуток не любят и карают по всей строгости.

Царский гнев юнкера и подпрапорщики уже испытали однажды. Это было минувшим летом — холодным, дождливым, слякотным. С балкона своего дворца в Александрии император любил наблюдать в подзорную трубу, как идут учения на плацу Петергофского лагеря.

Плац, обнесенный громадными рвами, в дождливую погоду блистал громадными лужами. Юнкера и подпрапорщики, одетые в белые панталоны и парадные мундиры с красными лацканами, на ученьях старательно обходили лужи, ломая, естественно, при этом фронт. Царь однажды и разглядел в свою подзорную трубу столь аккуратный переход через грязь. Не прошло и десяти минут, как его императорское величество был уже на плацу и разносил в пух и прах барона Шлиппенбаха и, не остыв от гнева, накинулся на юнкеров и подпрапорщиков:

— Вы, я вижу, очень о себе возомнили! Так я вам покажу, что такое воинская служба!

В строю, в задних рядах, началось шиканье, слава Богу, не достигшее августейшего слуха, но заставившее понервничать тех, кто, как Лорис-Меликов, стоял в первой шеренге. Император сам взял на себя командование. Он выстроил батальон Школы так, что лужи на пути были неминуемы, и сам повел строй вперед, на рвы. Тут уж было не до панталон и не до красных лацканов. Рвы одолели, помогая друг другу и тут же выстраиваясь в колонну, чтобы маршировать дальше, только лошадь командира батальона полковника Каульбарса увязла в скользкой глине, и полковнику пришлось вести батальон за царем в пешем порядке.

На третий день после инцидента Лорис-Меликова с новым начальником на Невском юнкеров и подпрапорщиков собрали в рекреационном зале. С одной стороны была выстроена рота подпрапорщиков, с другой — эскадрон юнкеров. Раскрылась дверь, и появился тот самый полковник, на которого так некстати наварлся Лорис-Меликов.

Полковник произнес речь, мало, впрочем, отличавшуюся от речей предшественника его, о чести гвардейского офицера, о надеждах, возлагаемых на будущих воинов царем и отечеством, а в завершение рассказал о своей встрече с юнкером Петровым.

— По вступлении своем в должность, — сказал новый начальник, — я заинтересовался у эскадронного командира о юн-

кере Петрове, но получил ответ, что такового юнкера в нашей Школе нет.

При этих словах Лорис-Меликов пошел красными пятнами, ожидая неминуемых последствий.

— Но я не желаю, — продолжал между тем Сутгоф, — обнаруживать перед вами настоящее имя «юнкера Петрова», — быстрый взгляд на покрывшегося испариной виновника, — в надежде, что он дальнейшим своим поведением заставит забыть свой проступок и сделается впоследствии доблестным офицером русской армии.

Уф-ф-ф! Отлегло.

В первых числах сентября 1865 года начальник Терской области получил телеграмму от генерала Сутгофа с поздравлением по случаю производства бывшего «юнкера Петрова» в генерал-адъютанты. В поздравлении 1878 года в связи с возведением генерал-адъютанта генерала от кавалерии Лорис-Меликова в графское Российской империи достоинство «юнкер Петров» уже не поминался.

## ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

Есть какое-то общее заблуждение в том, что юность — самая счастливая пора. В юности столько дури, что потом, когда подступает пора трезвых воспоминаний, хватаешься за голову от стыда и досады. Как правило, годы юности — упущенные годы, даже если они не убиты тяжестью труда. В жизни Михаила Тариеловича Лорис-Меликова не было полосы бездарнее и глупее, чем время службы в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, хотя был он тогда почти доволен и собою, и службой своей.

Снега, снега и сиреневый зыбкий похмельный туман. Вот, пожалуй, и все, что осталось от целых четырех лет жизни.

Пьянка началась едва ли не в тот самый день 2 августа 1843 года, когда господ юнкеров и подпрапорщиков поздравили с окончанием Школы и зачислением в гвардейские (а кого и в армейские) полки. Выпускной бал плавно перешел в проводы, проводы — в дорогу. Август был дождлив, но ощущение, если вспомнить, такое, будто с неба лило шампанское. Лишь на последней станции Спасская Полисть корнеты одолели головную боль не новой порцией вина, а крепким чаем и стали



приводить себя в порядок, дабы явиться к месту службы в надлежащем виде.

Станция эта являла собою ворота в аракчеевскую Россию, то есть такую Россию, где царит строго отмеренный линейкою и циркулем порядок. Здание станционное архитектурой своей являло торжество геометрии. И управлялся здесь аккуратный, дотошный немец Карл Иванович Грау, не чета пушкинскому бедному Вырину.

В аракчеевские времена место расположения Гродненских гусар было отведено для поселений пехотных солдат и именовалось Штабом Первого округа. На берегу Волхова были выстроены строгим квадратом каменные двухэтажные Селищенские казармы. Внутри этого гигантского квадрата размещался полковой плац, великолепный манеж, каланча с гауптвахтою, за нею — дома для офицеров, особняк полкового командира и дворец на случай посещения августейших особ. Плац окружен был бульваром из постоянно, каждую весну подстригаемых лип и кленов — уже набравших силу тенистых деревьев.

Красота!

Но какая-то холодная, отпугивающая красота.

Армия в России времен Николая Павловича мало чем отличалась от тюрьмы. Известно, что узники русские больше всего на свете боятся тюрем образцовых, где все выметено, выскоблено, все сияет чистотой: там и порядки образцовые по своей жестокости. Редкий солдат проживет месяц без розги. Для обер-офицеров гвардейский полк был сущее наказание. Учения — смотры — парады. Парады — учения — смотры. И так вся жизнь. Впрочем, началась она весело.

Корнетам Николаю Голубцову, Ивану Леонову 2-му и Михаилу Лорис-Меликову жить было определено в Сумасшедшем доме — крайнем правом из офицерских флигелей, где селились холостые поручики и корнеты. Леонова тут же забрал в свою квартиру старший брат, а Лорис-Меликов с Голубцовым поселились на втором этаже в квартирке с двух комнатах с общей прихожей.

Дом, конечно, не зря прозван был Сумасшедшим. Едва новые офицеры вошли в него, невесть откуда — и справа, и слева, и сверху — обрушились на них громовые звуки гитары, расстроенного фортепьяно, лай домашних собак. Справа под скрипочку чей-то тенорок выводил:

Скажи, зачем явилась ты  
Очам моим, младая Лила,  
И вновь знакомые мечты  
Души заснувшей пробудила?

Сверху, со второго этажа, нежный этот романс перебивал под барабанный бой по фортепьянным клавишам грозный бас:

На Казбек слетелись тучи,  
Словно горные орлы...  
Им навстречу на скалы  
Узденой отряд летучий  
Выше, выше, круче, круче  
Скачет, русскими разбит:  
След их кровию кипит.

Поневоле растеряешься. Однако ж растеряться им не дали. Комнаты молодых корнетов тотчас же заполнились народом. Юнкера прошлогоднего выпуска, в Школе относившиеся к ним несколько свысока, обрадовались старым знакомым, как дети, и с этого дня в отношениях между ними наступило равенство. Опять явилось шампанское, и на протестующий жест Лорис-Меликова Приклонский 1-й ответил гусарскою истинной:

— Как день ни бьешься, а к ночи напьешься. Гуляй, гусар! Завтра начнется другая жизнь.

Другая жизнь и началась. И нельзя сказать, чтоб очень веселая.

Гвардейский полк тем отличается от армейского, что готовится не к войне, а к параду. И если случается попасть в сражение, успех ожидает лишь того из господ офицеров, кто начисто забудет, чему его учили в полку, и в миг смертельной опасности вспомнит какие-то начала тактики из школьных, не выбитых аракчеевской муштровкой истин. Так что учения в гвардии главною целью имели не одоление внезапных нападений и не атаку из засады, а стройность рядов, отчетливость движений на разводах и парадах и безукоризненность формы.

Гвардейский полк — потешный. И русские императоры чрезвычайно гордились верностью традициям Петра; до самого 1917 года радовал их глаз парадный строй семеновцев, измайловцев, преображенцев. Увы, не тому Петру они были верные потомки. Любовь Романовых к потешным полкам была сродни поклонению фрунту Петра III. Недолго царил на Руси Петр Федорович, но глубоко пустили корни в романовскую породу

его прусский характер и пристрастия. Соответственно августейшим вкусам и порядки в гвардейских полках сильно отличались от армейских.

Неисправность в форме во время дежурства и на карауле или, не дай Боже, ошибка в отдании чести старшему каралась значительно строже, чем промах, допущенный на учениях и чреватый серьезными ошибками в настоящем, неигрушечном сражении. Неподобающая, на взгляд начальства, прическа стоила дороже сбоя в маршруте. Кремневые ружья, которыми оснащена тогда была армия (а в Европе — давно уж нарезные), начищались песочком и кирпичом до такого блеска, что положительно теряли всякую возможность стрелять точно в цель. Гайки, прикреплявшие ствол к ложу, пригонялись как можно свободнее, чтобы приемы были, как выражался Михаил Павлович, темпистее.

Гродненский гусарский полк образован был в 1806 году, и первым его командиром стал генерал Яков Петрович Кульнев. В Отечественную войну 1812 года гродненцы в авангарде корпуса генерала Витгенштейна спасли Петербург, разгромив под Клястицами корпус маршала Удино. Это был последний бой славного героя генерал-лейтенанта Кульнева. Когда полк устремился в преследование французов, генерал был убит. По высочайшему повелению Александра I с 1824 года в честь этого сражения полк назывался Клястицким. Впрочем, недолго. За победы, одержанные над взбунтовавшимися поляками в 1831 году, император Николай Павлович восстановил полку прежнее имя и зачислил его в гвардейский корпус, которым командовал его императорское высочество великий князь Михаил Павлович.

Тут и кончилась вольница для полковых офицеров. Великий князь нашел, что старший его братец, наместник в Царстве Польском Константин Павлович, распустил гродненцев выше всякой меры и полк находится не в надлежащем виде. Едва ли не каждый корпусной смотр кончался тем, что кто-нибудь из командиров эскадрона или взвода на неделю водворялся на гауптвахту. В 1838 году найдена была полку и новая железная метла — его командиром был назначен молодой генерал-майор князь Дмитрий Георгиевич Багратион-Имеретинский.

Красавец князь характера был пылкого, сурового и необузданного. И в первую же неделю службы корнет Лорис-Меликов попал под его горячую руку. Он вывел свой взвод на учения, отработывались приемы рубки саблями, и корнет был чрезвычайно доволен своими гусарами — лихо у них получа-

лось единым махом раскалывать сплеча чучело противника. На прочее он не смотрел.

— Господин корнет! Почему нижние чины выглядят не по форме?

Господин корнет только недоумевающе хлопал глазами в ответ. И сколько ни вглядывался в своих гусар, никаких отступлений от формы, хоть убей, увидеть не мог.

— У рядовых Малахова и Картинкина пуговицы не вычищены.

Корнет Лорис-Меликов недостаточно знал еще собственный взвод и не различал среди рядовых Малахова и Картинкина, известных в лицо командиру полка. Пуговицы на их мундирах и впрямь были чуть тускловаты.

Теперь-то, конечно, познакомился. И с Малаховым, и с Картинкиным. Солдат понизили на два класса и на неделю обрели на грязные работы. Корнету же наказанием было двое суток гауптвахты, а чтобы не скучалось под арестом, из канцелярии полка были принесены ему копии приказов, содержащих сведения о надлежащем внешнем виде гусар Гродненского полка. И в частности, такой, сочиненный еще в 1832 году генералом Эссеном: «Пуговицы надлежит чистить следующим образом. Растопив 1 золотник олова, смешать с 2 золотниками ртути; послюнив несколько пуговицу и взяв на палец указанного состава, растирать оный и тотчас же чистить щеткою досуха».

Повод к второму аресту был еще глупее. Поскольку гусарам в равной степени положены были и кивера, и шляпы, Михаил первым делом заказал себе треуголку. Примерил — очень хороша ему треуголка. Вылитый Наполеон! Вышел на плац и нос к носу столкнулся с генералом. Ловко, по-уставному повернул во фронт, правая рука вскинулась, отдавать честь... Это ж азбука! К шляпе прикладывают левую руку. Поздно опомнился корнет Лорис-Меликов. Трое суток ареста.

С той поры шляпы не надел ни разу.

Вообще первые два года Лорис-Меликов частенько бывал на гауптвахте, впрочем, не чаще других. Чем больше дежуришь, — а на свежих выпускников Школы гвардейских юнкеров, как на новеньких, дежурства выпадали почаще прочих, — тем больше делаешь ошибок и, соответственно, чаще посещаешь суровое здание под каланчою. Не сразу выучился молодой корнет особому гвардейскому демократизму, заключавшемуся в том, что с фельдфебелями и унтер-офицерами надо дружить.

Дружить домами. Обер-офицеры в гвардии зависят от расположения к ним нижних чинов. А посему — не жматься и всегда найди предлог одарить рублем или лишней чаркою водки своих помощников. А угощением не брезгуй. Крести детей, гуляй на свадьбах — короче, не чинись и не важничай.

Роздыху не было никакого. В октябре ожидался смотр начальника дивизии, и посему в понедельник учения конным строем, во вторник — пешим по конному, в среду и четверг — в пехотном строю по батальонному расчету, пятница и суббота — снова конный строй. И так — каждую неделю.

Смотр длился несколько дней, и командир 2-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенант Карл Густавович Штрандтман полком остался чрезвычайно доволен. Впрочем, князь Багратион был скептичен и намекал офицерам, чтоб не обольщались, довольство дивизионного командира нетрудно объяснить тем, что в полку служат оба его сына.

— Цыплят по осени считают, господа, а осень для вас наступит через две недели, когда на смотр приедет его высочество.

Как в воду глядел.

Полк выстроился в манеже по батальонному расчету. Великий князь Михаил Павлович оглядел строй и заметно помрачнел. Гусары, привычные к посадке на коне, во фрунте были нетверды, хотя на штатский глаз ряды смотрелись весьма браво. Так то на штатский глаз. А на генеральский — все не как у людей, то есть на парадах прусской армии блаженной памяти Фридриха Великого. Нет единого дыхания, солдаты думают Бог весть о чем и не едят преданными глазами начальство. Пеший строй — последнее увлечение великого князя, и тут уж он особенно строг и придирчив. Командир гвардейского корпуса был раздражен, и команда «Шагом марш!» прозвучала столь свирепо, что корнет Приклонский, ведущий 3-й взвод 1-го эскадрона, дрогнул и сбился с шага. И это перед самим великим-то князем!

Михаил Павлович пришел в ярость неопишемую. Лицо великого князя пошло багровыми пятнами. Справившись о фамилии корнета, он прошипел фразу, оставшуюся в русской армии бессмертной:

— Вся рота не в ногу, один корнет Приклонский в ногу. Семь суток ареста!

Генерал-майору князю Багратиону-Имеретинскому тоже досталось:

— Чем вы там с ними занимались?! Должной выправки нет! Шага настоящего — нет! Полк в совершенно неудовлетворительном состоянии!

Командир полка, впрочем, довольно спокойно выслушал распекания корпусного начальника, офицерам же сказал:

— Ничего, посмотрим, что его высочество завтра скажет, когда конный строй увидит. А вы уж, господа, не ударьте лицом в грязь.

Не ударили. Лорис-Меликов сам удивлялся потом, как все складно, хорошо получалось у его взвода. Причиной тому был общий настрой, увлекший за собою каждого гусара в полку. Куда-то делись и вчерашняя неуверенность в себе, и волнение, и даже самые неумелые в тот час как-то подтянулись и выглядели пред великим князем молодцами.

Князь Багратион-Имеретинский, надо сказать, пешего строя недолюбливал, считая доблесть гусара не во фрунте, а в иных достоинствах. Зато строй конный — о, это совсем другое дело. Сам генерал наездником был великолепным, лошадей знал и любил. Их он тоже, как и рядовых гусар, делил на четыре класса по пригодности к службе: 1-й — хорошей езды, 2-й — посредственной, 3-й — капризных в езде, 4-й — вовсе не выезженных. К осени 1843 года лошадей 3-го и 4-го класса в полку вовсе не осталось, а на смотр отобраны были только первоклассные.

Князь был богат. Как наследник упраздненного имеретинского престола, он получил от русского правительства 600 тысяч рублей, да и женат был чрезвычайно выгодно на графине Стройновской, получившей в приданое полторы тысячи крестьян. Денег своих Дмитрий Георгиевич не жалел, и в конюшне у него находилось всегда не менее тридцати породистых лошадей его собственного завода, которыми он украшал фланги всех шести эскадронов на смотрах и парадах.

Еще в 1838 году, приняв полк, генерал Багратион едва ли не первым делом отправился по конюшням проследить, как содержатся лошади. Сразу же обратил внимание на то, что меры — бадьи, в которых каптенармусы дают овес лошадям, заметно меньше, чем следовало. Обозвав каптенармусов жуликами и кривомерами, князь тотчас же распорядился заменить все меры на новые соответствующего образца. Что вроде и было исполнено. И вот аккурат за неделю перед корпусным смотром ранним темным утром генерал как снег на голову

нагрянул в конюшню 2-го эскадрона. Артельщик в этот час кормил лошадей Бог весть где раздобытой старой мерою.

Князь пошел красными пятнами от гнева:

— Эскадронного! И немедленно!

Бедного ротмистра Цейдлера стащили с постели.

— Что у вас за порядки, ротмистр! Я... я не позволю издеваться над лошадьми! Вы их обворовываете! — Генерал размахивал перед носом несчастного эскадронного пустой мерою.

И пошло-поехало. Бедный ротмистр, испытанный в кавказских боях, стоял ни жив ни мертв. Наконец, гнев генеральский изошел.

— Я прошу вас, ротмистр, примите свои меры, — закончил Багратион свою грозную речь.

— У меня была одна, ваше сиятельство, — отвечивал Цейдлер, — да и ту вы отняли.

— Дурак! Я у тебя и шпагу отниму. Пять суток ареста!

И «русский немец белокурый», как прозвал Михаила Цейдлера в свое время Лермонтов, отправился под арест, а история, с ним приключившаяся, долго еще потешала полк.

Смотр в конном строю прошел столь успешно, что великий князь забыл о своих нареканиях, и гроза над гродненцами миновала, если не считать ареста несчастного Приклонского. Впрочем, смотры великого князя редко сходили без наказаний. Много лет спустя, разговарившись как-то с бывшим лейб-гусаром Александром Абазой о Михаиле Павловиче, Лорис-Меликов нашел объяснение такой свирепости командира гвардейского корпуса, человека в общем-то незлобивого и легко отходчивого.

Михаил Павлович женат был на германской принцессе Фредерике-Шарлотте-Марии, в православном крещении Елене Павловне, и нельзя сказать, что был счастлив в своем браке. Елена Павловна значительно превосходила мужа своего и в уме, и в характере. Впрочем, обнаружилось это, когда Михаила Павловича не было в живых, да и самого императора не стало. Абаза в конце 50-х состоял гофмейстером великой княгини и имел немало случаев убедиться в достоинствах ее ума в пору подготовки крестьянской реформы. Впрочем, вдовой Елена Павловна была великолепной, память о муже почиталась в Михайловском дворце священной, но в ее воспоминаниях о покойном супруге проскальзывали реплики, достаточно красноречивые для чуткого уха. Оставалось догадываться, какие муки терпел великий князь в собственном доме.

Нет начальника свирепее, нежели муж-подкаблучник, угнетенный превосходством своей супруги. А гродненцам в этом смысле повезло особенно: в Польше их шефом долгое время был Константин Павлович, отказавшийся от престола из пренебрежения к династическому браку, за что младший брат из тайной зависти очень не любил Константина.

По отбытии корпусного командира наступила неделя отдыха, которая ничем не запомнилась, поскольку начался такой гусарский кутеж, что вся эта неделя превратилась в какие-то единые полупьяные сутки. Князь Багратион был довольно снисходителен к такому времяпрепровождению гусар, он ведь тоже когда-то слыл отчаянным бретером и лихачом. Но в один прекрасный день его сиятельство сам явился в Сумасшедший дом и объявил:

— Делу — время, потехе — час. Чтоб завтра все были как стеклышко.

В ход пошли для кого огуречный рассол, а для кого и нашатый спирт, но на следующий день господа офицеры были в надлежащей форме и готовы к дальнейшим учениям, смотрам, разводам караулов et cetera.

Сын Кавказа, корнет Лорис-Меликов любил лошадей. И чем капризнее, норовистее был жеребец, тем с большим азартом молодой офицер занимался укрощением его буйного характера. Он полагал, что хорошие боевые кони получаются именно из самых трудных в обучении экземпляров.

Взгляд у Стервеца был хитрый и иронический. Наклонит голову, посмотрит искоса и вот, кажется, заговорит: «А все равно сброшу!» И сбрасывал поначалу. И кусался, да так, что берейтору Тимохину недели две руку, пожеванную конем, лечили. Да ведь корнет Лорис-Меликов тоже упрям и, если надо, характером крутоват. И внимателен. За кормежкой Стервеца наблюдал сам и изредка давал из своих рук то булку, то сахару кусок и однажды увидел, что жеребцу больше всего нравится черный хлеб с солью, но не простой, а недавно изобретенный в женском монастыре на Бородинском поле его настоятельница. Говорят, она вдова генерала Тучкова 4-го, решившая всю оставшуюся жизнь молиться за героев Отечественной войны. Этот хлеб бородинский со сладковатым привкусом крови, чтобы помнили, на каком поле рожь выросла, она полагала главным своим достижением. Ломоть бородинского действовал на Стервеца самым волшебным образом — он даже барьеры стал брать легко, будто никогда и не вставал пред ними на

дыбы, не упрямылся, а, напротив того, видел в их преодолении величайшее для себя удовольствие.

С людьми — рекрутами последнего набора — дело обстояло похуже. Русскому крестьянину, насильно разлученному с плугом, тяжко давались и легкая сабля, и фрунт, и выездка. А молодой корнет, выученный всему с отрочества, никак не мог взять в голову, что элементарные приемы воинской службы вообще могут представлять для кого-то трудность. Он терял терпение, срывался на крик, приходил в отчаяние и чуть не плакал, видя непроходимую тупость новобранцев.

Командир эскадрона ротмистр Арнольди посмотрел на муки взводного и, вспомнив собственные страдания, преподал корнету, потребовавшему от него строгого наказания двум особенно неспособным и упрямым солдатам, урок.

— Только плохой командир жалуется на подчиненных. Вы уж, корнет, доверьтесь во всем фельдфебелю: доводить этих господ до ума — его дело. И будьте терпеливы.

— Александр Иванович, но они ж простых команд понять не могут! Не гусары, а мешки с брюквой.

— А вы их видели на огородных работах? Посмотрите — прелюбопытнейшее зрелище. Ловкость, быстрота, азарт — откуда что берется. И попробуйте сами. Вы на огороде будете смотреться таким же тупицей и неумехой, как самый плохой рекрут. Их, бедолаг, жалеть надо, а не наказывать. А фельдфебели и унтера дело свое знают — через год вы эти мешки с брюквой не узнаете. Гвардейский офицер должен не только в свете держать свои чувства в узде.

Вот эта-то наука — держать свои чувства в узде, когда можно не стесняться, — постигалась крайне трудно. Солдата отдавали офицеру как бы во временное крепостное состояние, так что редко кто из взводных и даже эскадронных командиров задумывался дать в морду непонятливому нижнему чину. Зимой, когда ученья проходили в полковом экзерциргаузе — то есть манеже, просторном настолько, что для парада весь полк в конном строю вмещался в нем глаголем, загигая лишь один эскадрон поперек, а в пору учений в одну смену занимались три эскадрона сразу, гул от пощечин и солдатских стонов был, пожалуй, основным звуковым фоном.

И однажды корнет Лорис-Меликов, биясь над непонятливым богатырем Пахомовым, который никак не мог взять в толк простейшей команды «Кругом!» и норовил разворачиваться через правое плечо, в сердцах заехал-таки непроходи-

мому тупице по роже. Ладонь попала в какое-то месиво — холодное, сырое и мягкое. И такое омерзение наступило, так стало стыдно! Он поднял взгляд на солдата — кровь хлестала из носа, а глаза, полные слез, смотрели тупо и наивно. Будь этот Прохоров не подневольный рядовой гусарского полка и дай ему свободу ответить обидчику, что бы случилось с этим корнетом Лорис-Меликовым! А так он даже носу вытереть без начальского позволения не смеет.

Михаил бросился вон из экзерциргауза. С этого дня он ни разу не поднял руку ни на одного солдата. Позже, освоившись со службою, и унтерам не давал распускать кулаки. Те, конечно, мордобойствовали по-прежнему, но только в отсутствие Лорис-Меликова.

С февраля возобновились начальственные смотры, а по праздникам и воскресеньям — церковные парады, разводы, подъезд ординарцев, короче, муштра. И как-то незаметно подступила весна, выгнала полк из манежа на плац под солнышко и веселые дожди, начались приготовления к лагерному сбору. Учения шли теперь по два раза в день до полной одури. В Школе, несмотря на близость экзаменов, весенние ветры выдували всякое усердие, строгости ослабевали сами собою, юнкера повесничали, как выпущенные из клетки. В полку же весна обернулась каторгой, и чем теплее были деньки, тем мрачнее и угнетеннее чувствовали себя молодые гусары.

Но вот и 3 июня подкатило. Гродненский гусарский полк выступил в поход.

Взводу Лорис-Меликова назначено было идти в авангарде, то есть на 120 сажен впереди всех эскадронов, и выход происходил под особо пристальным взором Дмитрия Георгиевича Багратиона. Ну так и есть — рядовой Матвеев из новобранцев последнего набора посадкою своею отнюдь не украсил строя, и полковой командир в назидание взводному задержал выход всей колонны, пока несчастный Матвеев не примет должного вида. Раз четыре генерал останавливал взвод, возвращал на место, снова командовал «Вперед!» и снова возвращал на исходную позицию. Пытка длилась, наверное, с полчаса, но на виду у всего полка, и корнету казалось, что все злятся и досадуют на него или, что еще хуже, позорнее для гвардейского офицера — смеются. И эти полчаса тянулись как добрые сутки. Гнев кипел в пылкой груди корнета. Он ненавидел в тот миг князя Багратиона и желал ему всех и всяческих кар. Во всяком случае, скорой смерти.

И полутора лет не пройдет, как Лорис попомнит свои проклятья с ужасом и стыдом. Генерал был для своих чинов молод, крепок и хвастлив. Он бравировал своей закалкой и, южный человек, купался в холодном Волхове до ледяных прибрежных корочек. Вот и купался.

Высочайшим приказом 22 сентября 1845 года командир Гродненского гусарского полка князь Багратион-Имеретинский был назначен командующим 2-й легкой гвардейской кавалерийской дивизией, но, поскольку на его место нового назначения еще не последовало, оставался в полку. А 1 октября генерал, как обычно, искупался в Волхове в день пронзительно холодный, ветреный, со снежной крупой, валившейся с завихрениями со свинцовых небес. Вечером генерала била лихорадка, бывалый гусар выпил рому с медом и наутро сидел уже на своей вышке над манежем, наблюдая в подзорную трубу за учениями.

Добрую неделю командир полка геройствовал и, несмотря ни на какой жар, поднимавшийся вечерами, не желал укладываться в постель. Но болезнь не унялась и свалила-таки князя, 10 числа полковой врач — теперь он отдавал приказы непокорному генералу! — велел везти его в Петербург. А 8 ноября ординарец великого князя Михаила Павловича привез приказ командира корпуса всем офицерам полка явиться в Санкт-Петербург на похороны своего командира.

Это была первая смерть, так близко увиденная Лорис-Меликовым. И он клял себя, что дурацкими, пустяковыми досадами накликал ее, уж лучше на целый год заключить себя на гауптвахте, чем стоять, как сейчас, в почетном карауле над гробом самого молодого гвардейского генерала — человека нрава вспыльчивого и необузданного, но в общем-то доброго и преподавшего немало уроков. Крутой в полку, князь Багратион насмерть стоял за своих офицеров перед грозным начальством, кары его на свой страх и риск смягчал, а полк — сам Михаил Павлович признал это — стал под его началом образцовым во всей гвардии.

Но все эти мысли придут в ноябре 1845 года, а сейчас светит солнце 3 июня и князь Багратион кажется бессмертным, как злой Кощей из сказки. И вообще все бессмертны, и поскорее бы князь выпустил авангард из Штаба, Стервец под корнетом нервничает и вот-вот сам собьет строй.

Поход был как воля, несмотря на ночные дежурства, на учения пешего по конному строю. Чувства офицеров, впервые

участвовавших в походе, сродни были едва сдерживаемым порывам Стервеца. Конь жил в те дни одними ноздрями, вдыхавшими новые ветры неведомых пространств. Хотя что там за неведомые пространства — двести верст езженных-переезженных дорог.

Пройдет еще время, и этот маршрут от станции Спасская Полисть до станции Померанье, а далее Тосна — Ижора — село Александрия — Царское Село — Красное Село превратится в подобие Невского проспекта: пробегаешь дома, когда-то восхищавшие красотой, и не видишь. Только вдруг бросится в глаза то завершение колонны, то картуш с чьим-то причудливым гербом, залюбуешься на миг и побежишь дальше по суетным делам своим. Через месяц этих важных дел и не вспомнишь, но картуш, так восхитивший всего на миг, останется. Как закатное небо с прозеленью на пути между Тосной и Ижорой, зачаровавшее тебя на исходе 6 июня 1845 года и однажды в бессонную летнюю ночь 1888 года в Висбадене с ясностью необычайной явившееся. И весь следующий день будешь вспоминать, когда в тот год полк вышел в поход, шарить по старым календарям, чтоб уточнить за чем-то, которого числа ты тот закат увидел.

Едва достигли Красного Села, едва отдышались, начались малые маневры в присутствии самого императора, великого князя Михаила и десятка двух иностранных генералов. Русская гвардия демонстрировала непобедимую мощь свою. Военный атташе Франции, еле сдерживая сардоническую улыбочку, переглядывался с военным атташе Великобритании, а это не укрылось от взгляда Николая Павловича, но только подзадорило его, он взял команду на себя; величественный голос его императорского величества трубил приказания, гвардейцы воодушевлялись такою честью и одолевали рвы, барьеры, перестраивали ряды с каким-то особым восторгом. А на иностранных генералов смотрели с победоносным превосходством. Каждому ясно было как день: пусть только сунутся, мы им покажем!

Они и сунутся через десять лет. А что мы им покажем? Ох и отольются царю-батюшке слезки выдрессированных за мордобойные зимы образцовых гвардейских солдатиков с их начищенными до сияния и полной невозможности попасть в цель ружьями!

Но то будет через десять лет, а сейчас гвардия во всей красе и блеске! Радуетса царский глаз, бьются восторженные сердца гусар, драгун, егерей. Великий государь великой державы! Ни-

колай и примеривал к себе этот титул, что ждет его после смерти: Николай Великий, как Петр и Екатерина. А что иные окрестили его Палкиным, так что ж, пусть их. Бояться — значит, любят.

Нет, ваше величество. Бояться — значит, обманывают. Вы не заметили, что кирасирский ротмистр Лазарев, чтоб показать вам высочайшего класса выездку чужого эскадрона, чтоб вы его не узнали в лицо, обрил усы и бакенбарды? А ординарцем того же эскадрона вместо поручика Сосновского отъездил Федоров 1-й? А если когда-нибудь потом откроется обман, вас ведь только развеселит такая находчивость хитрого полкового командира.

А вообще маневры в тот год прошли блистательно. Гродненский полк, не прибегая на сей раз к обману (а это еще предстоит, и тот же Лорис-Меликов заменит собою на параде в будущем году неудачника Приклонского), заслужил особое благоволение императора, что и было объявлено в приказе по гвардейскому корпусу.

А какая гульба настала сразу по окончании маневров!

Все рода гвардейских войск перемешались между собою. Идешь ночевать к семеновцам, где ждут тебя однокашники братья Мазараки, просыпаешься у карточного стола в расположении лейб-гвардейских гусар. Там Лорис-Меликова Василий Абаза познакомил со своим кузеном Александром, только что вернувшимся с Кавказа при ордене Владимира 4-й степени. Тот как-то очень ловко рассказывал о стычках с горцами, вроде ничего о себе не говоря, но все как-то так клонилось в его рассказах, что впору его не Владимиром, а Георгием награждать. Пил Абаза-старший мало, больше подливал товарищам. Когда Лорис заметил столь ловкий прием, стал осторожничать. Но в картах Абаза был азартен и неукротим. Говорят, он довольно богат, а потому щедр.

Деньги идут, как известно, к деньгам. Хотя и расточителен Абаза, но за ломберным столом ангел над ним летал — всегда в выигрыше. Как Николенька Некрасов, тот в последнее время стал поправлять свои дела игрою и редко выходил из-за стола с пустым бумажником.

В первую же картежную ночь Михаилу пришлось расстаться с мечтою о новом коне, на которого только что прислали денег из Тифлиса.

— Нет, с тобой решительно нельзя садиться, — сказал он Абазе, отсчитывая проигрыш.

— А ты и не садись. Со мной отыгрываться не советую.

Мораль чрезвычайно развеселила корнета. Вообще этот поручик с новеньким орденом понравился Лорис-Меликову. С ним всегда интересно и как-то остро. Никогда не знаешь, серьезез он говорит или шутя издевается над тобою. И в разговоре с ним самому приходится изоощаться в уме и напрягать слух и чувство юмора, что придавало особую прелесть общению для одних и глубоко оскорбляло других, болезненно воспринимающих чье-либо над собою превосходство. Помимо ума природного, Абаза был начитан и с легкостью мог переходить от обсуждения нового перевода «Гамлета», исполненного господином Кронебергом, к растолкованию экономических теорий Рикардо, входивших в запоздалую моду среди российских умов. И с тою же легкостью оставлял умные разговоры и предавался гусарскому кутежу, как какой-нибудь юный и глупый выпускник Пажеского корпуса. Через год этот гусар-гвардеец отмочит шутку. Выйдет в отставку и, к общему недоумению презрению, поступит в университет.

Так в учениях и кутежах пролетят четыре года в Гродненском гусарском полку. Пройдет энтузиазм новизны, и даже покупка за десять тысяч нового коня, красавца Веллингтона, едва ли скрасит скуку повседневности. Веллингтон был понятливее Стервеца, в скачках с барьерами он даже знаменитого Глазунчика, которого Арнольди проиграл в карты штабс-ротмистру князю Лобанову-Ростовскому, оставлял далеко позади, но Ах полковника Халецкого и жеребец Ринальдо ротмистра Константина Штакельберга — самый дорогой конь в полку — все же превосходили статью и выездкой Веллингтона. Смирившись с этим грустным обстоятельством, Лорис-Меликов охладел и к конным упражнениям. И все чаще и чаще скука овладевала молодым офицером. Чины в гвардии ползут медленно, только к исходу 1844 года корнет Лорис-Меликов произведен был в поручики. Ордена воинственным честолюбцам за маневры и парады в Красном Селе тоже не светят, а уж после первого отпуска, проведенного дома, в Тифлисе, страстно захотелось на Кавказ, пусть даже в самый захудалый армейский полк.

Впрочем, однажды гродненцы были отмечены особою благодарностью корпусного командира и даже самого императора.

В ту пору в десяти верстах от Штаба Первого округа шло грандиозное строительство железной дороги. Поскольку вся жизнь офицеров за пределами Штаба протекала в основном в



Спасской Полисти, то в гостинице, то в лавке купца Малеева, где гродненцам всегда был открыт кредит и вино лилось рекой, жизнь станции не была для них тайной. А строительство совершенно нового для России пути сообщения вызывало к тому же и любопытство чрезвычайное.

Любопытство удовлетворено было скоро, слишком скоро. И его сменила искренняя скорбь. Работали на железной дороге крепостные крестьяне близлежащих имений, отданные своими помещиками внаем подрядчикам. Получив деньги, так легко и, как всегда, кстати свалившиеся на них от щедрого государства, помещики и думать забыли о своих подданных. Подрядчики же управлялись с дармовой рабочей силой по старинной поговорке: «Лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой». Кормили их весьма скудно и черт знает чем, лишь бы с голоду не подошли, о какой-либо казенной одежде и разговору не было. Дождь не дождь, мороз не мороз — копай себе ледяной или мокрый грунт, и, давай-давай, без разговоров. На строительстве началась эпидемия горячки, смерти уже исчислялись десятками, но это мало кого заботило.

И тогда гродненцы, напрасно похлопотав за несчастных рабочих перед строительным начальством, сами организовали подписку, собрали 500 рублей — деньги по тем временам немалые, купили большую и чистую избу в Спасской Полисти, наняли врача и фельдшеров, и больница для заморенных, измощенных творцов прогресса заработала.

Подрядчики стали ябедничать в Петербург на партизанскую помощь непрошенных благотворителей, но жалоба их имела обратный эффект. Когда узнал об этом великий князь Михаил Павлович, он вступился горой за своих, выговорил Клейнмихелю, не стесняйся угроз, а царя умилил и растрогал повестью о доброте гродненцев. И по всему гвардейскому корпусу издал приказ следующего содержания:

«Известившись, что господа офицеры лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, сострадая беспомощному положению бедных больных крестьян в деревне Спасской Полисти, пожертвовали из своей собственности 500 рублей, наняли близ почтовой станции особую избу, устроили больницу и поручили надзор и попечение о больных содержанию почтовой станции, Я поручил господину начальнику штаба довести о сем до сведения дежурного генерала Главного штаба Его Императорского Величества. Ныне господин военный министр, от 6 апреля

1845 года за № 2931, уведомил меня, что Государь Император изволил принять известие о сем благотворительном поступке с особенным удовольствием, как новое доказательство благородного образа мыслей и чувствований господ офицеров, под начальством Моим состоящих. С особенным удовольствием делая известным по войскам гвардейского и гренадерского корпусов столь Всемиловейший отзыв Государя Императора, приятным долгом считаю объявить господам штаб- и обер-офицерам лейб-гвардии Гродненского гусарского полка и Мою искреннюю благодарность за их благотворительный и похвальный поступок.

Генерал-фельдцейхмейстер *Михаил»*.

Когда в экзерциргаузе перед строем зачитывали приказ, sentimentalный комочек распирал горло. А ведь и действительно, кое у кого из офицеров слезы блеснули из глаз. И поручик Лорис-Меликов был в тот момент чрезвычайно горд собою, что целых 25 рублей оторвал от своих карманных расходов на столь благородное дело... А спустя сорок лет приказ этот попал на глаза Лорис-Меликову. Горько стало за ту свою гордость и грустно оттого, что ни царю, ни августейшему братцу его и в голову не вошло, что это их была прямая обязанность — «сострадать беспомощному положению бедных крестьян», и не просто сострадать, а не доводить их до такого положения и в деле употребить необъятную свою власть.

По приказу государя императора с 1838 года офицеров гвардейских полков по одному ежегодно командировали в Кавказскую армию, но тут существовала долгая очередь, и только в 1847 году, целых четыре года оттрубив в гвардии, поручик Лорис-Меликов был удовлетворен в своем рапорте с просьбой послать его на войну с горцами. Кстати, он будет и последним командированным на Кавказ гродненцем. Кавказский наместник князь Воронцов исхлопочет от государя отмену этого обычая. Гвардейцы, покрасовавшись в двух или трех стычках, производились в следующие чины, щедро награждались орденами, а старые кавказские офицеры оставались ни с чем. К тому же в Петербурге гвардейцы, в силу знатности своей, излагали свои дилетантские впечатления о войне, и мнение молокососов поручиков и штабс-ротмистров авторитетностью превосходило опыт заслуженных кавказских генералов.

Проводы на Кавказскую войну — совсем не то, что в отпуск или в ремонт за лошадьми. Тут установилась традиция, уч-



режденная, говорят, еще Лермонтовым, когда отправлялся на Кавказ Цейдлер, затихшая было в последующие годы, но после гибели поэта ставшая обязательной церемонией. И тут главным лицом и организатором был «русский немец белокурый». Довольно рассеянный в полковых учениях, тут он был пунктуален и тщателен, чтоб все повторялось точь-в-точь как при Майошке.

На станцию Спасская Полисть высылались полковые трубачи. Виновник торжества возглавлял кавалькаду на своем Веллингтоне. За ним следовали — кто верхом, кто в кибитке — все офицеры полка. Только генерал Бреверн, командир, сменивший Багратиона, вежливо уклонился от чести, когда был приглашен на проводы. Зато подарил поручику Лорис-Меликову великолепную саблю.

У станционного дворца, больше похожего на каменный комод или казарму, но заведения чрезвычайно чистого и уютного внутри, господа офицеры, выстроившись и образовав каре вокруг поручика, единственного оставшегося верхом, были встречены полковым маршем. Ротмистр Цейдлер, по новой традиции, вошел первым в станционное здание, осмотрел убранство стола и отрапортовал низшему по чину, но в этот час разве что не генералу Лорис-Меликову, что зал для приема готов.

Стол блистал стеклянными столбцами винных бутылок, возвышавшимися над блюдами с различными салатами, семгой, осетриной, бужениной и ветчиной. Тут и грибки — соленые грузди, маринованные боровички и маслята, махонькие пупырчатые огурчики в крепком рассоле. И душа сама жаждет холодной-холодной, чтоб в зубах застыло, водочки со льдинкой, и чтоб романс под гитару, и слезу утереть белым шелковым рукавом. И все это вам будет сейчас, господа офицеры! Вот только свет зажжем. Во все подсвечники и все оставшиеся с былых кутежей пустые бутылки были вставлены свечи, расставлены на столе и подоконниках — зал засиял, а добрейший хозяин Карл Иванович широким жестом пригласил господ офицеров к столу.

После первого тоста с напутствиями не посрамить чести гродненских гусар и показать презренному Шамилю, каково иметь дело с русской гвардией, всякие церемонии закончились. Гордость Карла Ивановича — запеченную индейку — почти и не заметили, хотя приветствовали весьма шумно, в такой уж градус вошли. Лорис-Меликову было как-то отчаянно весело сегодня. Он смотрел слегка ословевшими глазами на товари-

щей гусар, прощался с ними... Прощался так, как прощаются в молодости, — вроде бы понятно, что разлука, хотя он уходит всего лишь в отпуск и годичную командировку, будет надолго, но упрямая душа по-настоящему этого не чувствует. Не завтра, так через полтора года обнимет он и Цейдлера, и Лобанова-Ростовского, и Арнольди — и всех-всех-всех, с кем он сдружился за четыре года полковой службы. А ведь почти со всеми товарищами своими он сидит за столом последний раз в своей жизни. Он уже *никогда* не увидит ни Голубцова, ни Леонова, с которыми начинал службу, ни Цейдлера, ни князьку Лобанова-Ростовского, ни даже Цуката — корнета Костю Савельева, которого он в силу школьного братства опекал в полку. Гордого и спесивого красавца с легкой проседью по вискам Казимира Гедройц-Юрагу он, впрочем, увидит. Жалкий, слезящийся старик с предсмертной желтой маскою, каковою покажется его лицо, явится с бестолковой жалобой на обидчиков купцов, и министру внутренних дел придется из чувства бывшего гродненского братства вникать в какие-то бытовые пустяки, вступать в хлопоты, уже ненужные, — в разгар их придется хлопотать о другом, о достойных похоронах когда-то блестящего гвардейца.

Но в двадцать два года понятие *никогда* подменено живым и стойким чувством *всегда*. Из зимы 1847 года не видно глубокой осени 1880-го. Поручик Лорис-Меликов весь в сейчас, в веселом сегодня. А сегодня гусары веселятся от всей души. Водка, вино пьются с легкостью, чуть голова вскруживается от восторга и любви решительно ко всем, даже к тем, кто был с ним холоден и нелюбезен. Лорис вроде дольше всех удерживался на ногах, но очнулся в кибитке уже наутро верстах в двадцати от Спасской Полисти.

Ямские лошади везли его в новую жизнь.

## АДЪЮТАНТ ЕГО СВЕТЛОСТИ

Гвардии поручик Михаил Лорис-Меликов поступил в распоряжение канцелярии Главноначальствующего Кавказской армией и наместника его императорского величества на Кавказе фельдмаршала светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова. Где-то там, в дебрях Чечни и Дагестана, шли сражения с мюридами Шамиля, и поручик ждал, что его, несомненно, отправят туда. И уже готовился приказ о его направлении в действующий отряд, осталось только представиться самому

главнокомандующему — обряд, обязательный для всех гвардейских офицеров, командированных на годовую службу в Кавказской армии.

Впервые попав во дворец наместника, Михаил, еще пока переступал порог, был спокоен и уверен в себе, но уже у высоких дверей кабинета невольная тревога и волнение овладели им, он подобрался, как на параде пред светлыми очами его величества, стал нервен и, как всегда в такие моменты, обостренно-чуток. Дежурный адъютант Воронцова князь Александр Дондуков-Корсаков был весел и насмешлив, на словах успокаивал, но как-то так успокаивал, что еще более усиливалась тревога.

Дверь распахнулась.

После восьми лет учения в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, службы в гвардейском полку и в красносельских лагерях Лорис-Меликов навиделся русских аристократов, и уж тут его вроде бы ничем не удивишь.

Порода. Вот первое, что приходит в голову, когда поднимаешь взгляд на этого высокого, тщательно выбритого старика с седой головой и густыми бровями над ясно-серыми глазами. Осанка гордая, прямая, но притом нет и следа аршинной воинской выправки — той, что вбивали в гвардейцев по вкусу императора и младшего брата его. Воронцов совсем недавно был пожалован титулом светлейшего князя, и многие в Тифлисе, путаясь с непривычки, величали его по-старому графом, но впечатление было такое, что он принял новый титул от рождения и носил его с гордым достоинством всю жизнь, нимало не задумываясь о превосходстве своем над простыми смертными.

Держался князь на удивление просто. Расспрашивал Лорис-Меликова о гвардейской службе, о том, где учился, и был слегка удивлен тем, что поручик, оказывается, прошел почти весь курс Лазаревского института восточных языков. Тогдашняя перемена в судьбе будущего офицера вызвала добрую улыбку на губах князя, он выразил надежду, что пора проказ прошла, а знания экзотических наречий остались. Разговор шел на французском языке, и Лорис-Меликов показал четкость произношения почти парижскую. В беседе с князем он легко успокоился и чувствовал себя почти непринужденно, как это бывает на экзамене в такую счастливую минуту, когда память невесть откуда подает ответы на самые каверзные и замысловатые вопросы.

Вышел из кабинета чрезвычайно довольный главным начальником на Кавказе. Остался ли им доволен сам Воронцов?

А это выяснилось уже на следующий день. Вместо отправки на Линию, то есть место боевых действий, поручику предложили состоять для особых поручений при главнокомандующем. Должность непонятная, пугающая ответственностью и такой близостью к столь высокому начальству. Что это за особые поручения?

Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов был счастлив своей участью особы, наиболее удаленной среди особ, приближенных к императору. Как в Новороссийской области, так и здесь, на Кавказе, он был сравнительно свободен в своих действиях и далеко не все бюрократические глупости Санкт-Петербурга, чуть ли не ежедневно присылаемые с фельдкурьерами в форме циркуляров, указаний, рекомендаций, принимал к немедленному исполнению. Столица достаточно оскрамялась, послав его, только назначенного наместником и еще не успевшего понять, что к чему, в 1845 году отвоевывать у Шамиля крепость Дарго по планам, разработанным в тиши Главного штаба Бог весть кем и основанным на Бог весть чьих сведениях об особенностях Кавказской войны. Сил только и хватило, чтобы сохранить честь и отступить со всеми полковыми знаменами, угробив при сем тысячу солдат и офицеров убитыми и более двух тысяч ранеными.

Воронцов был не столько хитер, сколько дьявольски умен и проницателен, редкостью для человека столь высокого в Российской империи эпохи Николая I ранга образован, а потому весьма скептичен и насмешлив к нынешним отсталым порядкам. В имениях своих князь очень давно ярем барщины старинной оброком легким заменил, не продал и не купил ни единой крепостной семьи и с радостью дал бы вольную всем крестьянам, если б уверен был, что после такого демарша уцелеет на плечах его седая голова. Царь-батюшка подобных покушений на древний обычай не терпел и в расправах был крут.

Кавказский край, по традиции, достался Воронцову в неотчетливом, как в ту пору говаривалось, виде, и на первых порах голова шла кругом от злоупотреблений местных властей. Лучшие земли, подлежащие быть казенными, продавались частным лицам по ценам, смехотворным для казны и солидным для чиновников, ими распоряжавшихся. И первым делом нового наместника была даже не война с неумными горцами, а сильное наведение порядка. Много голов полетело — кого под суд, кого в отставку от хлебного места. Впрочем, так поступали и до Воронцова, и после него.

Мало того, князь обнаружил, что, в нарушение всех законов Российской империи, гражданские чиновники, офицеры и даже купцы покупали в каких-нибудь тамбовских или нижегородских имениях мужиков, женщин и даже детей для их собственного обслуживания. Поскольку на Кавказ народ шел служить в общем-то бедный, земли за собою не имевший, никто из этих господ не имел права покупки крепостных. При императоре Александре I крепостные, приобретенные незаконным способом, едва это обнаружилось, отпускались на волю. Но по закону 16 июня 1833 года сделка опротестовывалась, а крестьяне поступали назад к своему оштрафованному, а потому особо лютому помещику.

Во все эти юридические тонкости пришлось входить молодому гвардейскому поручику Михаилу Лорис-Меликову, едва он приступил к своей кавказской службе 27 июля 1847 года в должности офицера для особых поручений при Главнокомандующем Кавказской армией. Двадцатидвухлетний поручик мечтал о жарких схватках с горцами, подвиги ему грезились... А тут — на тебе!

Утешало, правда, то, что попал он на эту должность за геройской гибелью своего предшественника — ротмистра Глебова 2-го. Значит, и ему не век просиживать в конторе. И его рано или поздно отпустят, как Глебова, на настоящее дело.

Это тот самый Михаил Павлович Глебов, который был секундантом на дуэли Лермонтова с Мартыновым. В адъютантской долго еще вспоминали этого человека и к новичку приглядывались не без настороженности.

Глебов был из блестящих кавказских офицеров. В самую первую свою командировку на Кавказ из Конногвардейского полка он попал в плен к горцам. Дело давнее, но оно столько наделало шуму в свое время, что рассказы о нем передавались из уст в уста много лет, и потом уже и Лорис-Меликову стало казаться, будто он эту историю слышал от самого Михаила Павловича. Корнет Глебов с курьерскими надобностями ехал на перекладных из Тифлиса в Ставрополь. Осталось-то всего верст пятьдесят пути, когда у Базовой балки встретил он недавнего знакомого своего, казачьего офицера Атарщикова, в окружении вооруженных людей, что на дорогах Северного Кавказа и неудивительно. Офицеры кинулись друг другу в объятия, Атарщиков стал расспрашивать о тифлиских новостях... И вдруг его свита выхватывает пистолеты, убивает почтовых лошадей, а Глебова связывают и увозят куда-то в степь и дальше,

дальше в горы. Привезли корнета в глухой черкесский аул, где беднягу заковали в цепи и держали почти без еды в какой-то яме, сырой и темной. Черкесы приняли конногвардейца в не виданной на Кавказе форме за весьма знатную особу и затребовали за него какой-то немыслимый выкуп.

Генерал Петр Петрович Нестеров, так и не дождавшийся в Ставрополе Глебова, человек весьма добродушный и склонный к сантиментам, чувствовал свою вину, хоть и невольную, перед молодым офицером, но и потакать торговцам живыми людьми не хотел. Он договорился с одним из мирных черкесских князей, тайно перешедших на русскую службу, и Глебова в один прекрасный день выкрали из плена. Только выйдя на свободу, Глебов узнал, что этот стервец Атарщиков растратил полковые деньги, бежал в горы, изменил присяге и, чтобы выслужиться перед черкесами особой удалью, сдал им несчастного конногвардейского корнета.

Через год Глебов возвратился на Кавказ окончательно, был тяжело ранен при Валерике и, не успев вылечиться как следует, за участие в лермонтовской дуэли загремел на гауптвахту и ждал кары, гораздо более суровой, чем последовала. За участие в дуэли со смертельным исходом Глебову грозило в лучшем случае разжалование в солдаты, да так бы оно и было, если б пал Мартынов. Но царь очень уж не любил Лермонтова, а посему и приговор оказался не по-николаевски мягок. Глебов и князь Васильчиков, пережив под следствием нестрогий арест, были освобождены с единственным наказанием — обходом в чине. Да и эта кара для Глебова, показавшего себя храбрецом в боях, длилась не очень долго, и князь Воронцов намеревался по возвращении отряда произвести его в майоры.

Глебов был не только храбр, но довольно-таки толков в делах, с людьми любого ранга обходителен, так что тень его витала над преемником долгим укором. Лорис-Меликов ждал, что достойно заменит Глебова в отряде генерала Фрейтага где-нибудь в диких ущельях Дагестана, но его посадили за скучные бумаги. Надо было составить письмо министру юстиции о том, что закон от 16 июня 1833 года практически неприменим ни на Кавказе, ни в Новороссии и хорошо бы хоть какое-то время действие его в этих областях не распространять, а следовательно, людям, незаконно приобретенным, предоставлять полную свободу от крепостного состояния, независимо от пола и возраста.

Составление бумаг только на первых порах было скучным. Статский советник Щербинин, опытный канцелярист и знаток российского законодательства, подсказал ему, где искать соответствующие параграфы уложений, циркуляров и проч. для обоснования требований наместника.

Письмо получилось длинным, занудным, но весьма ловко и убедительно аргументированным. Адьютант Воронцова штабс-ротмистр князь Александр Дондуков-Корсаков, прочитав канцелярский опус Лорис-Меликова, напроць забраковал его.

— Видишь ли, — поучал адъютант, — у тебя все изложено хорошо и логично. Но Петербург логикой не прошибешь. Они верят параграфу, а не здравому смыслу, а у тебя параграфы эти как бы дело второстепенное. И еще: ты тут накатал шесть страниц! Это что же — действительно тайному советнику столько читать? Да побойся Бога! Ему эти буквы складывать — казнь египетская. Министру надо писать кратко и элегантно. Все остальное — в приложении, тоже кратко и элегантно, но и не худо дать понять, что мы тут, в кавказской глуши, тоже не лыком шиты и законы империи знаем.

Дондуков-Корсаков лишь недавно был приближен к его светлости Михаилу Семеновичу, его еще распирала гордость, а поскольку малый он был добрый, с новичком держался не высокомерно, а щедро. Годами Александр немного старше Лорис-Меликова, так что отношения у них установились вполне дружеские. И нередко поучения от старшего товарища Мишель — так поручика звали в адъютантской и канцелярии — получал не в одном лишь дворце наместника, а за бутылочкой кахетинского в ближайшей кофейне на Головинском проспекте. Тут князь Александр был откровеннее и ироничнее.

— Когда ты пишешь министру, помни, что это не столько полный статский генерал, сколько светский человек и старый приятель Михаила Семеновича. Поэтому никогда ничего не проси. Ставь перед необходимостью. Вот, мол, так сложилось, что впредь надо все делать по-нашему, край Кавказский исключительный, до конца не замиренный, надо считаться. Да, а писать надо крупными буквами. Письма по особо важным делам передаются императору. Его величество не любит затруднять свое зрение.

Легкий испуг ожег поручика. Он как-то не слыхивал, чтоб в разговорах о царе допускалась хоть тень насмешки. Позже он поймет, что таково отношение к императору самого наме-

стника, и пересимчивый Дондуков-Корсаков просто-напросто копирует светлейшего князя. Лорис-Меликов не заметит, когда и сам перейдет эту грань в верноподданнических чувствах своих и в мыслях — только в мыслях! — станет общаться с императором как личностью отсталой и недалекой.

Вообще здесь, на Кавказе, Лорис-Меликов, привыкший за четыре года службы держать себя по гвардейской струнке, будто бы приказ «Вольно!» получил. Главнокомандующий Кавказской армией фельдмаршал князь Воронцов, как оказалось, терпеть не мог парадов, смотров, разводов и прочей мучительной показухи. Насмешки над гвардией и ее шефом великим князем Михаилом Павловичем почитались в Тифлисе хорошим тоном. Собственно, тема эта — неукротимое солдафонство младшего брата его величества — и сблизила Лориса с Дондуковым-Корсаковым и ликвидировала их пятилетнюю разницу в годах, да и в чине тоже.

В молодом князе не утихла еще острая ненависть к Михаилу Павловичу. Сын попечителя Петербургского учебного округа, он по настоянию отца поступил на военную службу, о которой мечтал с детства, лишь после окончания университета. Чтобы попасть в гвардию, да еще офицером, следовало бы вновь сесть за парту в Пажеском корпусе, Школе гвардейских подпрапорщиков или Дворянском полку. Нет, это после четырехлетнего курса на юридическом факультете было бы слишком, и Александр поступил юнкером в кирасирский его императорского высочества цесаревича полк, всеми именуемый Гатчинским. Полк был армейский, но числился в гвардейском корпусе, а значит, участвовал во всех царских военных играх в Красном Селе, так что муштра здесь была умопомрачительная. Лорис-Меликову не надо много о том рассказывать, он хорошо знал Гатчинский полк — туда из Школы выпускали за очевидные неуспехи в науках. Сашка Нарышкин, оставшийся на второй год в последнем классе, загремел именно в гатчинские кирасиры. А когда-то туда же за буйный нрав и опять-таки неуспехи в науках угодил князь Александр Барятинский — самый молодой и отважный генерал на Кавказе.

Юнкера из университетских выпускников производились в офицеры через три месяца службы. Дондуков-Корсаков из кожи лез и заслужил наконец благорасположение сурового полкового командира генерала Арапова, который три раза представлял юнкера на смотру для производства в корнеты. И все три раза командующий гвардейским корпусом великий князь, посмотрев на Александра, отставлял его от смotra со словами:

«А-а, стю-у-дент. Рано еще, пусть подождет». И тянул несчастный студент юнкерскую лямку аж четырнадцать месяцев.

На Кавказ Дондукова-Корсакова Михаил Павлович тоже долго не отпускал. «Нечего там шалаберничать», — говаривал он и рвал с остервенением рапорт в клочья. После четвертого рапорта снизошел, издав приказ о переводе «с отчислением от кавалерии», то есть без производства в следующий чин.

И здесь, в Тифлисе, новые друзья долго тешили друг друга анекдотами о тупом августейшем самодуре, который, доведя гвардейский корпус до абсолютной непригодности к военным действиям, считал его образцовым. Дондуков-Корсаков, уже немало побывавший в делах и раненный в знаменитом Даргинском сражении, без шуток советовал Михаилу как можно скорее забыть все, чему учили в гвардии.

Довольно долго князь Воронцов держал офицера по особым поручениям Лорис-Меликова на известной дистанции, не очень подпуская к собственной персоне. Поручик получал задания через адъютантов и того же Щербинина. Но пристальный, испытующий взгляд наместника чуткий и нервный Лорис-Меликов ощущал весьма явственно. Так что кавказская вольность не так уж была и вольна, тревога и некоторая настороженность довольно долго не оставляли его.

Князь был чрезвычайно мил и любезен в общении, он очаровывал каждого, переступившего порог его кабинета. Но люди, близкие к наместнику, хорошо знали цену этой любезности. Сидит в приемной чиновник, вызванный к высокому начальству по чьей-то жалобе, дрожит от страха, но вот он входит к Михаилу Семеновичу, встречает весьма добродушную улыбку, подробные расспросы о семье, разговор незаметно перетекает в деловой, князь становится еще внимательнее, еще любезнее, и посетитель уходит, растроганный до слез и уверенный в том, что сумел-таки охмурить самого наместника, как прежде охмурял его предшественников.

А Михаил Семенович, выпроводив гостя, резюмирует:

— Прохвост! Немедленно под суд.

Совершенно неожиданно в новой службе гораздо больше, чем науки из гвардейской Школы, понадобились полузабытые знания из Лазаревского института восточных языков, хотя их пришлось, конечно, пополнять и стряхнуть пыль с учебников турецкого, арабского и фарси. К нему поступали жалобы, прошения, фантастические проекты обустройства гражданской жизни местного населения и от христианских, и от мусуль-

манских князей Кавказского края. Поручик, сам того пока не замечая, становился больше политиком, чем военным. Во дворце наместника главной заботой была не война с непокоренными горцами, а налаживание мирной жизни. Дело среди пестрых, вечно друг с другом то враждующих, то замиряющихся царьков, беков, ханов, беев, властвующих кто целым племенем, а кто одним аулом, немислимо трудное и требующее немалой изощренности в интригах.

Князь Воронцов обладал недюжинной интуицией в этих вопросах. Он тонко чувствовал, кто из местных феодалов и в каких пределах обладает влиянием на своих и даже чужих подданных, кого следует принять, а кого удостоить вежливым ответом. Постепенно и Лорис-Меликов стал разбираться в хитросплетениях разнородных интересов полудиких племенных вождей.

Вечерами после трудов праведных они с Александром — предводителем тифлисских лоботрясов — весело и беззаботно проводили время в кутежах на Эриванской площади — то в духане или кофейне, а то просто распивая кахетинское, купленное в ближайшей лавке, на бревнах, сложенных на той же площади. Тифлис при Воронцове быстрыми темпами отстраивался и расставался с милыми чертами азиатского города. И центральная площадь города на многие годы превратилась в склад разнородных строительных материалов. Она и сама обустроивалась — наместник повелел выстроить на Эриванской площади театр. Контур здания уже обозначился, вот-вот падут леса, и шедевр архитектуры предстанет во всем своем блеске.

Дома Михаилу крепко доставалось от Юрия Ахвердова — двоюродного брата, окончившего медицинский факультет в Московском университете и теперь успешно практикующего.

— Мико, — выговаривал Юрий, — меня беспокоит твое будущее. Ты такой умница, такой толковый человек, но ведь ты совершенный невежда.

— Мне моих знаний вполне хватает.

— Знаний, Мико, никому и ни в чем не хватает. Я университет кончил и наш Лазаревский институт, а все равно стараюсь читать как можно больше и с каждой новой книгой убеждаюсь, какой я был темный человек.

Слушать эти нотации было утомительно, люди почему-то считают, что только их образ жизни достоин подражания, а Мико сам взрослый человек и человек свободный, так что он волен жить как ему самому заблагорассудится. Он и впрямь

после гвардейской упряжи ощущал свободу, как когда-то его упрямый конь Стервец, когда после мучительной выездки его выпускали пощипать травку. Этого статский доктор понять не мог. Юрий не знал повседневной муштры, гауптвахты, не видал свирепой физиономии командира корпуса гвардейцев и гренадеров великого князя Михаила Павловича, так что волю понимал по-своему, то есть, на взгляд гвардейского поручика, не понимал никак. И долго еще его упреки, влетая в правое ухо, вылетали из левого.

А осенью, в конце ноября, когда в крепости Грозной генерал Роберт Карлович Фрейтаг собирал отряд для зимнего похода против горцев в Малой Чечне, наместник отпустил-таки молодого порученца своего на войну. Наверное, Бога надо благодарить, что Лорис-Меликов не сразу попал в отряд, а добрых три с половиною месяца обтесывался в канцелярии наместника и кое-чему волей-неволей научился.

В первую очередь научился не хвастаться подвигами, а в драку лезть не в порыве ухарства, а по строгой необходимости. Личной отвагой на Кавказе никого не удивишь, больше того, безрассудная храбрость вызывала у опытных людей только насмешку. Насмешка же в адъютантской наместника страшнее увечья. Репутация — самая дорогая из эфемерных безделушек. И в этом смысле старые кавказские офицеры даже Лермонтова не пощадили. Из гвардейской Школы, и даже из Гродненского полка, где поэт промелькнул метеором, отслужив месяца три, Лорис привез впечатление о нем как о едва ли не образцовом обер-офицере. Здесь же все, отдавая должное лермонтовской смелости, допускали себе насмешки — уж больно безрассуден был в бою поручик Тенгинского полка. И вообще — гвардеец.

Гвардейцев же на Кавказе недолюбливали и с легкой руки майора Геймана, выбившегося в штаб-офицеры из нижних чинов, именовали не иначе как фазанами. Они наезжали на год, получали, в обход армейских офицеров, на чью долю выпадали все повседневные тяготы войны, чины и ордена, а потом в Петербурге именно их хвастливая болтовня на балах и каких-нибудь музыкальных вечерах превращалась в официальное мнение военного министерства и даже самого императора о течении дел на Кавказе.

Разумеется, и к Лорису как гвардейцу относятся здесь с особым пристрастием, подозревая в нем ловца чинов и легких наград. Он это понимал и был спокоен: переделки так и так не избежать, и в бою надо только обуздать страх в первую

минуту, когда кажется, будто вот эта пуля, что летит навстречу, предназначена тебе.

В отряде Лорис-Меликов получил под командование полускадрон гребенских казаков, вооруженных помимо всего топорами. Операция называлась весьма мирно — рубкою леса, но дело это в дебрях Чечни чрезвычайно опасное. Целью вырубок было оттеснение горцев из естественных их укрытий в равнины, где полевая армия гораздо легче справлялась с этими отчаянными храбрецами. Такова была стратегия нового кавказского главнокомандующего, который решился возобновить опыт опального Ермолова, и встретившая большое неудовольствие со стороны военного министра Чернышева да и самого императора. Однако ж петербургская стратегия себя уже показала в Даргинской экспедиции, так что столице осталось только наблюдать за действиями Кавказской армии и дожидаться неуспеха, чтоб злорадно потом восторжествовать. Или смириться. А смирившись, приписать собственному его величества стратегическому гению.

Каждая тропинка в горных лесах упиралась в завал — баррикаду из бревен и сучьев, в которой укрывались лихие горцы, и стоило только на выстрел подойти к такому завалу, оттуда раздавался залп, а с высоты подавала свой голос артиллерия.

Новичка испытали на первом же завале. Лорис-Меликов, еще в Гродненском полку приученный полагаться на опыт унтер-офицеров и фельдфебелей, и здесь не торопился обозначить своего верховенства и, призвав старого казака Петухова, поставил боевую задачу перед ним, справедливо полагая, что Иван Семеныч, фельдфебель о двух Георгиевских крестах, тоже хочет выжить, но и новую награду заработать не прочь. Он и дал совет спешиться и пальнуть по завалу, примечая, где ответный огонь послабее. Только после этого казаки вместе с командиром эскадрона пошли в штыковую атаку на правый фланг.

В схватке этой поручик едва успел увернуться от кинжала, которым свирепый на вид чеченец пропорол шинель на левой стороне груди, но следующего удара нанести не успел, сраженный шашкой Петухова. Лорис-Меликов отчаянно размахивал саблей, подбадривая казаков, но ничего толком в этой горячке не видел и, когда все стихло, так и не понял, поразил ли он своей саблей хоть одного неприятеля. А стихло как-то внезапно. Вдруг оказалось, что завал полностью свободен, а как это оказалось, черт его знает. Горячка боя еще не сошла, а биться не с кем. И трупов даже нет — чеченцы умудрились



всех своих унести и растворились в лесном сумраке. А наших потерь — два раненых казака.

Но несколько минут, когда поручик обнаружил, что он машет саблею впустую, повергли его в жгучий стыд.

Потом он испытал большую неловкость, когда началась собственно рубка леса, а офицер оказался вроде как ни при чем. Он было схватился за топор раненого казака, но фельдфебель как-то вежливо отобрал у него орудие труда: «Тут уж позвольте, ваше благородие, мы сами». И действительно, ни одного офицера с топором вокруг видно не было, они наблюдали за ловкими рубщиками со стороны, терпеливо ожидая команды на сбор.

Да не дождалось. К вечеру откуда ни возьмись налетели шамилевские всадники, началась бешеная рубка уже не деревьев, а меж людьми, и Лорис-Меликову представился повод отличиться. Он со своими казаками отразил нападение на провиантский склад, а оттуда его полуротный погнался противника в низину, отрезав путь к спасительному лесу. В низине горцев поджидали драгуны Нижегородского полка, и немногие из налетчиков сумели тогда унести ноги.

Эскадрон драгун командовал Александр Дондуков-Корсаков. Князю интересно было наблюдать, как держится в бою молодой адъютант Воронцова, так ли он хорош, как на пиру. Неопытность, конечно, бросалась в глаза, поручик еще не научился видеть поле, то есть найти для себя наиболее выгодное место, но держался он с достоинством, пуля как бы не замечала и пару горцев саблей достала. Но скоро Дондукову стало не до наблюдений, схватка увлекла и его, драгуны смешались с гребенцами и бились до самой темноты, в которой рассеялись, как сквозь землю пропали горцы.

Редкий день проходил без каких-либо стычек с непокорными и смелыми мюридами. К февралю поручик Лорис-Меликов вполне освоился с походной жизнью в простуженной палатке и с постоянными тревогами, с привычкой к сну чуткому, в любую секунду готовому оборваться, чтобы вскочить на коня и повести в новый бой казаков. Фельдфебеля Петухова в первых числах декабря убили, и поручику пришлось в одиночку принимать решения и мгновенно соображать обстановку.

С первых дней в отряде Лорис-Меликов положил себе за правило участвовать в допросах пленных и перебежчиков. Он знал немного по-татарски, но на Кавказе татарским языком именуют все наречия местных мусульманских народов, не делая

различий между лезгинским и лакским оттенками, а чуткое ухо бывшего прилежного ученика Лазаревского института в разницу вникало.

Смолоду легко привыкаешь ко всякого рода лишениям, стоит только и в этой несурзной жизни найти свой ритм и войти в него. Да ведь и поход — не одни лишь бои и сны на морозе. Немало часов и потехе. На Рождество в лагере оставили дежурных, а в крепости Грозной Роберт Карлович Фрейтаг закатил бал для господ офицеров. На уездном балу Лорис оказался впервые. Наряды местных дам, скопированные с платьев провинциальных помещиц, отдыхавших летом на водах в Пятигорске или Ессентуках, их плохо заученные манеры поначалу смешили гвардейца, недавно покинувшего Петербург и Царское Село, но другого не дано, а люди везде люди, и надо извлекать максимум удовольствий из того, что есть. Капитанша Корабельникова — рыжая львица крепости Грозной — достаточно прочно утвердила Лориса в этой истине.

Как ни освоился поручик с походным бытом, а когда 18 февраля 1848 года отряд был распущен на зимние квартиры, в Тифлис он вернулся с великой радостью. Какое счастье было дома принять ванну! Кто б мог подумать, что возвращенная привычка погружать свое тело в подогретую воду может доставить столько наслаждения. А потом за завтраком мама вдруг слегка погладила голову, как в детстве, и не хочется ее руку отнимать, и не наслаждаешься ее нежного «Мико-джан»...

Во дворце наместника Лориса встретили, как всегда в тихих конторах встречают героев. Его бурно приветствовали, расспрашивали о делах с горцами, но в ответах поручик был скуп и сдержан. Во-первых, он сам себе запретил хвастаться, хотя, если подумать, и предмета для хвастовства особого не было. Даже статские чиновники из окружения князя Воронцова сопровождали его в поездках по бушующему Северному Кавказу. И Щербинин, и барон Николаи хоть в бои не влезали, но в Даргинском сражении от наместника не отлучались. А куда заурядной рубке леса до взятия и оставления Дарго! Храбрость на Кавказе, как давно уже дали понять Лорису, особой добродетелью не почиталась — это качество здесь обыденное, без него просто не выживешь. Во-вторых же, все в его памяти смешалось, и на любой прямой вопрос он мог дать лишь какой-то общий, приблизительный ответ. Таково свойство нашей памяти — она ждет, когда пестрые впечатления улягутся, сами по себе произведут отбор, и где-нибудь в жарком августе, утоляя

жажду выстуженным в подвале шампанским, он вдруг вспомнит какой-нибудь морозный день середины января, когда его разбудил, как думалось, налет горцев, и все выскочили из палаток, начали беспорядочную стрельбу в туман, а потом оказалось, что к лагерю выскочил вепрь, и часовой, забывшись, стал палить в зверя и перетревожил понапрасну своей охотой весь отряд.

Светлейший князь в первый день был, как всегда, — не более чем как всегда — любезен, в расспросах ненастойчив, зато работы задал столько, что хватило бы на роту писарей. Иного Лорис-Меликов и не предполагал и погрузился в дела гражданские с головой. Одна беда — огрубевшие руки первое время плохо справлялись с пером и одну и ту же бумагу приходилось по нескольку раз переписывать.

Впрочем, нельзя сказать, что молчание Воронцова было знаком равнодушия. Наместник довольно дотошно расспрашивал о том, как показал себя Лорис-Меликов в делах против горцев, и Роберта Карловича, и бывших в отряде своих адъютантов — ротмистра князя Сергея Васильчикова и, конечно, Дондукова-Корсакова. Стороной поручик все это спустя месяца полтора узнал, конечно, но иного он и не ждал, как не ждал и наград за первое участие в сражениях. Воронцов покончил с практикой отличий заезжих гвардейских офицеров за счет старых кавказцев. А Лорис-Меликов считался пока еще командированным, и его в любой момент могли вернуть обратно в Гродненский полк. После кавказской вольницы, пусть даже и относительной, в гвардейскую муштру он как не хотелось! И в простой армейский полк тоже не хотелось — тут уж, простите, гвардейская фанаберия.

Время летело в неустанных трудах, мало-помалу в кругах, приближенных к наместнику, стали подзабывать покойного Глебова и привыкать к сменившему его молодому порученцу. Тот был со всеми приветлив и доброжелателен, всякого рода насмешки сносил легко, но и за ответом в карман не лез, так что добродушие его отнюдь не было признаком слабости. Правда, сам светлейший князь не торопился подпускать к своей особе умного и расторопного гвардейца, и в глубине честолобивой души Лориса грызла досада, трезвым своим умом он постоянно боролся с омерзительной завистью к тому же Дондукову-Корсакову. Слава Богу, никто этой мучительной борьбы не видел, только личный врач Воронцова, умный и злой циник Эдуард Степанович Андреевский, давно разгадал бушующие

страсти отдаленного от персоны главнокомандующего адъютанта и позволял себе колкости на этот счет.

Сам Эдуард Степанович, еще в Одессе бывший советником Воронцова не в одних только медицинских вопросах, с каждым месяцем обретал все большую силу и влияние. Воронцов после даргинской переделки стал заметно сдавать. Люди блистательные, избалованные удачливой судьбою при встрече со старостью теряют волю, становятся мнительны и капризны, и хотя воспитание не позволяет обнаруживать слабость и растерянность перед внезапной бедой, они судорожно вцепляются в рукав любого шарлатана, намекающего на свою власть над недугами. Шарлатаном в полном смысле этого слова Андреевский не был, но пользу из своего положения извлекал немалую, поговаривали даже, что он и взяткою не брезгует. В отношениях с доктором Лорис был, как и со всеми, осторожен и приветлив, не позволял себе участвовать в сплетнях по поводу корыстолюбия Эдуарда Степановича, и тот проникся к нему некоторой симпатией. Глаза и уши Воронцова, он не топил молодого адъютанта в глазах патрона, но и к персоне наместника не подпускал, полагая, что со временем светлейший князь сам сумеет оценить этого офицера.

Однако ж война есть война, и настает момент, когда пустеет адъютантская во дворце наместника. К лету 1848 года штаб армии разработал серьезную операцию в Дагестане. Шамиль обосновался в ауле Гергебиль, откуда совершал набеги на прикаспийские давно покоренные области Дагестана и грозил большими неприятностями для нашей крепости Темир-Хан-Шура. Искать некогда главный город Дагестана на современной карте бесполезно — сейчас он называется Буйнакс.

Командовал Дагестанским отрядом знаменитый генерал князь Моисей Захарович Аргутинский-Долгоруков, родной племянник армянского патриарха Иосифа Аргутинского, к фамилии которого за великие заслуги перед русским престолом Александр I прибавил старинное княжеское прозвище. По Кавказской армии ходили легенды о неустрашимости генерала, но еще больше — о его причудах. Держался он со всеми старым добрым барин, кстати, и старость его была тоже легендой — князю только-только перевалило за пятьдесят. Но он, рано поседевший в боях, иссеченный на южном солнце морщинами, всем видом своим изображал дремлющую древность. На военных советах он тихо посапывал, иногда даже легкий храп издавал, и безнадзорные офицеры давали полную волю своим



стратегическим фантазиям. Вдруг старик вскакивал с места и совершенно ясным, бодрым голосом излагал полную диспозицию предстоящего боя. И тут все поражались тому, что все-то он сквозь собственный храп слышал, ни одно разумное предложение не миновало его чуткого уха.

В гневе старик Аргутинский был страшен, в милостях — щедр чрезмерно. Впрочем, все это о нем Лорис-Меликов знал давно, с детства еще — он вырос на коленях у князя, старого друга их семьи. Но сейчас дружба эта боком выходила: поручик поступил князю генерал-лейтенанту в полное распоряжение, так что вся прошлая жизнь и прошлые отношения должны как бы не существовать.

Поначалу оба чувствовали неловкость от этого. Старик держал Лориса при своей особе и не решался давать рискованных заданий. Но как ни крепись, а послать со срочным приказом к командиру атакующей колонны — уже рискованное дело. Со всех сторон то шуршит, как листва под ураганным ветром, картечь, то рвутся гранаты, а из ближайшего леса запросто могут налететь с арканом шамилевские разбойники... Две-три таких поездки — и вот уже оба освоились с опасностью, и поручик, не спросясь у дяди Моисея, заменил раненого офицера в колонне полковника Броневого в очередной стычке с горцами. И не беда, что кавалерист взял под команду егерей — пехотному делу их тоже учили. С этой ротой, случайно оказавшейся под его командой, Лорис-Меликов напросился на участие в штурме Гергебиля 7 июля. С нею же одним из первых он ворвался в аул и был представлен полковником Броневым к награде.

Генерал Аргутинский радовался успехам Лорис-Меликова едва ли не больше, чем он сам:

— Мико, да ты герой! Ты такой молодец — я за тебя племянницу отдам!

Смешно. Племяннице княжеской всего двенадцать лет — прелестное дитя, особенно когда сердится, шурит глаза и поджимает губки. Он поддразнивал девочку в веселые свои минуты, провоцировал эти вспышки детской гневливости, но и на секунду не задумывался о подобных перспективах. Молодым, только что повзрослевшим людям с трудом дается такая простая истина, что дети имеют способность вырастать. Тут воображение отказывается работать, и дети в мыслях о будущем остаются детьми завтра, через месяц и даже через пять лет. А вообще Мико, начитавшийся еще в гвардейской школе Баль-

зака, предпочитал стареющих вдов — с ними проще и, главное, безответственной. И в науке страсти они щедрее и опытней юных красавиц. Но ребенок — нет... Тут, пожалуй, старый генерал хватил.

Из Гергебиля Лорис-Меликов вернулся триумфатором. Он получил первый свой орден — Анны 4-й степени «За храбрость», его представили к чину штаб-ротмистра, старик Воронцов на этот раз обратил на него особо благосклонное внимание.

Но сам Лорис-Меликов понимал, что он просто попал на счастливую волну общего успеха. В отличие от прошлогодней неудачи под тем же Гергебилем, осеннего взятия аула Салты, давшегося с большими потерями и изнурительной для обеих сторон осадой, быстрый и блистательный штурм Гергебиля означал начало конца Шамиля, хотя еще двадцать один год мюриды будут терзать Кавказ и реки крови прольются до того дня, когда почетный эскорт отвезет имама в Петербург для торжественной встречи с русским императором — уже не Николаем Павловичем, а сыном его Александром II. Но именно здесь, в Гергебиле, треснул мусульманский монолит, и все это чувствовали.

Штабс-ротмистр Лорис-Меликов все чаще задумывался о том, что будет, когда наконец непокорные народы устанут от войны и Тифлису придется взвалить на себя заботы о мирном обустройстве полудиких племен. Шамиль и его наибы — герои, а герой, как бы ни был хорош в сражении, не способен к ответственности за толпу, идущую за ним. Грабежами долго и безнаказанно не проживешь, а как иначе прокормить, обогреть тысячи людей, все эти абхазские, черкесские, дагестанские, чеченские вожди не знают и знать не хотят.

Но есть же и в их среде люди достаточно дальновидные и понимающие, что ни одна война не бывает бесконечной и рано или поздно власть упадет в руки не сильного, но умного. И полем деятельности офицера по особым поручениям при Кавказском наместнике постепенно становились сношения с князьями, беками, ханами местных племен. Года два скрупулезной работы — и вот уже в каждом крупном ауле у Лорис-Меликова свои тайные агенты. И не по одному: как ни клянется тебе твой лазутчик в преданности до гробовой доски, его сведения надо тысячу раз проверить, прежде чем положить на стол Воронцову докладную записку о настроении шамилевского наиба или адыгейского князя, готового на словах служить русским.

Сейчас бы такую работу назвали налаживанием агентурной сети. Работа тонкая, скрупулезная, но при всем том не очень чистая.

Молодой адъютант Воронцова поручик Сергей Шереметев застал однажды Лорис-Меликова мирно беседующим по-грузински с каким-то черкесом. В заключение разговора Лорис дал черкесу три золотых и с ласковыми напутствиями быстро спровадил. Вслед за ним явились еще два черкеса. С ними Лорис-Меликов говорил по-русски, и Шереметев понял, что этих двоих Лорис посылает убить того самого шпиона, которому только что вручил меченые золотые монеты: пометы на них доказывали, что этот шпион обманул Лорис-Меликова, предал наши тайны какому-то враждебному нам князю.

К вечеру казнь была исполнена, а золотые вернулись к Лорис-Меликову.

Шереметеву стало как-то не по себе от этой истории, произошедшей у него на глазах.

— А ты что же, душа моя, хочешь, чтобы из-за этого негодяя целый эскадрон наших казаков голову ни за понюшку табаку сложил? — ответил на возмущенные недоумения Шереметева Лорис-Меликов. — Это война, дружок.

### ХАДЖИ-МУРАТ

В ту пору лучшим набом Шамиля был известный по всему Кавказу аварский вождь Хаджи-Мурат. Когда-то он верой и правдой служил русским и получил даже чин прапорщика милиции.

Впрочем, в просвещенном XX веке слово «милиция» надо объяснять заново. Революционеры, победив в 1917 году, в новом государстве мечтали обойтись без глубоко враждебных свободному миру институтов — полиции, жандармерии, цензуры. Но поскольку мир насилия разрушался насильем же, то очень скоро выяснилось, что свободное государство не может и часу прожить без ненавистой полиции, жандармерии, цензуры. Без институтов нельзя, но без слов, их означающих, еще как можно! У нас нет цензоров, а чем занимается уполномоченный или там редактор Главлита? Как же, оберегает государственную тайну от классовых врагов. И жандармов нет — тех же классовых врагов пытаются и расстреливают доблестные чекисты. А вместо полиции покой граждан охраняют не городовые с шашками,

а вооруженные дубинками, пистолетами, а теперь и автоматами Калашникова милиционеры. А вообще-то в первоначальном виде в прямом переводе с напрочь забытой нами латыни «милиция» (militia) значит «войско», и в прошлом веке, чтобы различать армию государственную, то есть регулярную, и армию из местных добровольцев — иррегулярную, собирающуюся для защиты своих аулов от набегов разбойников и враждебных племен, последнюю и называли милицией. К общественному порядку та милиция никакого отношения не имела, скорее наоборот — глаз да глаз был нужен за таким стихийным союзником. В соседней Турции милиционеры, то есть солдаты иррегулярных войск, назывались башибузуками, в буквальном переводе на русский — сорвиголовы.

Вот и не уследил опытный кавказский генерал Франц Карлович Клюки-фон-Клюгенау за своим любимцем, прапорщиком аварской милиции Хаджи-Муратом. К генеральской любви ревновал аварский князь Ахмет-хан Мехтулинский. И в один прекрасный день, стоило генералу отлучиться из Хунзаха — главной аварской крепости — на недельку в Тифлис, Ахмет-хан арестовал Хаджи-Мурата, обвинив его в измене. Отважного прапорщика приковали к орудью и неделю держали в голоде. А накануне возвращения Клюки-фон-Клюгенау с усиленным конвоем отправили на суд и неминуемую казнь в Темир-Хан-Шуру.

Напрасно радовался Ахмет-хан, напрасно торжествовал победу. Не знал он, с кем имеет дело. По дороге в Темир-Хан-Шуру Хаджи-Мурат вместе с солдатом, к которому был прикован, сиганул на глазах у всех в пропасть. Солдат разбился насмерть, Хаджи-Мурат переломал ноги и через двое суток приполз в аул Цельмез.

На другой день подвиг Хаджи-Мурата стал известен имаму Шамилю, который тут же послал своего человека уговорить отважного аварца поднять восстание против русских, обещая свою милость. Подчиняться имаму, преемнику кровных своих врагов, Хаджи-Мурат не хотел и до ответа не снизошел.

Клюки-фон-Клюгенау наветам Ахмет-хана не до конца доверял и очень сокрушался потерей такого воина. Узнав, что Хаджи-Мурат жив, Франц Карлович тотчас же отправил к нему письмо, в котором выражал прощение прапорщику и звал вернуться на русскую службу. Преисполненный гордости, Хаджи-Мурат отослал генеральское письмо Ахмет-хану: вот как меня ценят! И сделал глупость.

Письмо это Ахмет-хан в приступе гнева порвал, а генералу объяснил, что черного кобеля не отмоешь добела и Хаджи-Мурат потерян для русского правительства навсегда. И хорошо бы послать отряд в буйный Цельмез, пока бывший прапорщик со своими сорвиголовами не совершит налета на Хунзах. Клюки-фон-Клюгенау еще колебался, но как раз в это время из Петербурга явился генерал по особым поручениям при генерал-фельдцейхмейстере великом князе Михаиле Павловиче Бакунин. Очень ему не терпелось вернуться в столицу представленным к званию генерал-лейтенанта артиллерии. По петербургской привычке не считая горцев ни за воинов, ни за людей, Бакунин, застав эти разговоры, сам напросился возглавить отряд против Хаджи-Мурата.

Спорить с лицом, приближенным к особе великого князя, было бесполезно, на него не действовал даже тот аргумент, что наскоро в Хунзах большого отряда не соберешь, а враг не так прост, каким его представляют в петербургских салонах со слов гвардейских поручиков. Отказ же чреват был тем, что заслуженный генерал Клюки-фон-Клюгенау в тех же салонах предстанет просто-напросто трусом и все его ратные и дипломатические труды рухнут в одночасье.

Бакунин со своим наскоро собранным отрядом окружил Цельмез — аул маленький, не на каждой карте и отыщешь. Да только встретили Бакунина сотни умелых и вооруженных горцев, бились они отчаянно, хотя силы были неравны, и к вечеру пол-аула заняли русские. Но тут вдруг пришла помощь от Шамиля, пославшего на выручку войска из Андийской области, и в полчаса картина переменилась. Отряд вынужден был отступить, а сам Бакунин погиб.

С того дня Хаджи-Мурат стал отчаянным и удачливым противником русской Кавказской армии.

Было это давно, когда Лорис-Меликов после аудиенции у Бенкендорфа готовился к экзаменам в Школу гвардейских прапорщиков, но уже на первых же каникулах в Тифлисе только и разговоров было о том, какой грозный наиб служит Шамилю и треплет наши войска. А в знаменитом Даргинском сражении именно Хаджи-Мурат разбил наш отряд с обозом продовольствия и подбирался к осажденному лагерю главнокомандующего, пока не подоспела подмога и спасла заместника от гибели в его первом же деле на новой должности. Сам же Лорис-Меликов увидел впервые этого героя под Гергебилем, когда этот мощно укрепленный аул вроде бы был уже взят, но тут из

садов налетела горская конница во главе с Хаджи-Муратом, и князь Аргутинский послал поручика с авангардом отражать дерзкий натиск не ведающих страха мюридов. Лорис участвовал и в последующих стычках с грозой Дагестана и Чечни и многое знал о наибе Шамиля.

В зимнюю экспедицию 1851 года при стычках с горцами во время рубки леса у Шалинского лагеря был взят в плен сотник шамилевского наиба Даниел-бека. Вел допрос пленного штабс-ротмистр Лорис-Меликов. Аслан был сотник не из простых. Даниел-беку он приходился племянником, притом любимым, а потому был посвящен во многие тайны при дворе имама. По молодости Аслан был хвастлив, он всячески подчеркивал, что не хочет иметь дело с прочими пленными, и требовал особого к себе отношения. Что и получил в полной мере. По распоряжению штабс-ротмистра Аслана стали содержать в отдельной палатке и конвой ему предоставили отдельный. Увидя, что приказы всего лишь штабс-ротмистра исполнил сам полковник, Аслан понял, что имеет дело не с простым офицером, а очень важною птицею, и проникся к Лорис-Меликову самым угодливым почитанием. Случилось это как-то невольно, само собой.

Аслан был мужественный воин, в боях был дерзок, да и в плен попал из дерзости и азарта, слишком глубоко врубившись в казачий эскадрон и безоглядно оторвавшись от мюридов. И в плену он решил держать себя мужественно, гордо и независимо. Но этот ротмистр с манерами ласковыми, но с видимым влиянием и силой стоящей за ним власти будто и не допрашивал государственного преступника, каковым чувствовал себя всякий горец, угодивший в русскую неволю, а втянул пленника в дружескую, почти родственную беседу.

Разговор зашел о видах на будущее, о том, смог ли бы Аслан, не попади в плен, стать наибом, о том, кто из наибов может стать имамом, если что случится с Шамилем, он ведь тоже не вечен, тоже ходит под Аллахом... Оказалось вдруг, что самого Шамиля в последнее время стали беспокоить те же мысли и он заявил своим приближенным, что хочет провозгласить имамом старшего сына своего, Кази-Магому. Но не всем наибам это может понравиться. Едва ли Хаджи-Мурат, который и Шамиля-то над собой едва терпит, захочет подчиниться Кази-Магоме. А без Хаджи-Мурата и сам Шамиль обойтись не может. Вы, русские, стали лучше воевать, стоит Ша-

миллю одному, без Хаджи-Мурата, затеять операцию, вы побеждаете.

— Скажи, Аслан, а что, твой дядя Даниел-бек тоже считает, что лучше пусть будет Хаджи-Мурат имамом, чем Кази-Магома?

— Наш род имеет счеты с Хаджи-Муратом. Но Шамиль приказал быть в мире с Хаджи-Муратом. Имам — наместник Аллаха на земле, его слово — закон для правоверного мусульманина. Даниел-бек — правоверный мусульманин, он не нарушит слова, данного имаму Шамилю.

Слова, конечно, не нарушит, а пакость, если представится случай, сделает с удовольствием.

Тут было над чем задуматься. В голове у штабс-ротмистра созрела очень интересная комбинация. Он прервал допрос, тепло, как с новым верным другом, распрощался до завтра с Асланом, а сам направился в Темир-Хан-Шуру к генералу Аргутинскому.

— Ну ты хитрец! — Генерал не считал нужным скрывать своего восхищения остроумным планом молодого офицера. Он был прям и по-старокавказски откровенен. — Только ты подумал, что план твой, а отвечать мне?

— Почему ж вам? Моя голова для плахи ближе.

— Ну хорошо, вот отпустим мы этого Аслана, а если обманет?

— Так он же не для нас будет стараться, а для себя и любимого дяди своего. Нам только надо побег ему так устроить, чтобы он даже и не подумал, будто это мы с вами затеяли его освобождение. А там уж — как Бог повелит.

— В конце-то концов, что мы теряем, если сбежит этот сотник? Не он первый, не он последний. А если твой Аслан сумеет, как ты внушишь ему, рассорить Шамиля с Хаджи-Муратом, в Ведено он окажется полезнее, чем в тифлисской тюрьме.

Штабс-ротмистр давно уже был в обратном пути, а князь Аргутинский-Долгорукий мерял кабинет шагами, довольный, потирал сухонькие руки свои и прицокивал языком: «Ну хитрец!» В тот же день он написал реляцию наместнику о производстве штабс-ротмистра Михаила Лорис-Меликова в следующий чин.

Летом Лорис-Меликов, уже ротмистр, воевал на правом фланге между реками Лабой и Белой против черкесов, рубил просеки, отражал налеты горцев и, естественно, думать забыл о своих зимних интригах против Шамиля, а они уже дали свои

плоды, уже взошло посеянное недоверие подозрительного имама к лучшему своему наибу, и тот чувствовал большой неуют от внезапной алчности своего начальника, от явно выражающегося недовольства и ревности. Богатые подарки, высланные Хаджи-Муратом Шамилю, как и предполагали мудрые люди из хаджи-муратовского окружения, только разожгли алчность и недоверие Шамиля. Он сместил Хаджи-Мурата с наибства, назначив на его место Али Табасаранского, а потом и направил в ставку Хаджи-Мурата войска. Мюридов Шамилевых Хаджи-Мурат отогнал, и дело могло пойти очень далеко, но тут муллы уговорили имама прекратить войну со своим подданным, вернуть ему звание наиба, и Шамиль внешне смирился с такими обстоятельствами.

В июле князь Аргутинский, пристально следивший за тем, что делается в стане неприятеля, вдруг с надежными людьми прислал Хаджи-Мурату письмо, где предлагал свою помощь в борьбе с Шамилем. Но поскольку Хаджи-Мурат живет в самом центре Дагестана, князь предлагал дать сражение Шамилю на русской границе, откуда было бы удобнее Хаджи-Мурату вместе с семейством своим бежать.

План этот был неисполним: по всему Дагестану Шамилем были расставлены караулы, и самовольное движение Хаджи-Мурата к русским границам тотчас же было бы истолковано как измена. Хаджи-Мурат ответил Аргутинскому отказом, но сказал, что будет проситься в Чечню к родне своей жены Патимат, откуда ему легче будет перейти к русским.

В конце сентября 1851 года Лорис-Меликов вернулся в Тифлис после летней экспедиции. Каждый раз он возвращался будто бы в другой город — так столица Кавказа преображалась в годы правления князя Воронцова. Его изысканный европейский вкус легко передался артистичным грузинским и армянским аристократическим семействам. Головинский проспект окончательно утратил азиатские черты, театр на Эриванской площади диктовал эстетическую волю всему городскому центру. Веяния Лондона и Парижа в этой горной глуши стали в каких-то отношениях ощутимее холодных бюрократических петербургских ветров. Может быть, это частное ощущение и были ему иные причины, но именно в тот год Лорис-Меликов почувствовал себя европейцем.

Образ жизни его вошел в свою колею, то есть вечерами собирались вокруг того же Дондукова-Корсакова и по-гвар-

дейски шалопайствовали. Старший из всех, Михаил Павлович Щербинин, уже дослужившийся до первого генеральского чина и носивший новенькое пальто на красной подкладке, еще недостаточно остепенился и был большой не дурак выпить.

— Главное, — поучал он строгим голосом, но уже со сдвинутыми, чуть растянутыми интонациями, — дело помнить. И его светлость... его светлость не забудет. Его светлость отметит и отличит. Да-с, отличит.

А далее следовал выученный в канцелярии наместника наизусть рассказ о том, как в Севастополе после усмирения матросского бунта в 1831 году Воронцов диктовал Щербинину доклад на высочайшее имя. А перед тем Михаил Павлович братался с морскими офицерами и добратался до степени того полета чувств, который ногам и разуму удержать затруднительно. Граф, озабоченный мыслью, как-то не заметил, что верный чиновник его находится, как бы это сказать, в состоянии невнятного, и диктовал фразу за фразой. И только кончив диктовать, обнаружил, что Щербинин пьян до потери сознания, а из-под пера его вышли какие-то каракули, с алфавитом латинским не имеющие ничего общего, как и с кириллицей, впрочем.

— Распекать его сиятельство меня не стал, не-ет-с. Он посоветовал мне горькими словами: как же ты, Миша, говорит, подвел меня. Это ж самому царю доклад, его величеству. А утром фельдъегеря ждут. Махнул рукою и вышел. Да-с. Тут-то я и протрезвел, господи. Вмиг протрезвел. И уж не знаю, что на меня нашло, а напрягся весь, натужился — и все-все до последнего словечка вспомнил-с. Утром граф только с постели поднялся, а я ему готовый, набело переписанный доклад несу. И ни в одной запятой не спутался!

Ну и как тут не поднять бокала за Михаила Павловича! А потом за подвиги в летней экспедиции князя Дондукова, ротмистра Лорис-Меликова, — в общем, поводы найдутся.

А утра были невозможные. Голова трещала, во рту — колючая, на душе не то стыд, не то тревога, а добрый доктор Юра осуждающе смотрит и качает головой. В одно такое тяжкое утро, когда за окном стояла слякоть, туман и снег с дождем — и это в воскресенье-то, в свободный день, которого ждал с нетерпением всю неделю, — было как-то особенно невыносимо... Тоска и скука. Скука и тоска. И голова трещит.

А доктор Юра читает какую-то французскую книжку, читает и похмыкивает. Чему там хмыкать, Господи!

Злой на весь мир и самого себя, Михаил с трудом поднялся, попросил заварить кофе покрепче.

С первым глотком кофе головная боль вроде бы усилилась, но он знал, это скоро пройдет. Вот она, давившая весь мозг, сбилась к вискам, ударили молоточки, сильно, еще сильнее, а вот уже и потише и отступают, отступают, как бы на цыпочках, и вот весь освободился от боли!

Чему он там хмыкает, право? Может, попросить почитать, что-то никуда в эту слякоть тащиться не хочется, да и сколько можно. В общем-то, все эти гвардейские кутежи стали совершенно неразличимы, так, зауряд-пьянки. И даже остроты приелись.

Книгу Юрий дал с удовольствием, хотя сам еще не дочитал десятка два страниц.

«Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим». Итальянский поэт конца прошлого века, пояснил Ахвердов. Гм-м, что может быть общего у полузабытого итальянского поэта с гвардейским офицером русской армии?

Общее нашлось с первых же глав. Воспоминания детства, очень поначалу тонкие и поэтичные, отрывали глаза от книги и погружали в задумчивость, из которой, как со дна глубокого озера, поднимались мгновения собственного детства, казалось, давно позабытые. Вкус чурчелы, впервые попробованной, когда дядя Ашот протянул ему этот гостинец пухлой рукой в белоснежной манжете. И навсегда вкус чурчелы связался с ослепительным блеском накрахмаленного кружева и чуть слышным запахом и хрустом крахмала. Дядя Ашот болен, и болен тяжело, неузнаваемо исхудали его пухлые ладони... Потом память перекинула его в тот день, когда он сбежал от дяди Ашота в дороге и, пойманный, ждал наказания, которого, однако, не последовало. И уже через ком в горле читал дальше про то, как Витторио, видя квадратные носы чьих-либо ботинок, вновь ощущал вкус детских угощений от доброго своего дядюшки.

Но потом воспоминания становились все жестче и беспощаднее. Поэт вытаскивал наружу все детские грехи свои и печали, и не всегда ирония его над собой была беззлой. Читая, Лорис-Меликов погружался в стыд — чувство болезненное, но чем-то даже и приятное. Странное наслаждение испытываешь, когда вытаскиваешь из памяти не только проказы, но даже помыслы о них. Сам себя запоздало казнишь, потому что Альфиери своей яростной честностью заставил увидеть несчастного Степана Суреновича, из-за которого Лориса

вышибли из Лазаревского института. Весь его позор в тот момент, когда он прилип к стулу, ужас, что положение безвыходно, и этот мерзкий холодный клей, навсегда приставший к панталонам, а через них к телу. И так жалко стало несчастного человека. И так стыдно за вчерашнюю еще гордость свою.

Его стали душить слезы, и не свои — слезы всех им обиженных, особенно обиженных бездумно, в силу своего старшинства, физической силы с ее идиотским правом унижать маленьких. И хотя правом этим он уже в Школе гвардейских юнкеров не пользовался, обиды забытых малышей истерзали совесть.

Образование Альфиери тоже получил вдали от дома и тоже не так чтобы основательное. В Туринской академии было много общего с их гвардейской Школой, разве что муштрой не мучили. Но вырвался поэт из академии с той же мечтой, что и Лорис из Школы, — свобода! Правда, Лорис угодил на каторгу — муштра в Гродненском оказалась еще тяжелее школьной. Но вот что интересно — этот аристократ возненавидел всякую службу, а военную и придворную в особенности. «Я заключил, что все короли на одно лицо, а все дворы — одна лакейская». Мысль эту Лорис-Меликов не поленился выписать. И весь вечер сей парадокс не выходил у него из головы.

В общем-то, дворец светлейшего князя Воронцова, наместника императора российского на Кавказе, — тот же двор. И тем более двор, что Воронцов свободой и самостоятельностью своих действий почти демонстрировал свою независимость от двора петербургского. Лакейство здесь перед ним, пожалуй, более откровенное, чем в Зимнем дворце и Царском Селе, — попровинциальнее. Но та же лесть, благосклонно принимаемая светлейшим князем. Ему приятен его новый титул, но не дай Бог вспомнить, за что именно он пожалован. Дарго — тема во дворце наместника нежелательная. Князь — большой эрудит, а в последнее время стал даже выписывать из Петербурга русские журналы, как-то: «Современник», «Отечественные записки», «Библиотеку для чтения», хотя едва ли усердно их читает. Но имя Пушкина во дворце не произносится. Уж столько лет прошло, как нет его в живых, но обиды «этого вертопраха» не прощены до сих пор. Хотя вдруг старый князь возьмет и процитирует:

Кто жил и мыслил, тот не может  
В душе не презирать людей.

Очень Михаил Семенович любил эту мысль. Только в ответ никому не рекомендуется развивать рискованную тему и вспоминать автора сих мудрых строк.

И опять стыд. Лорис-Меликов вспомнил страдания свои в первые полтора года службы, как остро он переживал, что Воронцов как бы не замечает его, и пришел к заключению, что все страдания его — холуйские. Слава Богу, хоть не унился до прямого искательства, не понял намеков доктора Андреевского, которому ничего не стоило «все уладить для честолюбивого молодого человека», но пришлось бы потом быть навек благодарным доброму Эдуарду Степановичу с материальными доказательствами своего пылко к нему чувства.

А как клянет себя Альфиери за собственную лень и невежество! А сам-то я тоже хорош — десятки раз видел великолепную коллекцию Эрмитажа, а ведь, пожалуй, и не отличу Веронезе от Веласкеса. И даже раздражение свое помню — злость невежды, не понимающего, чем восхищаются, глядя на сотни картин, написанных на полтора десятка античных или евангельских сюжетов. Он переживает, что прожил все лето в Вене и ничему не научился, а я в Петербурге и у Царского Села вон сколько времени — целых восемь лет потерял даром. Жил с самим Некрасовым — и ничего не вынес из дружбы с таким человеком!

Как бы ни увлекала нас книга, а читать ее сосредоточенно от начала до конца редко дается. Егозливое любопытство норовит с середины заглянуть в конец, просмотреть содержание... В него-то, утомившись, Лорис заглянул. Оказывается, в путешествиях своих не миновал Альфиери и Петербурга. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что он там увидел? Ага, вот оно:

«Высидившись, наконец, в Або, столице шведской Финляндии, я продолжал путешествие по прекрасным дорогам на отличных лошадях до Петербурга, куда приехал в конце мая. Не сумею сказать, днем или ночью приехал я туда, так как, с одной стороны, ночей почти не существует на севере в это время года, а с другой, благодаря множеству бессонных ночей в путешествии у меня все в голове путалось; я чувствовал тоску от этого постоянного печального дневного света и совершенно не помнил, какой был день недели, в котором часу и в какой части света я находился в тот момент (впечатления, схожие с теми, что получил Лорис от столицы в первое лето пребывания там в 1839 году). Тем более что нравы, одежды и московские бороды заставляли меня чувствовать себя, скорее, среди татар,

чем европейцев (ну это вы напрасно, сударь, Петербург и в век Екатерины был вполне европейский город, обиделся Лорис).

Я читал «Историю Петра» Вольтера; был знаком с некоторыми русскими в Туринской академии и слышал много восторженных рассказов об этой нарождающейся нации. Таким образом, все то, что я видел, приехав в Петербург, при моем пламенном воображении, часто приводившем к разочарованию, заставляло меня сильно волноваться и ждать каких-то чудес. Но увы, едва я оказался в этом азиатском лагере с правильно расположенными бараками (ну уж и бараками!), как мне живо вспомнились Рим, Генуя, Венеция, Флоренция, и я не мог удержаться от смеха. (Лорис-Меликов, за границей никогда еще не бывавший, на этом месте горько вздохнул. Но все равно — Петербург никакие не бараки, это европейское чванство в нем говорит.) Все, что я узнал затем здесь, лишь подтверждало мое первое впечатление, и я пришел к тому важному заключению, что эта страна вовсе недостойна посещения. Все в ней, кроме лошадей и бород, так противоречило моим вкусам, что в продолжение шести недель, проведенных среди этих варваров, наряженных европейцами, я ни с кем не познакомился и даже не захотел повидаться с двумя или тремя молодыми людьми из высшего общества, моими товарищами по Туринской академии. Я отказался быть представленным знаменитой императрице Екатерине II; не поинтересовался и взглянуть на эту государыню, которая в наши дни заставляла так много говорить о себе. Когда впоследствии я старался открыть причину такого бесцельного, дикого поведения (а-а, по-нял-таки, что дико так смотреть на Россию и так высокомерно держаться!), то пришел к заключению, что это была явная нетерпимость непреклонного характера и *естественное отвращение к тирании* вообще, вдобавок воплощенной в женщине, справедливо обвиняемой в самом ужасном преступлении — измене и убийстве безоружного мужа. Я отлично помню, как говорили, что среди смягчающих обстоятельств, выдвигаемых защитниками этого преступления, были следующие: будто бы Екатерина, насильственно захватив власть, хотела дарованием справедливой конституции хотя бы отчасти восстановить человеческие права, так жестоко попираемые всеобщим и полным рабством, тяготевшим над русским народом. И, несмотря на это, после пяти-шести лет правления этой Клитемнестры-философа (тут ноготь Юрин заметен) я нашел народ в прежнем рабском состоянии; кроме того, я убедился, что петербургский

трон был еще большей поддержкой милитаризма, чем берлинский. Вот, без сомнения, в чем была причина, заставившая меня презирать эти народы и возбуждавшая мою бешеную ненависть к их правителям.

Вся эта азиатчина так мне не понравилась и так меня утомила, что я решил не ездить в Москву, куда раньше собирался; мне казалось, что я за тысячу верст от Европы».

Такое суждение о России заезжего итальянца глубоко оскорбило патриотические чувства гвардейского офицера и честного верноподданного российского императора. И за Екатерину Великую было обидно. Он как-то привык к мысли, что лучшей эпохи, чем просвещенный екатерининский век, в нашей истории не было. Уж на что капитан Вержбицкий, читавший русскую историю в Школе юнкеров, — поляк, на всю жизнь оскорбленный разделом Речи Посполитой и вечно подпускавший шпильки по поводу тех или иных действительных и мнимых промахов русских царей, — и тот сквозь зубы признавал величие Екатерины. Как и все русские искренние патриоты, Лорис-Меликов, составив на уроках истории общее представление о царях, никогда больше на эти темы не задумывался. И даже очевидная жестокость — неумная и упрямая — нынешнего императора, над которою втихомолку потешались во дворце наместника, не поколебала его преданности Николаю I.

Вечером случился бурный спор с Ахвердовым. Юрий был печален и насмешлив.

— Мико, ты напрасно так сердиться. Попробуй подумать.

— Да что там думать, все ж давно известно!

— В том-то и коварство, дорогой, что тебе известно не знание, а его формула. Екатерина — значит, великая и просвещенная. И все, и выкинем из головы. А то, что она руками любовника мужа уколошила — она, дескать, с царствованием лучше него справилась. А чем лучше-то?

— Дворяне получили свободу.

— Ну да, только «Указ о вольности дворянской» Петр Федорович выпустил, Тайную канцелярию разогнал. И теперь уж могила покрыла мраком, каких бы он еще указов наиздавал. Может, и с рабством покончил бы. Он, в сущности, человек был хоть и недалекий, но добрый. А рабство как было, так и есть, и еще крепче стало. Та же Екатерина вольных украинцев закрепостила. Вместо Тайной канцелярии учредила Тайную экспедицию, а во главе поставила кнутабая Шешковского. Вот



тебе и европейская конституция! Мы опять, как при татарах, от всего мира на триста лет отстаем. И это, поверь, очень плохо кончится.

— Екатерина расширила пределы России.

— И породила головную боль своим внукам. То с Польшей, то с Кавказом, а там, смотришь, какие-нибудь киргизы или башкиры взбунтуются. Большая империя — палка о двух концах. Те два Рима рассыпались, а Третий в рабстве пребывает. И чем крепче рабство будут держать, тем скорее и Третий Рим развалится.

— Так ты хочешь сказать, что судьба Российской империи тебе не дорога? Ты ждешь ее развала? Так ведь обломки на наши головы посыплются.

— Нет, почему же, я не меньший патриот, чем ты. И смею заметить, даже в большей степени. Я только трезво смотрю на действительность, без вашей гвардейской оголтелой влюбленности. Слепой и бездумной. Ты мне анекдоты рассказываешь про Красное Село, как полковые командиры самым наглым образом надувают великого князя Михаила, а то и самого императора, и обе стороны веселы и довольны, и даже обманутые, узнав задним числом, как их надули, сами потешаются, а я за этим вижу проигранную войну. Армия, порядок в которой держится на лжи и жестокости, — гнилая армия, она не способна к победам. Николай Павлович себя любит больше, чем Россию, и даже больше, чем собственного сына-наследника. А мне его высочество заранее жаль — он обречен на тяжкое царствование.

Тут он, конечно, прав. Кавказская армия — лучшее, что есть в России, а управиться с горцами вот уж сколько лет не может. Солдаты наши — те же крепостные, только вместо помещика на двадцать пять лет отданы во владение офицерам. А кончит срок службы — и назад, в крестьянство ходу нет: дома его все забыли и не ждут, сил и навыка вести хозяйство уже нет. Потому и сбегают на службу к черкесам или к тому же Шамилю, и воюют, в общем-то, спуская рукава. В армии определено что-то надо менять, это даже ротмистру видно. Не видно, правда, как менять и на что.

В этом споре едва ли не до утра Лорис-Меликов потерпел сокрушительное поражение. Аргументов у его честного патристического сердца против доводов свободного и здравого ума не нашлось, он захлебывался то в возмущении, то в досаде на себя, на недостаток знаний своих и в спальню ушел с душою смятенной и растревоженной.

А в понедельник, 19 ноября 1851 года, началась новая жизнь. В 4 часа, по завершении всех дел, Лорис-Меликов немало озадачил господ адъютантов, сказавшись нездоровым для участия в кутеже. Вид у него при этом был совершенно здоровый, но глаза куда-то убегали от прямого взгляда, будто где-то там, за пределами веселой компании, его ждали. Александр сразу догадался, в чем дело:

— А-а, мальчика ждет нечто романтическое и таинственное.

— Н-ну, что-то в этом роде, — так уклончивым намеком отвертелся Лорис от объяснений и распрощался.

Можно себе представить, какой дружный хохот вызвала бы истинная причина нынешнего отказа — ротмистру не терпелось читать и читать Альфиери. Ему самому, признаться, была несколько удивительна новая страсть, но ничего поделать с собою он не мог, неведомая сила волокла к заложенной страсти, и хоть тут тресни.

Ненависть Альфиери к прусскому военному образцу помирала муштрованного гвардейца с вольным итальянским поэтом, заодно и урок преподавала — читая, не выхватывать куски из середины. После описаний нравов двора Фридриха II понятней стала нетерпимость к русским крепостным порядкам. И острая тоска возникла: где-то за морями, за горами, за зелеными долами живут себе свободные граждане в свободных государствах, а нам, бедолагам, век вековать под тиранией. Каждый царь и заведенный порядок в его правление кажутся вечными и неизблемыми. Мы ведь знаем историю, а из нее то, что никогда следующий правитель не повторяет своего предшественника, но, живя изо дня в день со скукой и однообразием при предшественнике, мы смиряемся с видимой вечностью его установлений.

Лорис-Меликов, затянутый жестким мундиром и строгими правилами двора Кавказского наместника, завидовал личной свободе итальянского поэта. Но в книге и путь был указан к свободе. Упорный труд над самим собою и безоглядная, беспощадная смелость в самооценке. Тут было над чем задуматься.

С книги Альфиери начался глубокий читательский запой, который продлится теперь на всю оставшуюся жизнь. Даже утро 12 декабря 1888 года начнется свежим номером «Вестника Европы».

Но до него ровно 37 лет. А пока на календаре 8 декабря 1851 года. В этот день, как всегда, в 7 утра ротмистр Лорис-Меликов явился во дворец наместника.



Весь Тифлис бурлил в ожидании великого события. Из крепости Воздвиженской сегодня должны доставить известного разбойника Хаджи-Мурата, который предан в руки командира Куринского полка полковника князя Семена Михайловича Воронцова — сына Кавказского наместника. Едва Лорис-Меликов переступил порог адъютантской, его тут же вызвали к светлейшему князю.

Михаил Семенович, еще в халате, пил утренний кофе и находился в остром возбуждении, тут же передавшемся и вошедшему.

— Ну, друг любезный, твой план, как видишь, исполняется. Поздравляю. Хотя, признаться честно, не очень-то я верю этому сорвиголоу.

— Полагаю, ваша светлость, и он едва ли нам доверяет больше.

Князь усмехнулся:

— Но пока — он с нами. Шамиль держит в плену его семью, и я еще не пришел к выводу, насколько это обстоятельство нам выгодно.

— Похоже, Шамиль нас перехитрил. Пока над его матерью, женой и сыновьями занесен нож, Хаджи-Мурат едва ли рискнет пойти на открытые действия. Тем не менее то, что он у нас, уже хорошо. Надо пытаться выкупить или выкрасть его семью.

— Да уж, неплохо бы, да только едва ли что из этого получится. Я готов отдать ему всех пленных, которые у нас содержатся. Только сомневаюсь, что Шамиль захочет их за такую цену принять. Так или иначе все заботы о Хаджи-Мурате поручаю тебе. Жить он пока будет у подполковника князя Тарханова, а дни с ним будешь проводить ты. Глаз с него не спускать, обо всех его желаниях и капризах доносить мне. Впрочем, что это я тебя, друг любезный, учу?

К полудню под большим казачьим конвоем во дворец наместника был доставлен Хаджи-Мурат с пятью своими верными нукерами.

Тифлис вмиг страхнул с себя провинциальную спячку. В неурочный час дома по Головинскому проспекту стали вдруг наполняться прошеными и непрошеными визитерами. Но мало кто мог усидеть в гостинной — всем не терпелось подышать свежим декабрьским воздухом на балконе.

И к наместнику оказались в этот субботний день самые неотложные дела, почитай, у всей тифлисской аристократии — князей Чавчавадзе, Эристовых, Дадияни, Орбелиани, Аргу-

тинских-Долгоруковых... Но в кабинет к светлейшему князю никто не торопился. Все смиренно ожидали в приемной, набились в адъютантскую комнату, дым стоял коромыслом, и часам к одиннадцати сами адъютанты еле держались на ногах от усталости. Эскорт со знатным пленником едва пересек Куру, а волны всеобщего ажиотажа с галерей и балконов достигли дворца.

— «По улицам слона водили...» — прокомментировал Дондуков-Корсаков.

— «...Как видно напоказ...» — в тон ему доцитировал Крылова Лорис, и напряжение разрядилось.

Это ведь кому праздник и обольщение любопытства, а кому — тяжкий труд. Ротмистр Лорис-Меликов немало имел дела с горцами разных рангов, был удачлив в доверительных с ними отношениях даже спустя всего какой-нибудь час после встречи в бою. Он умел гасить ненависть ласковым, вкрадчивым тоном, тонкой лестью отважному противнику. Но тут все заведомо казалось сложнее.

Все стихло и все стихли, только поступь подбитых стальными подковками казачьих сапог и бронзовый звон шпор обозначили присутствие долгожданного Хаджи-Мурата. Впрочем, его-то шаги в мягких чувяках были неслышны, как у тигра. И так же тихи были его нукеры. Они молча встали вдоль стены в свирепом напряжении, готовые броситься с кинжалом на любого, кого укажет быстрый и хищный взгляд хозяина. Только бровью поведи.

Нет, не поводил бровью Хаджи-Мурат. Он был угрюм, замкнут в себе, и только чуть подрагивающие ноздри выдавали, что и он волнуется перед встречей с сердарем — повелителем всего Кавказа.

Хаджи-Мурат ростом оказался невысок, а хромота делала его как бы еще ниже. Но и при искалеченной левой ноге был он пружинист и гибок. От него исходила мощная воля и достоинство человека, смолodu привыкшего к беспрекословному подчинению любому слову своему. Даже странно, что целых двенадцать лет этот вождь аварцев служил Шамилю, а до того — нашим генералам.

Конвойную команду возглавлял гевальдигер — начальник полицейской части — Кавказской армии подполковник князь Роман Дмитриевич Тарханов 2-й. И прежде чем впустили к светлейшему князю Хаджи-Мурата, к Воронцову вызвали Тарханова и Лорис-Меликова. Тарханов пришел в восхищение выдержкой светлейшего князя, сурового и торжественного, от

наметанного же глаза Лорис-Меликова не укрылось, что Михаил Семенович волнуется, пожалуй, не меньше его самого. Переводить беседу с Хаджи-Муратом Воронцов поручил Тарханову. Еще раз обговорили условия содержания пленника и его нукеров. Только после этого приглашен был в кабинет наместника Хаджи-Мурат.

Встреча эта великолепно описана Львом Толстым, лишь в одной мелочи из корысти художественной, а потому правой, писатель позволил себе легкое отступление от истины. В том месте, где Хаджи-Мурат доказывает былую свою верность русскому престолу и готовность служить ему и в 1839 году, если б не оклеветал его перед генералом Клюгенау кровный враг Хаджи-Мурата Ахмет-хан, Воронцов отвечает ему: «Знаю, знаю», но от себя Лев Николаевич в скобках добавляет: «Хотя он если знал, то давно забыл все это». До перехода Хаджи-Мурата в распоряжение Куринского полка — едва ли знал, а уж не помнил — тут и сомневаться нечего. Но к 8 декабря — заставил напомнить себе. Того же Лорис-Меликова, который все эти дни собирал все сведения об аварском вожде, какие только можно добыть. Зато образ престарелого русского вельможи, равнодушного решительно ко всему, что не касается его гаснущего здоровья и не подверженного никаким недугам честолюбия, из этого легкого мазка освещается весь, как лицо рембрандтовского персонажа в отсвете неизображенной свечи.

Лорис-Меликову под пером великого писателя повезло меньше. Он в повести персонаж проходной — записчик рассказов пленного героя: дать сколько-нибудь яркую деталь его характера Толстой не рискнул — офицер по особым поручениям при наместнике войдет в историю и обозначит личностью своей особую в ней страницу много лет спустя. Соблазн в увлечении характером, скорее своим представлением о нем, свершить несправедливую ошибку был велик, и автор «Хаджи-Мурата» предпочел не давать никаких характеристик.

Впрочем, нет, одна осторожная, намеком попытка дать портрет и выговор Лорис-Меликова есть, и, признаться, не очень удачная: «Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии... Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью, и выговором свое нерусское происхождение...»

Офицера писатель не назвал, но поскольку по Чечне Хаджи-Мурата сопровождал именно Лорис-Меликов и отвечал за него головой, приходится счесть, что это он. Тем более что и в самом деле был и черен, и горбонос. На этом сходство кончается. Реальный Лорис-Меликов был человек светский и в одежде подчинялся безукоризненному вкусу, не позволявшему перегружать черкеску ни золотом, ни серебром. А годы отрочества и юности, проведенные в Москве и Петербурге, вывели из его речи кавказский акцент напрочь. Более того, все мемуаристы отмечают нарочито правильную речь и особое, свойственное инородцам вроде датчанина Даля или немца Гильфердинга пристрастие к русским пословицам и поговоркам.

Тут есть предмет для большой досады. Если сопоставить время и место действия толстовских рассказов «Набег» и «Рубка леса» с послужным списком генерала Лорис-Меликова, обнаруживается, что оба они участвовали в одних и тех же делах против горцев. Впрочем, отряды были столь велики, что, участвуя в одном деле, едва ли два офицера в разных чинах да еще разных родов войск могли запомнить друг друга.

И слишком поздно Лев Николаевич встретил на дороге вест татарника — 18 июля 1896 года, — Михаила Тариеловича, уже семь с половиной лет не было в живых. А ему было что рассказать. Впрочем, основной сюжет толстовской повести — именно Лорис-Меликов и сделал достоянием общественности, опубликовав в мартовском номере «Русской старины» за 1881 год письма Воронцова военному министру Чернышеву и товарищу министра князю Долгорукому, а главное — свои записи рассказов Хаджи-Мурата. Так что без Лорис-Меликова мир так бы и не увидел толстовского шедевра.

Самое трудное в общении с Хаджи-Муратом — найти верный тон. Это, конечно, в любом общении необходимое условие, но тут уж обстоятельства таковы, что любая ошибка чревата серьезными последствиями не только для карьеры ротмистра Лорис-Меликова, но и для хода этой долгой, непрекращающейся Кавказской войны. В окружении Воронцова главенствовало мнение, что Хаджи-Мурат подослан Шамилем, чтобы выведавать все тайны Кавказской армии, не случайно же он просился в Грозную, в наши крепости, граничащие с территорией, подвластной Шамилю. Этим дикарям, говаривали в

штабе, никакой веры нет, а междоусобицы между наибами — что ж, милые бранятся — только тешатся, а нам следует держать ухо востро.

Хаджи-Мурат и сам держал ухо востро. Он не поддавался лести, ибо знал свою силу, впрочем, и слабые места за собой тоже помнил. Тот же бой в садах у Гергебиля в 1848-м признавал своей неудачей — открытое полевое сражение не его стихия. Он был неуязвим во внезапных налетах — стремительных и азартных, когда исчезаешь так же неожиданно, как возник, и только воздух дрожит и трещат головешки подожженных саклей, сараев, палаток, стогов сена...

Да уж, Лорису ли не помнить об опустошительных набегах Хаджи-Мурата. Сколько он сам гонялся по лесам Чечни и Дагестана за неуловимым наибом! А Хаджи-Мурат, вспоминая, лишь изредка тонко усмехался — вот и все чувства, которым он позволял выйти наружу. И снова принимал утрюмый, неприступный вид.

И все же относительное доверие Хаджи-Мурата Лорис сумел-таки завоевать. Он разгадал характер отважного горца, для которого не существовало никаких привязанностей, кроме самых естественных в его возрасте — семейных. Ни русский царь, ни Воронцов, ни Шамиль были ему не указ, и служил он той или иной стороне, лишь загнанный необходимостью, так что полностью на него полагаться никому нельзя, истинным же богом была для Хаджи-Мурата свобода. Лорис и общался с ним как с человеком свободным, бережно избегая в разговорах с ним нынешнее его, фактически подневольное, положение.

Недавно прочитанный Альфиери еще владел сознанием Лорис-Меликова, и он часто ловил себя на том, что в мыслях его поэт и воин смещены этой единой для обоих жадой свободы. Только понимают они ее по-разному. Первобытная, дикарская вольность Хаджи-Мурата, не желающего считаться ни с какой действительностью, загнала его в двойной плен. Свобода поэта — осознанная, но от сознания до обретения предстоит долгий путь повседневного труда и мучительной правды самому себе о самом себе. Зато эта свобода не знает плена. Такого пути для себя Лорис-Меликов побаивался, но в ту зиму, оказавшись между двумя этими могучими личностями в момент духовного пробуждения, он вставал на трудный путь Альфиери. Но его-то, Лорисова, дорога — длиннее и, пожалуй, поизвилистее.

Что ни говори, а самая профессия гвардейского ротмистра, офицера по особым поручениям при наместнике, соединяющая

в себе военного и чиновника, меньше всего предполагает именно свободу. Субординация и жесточайшая дисциплина — вот ее столпы. Впрочем, Витторио именно дисциплиной и достиг свободы. Но он не подчинялся чужой воле, а тут ведь и капризы Михаила Семеновича исполнять приходится — пустые, старческие, эгоистические. Читать ему в отсутствие Дондукова-Корсакова газеты, развлекать пустыми разговорами. А то сам Михаил Семенович не исполнял чужих капризов! Его-то молодость еще не в таком рабстве прошла! А здесь, на Кавказе, светлейший князь — наместник царя в самом полном смысле этого слова, и даже больше: не Воронцов считается с Петербургом, а Петербург с Воронцовым.

В двадцать семь лет искать свободу поздновато, конечно, во всяком случае уже не время ломать судьбу. Он вполне освоился со службой своею, в иных вопросах ему нет равных в Тифлисе. Значит, надо делать карьеру, но не растворяться в ней до потери достоинства — вот что сделало Воронцова Воронцовым, а Чернышев хоть и достиг подлостью государственных высот и управляет самым важным — Военным министерством, и тоже с недавних пор светлейший князь, а как был, так и остался холуем, презираемым на Кавказе даже корнетами. В Петербурге и Красном Селе, правда, различий между ними не замечали, там — прав Альфиери! — большая лакейская, но из Тифлиса, где война — повседневные будни, а не царская потеха на плацу, все как-то виднее.

На восьмой день после въезда Хаджи-Мурата в Тифлис решено было уступить его просьбам и отправить в крепость Грозную. Собрали конвой из тридцати казаков — людей бывалых и решительных — и под командой Лорис-Меликова двинулись в путь. Молва опережала эскорт, и, пока ехали по Грузии, надо было защищать Хаджи-Мурата от обиженных его набегами и грабежами картвелов и хевсурцев, а в Чечне сдерживать напор жаждающих прикоснуться к бурке народного героя.

В Грозной новый начальник левого фланга генерал-майор свиты его императорского величества князь Александр Иванович Барятинский собирал отряд для зимней экспедиции в Большую Чечню. Он только что возвратился из Петербурга, где состоял при особе наследника великого князя Александра Николаевича и, при всех выгодах и прелестях столичной жизни, сильно затосковал по Кавказу и умолил-таки о переводе сюда. Теперь он весь горел азартом предстоящих схваток с горцами, днями и ночами просиживал в штабе, влезал во все мелочи

планирующихся операций, хотя по опыту знал цену всем этим гаданиям по топографическим картам. Но Александру Ивановичу очень уж нравилась новая роль — не тактика, а стратега.

Хаджи-Мурат был ему тут совсем не к стати — он уже понял, что, пока Шамиль держит у себя в плену семью сбежавшего наиба, ни о каком участии его в деле и речи идти не может, а данные, полученные от лазутчиков, особых надежд не внушали: Шамиль приказал перевезти пленников в Ведено и держит их там под особо усиленной стражей. Но против воли наместника не пойдешь, так что придется смириться с этой головной болью.

Против ожидания, хлопот оказалось не так много — адъютант Воронцова, приставленный к Хаджи-Мурату, ротмистр Лорис-Меликов оказался на редкость толков и расторопен. Он быстро отпугнул праздно любопытствующих и взял в свои руки общение Хаджи-Мурата с внешним миром. В дом, где они расположились, теньями проникали какие-то таинственные люди, бесследно исчезали, а Лорис изредка слал записочки начальнику линии о переменах в намерениях Шамиля, о его планах против отряда.

Но главная цель пребывания в Грозной и Хаджи-Мурата, и Лорис-Меликова была недостижимой. Шамиль не шел ни на какие переговоры с опальным аварским вождем, слышать не хотел об обмене семьи Хаджи-Мурата на пленных и даже денег брать не хотел. Бездна надежды эта вконец утомила Лорис-Меликова, тем более что все сведения, какие только можно было добыть от Хаджи-Мурата и его верных людей, Лорис добыл, и он стал проситься в отряд, о чем настойчиво писал в своих донесениях Воронцову.

Поразмыслив, светлейший князь счел, что просьбам ротмистра, соскучившегося по настоящему боевому делу, следует уступить. 14 января 1852 года он написал ему:

«Спешу тебя благодарить, любезный Лорис-Меликов, за письма твои от 23-го декабря и 5-го января и за все, что ты мне в них сообщаем о Хаджи-Мурате... От души благодарю тебя еще за усердную и полезную службу твою и могу тебя уверить, что услуга, которую ты мне оказываешь, не останется без должного вознаграждения.

Согласно твоему желанию я пишу сегодня князю Бяратинскому о вытребовании тебя в отряд, где тебе можно будет остаться несколько дней для участия в боевых делах. На-

пиши мне непременно, что говорит Хаджи-Мурат о блистательном и вполне удачном движении князя Бяратинского и что передали ему нынешние приверженцы его о влиянии, которое оно имело и будет иметь на чеченцев вообще и на тавлинцев. Кланяйся Хаджи-Мурату от меня и скажи ему, что, так как я ему уже здесь предсказывал, Шамиль не соглашается на промен его семейства, но что князь Аргутинский и князь Орбелиани еще будут стараться и хлопотать об этом и что не должно терять никакой надежды.

Прощай, любезный Лорис; коли Хаджи-Мурату нужны деньги, то дай ему от 200 до 800 рублей сверх положения. Остаюсь навсегда твой

*М. Воронцов».*

Поскольку желаемый ответ содержался в вопросе, написать новый доклад не составило большого труда. Хотя в оценке действий князя Бяратинского Хаджи-Мурат был скуповат и чуть скепсичен. Движение большим отрядом казалось ему предприятием громоздким и потому слишком медленным. Только лихие рейды казаков полковника Бакланова вызвали его заметно ревнивое одобрение. Бакланов давно уже наводил ужас на непокорных горцев. Они звали его Баклу и одним именем пугали капризных детей: «Смотри у меня, Баклу отдам!» И ребенок стихал мгновенно. Так что в ответе своем Воронцову Лорис-Меликов особо нажимал на эффект баклановских набегов. Ободрять Хаджи-Мурата надеждами становилось все труднее, впрочем, Воронцов и сам это понимал, и следующее его письмо, написанное через неделю, 21 января, рассеяло все иллюзии на сей счет.

«Я получил вчера, любезный Лорис, письмо твое от 11-го января и очень тебя благодарю за оное и за все подробности, которые ты мне в оном сообщаем. Хаджи-Мурат теперь имел довольно времени, чтобы собрать из Чечни все сведения насчет семейства его; сведения эти согласны с тем, что мы получаем с разных сторон, и кажется, что его пребывание теперь в Грозной уже без пользы, а для нас это пребывание там вредно, ежели, как ты говоришь, он для своих собственных видов об освобождении семейства отсоветует людям хорошим немедленно перейти к нам. Поэтому, мне кажется, лучше было бы, если бы он теперь оставил линию, но не мешало бы, мне кажется, что до приезда в Тифлис он побывал бы в Ставрополе.

Я не делаю из этого непременно условие, но это было бы лучше, тем более что его возвращение в Тифлис было бы тогда ближе к тому времени, когда и князь Аргутинский сюда придет; теперь же он может видеть только князя Григория Орбелиани, и мы здесь будем продолжать старания для удовлетворения его надежды. Шамилю приходится плохо в Чечне и в Дагестане, хлопот много; ежели бы нашлись там люди смелые, которые бы решились украсть его семейство и перевезли его в наши границы, это было бы всего лучше, и князь Аргутинский об этом старается.

...Не знаю еще от тебя, что сделано у вас после письма моего к тебе и к Барятинскому насчет возможности тебе побывать в отряде: ежели это было, то кто остался вместо тебя, чтобы смотреть за Хаджи-Муратом. Во всяком случае ты сделал и мне и службе большое одолжение по этому делу, и я тебе истинно благодарен.

Прощай, любезный Лорис, напиши мне обо всем подробно; остаюсь навсегда твой

*М.Воронцов».*

То-то и оно, что ничего не сделано насчет возможности побывать в отряде. Князь Барятинский адъютантов наместника не любил и соглашался на их участие в делах с большой неохотой. В каждом из них князь, сам весьма опытный интриган и ловкий карьерист, подозревал интригу против собственной персоны, надзирающий глаз наместника, а в эту зиму, получив, наконец, большую независимость от Тифлиса, видел в приближенном к Воронцову офицере посягательство на свою свободу. Заботы о Хаджи-Мурате были прекрасным предлогом для отказа. Но теперь, после вторичного напоминания, Барятинский вынужден был зачислить Лорис-Меликова в отряд. Ну что ж, утешил себя князь, если ротмистру Лорис-Меликову угодно свернуть себе шею, мы ему в этом поможем.

При расположении отряда лагерем под аулом Типли ротмистру поручено было наблюдать сторожевые посты, и в первую же ночь произошла тревога; когда лошадей вывели к Аргуну на водопой, отчаянные горцы числом с полусотню попытались напасть на табун. Впрочем, серьезного боя не было — казаки первыми обнаружили неприятеля и отогнали от лагеря.

Через неделю князь Барятинский испытал Лорис-Меликова на рекогносцировке. Странное дело, сопровождая Хаджи-Мурата по Грузии и Чечне, Лорис-Меликов невольно приучил

себя следить за взглядом горца, привычно высматривавшего по дороге звериные тропы, уступы и трещины в скалах, и как-то сам собой взгляд его обрел дикарскую зоркость. Он и о себе мог теперь сказать слышанное от Хаджи-Мурата:

— Где зверь проходит, там и Хаджи-Мурат с конем найдет себе дорогу.

При рекогносцировке 7 февраля он нашел еле заметную тропу, ведущую прямо к чеченским редутам с тыла, и уговорил Барятинского с частью отряда пойти на их штурм, что вскоре и принесло неожиданный успех. Они наголову разбили отряд сына Шамилева Казы-Магома, тот едва спасся от казачьей погони.

Но самое жаркое дело было 18 февраля, когда Лорис-Меликов с сотнею казаков прорвался сквозь лесные завалы и соединился с отрядом легендарного полковника Бакланова. Он впервые увидел прославленного героя Кавказской войны, но оказалось, что знаком с Яковом Петровичем с малых лет. Это был тот самый свирепого вида ротмистр, что сопровождал по Военно-Грузинской дороге купеческий караван, с которым Лорис-Меликов ехал в Москву поступать в Лазаревский институт. С годами вид у Бакланова стал еще суровее и неприступнее, он уже и на своих смотрел грозно из-под вечно нахмуренных поседелых бровей. Но Лорис сумел растопить ледяную панцирь угрюмого казачьего предводителя — тот ценил офицерскую храбрость, а воспоминания о молодости за стаканом кахетинского очень быстро настроили Якова Петровича на несколько сентиментальный лад.

Наутро объединенные отряды Бакланова и Лорис-Меликова задали жару мюридам на берегу Мичика, сровняв с землею казавшиеся неодолимыми укрепления.

После столь славного дела из Тифлиса пришло новое письмо от наместника. С некоторой тревогой Лорис-Меликов вскрывал его — очень уж не хотелось оставлять отряд и возвращаться домой надзирать над Хаджи-Муратом. Слава Богу, надобность в этом пока отпала. Воронцов сообщал:

«Я пишу тебе с отъезжающим от нас фельдъегерем, чтобы сказать тебе, любезный Лорис-Меликов, что я был очень обрадован известием о прекрасном твоём кавалерийском деле, в котором ты так храбро с молодцами казаками атаковал кавалерию горцев под командою сына Шамиля. Князь Барятин-

ский и Семен Михайлович (Воронцов. — *Авт.*) писали мне о том и отдают полную справедливость тебе в этом прекрасном деле. Я всегда был уверен, что ты как всегда был, так и остаешься и всегда покажешь себя молодцом.

Хаджи-Мурат опять к нам воротился, но я не нахожу нужным, чтобы ты оставлял пока место, где ты находишься. Хаджи-Мурат скоро опять поедет отсюда в окрестности Грозной, и я в среду опять напишу тебе и кн. Барятинскому обо всем, что будет на его счет решено. Прощай, любезный Лорис. Здесь, в Тифлисе, все о тебе говорят и тебя хвалят. Верь истинной моей к тебе привязанности.

*М. Воронцов.*

Р. С. Скоро после твоего отъезда я узнал с душевным сожалением о кончине твоего почтенного дяди, но ты, отъезжая, сам мне сказал, что он без надежды.

*М. Воронцов».*

Письмом же, писанным в среду, князь Воронцов отзывал Лорис-Меликова от сражений, хотя пора их уже завершалась и отряд собирался в Грозную для отпуска. 20 февраля Михаил Семенович писал:

«Любезный Лорис, князь Барятинский тебе скажет, что я вновь ожидаю от твоего усердия и всегдашней готовности. Ты имел уже случай подраться и отличиться; теперь я тебя прошу опять соединиться с Хаджи-Муратом в Червленной, поехать с ним в Таш-Кичу, где он должен остаться до возвращения кн. Барятинского в Грозную; он здесь все время очень весел и любезен, и ежели бы Бог нам дал избавить его семейство, он будет у нас предрагоценное орудие для будущего во всех отношениях.

Прощай, любезный Лорис. Кн. Тарханов довезет Хаджи-Мурата до Червленной и обо всем тебе расскажет. Княгиня и графиня Шуазель тебе кланяются. Остаюсь навсегда искренне тебя любящий

*М. Воронцов».*

И что понесло Хаджи-Мурата в эту крепость? И самим Таш-Кичу, и ближайшими аулами вокруг него владели кумыцкие князья, немало потерпевшие от Хаджи-Мурата и считавшие его своим кровным врагом. Но жители этих аулов готовы были следы целовать за отважным и славным героем. У дома, где

остановился Хаджи-Мурат, ежедневно собирались толпы народа — хоть уголочком глаза увидеть лучшего из наибов.

В один прекрасный день к Хаджи-Мурату явилась целая депутация с приглашением прийти в мечеть для свершения намаза. Князья, прознав о том, объявили, что не пустят врага своего в мечеть, и Лорис-Меликову пришлось усмирять обе стороны — и разгневанных князей, и взволновавшийся, готовый к бунту народ. Чудом удалось избежать кровопролития, но чудо это дорого обошлось самому Лорис-Меликову.

Конфликт вспыхнул внезапно, действовать надо было без промедления, и ротмистр выскочил из дому как был — в легком мундирчике, накинутом на нижнюю рубашку. Разгоряченный, он еще и не застегнулся как следует, а март в горах месяца коварный. К вечеру он чувствовал себя как в тумане, и это было приятно, какая-то вдохновляющая сила подняла боевой дух и азарт успешного предприятия... А ночью та же сила сбросила его в жесточайший жар, голова пылала, а кости ломало в суставах так, что он места себе не находил.

На третий день лихорадки, пользуясь отсутствием бдительного Лорис-Меликова, местный князь Арслан-хан подобрался-таки к Хаджи-Мурату и чуть было не застрелил его. О происшествиях этих пришлось рапортовать в Тифлис, обстоятельства покушения Лорис-Меликов изложил скромно, не намекая на свою болезнь, о которой доложил Воронцову князь Барятинский, мечтавший поскорее избавиться от Хаджи-Мурата и всех связанных с ним хлопот.

После злосчастного выстрела Арслан-хана пришлось переселиться в один дом с Хаджи-Муратом и уже ни на шаг не отпускать его от себя. Впрочем, с таким положением дел и сам Хаджи-Мурат смирился и очень трогательно ухаживал за своим охранителем. Еще не оправившийся от лихорадки, Лорис-Меликов получил из Тифлиса письмо следующего содержания:

«Тифлис. 17-го марта 1852 г.

Любезный Лорис, спешу отвечать на письма твои, от 4-го марта и на то, которое я получил сегодня от 9-го. Насчет критического вашего положения в Таш-Кичу и я здесь решить ничего не могу, и прошу официально кн. Барятинского с тобою переговорить и решить, как найдете лучше; разумеется, я за все отвечаю. Может быть, будет лучше, на время отсутствия

кн. Барятинского из Грозной, чтобы Хаджи-Мурат переехал в Кизляр или Ставрополь, особенно ежели ему не можно будет остаться в укреплении Таш-Кичу.

Теперь будем говорить о предмете, который меня интересует еще больше Хаджи-Мурата, а именно о твоём здоровье: мне все говорят, что ты довольно серьезно болен, хотя сам по скромности ничего об этом мне не говоришь; я пишу также об этом Барятинскому и прошу взять все возможные меры, чтобы ты мог поправиться совершенно; ежели тебе невозможно будет на время остаться с Хаджи-Муратом, то, покамест он в Таш-Кичу, может за ним смотреть полковник Каяков, а для других мест Барятинский найдет кого-нибудь другого на время твоего отсутствия; надо, чтобы ты берегся, и мой долг не только ничего не делать, что бы могло тебе вредить, но и тебе самому в этом мешать и не позволять тебе рисковать твоим здоровьем.

Прощай, любезный Лорис. Кн. Тарханов тебе тоже пишет; надеюсь, что я буду иметь хорошие известия о твоём здоровье; княгиня и графиня тебе кланяются. Обнимаю тебя душевно и остаюсь навсегда весь твой

*М. Воронцов».*

Вслед за воронцовским письмом в Таш-Кичу пожаловал Александр Иванович Барятинский. Лориса он обнаружил не в лучшем виде, того трясла лихорадка, лицом ротмистр был желт, под глазами чернели глубокие тени. Хаджи-Мурата решили пока никуда с места не трогать — местный народ поуспокоился, сам Хаджи-Мурат обходился без прогулок — роль доктора при кунаке Лорисе увлекла его. Такое положение, конечно, тяготило Лорис-Меликова, но ни он, ни Барятинский ничего придумать пока не могли. Переезд в Ставрополь или Кизляр был предприятием весьма сложным — Барятинский не хотел рисковать своими офицерами и подставлять их под такую ответственность. Тут хватило переживаний с покушением Арслан-хана. Самое лучшее, конечно, было бы отправить Хаджи-Мурата в Тифлис, но на это нужно особое разрешение наместника. Барятинский собирался через неделю на доклад к нему по итогам зимней экспедиции и пообещал уговорить Воронцова воротить пленника в Тифлис.

Лорис-Меликов поднялся, наконец, на ноги и позволял себе совершать вместе с Хаджи-Муратом недалекие прогулки верхом, когда пришло последнее письмо от светлейшего князя от 30 марта 1852 года.

«Любезный Лорис, — писал Михаил Семенович, — я, согласно твоему желанию, думал, кем заменить тебя при Хаджи-Мурате; но теперь, переговоривши с князем Барятинским, мы решили выслать его сюда, и поэтому не нужно будет тебя сменить; ты привезешь Хаджи-Мурата в Тифлис, где и кончится твое поручение. Я надеюсь, что отдых тебя совершенно поправит.

Прощай, любезный Лорис, поздравляю тебя с праздником, обнимаю тебя душевно и остаюсь навсегда весь твой

*М. Воронцов».*

Дорогою Лорис-Меликов вновь подхватил простуду и в Тифлисе явился весь истерзанный новыми приступами лихорадки. Хаджи-Мурат на месте не усидел и отпросился у Воронцова в Нуху, где надеялся собрать надежных людей, чтобы отправить их в Ведено выкрасть свое семейство. Поручили его на этот раз заботам пехотного капитана Бучкиева — столь же храброго, сколь и безалаберного. Он-то и упустил Хаджи-Мурата, сбежавшего из Нухи со своими нукерами. В отчаянии Бучкиев помчался в Тифлис доложить о беде наместнику.

Никогда и никому еще на Кавказе не доводилось видеть светлейшего князя в таком гневе. Он кричал, он топал ногами на несчастного капитана и обвинил его в трусости: надлежало мчаться не в Тифлис, а в погоню. Но воротиться в Нуху Бучкиев не успел: на счастье его, примчался курьер от коменданта крепости полковника Карганова с известием, что Хаджи-Мурат и его нукеры убиты в перестрелке. А к вечеру прибыл сам Карганов и изложил подробности — как он снарядил полк азербайджанской милиции и сотню казаков, как они обнаружили Хаджи-Мурата и как бился отважный воин за свою свободу до последнего патрона.

Узнав об этом, Лорис-Меликов исстрадался с досады. Уж от него-то Хаджи-Мурат не сбежал бы. В самые счастливые дни куначества меньше чем с двумя десятками казаков Лорис-Меликов своего друга не отпускал. И не потому, что не доверял искренности Хаджи-Мурата — он ждал подобного исхода. Шансы на спасение семьи подкупом ли, стремительным налетом в Ведено иссякли, а оставаться в двойном плену надолго этот человек по природе своей не мог.

Как и обещал, князь Воронцов не оставил Лорис-Меликова без наград. За зимнюю экспедицию в отряде князя Барятинского к ордену Анны 2-й степени с мечами прибавился той



же степени орден с императорской короною. А через год, когда операция с Хаджи-Муратом была признана в Петербурге большой удачей Кавказской армии, Воронцов представил Лорис-Меликова, минуя аж два чина, к званию полковника.

В Кавказской армии это был второй случай. Недавно в полковники был произведен ротмистр князь Александр Дондуков-Корсаков. Но перед ним Воронцов чувствовал себя как бы виноватым. Года два назад Александр сопровождал наместника в его поездке по Польше и в Варшаве. Посетив в Бельведерском дворце императора, Воронцов не представил Дондукова-Корсакова царю и тем самым лишил его возможности в минуту стать флигель-адъютантом. Ведь тогда пришлось бы расстаться с придворным офицером и отправить его в Петербург, а расставаясь с собственным адъютантом Воронцову не хотелось: кто ему будет читать в дороге газеты, кто лучше сможет ухаживать за Елизаветой Ксавьерьевной, которой это путешествие уже тяжело.

Александр долго жил злостью на светлейшего князя, но в конце концов подавил досаду и только чаще стал отпрашиваться в действующие отряды. Зато теперь он счастлив и горд и постоянно скашивает взгляд на новые свои эполеты, проверяя, не приснилось ли такое.

Теперь, когда и Лорис-Меликова произвели в полковники, доброго Александра уколола легкая ревность, он лишился исключительности в своем положении. Но события так повернулись, что все эти мелкие обиды провалились и рассеялись.

## КРЫМСКАЯ ВОЙНА

Слухи о возможной войне достигли Тифлиса давно, еще в ту пору, когда Лорис-Меликов вернулся из Таш-Кичу. Князь Воронцов был убежден почему-то, что у Николая I хватит ума не ввязываться в вооруженное противостояние с Турцией, за спиною которой поигрывают мускулами сильные европейские государства. Он был сыном дипломата и сохранял веру в силу мудрых переговоров. Увы, безумие свершилось. И уже в октябре 1853 года турки открыли действия против Кавказской армии, значительными силами напав на Пост Святого Николая — небольшую нашу крепость в Грузии. Крепость вскоре отбили, но дела наши трудно было назвать блестящими. Турецкий генерал Абди-паша сосредоточил против русских войск сотни-

сячную армию. Кавказская же армия была решительно не готова к войне в Закавказье — основные ее силы увязли в сражениях с Шамилем, а вдоль турецкой границы держались лишь небольшие наблюдательные отряды.

В срочном порядке в Александрополь был отправлен генерал-лейтенант Василий Осипович Бебутов, которому надлежало сформировать Отдельный Кавказский корпус. Он должен был принять прибывшую морем из Крыма пехотную дивизию и организовать полки из грузинского и армянского ополчения.

Лорис-Меликов отпросился у наместника в Армению — он не мог оставаться в Тифлисе, когда его соотечественники подвергаются налетам и грабегам турок. О зверствах солдат турецкой армии, а еще более башибузуков в армянских селениях доходили ужасающие слухи, увы, отнюдь не преувеличенные.

Это решение Лорис-Меликова ускорило ход событий в его частной жизни. Генерал Аргутинский-Долгоруков сдержал-таки слово свое и просватал отважному офицеру любимую племянницу Нину. Девочка подросла как-то незаметно. Но только вдруг Лорис обнаружил, что ее едкие укольчики достигают его внимания, на них приходится отвечать, и поостроумнее, каждый раз обдумывая свои слова, и между ними возникла непонятная игра. И на внешность ее он стал посматривать не без интереса. В чертах ее, по-армянски ярких, светились недюжинный ум и твердый, склонный к деспотизму характер. Характера он не боялся, Лорис был достаточно опытен и искушен в отношениях, и это ему даже нравилось. Во всяком случае, месяц от месяца он все больше чувствовал свою — не влюбленность, нет, скорее привязанность к этой острой на язык умненькой княжне. А душевная привязанность ведет к любви надежнее, чем пылкая и без остатка сгорающая влюбленность. Накануне отъезда в действующую армию состоялась помолвка.

Светлейший князь при расставании с любимцем своим был как-то особенно сентиментален и даже — он-то, гордый Воронцов, всегда и всех поражавший необычайной своею выдержкой! — расплакался, как впадающий в детство старичок. Видимо, чувствовал, что видятся они с Лорисом последний раз. Для старого воина настали не лучшие времена. Герой Бородин и Краона, он дожил до войны, к которой оказался не готов решительно во всех отношениях, и не чувствовал в себе сил главенствовать над войсками. Весною 1854 года он отпросился в шестимесячный отпуск, сдав командование армией генералу Реаду. Но из отпуска Михаил Семенович так в Тифлис



и не вернулся, он окончательно вышел в отставку и тихо угас в Одессе вскоре после окончания войны.

Лорис-Меликов едва доехал до Александрополя, как тут же был направлен с казачьим эскадроном в действующий отряд и еще по дороге у турецкой деревни Карчах 29 октября попал в жесточайшую перестрелку с кавалерией противника. Дело принимало худой поворот, но подоспела пехота из русского духоборского села Богдановка, и вражеская конница, не выдержав напора ободренных помощью казаков, обратилась в бегство. А на следующий день — новая схватка неподалеку от Баяндура, только переночевали — налет большой конной партии башибузуков на наш лагерь... 2 ноября уже наши колонны князя Орбелиани и генерал-майора Кишинского пошли в наступление и взяли Баянмур.

После Баяндура генерал Бебутов отважился на решительное продвижение в глубь турецких пределов, к Карсу. 19 ноября армия Ахмета-паши численностью в 36 тысяч попыталась остановить движение нашего 10-тысячного корпуса. Турецкая атака была стремительна и все же врасплох Бебутова не застала. Генерал успел вывести колонну из-под удара и сам нанес решительный контрудар с правого фланга. Лорис-Меликов был как раз впереди атакующих и первым с тремя десятками казаков ворвался в Баш-Кадыкляр.

Уже в селе в самый разгар битвы чья-то крепкая рука сдернула Лорис-Меликова с седла. Он и понять ничего не успел, только услышал:

— Мишка, пригнись!

И вовремя — сзади над ним просвистел клинок турецкой сабли, останься он на коне, быть бы рассечену надвое. С седла стащил его какой-то пехотный капитан с реденькими бакенбардами на красном лице, которого он тут же в суматохе и потерял, и уже после боя вспомнил тот счастливый эпизод и пошел разыскивать краснолицего капитана, недоумевая, откуда тот знает его по имени.

Уже пала ночь, и поиск капитана в обширном лагере среди десятков палаток терял всякий смысл. Ржали кони, пьяные солдаты горланили песни, в потемках бродили заплутавшие тени, кого-то окликавшие, что-то ищущие. Такой же тенью бродил и Лорис-Меликов, уже не надеясь никого и ничего найти, кроме ночлега: пока искал спасителя, свою палатку потерял.

У ближайшей палатки спросил солдата:

— Это какой полк?

— Рязский пехотный, ваше благородие.

Название мало что говорило — рязцы лишь недавно прибыли из Крыма, и, кроме их командира полковника Ганецкого, Лорис-Меликов никого там не знал. Но все-таки спросил:

— А командиры ваши где?

— Во-он тама.— Служивый показал на самую дальнюю в ряду палатку. Из распахнутых пол ее виднелся свет.

Лорис-Меликов пошел на огонек.

Он встал на пороге, шурясь и осматриваясь, и над самым ухом разнеслось:

— Мишка, друг, пришел! Дай я тебя безешкой отмечу!

Краснолицый капитан уже тискал его в объятьях, дыша свежей водкою, чесноком, еще какой-то гадостью. Лориса уже повело от брезгливости, он попытался было освободиться от крепкой дружеской хватки — и вдруг вспомнил. Хлюстин 3-й! Один из трех братьев-забияк, что в страхе держали младшие классы Школы гвардейских подпрапорщиков. Ему на первых порах тоже доставалось от Хлюстиных, особенно в те дни, когда из Тифлиса приходила посылка с гостинцами.

— Ванька! А ты как здесь оказался?

Вместо ответа Иван Хлюстин освободил, наконец, школьного друга из железных объятий своих, а офицерам, сидящим за давно накрытым и потерявшим всякое убранство столом, объявил:

— Господа! Нас посетил самый лихой наездник из всех юнкеров Михаил Лорис-Меликов! Видали его сегодня? Самый молодецкий молодец!

Иван был уже хорош, впрочем, и все вокруг тоже в изрядном градусе, включая и командира полковника Ганецкого. Лорис-Меликову тут же налили штрафную, потом еще одну... Так он и не выяснил сегодня, как это Хлюстин угодил в простой армейский полк — выпущен он был в гвардейский Егерский. Впрочем, завтра он сам поймет.

К утру беспамятное тело Лорис-Меликова два рязских солдата принесли к палаткам, торжественно именуемым главной квартирой корпуса, и хотели было без шума уложить спать, да сами они тоже еле держались на ногах. Генерал Бебутов, разбуженный вознею, с большим изумлением наблюдал сию жанровую сцену. В таком состоянии он видел сына почти-тельного тифлисского семейства в первый раз. Правда, и в последний.

Весь следующий день прошел в одолении головной боли и стыда. Он даже на своего слугу верного Осипа глаз не подымал. И всячески потом старался забыть проклятый Баш-Кадыкляр, хотя за этот бой удостоен был георгиевской золотой сабли с надписью «За храбрость».

Под Новый, 1854 год войска наши вернулись из пределов Турции в Александрополь — старинный армянский город, называемый местными жителями по-старому Гюмри. Хотя осенние бои надо признать успешными, до настоящей победы далеко, командующий войсками генерал Бебутов никаких иллюзий на сей счет не строил, и будущее вызывало у него серьезные беспокойства. Корпус был слаб и малочислен, против ста тысяч вражеской армии удалось собрать лишь тридцать. К тому же турки, что особенно удивительно, были вооружены лучше нас, они давно забыли, что такое кремневые ружья — англичане снабдили их прекрасными легкозарядными винтовками. И пушки у них не чета нашим. Такое может быть только в России. В единственную постоянно воюющую в годы правления Николая Павловича Кавказскую армию поставлялись орудия, поломанные на учениях и уже побывавшие в ремонте.

Полковник Лорис-Меликов состоял штаб-офицером для особых поручений при Бебутове. Роль эта при активных военных действиях корпуса его тяготила. В боях он подменял выбывших офицеров, и самостоятельного поля действия у него не было. Как почти не было и случая применить свой опыт сношений с вождями кавказских племен, хотя уже здесь, в Александрополе, полковник тоже не дремал и мгновенно оброс новыми знакомыми как среди местных армян и грузин, так и среди мусульман, потихоньку налаживая разведку в пределах Турции.

Лорис-Меликов долго обдумывал свое положение в действующем корпусе и в один прекрасный день предложил князю Бебутову интересную идею. Он взялся собрать сотни две-три охотников — то есть добровольцев из кавказцев всех национальностей, какие только можно собрать под флагами Российской империи.

Мысль была счастливая, хотя сомнений у Василия Осиповича возникало достаточно. Заранее ясно было, что за публика пойдет в охотники. Это дикие, ни к какой дисциплине не привыкшие хищники, верные своему командиру лишь до той

минуты, пока он обеспечивает им добычу. В любое мгновение охотники, особенно из мусульман, запросто предадутся туркам, да еще выложат им наши секреты. Лорис-Меликов и сам предвидел подобный поворот, но на сей счет у него созрели свои планы.

— Ну что ж, с Богом! — благословил Василий Осипович.

Всю оставшуюся зиму и весну Лорис-Меликов собирал по ближайшим уездам команду. Прослышав о наборе лихих всадников-партизан, к нему стали стекаться поодиночке и шайками горцы с Северного Кавказа. В начале апреля под властной рукою Лорис-Меликова оказалось целых три сотни охотников. Кого там только не было! Нищие, полуголодные, оборванные. Но глаза горят отвагой, тщеславием и азартом близкой наживы. Эх, как жаль, что так глупо погиб Хаджи-Мурат! Вот кого сейчас не хватало!

12 апреля 1854 года генерал Багговут вывел из Александрополя полк Нижегородских драгун и сотни охотников Лорис-Меликова. У села Арчин сорвиголовы сборной команды впервые показали себя, налетев на многочисленный отряд турецкой кавалерии. Ошеломленные, турки не сумели даже осмотреться, чтобы собственные превосходящие силы подсчитать, организовать оборону или собраться для контратаки. Впрочем, контратаковать уж и некого: забрав свыше двадцати пленных с двумя офицерами в их числе и большой полковой значок, охотники Лорис-Меликова как бы растворились. Тем временем и драгуны отличились у соседнего села, и возвращение в Александрополь было триумфальным, почти как в Древнем Риме.

На протяжении всего 1854 года война на Кавказском театре действий представляла собой взаимные неглубокие вторжения за пределы государственных границ с переменным успехом, пока в июле турки с 60-тысячной армией во главе с муширом Мустафой-Зарифом-пашой не открыли наступления на Александрополь и не были разгромлены нашим 18-тысячным корпусом Бебутова под селением Кюрюк-Дара. Не помогли ни втрое численное преимущество, ни английские советники, ни иные офицеры союзных армий. Охотники особо отличились под Кюрюк-Дара своими дерзкими атаками впереди авангарда. Они врывались во вражеский лагерь с ревом и свистом, сеяли панику, турки не успевали прийти в себя, а тут подходили регулярные полки и методично довершали начатое дело. Охотники тем временем с левого фланга вторгались в правый и производили там суматоху.

После блистательной победы 24 июля турецкая армия, противостоявшая корпусу Бебутова, потеряла всякую способность вести серьезные наступательные действия. Но наших проблем даже на Кавказе это не решало. Россия все глубже втягивалась в бои на разных направлениях — на Дунае, в Крыму, на Балтийском море и даже на Камчатке, и все меньше победных реляций получал Главный штаб в Петербурге. Одно дело воевать с Османской империей, столь же отсталой и насквозь прогнившей, как и сама Российская империя в облезлой позолоте николаевского величия, другое — со всем миром, давно расставшимся с крепостным правом, миром свободным, богатым, просвещенным и цивилизованным.

Корпус Бебутова удерживал относительное равновесие на границе, и ясно было, что долго такое положение длиться не может: рано или поздно противник соберет силы, и что тогда? Ждать помощи из России нечего, надо обходиться своими средствами. Весной 1854 года, когда просьба почтенного в годах и еще глубже от горьких дум состарившегося князя Воронцова об отпуске была, наконец, удовлетворена, на время его отсутствия командовал Кавказской армией генерал Ред — воин храбрый и достойный, но не стратег. Да и положение его — временно исправляющего должность — было непрочным, что никак не придавало ему решительности. Он так и не прислал в помощь Бебутову перед сражением у Баш-Кадыкляра Рязанский полк, стоявший в Тифлисе, зато завалил Главный штаб депешами о необходимости прислать подкрепления. А откуда их взять? Нет, здесь нужна личность, полководец. В декабре 1854 года Главнокомандующим Кавказской армией и наместником его императорского величества на Кавказе назначен был генерал от инфантерии генерал-адъютант Николай Николаевич Муравьев.

Муравьева в императорской семье не любили. Старший брат его Александр после известных событий в декабре 1825 года был под следствием, которое обнаружило его активное участие в заговоре, и хотя года за два до выступления на Сенатской площади он от этих революционных игр отошел, к сибирской ссылке его приговорили. Правда, года через два он получил прощение и даже стал гражданским губернатором в далеком Архангельске, но крепкой веры ему не было. Николай же Николаевич, начавший военную карьеру еще перед Отечественной войной 1812 года, в 30-е годы, служа на Кавказе, угодил в опалу за потворство декабристам и вынужден был

сам уйти в отставку на добрых двенадцать лет — пока царь не призвал его в Венгерский поход 1849 года.

Человек старинного воспитания и глубоких традиций чести, характером Николай Николаевич был крут. Кавказ, обывший с сибаритскими манерами изнеженного Воронцова, долго поеживался от твердой руки нового наместника, с первых же дней своего правления в Тифлисе начавшего наводить порядки в армии и в гражданском управлении. Но шла война, обстоятельства складывались не в нашу пользу, и все недовольства крутым начальником были до поры до времени подавлены тяжким вздохом про себя. Первым делом генерал Муравьев запретил отвлекать армию на хозяйственные работы, к великой скорби кавказских генералов и штаб-офицеров и богатых местных семейств, давно позабывших, как это можно обходиться без дармовой рабочей силы. Он тут же потребовал досконального отчета от интендантских служб, и не одна буйна головушка полетела под суд.

Армейского подкрепления царь Муравьеву не дал, но в Тифлис Николай Николаевич явился не с пустыми руками. Он привез из Петербурга содержавшегося в русском плену второго сына Шамиля — Джемальэтдина. Собственно, пленом жизнь Джемальэтдина в России назвать трудно. Еще ребенком выкраденный из дому лихим наездником Арташаковым, он помещен был в Павловский кадетский корпус, откуда выпущен был в гвардейский полк и на Кавказ вернулся в чине поручика русской службы.

Возвращение Джемальэтдина отцу сопровождалось одним неперенным условием, которое коварный Шамиль, надо отдать ему должное, выполнил добросовестно. На время войны с Турцией с мюридами было заключено перемирие. Тем же из них, кто без драки и дня не мыслил, предлагалось вступить в охотники Кавказской армии на южной границе.

18 февраля 1855 года, в самый разгар войны, умер император Николай I. До Кавказа донеслись слухи, будто бы царь покончил с собой. Нет, умер он все же своей смертью, и смертью ужасной — в полном сознании. Мало кому в русской истории доводилось умирать, видя, что вся твоя жизнь, которой ты гордился не только перед подданными своими, но и перед всем миром, пошла прахом. Порядок шит был гнилыми нитками лжи, и вся Россия — не великое государство, как ты самодовольно полагал, а грандиозная потемкинская деревня с пышными декорациями, облезшими от первой же грозы. Шты-

ки, на которых держалась мощь государства, вмиг проржавели и осыпались. Россия со своим крепостным правом отстала от Европы навсегда, и куда ей воевать со всем миром, подвозящим войска по железной дороге и морем на пароходах, со своими парусниками и конной тягой на русском бездорожье.

По свидетельству Тимашева, будущего министра внутренних дел, это Николай произнес легендарную фразу о том, что лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться, когда его снесут снизу. Наследник же в ту пору и не помышлял о подобной мере и всегда придерживался самых крайних установлений, ибо так было угодно отцу.

Теперь же на плечи Александра пала обязанность завершать войну, заведомо проигранную, что-то предпринимать, а что именно — решительно никто не знает. Отец и порядок, им заведенный, казались ему вечными и незыблемыми. Александр так давно был провозглашен наследником престола и так свыкся с этим своим положением, а отец, в общем-то, так был здоров и крепок, он и до старости не дожил — что за возраст для мужчины 58 лет? — что превращение в царя виделось ему где-то там, далеко впереди, за морями, за горами, за зелеными долами. Власть обрушилась внезапно и неумолимо.

После смерти Николая Павловича казалось, что вся империя трещит по швам. Ложь разоблачилась, а правды никто не видел и не знал, где ее искать. Но сейчас даже и не до правды. Со всех сторон теснят враги, из последних сил, но надо отбиваться. В этом смысле выбор Муравьева для управления на Кавказе, сделанный еще покойным императором, был удачен. Там и нужен был в ту минуту человек безупречно честный, решительный и твердый.

К весне 1855 года Кавказская армия уже представляла собой достаточно боеспособную силу, и можно было вести наступательные действия в пределах Турции. 13 мая главнокомандующий прибыл в Александрополь.

Въезд его в приграничную крепость был торжествен. По пути следования генерала выстроились регулярные войска и пестрое ополчение. Особенно живописно выглядели курды в зеленых шалевых чалмах и красных шелковых кафтанах, вышитых золотом. На концах длинных камышовых пик развешивались черные перья каких-то диковинных птиц.

Здесь, среди свиты отъезжающего в Тифлис генерала Бебутова, и был ему представлен офицер по особым поручениям

командующего корпусом полковник Михаил Тариелович Лорис-Меликов.

Муравьев встретил полковника не без предвзятости. Лорис-Меликов числился в любимцах у Воронцова, а к адъютантам своего предшественника генерал отнюдь не благоволил и всех до одного почитал фазанами. А открытый, доброжелательный взгляд молодого штаб-офицера скорее насторожил седого воина, заподозрившего хитрость и лукавство. Хотя Бебутов, мнению которого Муравьев доверял вполне, высоко ценил этого человека. Так ведь что Бебутов, что Лорис — оба армяне, они всегда друг за друга горой. Ворон ворону глаз не выклюнет. Посмотрим, каков он будет в деле. С тою же предвзятостью Николай Николаевич отнесся и к другому любимцу Воронцова — князю Дондукову-Корсакову.

Надо сказать, оба этих воронцовских любимца очень скоро преодолели предубеждение главнокомандующего, и мало о ком он отзовется с таким уважением, как о Дондукове-Корсакове и Лорис-Меликове в своих мемуарах о Крымской войне.

26 мая 1855 года Кавказская армия тремя колоннами из Александрополя, Ахалкалака и Эривани выступила в пределы Турции. Сотни охотников Лорис-Меликова состояли в Александропольском отряде под непосредственным началом главнокомандующего. Генерал Муравьев с большой долей тревоги посматривал на многочисленную пеструю команду, он сомневался, сумеет ли ласковый полковник — мягкий и добродушный на вид — управиться с этим сбродом. В походном движении охотники являли живой контраст с регулярными обученными строем войсками. Только их приведешь в сравнительно боевой порядок — глядь, и снова толпа, какой-то галдящий табор. Очень это все корбило генеральский глаз, привыкший к образцовости воинских рядов.

28 мая Александропольская колонна достигла окрестностей Карса и расположилась лагерем у села Аджи-Кала. Однако ж отдохнуть охотникам не довелось. Из Ардагана примчался на взмыленной лошади местный житель с сообщением, что навстречу нашей Ахалкалакской колонне движется большой отряд башибузуков — турецкой иррегулярной кавалерии, собранной, как и сотни Лорис-Меликова, из лихих добровольцев. Тотчас же наперерез им был отправлен летучий отряд.

В схватках с башибузуками выигрывает не число, а внезапность и нахальство. Турецкая конница, обнаруженная почти у самого Ардагана, была, на взгляд, почти вдвое больше нашего

летучего отряда. Лорис-Меликов отправил своего адъютанта к генералу Ковалевскому, чтобы тот готовился встретить башибузуков у стен города, а сам, выждав, когда турки целиком войдут в ущелье между двух гор, ударил им в тыл смелым и быстрым налетом — точь-в-точь как когда-то на наши колонны в ущельях Чечни и Дагестана налетал Хаджи-Мурат.

Когда авангард опомнился от паники, охватившей задние ряды колонны и едва не смявшей его в безрассудном бегстве, и обратился в сторону нападавших, ударила конница, высланная из Ардагана Ковалевским. Через полчаса все было кончено, турецкий отряд рассеялся, оставив с полсотни пленных.

А с пленными Лорис-Меликов поступил так. Он выстроил их в ряд и выступил перед растерянными башибузуками с краткой речью на их родном языке, что повергло полудиких воинов в большое изумление. Но содержание его речи поразило их еще больше. Русский полковник посулил прощение от своего царя каждому, кто больше не будет обращать свое оружие против его армии, а тем, кто хочет воевать под знаменами российского императора, обещал награду. Возвращаться домой никто не захотел, и все пленники вступили в сотню Лорис-Меликова.

Воротившись в лагерь, охотники занялись главным своим делом — разведкой Карса — и самой крепости, и укреплений вокруг нее, и дорог, от нее ведущих по разным направлениям. В первых числах июня удалось перехватить нарочного с письмом в Константинополь. Адресовано было оно английскому послу в Турции Кларендону. Генерал Вильямс, английский военный советник, а по сути командующий обороной Карса, противился назначению главнокомандующим турецкими войсками Измаила-паши. В доказательство неуместности этого генерала на столь важном посту Вильямс привел копии четырех приказов нового главнокомандующего, разосланных по всем частям турецкой армии. По первому из них предписывалось желтую выпушку на мундирах анатолийской армии заменить на красную; второй вменял офицерам в обязанность носить черные галстуки; третьим вводились строгости за нарушение правил ношения фески: кисточка ее должна отныне свешиваться исключительно на левое ухо; четвертым приказом офицерам категорически запрещалось мыться с нижними чинами в одной бане.

Приказы эти немало потешили Николая Николаевича Муравьева.

— Распоряжения сии, — заметил он, — указывают довольно странное направление, господствующее в умах начальников, коим доверено преобразование армии в столь тяжкие для Турции времена. Но увы, нам воевать не с Измаилом-пашою, а с Вильямсом, так что пусть вас, господа, не успокаивает глупость командующих. С такими советниками она исправима.

— В Порте, — в тон генералу заключил Дондуков-Корсаков, обладавший ловким умением завершить разговор мыслью, точно совпадающей с настроением начальника, — султан царствует, а управляет английский посланник.

Муравьев замыслил плотное обложение Карса, для чего в первую очередь следовало лишить противника доступа к запасам продовольствия. Лазутчики Лорис-Меликова уже разведали расположение основных провиантских складов — магазинов в селах Бегли-Ахмет и Чипчахлы. Ему и было поручено захватить их. Ох и поживились же его охотнички!

Из захваченных магазинов все, что только можно было вывезти в лагерь для снабжения русских войск, было немедленно вывезено на арбах местных жителей. Остальное сожжено.

На войне единожды счастливо выполненная задача запросто может превратиться в постоянную обязанность. Теперь, помимо разведки, Лорис-Меликов, хотя никто ему этого вроде бы не вменял, стал своего рода главой интендантской службы, снабжающей трофейным провиантом осаждающую армию.

Из крепости для пополнения фуража турки высылали роты косцов. Охотники Лорис-Меликова налетали на них из засады, забирали скошенное сено и исчезали. Тогда фуражиры стали выходить в сопровождении кавалерийских отрядов, но и это не помогло — налеты были стремительны, и хотя исчезать приходилось без добычи, но и туркам ничего не доставалось. Особенно азартным делом для команды охотников стал угон скота, который обитатели крепости вынуждены были хотя бы ночами выгонять на выпас.

Во время таких операций, естественно, брались пленные, Лорис-Меликов сам вел их допросы. На беседы с пленными он всегда выходил в мундире и при всех своих орденах. Столь торжественный выход к какому-нибудь нижнему чину вселял в душу пойманного турка трепет, но ласковая улыбка русского полковника и его правильный турецкий выговор невольно развязывали самые короткие языки. Человек, изо всех сил крепившийся не выдать никаких тайн, сам не замечал, как разбалтывался с душевной откровенностью, а когда спохватывал-

ся... Слово не воробей, вылетит — а этот хитрый полковник уже поймал, уже занес в свою записную книжечку.

Часто пленных отпускали — кого домой к своему хозяйству, а кого и назад, в осажденный Карс. Они становились агентами Лорис-Меликова в крепости, куда чуть ли не еженочно проникали смельчаки из охотничьей команды. Особой ловкостью и бесшабашной отвагой выделялся среди них юнкер милиции Даниил Арутинов. Этот ушлый ереванец к середине лета знал весь Карс как свои пять пальцев, на каждой улице у него были кунаки, а для воинской комендатуры он оставался неуловим. О проделках этого доблестного юнкера слышан был даже сам главнокомандующий.

Николай Николаевич, долго и недоверчиво присматривавшийся к своим ближайшим генералам и штаб-офицерам, в конце концов оценил необычайные способности Лорис-Меликова. Он диву давался, как это полковник умудряется предводительствовать своей разношерстной анархической публикой.

Много лет спустя, составляя мемуары о Крымской войне в Турции, он так и не найдет причин своего восторженного изумления. «Местные милиции собрались уже в конце мая; между ними замечательны были названные в росписи войск три сотни охотников полковника Лорис-Меликова. Они составлены были из сброда людей всякого звания и состояния, большею частью из армян, как турецкоподданных, так и наших. Были между ними и грузины, и жители наших мусульманских провинций, беглые от нас и от турок карапахи, турецкие греки и даже один русский. Беспардонная дружина сия отличалась отвагою, расторопностью и знанием местностей. Трудно было сохранить между ними строгий порядок по беспрестанному приливу и отливу всадников, записывавшихся в сотни и часто произвольно уклонявшихся. Случались между ними ссоры, кончавшиеся поножовщиною и даже смертоубийствами. Но сей иностранный легион оказал во многих случаях большие услуги. Всегда можно было найти в нем лазутчиков и проводников, ибо люди, его составлявшие, всюду имели родных и знакомых; они заменяли казаков для дальних разъездов и поисков, любили перестрелку с неприятелем, отчаянно помогая всякой добычи. Не было более надежных для быстрой пересылки важных бумаг в отдаленные места, что избранные гонцы, движимые молодецеством и каким-то чувством чести, всегда исполняли с верностью. В сборище сем всегда видны были

новые лица, случалось даже духовного звания. Нет сомнения, что между ними таились люди, передававшие и от нас вести неприятелю, но сего нечего было опасаться при совершенном неведении в лагере о намерениях начальника; напротив того, сим путем можно было распространять любые слухи и известия. Полковник Лорис-Меликов, начальствуя над сими тремя сотнями, при многих других обязанностях по сношениям с заграничными жителями, мог вполне удовлетворить и павшим на него уже само собою обязанностям капитана над вожатыми».

А обязанности эти подчинили в ходе войны полковнику Лорис-Меликову и другие полки, состоящие из карабахских дружин, двух полков турецких курдов, карапахской милиции — короче, все иррегулярные войска, действовавшие в составе главного Александропольского отряда. Курды, которых Муравьев звал по прошлым кампаниям, не внушали ему особого доверия. Их поведение в ходе нынешней войны весьма удивило многоопытного генерала. «По привычке курдов к кочевой жизни и к пребыванию летом на открытом воздухе, они безропотно выдержали непогоды и дожди, не имея палаток, и удержались в своем составе до наступления холодов, к чему способствовало и ловкое с ними обхождение полковника Лорис-Меликова, умевшего постоянную с ними ласку заменить, где нужно было, строгостью. Их привязывало также природное корыстолюбие, удовлетворявшееся исправною выдачею им ежемесячной денежной платы в жалованье и на содержание лошадей; обе суммы они сберегали, почти ничего не употребляя из оных на свое продовольствие, так что надобно удивляться, чем они существовали». И все же Муравьев ломал голову, как бы так сделать, чтобы курды и служить продолжали, и держались от основного лагеря подальше. Дьявольский ум Лорис-Меликова решил столь мудреную задачу.

Блокада стягивалась вокруг Карса все туже, но войска наши не сидели на одном месте — постепенно движениями в разных направлениях территория, подвластная русскому управлению, расширялась. Еще в июне турецкая армия покинула город Кагызман — центр санджака, административной единицы, средней между русским уездом и волостью. Однако ж край этот настоящим образом не был приведен в покорность. После бегства мудира — военного правителя Кагызмана — его гражданские правители имели сношения с Карсом и хотя обещали явиться в лагерь к русскому главнокомандующему, слова своего не держали, надеясь остаться, как в кампанию Паскевича, в

забвении. Надежд этих решено было не оправдывать, и Лорис-Меликов был направлен в эту крепость на берегу Аракса для установления там, а также в центре соседнего санджака Гечеване гражданского управления.

9 июля Лорис-Меликов выступил из лагеря с дивизионом Нижегородских драгун, сотней линейных драгун, сотней охотников и тремя сотнями курдов. После усиленного перехода на другой день отряд прибыл к селу Хар, лежащему в начале долины Аракса. С другой стороны от села Огузлы ему навстречу двигались войска, недавно прибывшие из Тифлиса и присланные в помощь Лорис-Меликову из Александрополя: сотня грузинской дворянской дружины, конно-мусульманская сотня и две сотни донских казаков. Появление наших войск с двух сторон для жителей Кагызмана было неожиданным и свидетельствовало о полной безнадёжности всякого сопротивления. На свою армию уповать было нечего, и город, во всех войнах поставлявший самых метких стрелков, выслал к русскому военачальнику с признанием полной и безусловной покорности делегацию от дивана — местной мэрии, как сейчас сказали бы. С ними явились и джунуки — старшины общества курдов.

В Кагызмане, встреченный как почетный гость, Лорис-Меликов все же обнаружил, что турецкие войска вывезли из города все продовольственные запасы. Трофеев только и было что шесть ящиков с патронами. Но радоваться надо было одному уж тому, что город покорился без кровопролития. Остальное — наживется, тем более что урожая ждать недолго.

11 июля к Лорис-Меликову явились старшины соседнего Гечеванского санджака. Русский полковник тотчас же приступил к организации местного управления в обоих санджаках. Оставив кадия и членов диванов на своих прежних должностях, он определил правила для взноса податей, мало чем отличавшиеся от турецких, и указал править в старинных обычаях — покорение русскими войсками не должно означать никаких перемен. Но кадиям и обоим диванам представлен был командир курдского полка Ахмет-ага. Это вызвало глуховатый ропот — турки презирали хищническое свободное племя и заведомо почувствовали неуютность подчинения его представителю, хоть и в русской офицерской форме.

— Ничего, — успокоил Лорис-Меликов, — при господине Ахмете-аге я оставляю майора Попко, в случае каких-либо недоразумений или, не дай Бог, с его стороны притеснений обращайтесь к Ивану Михайловичу.

Иван Михайлович Попка, еще не получивший высочайшего указа от нового царя об исправлении фамилии своей, был чрезвычайно польщен твердым произношением ее с четким ударением на о, услышанном из уст смешливого Лорис-Меликова. Он весь зарделся от гордости, и теперь он, уж будьте благонадежны, будет самый ревностный исполнитель не то что указаний — намеков полковника.

Курдские полки под управлением Ахмета-аги усердно охраняли покой вверенных им санджаков. Близкий надзор над ними Лорис-Меликова держал их в респекте, и со стороны населения, как ни странно, на них никаких жалоб не поступало. Таким-то образом исполнилось и желание Муравьева держать курдские полки и в повиновении, и в достаточном отдалении от нашего блокирующего лагеря.

1 августа 1855 года кольцо вокруг Карса замкнулось. Все дороги, даже тропинки из города были надежно перекрыты. Рейды драгун Дондукова-Корсакова и охотников Лорис-Меликова вдоль Саганлугского хребта очистили пути в Эрзерум и Ольту. В городе все ошутимее и грознее чувствовался недостаток продуктов. Генерал Вильямс, фактически возглавлявший оборону, ужесточал нормы выдачи хлеба сначала мирным жителям, потом и солдатам. Началось бегство из осажденного города. В начале сентября по приказу коменданта беглецов стали отлавливать и предавать публичной казни. Однако ж голод не тетка, а ежедневный вид жестокости властей перестает пугать. Через неделю бегства возобновились.

Главнокомандующий Кавказской армией генерал-адъютант Николай Николаевич Муравьев приступил к оперативной разработке плана штурма крепости.

Карс будто бы самим Господом Богом был сотворен для надежной обороны. Город располагался по двум берегам реки Карс-чай, с трех сторон охраняемый крутыми скалистыми горами. На севере правобережной части возвышалась каменная цитадель, окраины обнесены были мощными стенами. На подступах к городу в помощь Богу англичане построили по самому последнему слову инженерной техники неприступные форты, соединенные рвами, брустверами, волчьими ямами.

С правобережной стороны, защищая южную и юго-восточную часть Карса, были возведены целые крепости — Сувари, Канлы, Февзи, Хафиз. На севере возвышались Карадагские горы, и здесь были обустроены форты, обращенные к востоку



и северо-востоку, башня Зиарет, соединенная траншеями с укреплениями Карадаг и Араб.

Совершенно неприступными казались форты Инглиз, Блум, Мухлис, расположенные у северных окраин левобережного Карса. Здесь можно было лишь демонстрировать свои намерения, но, ввязавшись в бои, войска рисковали увязнуть и не достигнуть цели.

Западные укрепления, защищавшие также левобережную часть города, опирались на крутые Шорахские высоты и были вооружены мощными орудийными батареями, обустроены крепкими казематами. Но они находились, в отличие от прочих укреплений, в наибольшей отдаленности от города, и была надежда, захватив их, открыть себе в крепость прямую дорогу. Видимо, этим соблазном и следует объяснить выбор главнокомандующим форта Тохмас-табия для нанесения главного удара.

Выбор был неудачным. На военном совете мало кто поддержал Муравьева, резонно полагая, что столь надежное укрепление едва ли можно одолеть стремительной атакой. Упрекали командующего и в нетерпении — турок следовало бы еще с недельку-другую потомить голодом. Но тут все уперлось в крепкий и упрямый характер старого генерала. Бакланова, предложившего иное направление атаки, он оборвал на полуслове:

— Яйца курицу не учат!

На этом все дебаты окончились.

Накануне штурма, чтобы соблюсти тайну приготовлений, все иррегулярные войска — полки курдов, карабахское ополчение, охотники Лорис-Меликова — были выведены из основного осадного лагеря к селению Магараджик, на самый правый, отдаленный от фронта атаки фланг. Тем самым и сам полковник Лорис-Меликов, к величайшей своей обиде, отстранялся от активного участия в штурме. Он был причислен к третьей колонне генерала Нирода, которой предназначалось вступать в сражение только в случае успеха первой колонны генерала Ковалевского, промежуточной колонны князя Гагарина и второй — генерала Майделя.

Что его туда понесло, какая сила? К вечеру 16 сентября Лорис-Меликов забрел в расположение Рязского полка. Странное дело, они с Хлюстиным воевали бок о бок почти полтора года, но после того вечера, когда рязские офицеры упоили Лориса вусмерть, так толком и не виделись, лишь здоровались

второпях. Братство воинское, братство школярское суть понятия эфемерные, когда звезды на эполетах разнятся числом и размером. Как ни прославлен отвагою в боях, как ни прост в обращении Лорис-Меликов, но гвардейский полковник есть гвардейский полковник, к тому же и обращается он в сферах высших, неподступных простому армейскому капитану, ротному командиру. Оба это чувствовали и сближения не искали, даже натянутость, неловкость ощущалась при случайных встречах.

В Рязском полку происходила та торжественная суета, какая всегда бывает перед боем, давно ожидаемым, тем боем, ради которого и существует армия. Это совсем не похоже на то волнение, которым охвачены солдаты на рубке леса где-нибудь в Чечне или перед рейдом на Саганлуг. Суета сегодня была тихая, почти бесшумная, в движениях были скупы, а разговаривали вполголоса.

Хлюстин — трезвый, до сияния выбритый — запечатывал конверт. Что в нем, ясно каждому: завешание и последний привет родным.

Михаил поздоровался первым и как-то так улыбнулся, чуть робковато и застенчиво, что разница в положениях мгновенно улетучилась. Тут же Лорис-Меликов и посетовал шутливо:

— Да что ж я за болван такой, с пустыми руками пришел. Надо было б гостинчик захватить. Помнишь гостинчики из Тифлиса?

Хлюстин посмотрел на приятеля долгим печальным взглядом и совершенно серьезно, не принимая шутливого тона, ответил:

— А знаешь, Мишка, мне сегодня отчего-то стыдно за твои гостинчики. Как мы с Колькой и Митькой налетали на тебя, отбирали... И вообще за все стыдно. Тридцать лет прожил, всегда был всем доволен, даже когда из гвардии выперли за пьянство и игру, а вот теперь стыдно. И за себя, и за братьев.

— Да брось ты, то ж было далекое детство. А дети все, признаться, жестоки и безответственны.

— В том-то и беда! Видишь, как Бог нас устроил: понять ничего не успели, а в грехе по уши увязли. Я в последнее время, ежели трезвый, только о том и думаю. Кого ни вспомнишь — всех вокруг обидел. Злым не был вроде никогда, то есть не замышлял, чтоб кому-то от меня плохо было, а просто и бездумно обижал. Женщин понапрасну обнадеживал, да так ни на одной и не женился. Поверишь ли, сегодня у Васьки, денщика моего, прощенья просил. Да ничего он, скотина такая,

не понял. Только момент испортил и в соблазн ввел. Так и захотелось по его глупой роже съездить. Еле удержался. А ты-то, Миш, понял меня?

— Ты так говоришь, будто... — И прикусил язык на готовой слететь неуместной фразе. Все же закончил, не лучшим образом, но иначе: — ...Будто хочешь у меня прощения просить.

— Не у тебя, у всего мира. Ты пойми — тридцать лет прожил, а, кроме стыда, ничего не нажил. И война эта дурацкая... Дмитрий из Севастополя калекой вернулся. И чем все это кончится, одному Богу известно. Как дальше жить, надо думать, а я не понимаю, что сейчас в России творится. Еще два года назад было все ясно как день. Был порядок. Я знал свое место. Что оно скромное — мое дело. Наверно, если б не пил и не играл, тоже был бы в хороших чинах. Но это я сам так распорядился. А сейчас я сам не знаю, кто я такой.

— Как был, так и есть — капитан Ряжского полка Иван Хлюстин.

— Да ты сам понимаешь, я не о том. — Иван скривился в досаде и мучительном поиске верного слова. — Сейчас капитан — не то, что год назад. Я был защитник престола и отечества. Плохой, хороший, но был таковым. А теперь... Севастополь сдали, из Румынии убрались. Из деревни вести — хуже нет. Мы, помещики, уже не хозяева в доме своем. Николая собственные крестьяне под суд отдали за то, что пьяницу кучера заporол. Крестьяне! — Такой конец для старшего из братьев Хлюстиных удивления не вызывал: если он с дворовыми был так же жесток, как с вандалами в Школе... — Грех говорить такое, но мне кажется, что Николай Павлович всю Россию за собой в преисподнюю поволок. Гибнет, гибнет страна!

— По-моему, в России самое интересное только начинается. Я тоже, братец ты мой, мало что понимаю, но от нового царя жду многого. Прежний-то нас, как Сусанин поляков, завел в беспросветную глушь, а теперь выбираться надо.

— Знать бы куда!

— Бог укажет. Мы с тобой, Иван, люди служивые, подневольные. Нам даже легче, чем остальным. Во всяком случае, на завтра задача ясна. Бить турок.

— Это-то понятно. А что дальше-то?

— А дальше думать надо.

— Надо. Только думать нас, Миша, никто не учил. И были правы. От мыслей ничего не зависит. Ни Россию, ни нас самих не переделаешь.

— Не предавайся мрачности, Иван. Тебе завтра в бой идти. — Лорис, подчинясь сентиментальному порыву, обнял старого своего товарища. Ох, не понравился ему настрой Хлюстина.

Штурм начался в 4 часа утра 17 сентября 1855 года. Колонна генерала Ковалевского начала восхождение к высотам, на которых было расположено укрепление Тохмас-табия, слева. Во фронт пошла колонна князя Гагарина. И первые полчаса казалось, что вот-вот, еще немного — и наши солдаты ворвутся в турецкий форт: ведь первый ряд траншей одолели, бились во втором... Генерал не утерпел, вырвался вперед. И упал, раненный в грудь. Его место занял полковник Шликевич. Успел крикнуть: «Ура, ребята!» — пуля угодила прямо в лоб.

И атака захлебнулась. Ряды смешались, офицеры потеряли всякое управление боем, турки осмелели, выскочили из своих укрытий, и началась рукопашная свалка.

Князь Гагарин повел свою колонну на выручку и первый упал, как и Ковалевский, раненным в грудь. И здесь атака захлебнулась.

Генерал Муравьев направил в помощь двум этим колоннам отряд генерала Майделя. Кое-как удалось пригасить панику, битва шла с переменным успехом, но момент уже явно упущен. К полудню из Карса турки выслали свежую кавалерию и не менее трех полков пехоты. И опять первым делом противник лишил колонну ее командующего — генерал-майор Майдель повел было людей в атаку и, раненный, упал с коня. И эта колонна потеряла управление, разбилась на мелкие отряды, где каждый командир действовал сам по себе.

Колонна генерала Нирода, в составе которой были охотники Лорис-Меликова, напрасно прождала сигнала к атаке. С юга, куда и направлена была резервная колонна, штурм, несомненно, принес бы успех. Но ведь сказано: яйца курицу не учат. А вести с фронта атаки приходили все хуже и хуже, преувеличенные расширенными глазами очевидцев.

В 6 часов вечера Муравьев прислал адъютанта за Лорис-Меликовым. Приближаясь к главной квартире, полковник видел печальную картину затухающего сражения. Осадная артиллерия прикрывала отступление, отсекая турецкую конницу. Из-под огня выносили раненых и убитых, с поля боя отходили мелкими группами. Знакомая фигура увиделась полковнику: и даже сквозь грохот и голос слышался:

— Братцы, за мной!

Это уж полное безрассудство. Капитан Хлюстин повлек свою роту на штыковую запоздалую атаку против явно превосходящего числом отряда преследователей. Лорис-Меликов, забыв приказ, направил было коня туда, к ряжцам, — спасти, выручить из дурацкой мясорубки Ивана. И прямо на его глазах Хлюстина рассек от плеча могучий усатый турок, солдаты штыками прорвались сквозь вражескую цепь, но бой был короток и безрезультатен. В нем потеряли еще четверых.

Лорис-Меликов опомнился и повернул коня в сторону главной квартиры.

В ставке главнокомандующего подтвердились почти все безрадостные известия. Разве что командиры штурмующих колонн Ковалевский, Майдель и Гагарин были не убиты, а только тяжело ранены.

Генерал был мрачен, но решителен. Лорис-Меликов предполагал, что поступит команда ввести в бой свежие силы и его охотникам предстоит выполнить какую-то особо хитроумную стратегическую задачу. Ничего подобного. Последовал вопрос, которого он меньше всего ожидал:

— Скажите, полковник, а есть ли у нас возможность найти топливо и фураж, чтобы продержаться два месяца?

Возможности такие, несомненно, были, и после недолгих раздумий Лорис-Меликов стал докладывать, где он рассчитывает раздобыть дрова, саман, сено.

Во время доклада в палатку вошел генерал Бриммер. Он командовал резервной колонной, расположенной у Чахмакских высот, и, в отличие от Нирода, своими глазами видел неудачу штурма.

— Ваше высокопревосходительство, в котором часу завтра прикажете выступать войскам? — Бриммеру ясно было, что Карса в этом году не взять и пришла пора заботиться о сохранении Кавказской армии.

— Прикажете, Эдуард Владимирович, усилить все посты, блокирующие крепость, — хладнокровно, будто не было сегодня страшной конфузии, отвечал Муравьев.

— Но позвольте, Николай Николаевич, кто ж нас кормить-то будет?

— А вот-с, Михаил Тариелович. И накормит, и обогреет-с. Самое удивительное, что генерал-лейтенант Бриммер, человек независимый и спесивый, с особым уважением посмотрел на полковника Лорис-Меликова и принял аргументы главно-

командующего, уверенный, что уж этот-то — точно, и накормит, и обогреет.

И в Кавказской армии, и на всей территории военных действий как-то так оказалось, что без Лорис-Меликова решительно нельзя обойтись. Муравьев много думал на эту тему, человек он был умный и справедливый и фаворитизма на дух не переносил. Да и крутой характер не позволял держать при себе любимчиков. И все же троих своих сподвижников в Крымской войне — Бакланова, Дондукова-Корсакова и Лорис-Меликова — он выделил особо. «Бакланов был пугалищем турок, которых он много переловил и перебил. Во всякую войну у азиатцев являются в неприятельском лагере, по их понятиям, герои, которые получают у них особые клички. Такими они признали в нашем лагере трех, которым придавали более значения, чем самому сардарю, то есть главнокомандующему, а именно: Бакланова, Дондукова и Лорис-Меликова. Первого во всех окрестностях жители называли Баклан, второго — Кенег, а третьего — Мелик и последнего разумели за самое доверенное при главнокомандующем лицо, через которого можно всего достичь».

После штурма 17 сентября блокада Карса была усилена. Войска уже не отпускались в дальние рейды, а сосредоточились под стенами укреплений. Артиллерия ежедневно бомбардировала город, не давая гарнизону ни часу покоя. Ежедневно из крепости высылались отряды фуражиров, но ни разу отрядам этим не дано было достигнуть своей цели. Их встречали то казаки, то охотники и всегда выходили победителями из стычек со слабейшими от голода турецкими солдатами и башибузуками. Но гораздо больше, чем от этих дневных коротких схваток, турки терпели бед от ночных тревог.

В первых числах октября Лорис-Меликову пришла счастливая мысль посылать, когда стемнеет, под стены крепости небольшие отряды охотников с тремя-четырьмя ракетными станками. Тут больше всех отличался азартный и ловкий Даниил Арутюнов. С десятком таких же отчаянных удалцов он в полной тишине подвозил к городским стенам легкую пушечку, давал выстрел и мгновенно мчался в другую сторону, откуда производил несколько ружейных выстрелов, чтобы снова, уже с третьей позиции, поднять суматоху в лагере противника.

А суматоха поднималась страшная. На первых порах турки отвечали всей своей крепостной артиллерией, обстреливая бе-

лый свет как копеечку, били в барабаны, трубили тревогу горнами... По всему Карсу были перепуганные собаки... Потом, правда, турки попривыкли к ночным налетам и лишь лениво отстреливались ружейными залпами. Но барабаны и горны все равно играли тревогу, лишая сна оголодавший и замерзающий карский гарнизон.

Все же турки кое-какие меры против охотников приняли. В тех местах, откуда накануне налетали наши удалцы, были вырыты ложементы, в которых на ночь оставались стрелки, а на левом берегу Карс-чая на небольшой скале, как бы в продолжение Шорахских укреплений, поставили орудие, которое обстреливало картечью часть равнины и оба берега реки. Так как орудие более всего доводилось действовать против охотников, то и орудие, и скалу, на которой оно стояло, называли пушкою и горою Лорис-Меликова.

Собачий лай все реже доносился из крепости. Несчастные животные оказывали последнюю услугу своему старшему брату и другу. Продовольственные склады иссякли, и армия уже не в состоянии была кормить мирных жителей. Но вот что интересно. Охотники Лорис-Меликова поймали агента персидского консула в Эрзеруме, пробиравшегося в Карс. Удивительна была цель его рискованного похода. Муравьев и много лет спустя не переставал поражаться этому. «Ему удавалось еще, посредством торговых сношений с эриванскими жителями, — писал изумленный Николай Николаевич, — ввозить иногда тайком в небольшом количестве сарачинское пшено, коим он снабжал турецких пашей, слишком дороживших лакомым для них пилавом».

Осажденные ждали помощь из Константинополя, забрасывая столицу паническими депешами, большинство которых перехватывалось лорис-меликовскими охотниками. Оттуда шли ободряющие известия, что на Кавказ направляется корпус Омера-паши и вот-вот Карс будет спасен блистательным ударом в спину армии Муравьева.

Ждали, что Омер-паша высадится в Трапезунде или Батуми. Тогда русской армии и в самом деле пришлось бы хлебнуть горяшка. Но победы, одержанные союзниками в Крыму, вскрыжили головы константинопольским стратегам. Корпус выдвинулся в Сухум-Кале и двинулся в глубь Абхазии, надеясь пройти сквозь непокоренные области прямо в Тифлис. Да не тут-то было. Турецких гостей ждали жаркие объятья абхазских и грузинских партизан, малярия и опытный кавказский генерал

князь Иван Константинович Багратион-Мухранский. Он выдержал трехдневный бой с 23 по 25 октября на реке Ингури, чрезвычайно измотавший противника, с малыми потерями отступил к реке Цхенисцкали, форсировать которую турки не смогли до самого конца войны.

Когда пришли известия о неудачах Омера-паши, Лорис-Меликов постарался довести эти сведения в весьма преувеличенных дозах до чутких ушей карсских жителей.

В ноябре ударили морозы, и стало очевидно, что второго штурма не понадобится. Положение осажденных было непереносимо. 14 ноября из крепости вышел небольшой отряд, с боем прорвался сквозь наш кордон и исчез в направлении Эрзерума. Это была последняя операция противника, смутившая поначалу своей неразумностью. Только позже выяснится, что таким странным образом бежал венгерский революционер Кмети, заочно приговоренный в 1849 году к смертной казни. В турецкой армии он был в числе самых умных и дельных генералов.

Уже на следующий день английский генерал Вильямс выслал парламентаров с белым флагом. Условий защитники крепости не ставили. С их стороны были лишь две просьбы: разрешить генералам, сдавшимся в плен, носить личное оружие и отпустить по специально представленному списку венгерских и польских эмигрантов, подлежащих судебному преследованию в пределах Российской империи. Великодушный Муравьев уступил обеим просьбам, так что в героическом бегстве с потерей трех всадников и риском для собственной жизни нужды для Кмети не было.

16 ноября 1855 года крепость Карс пала.

Выход войск из города и окружающих фортов был назначен на 10 часов утра. Но вот уже половина одиннадцатого, одиннадцать — никого. Только из турецких лагерей слышны залпы разряжаемых ружей. Наконец, открылись ворота города, и к мосту через Карс-чай потянулась кавалерия, а за ней пехота карсского гарнизона. С Шорахских высот навстречу вышли войска юго-западных укреплений. По команде генерала Муравьева русские войска вышли из лагеря и взяли в каре пленников. Шесть батальонов русской пехоты, половина сотни казаков и легкая артиллерийская батарея под начальством временного коменданта артиллерийского полковника де Саже направились для занятия Карса. Вместе с ними отправлен был

адъютант главнокомандующего капитан Корсаков для водружения русского флага на карсской цитадели.

В два часа пополудни от общего строя отделилась группа всадников и направилась к палатке главнокомандующего русской армией. Впереди ехали трое: турецкий главнокомандующий мушир Вазиф-Магомет-паша, английский генерал Вильямс и полковник Лек. Как позже потом писал полковник Лек, они с Вильямсом всеми силами старались поддержать в турецком мушире бодрость духа и маршальское достоинство. Вазиф-Магомет жалобно стонал, чуть не плакал — каково ему, старому полководцу, одержавшему десятки побед, отдавать себя в плен. Англичанам пришлось укорять его тем, что они сами, ради него перенесшие столько лишений, тоже вынуждены признать себя побежденными и идти в плен. Чужое горе, а паче того унижение людей слабых утешает. И перед генералом Муравьевым предстал уже не слезливый старик, а надменный военачальник, держащийся с таким достоинством, что, несмотря на скромный свой рост, выглядел даже выше прочих пашей в своей свите. Генерал Вильямс подал Муравьеву подписанный муширом Вазифом-Магометом и им самим акт о сдаче Карса. Скрепив акт своей подписью, Муравьев со свитой выехал к равнине Гюмбета принимать пленную турецкую армию.

Парад этот длился недолго. Вид у турецких солдат был настолько измученный, что, объехав их ряды, главнокомандующий распорядился первым делом накормить несчастного неприятеля. Сам же направился к депутации городских представителей. «Говорили, — писал Муравьев, вспоминая тот торжественный день, — что то были почтеннейшие из граждан, на что они, однако же, не были похожи как с виду, так и по одежде. Вместо порядочного подноса с хлебом-солью, поднесли они молча на измятой жестяной тарелочке сухой, тоненький и грязный пшеничный блинок, едва имевший веса более листа бумаги. Доброй ковриги хлеба им, конечно, неоткуда было взять, поднос, однако ж, мог быть приличнее. Но за исполнением как должно обряда сего, мало знакомого туркам, посмотреть было некому, да и не до того им было: они предавались безусловно участи своей и не думали задобрить русского начальника богатым даром».

Вечером по войску был зачитан приказ главнокомандующего:

«Поздравляю вас, сотрудники мои!

Как наместник Царский, благодарю вас. Кровью нашей и трудами повержены к стопам Государя Императора твердыни Малой Азии. Русский флаг развевается на стенах Карса; в нем является торжество креста Спасителя. Исчезла, как прах, тридцатитысячная анатолийская армия. В плену главнокомандующий со всеми пашами, офицерами и английским генералом, управлявшим обороной, со своим штабом. Тысячи пленных турок отправляются на родину нашу свидетельствовать о подвигах наших. Несочетны еще приобретенные нами большие запасы оружия и казенного имущества, оставшиеся в Карсе; но кроме отбитых вами в течение кампании орудий и знамен, еще 130 пушек обогатят арсеналы наши. Множество знамен украсят святые соборы России, на память постоянных доблестей ваших. Вторично поздравляю вас от большего до меньшего — сотрудники мои. Вторично благодарю вас и от себя лично, почтенные сослуживцы. Вам обязан я счастьем обрадовать сердце Царя. Вы в нынешнем году довершили совершенное вами в течение прошедших двух лет.

И так возблагодарите со мною Господа сил, в неисповедимых судьбах своих даровавшего нам ныне торжество в самом испытании, через которое мы еще в недавнем времени прошли.

Вера в Святое Провидение Божие соблюдает и у вас дух воинов и удваивает бодрые силы ваши. С надеждою на покровительство Всевышнего приступим к новым делам.

Генерал-адъютант *Н. Н. Муравьев*».

К новым делам приступили буквально на следующий день. Впрочем, полковника Лорис-Меликова это не касалось. Ему предоставлен был двухнедельный отпуск в Тифлис, куда он и направился на следующий день. По возвращении же Лорис-Меликов должен был сменить полковника де Саже и приступить к обязанностям коменданта Карса и управляющего Карсской областью.

Разлука обостряет чувства. Два года назад, расставаясь с женихом, Нина упивалась новым своим положением — я взрослая, я невеста, и не чья-нибудь, а прославленного отвагой и умом гвардейского офицера. Но радости такого рода долго не длятся, к ним привыкаешь, а дни текут за днями в нестерпимо медленном, нагоняющем тоску темпе. Первые месяцы ожида-

ние сопровождалось яркими снами и фантазиями наяву. Тифлис привык встречать героев после недолгих экспедиций на Линию. Думалось, что и теперь будет так же. Но вот полгода прошли, а войне не видно конца. Из Крыма вести одна хуже другой. Блистательные победы русских моряков завершились вторжением в Черное море французского и английского флотов и высадкой мощного десанта, и вот уже страшные поражения наших доблестных войск на Черной речке, героически бьется Севастополь, но вот и он пал... С Кавказского фронта вести получше, но все может быть. И счастье Нины не в ее руках, а в капризах военной удачи, повлиять на которую никак не может девушка из хорошей семьи.

Двери тифлисского дома Аргутинских-Долгоруковых распахнуты для каждого офицера русской армии, по какому-либо поводу прибывшего из Александрополя. Слух жадно ловит имя Лорис-Меликова. Жив. Отличен и удал в боях. Других сведений нет, как ни пытай. Вдруг перестали радовать победные реляции. До сознания дошло, что в числе убитых, как бы ни были скромны по сравнению с турецкими наши потери, может оказаться и он. Цифры не утешали — единица тоже цифра, а за ней, за единицей-то, все более и более роднеющий человек. Миша, Мико-джан. Нет, уже родной!

А война все тянется и тянется. Девушки из знатных домов Тифлиса — такое было поветрие — решили стать сестрами милосердия. Нина поступила в главный госпиталь Кавказской армии. Немногие выдержали вид человеческих страданий. Самое это слово — страдание — звучит красиво и воодушевляет романтический порыв. С ним как-то трудно сочетаются его непереносимые спутники — боль до крика, увечье, гной, черви из ран, вонь разлагающегося человеческого мяса. И надо, оказывается, одолевая отвращение, тошноту, прежде чем сделать что-то полезное. Бежать, быстрее бежать из этого ада!

Да ведь там-то, откуда привозят этих несчастных, не лучше. И Мико там, и его могут ей привезти вот таким, кричащим от боли, с оторванной рукой или ногой, или как этот белесый поручик-драгун с громадной раной на животе, у него даже сил нет на крик, а глаза расширены от ужаса. А доктора и девушки простого происхождения не только видят все это, они очищают раны, перевязывают, кормят калек из ложечки. И Нина одолела страх, одолела брезгливость и в первый же день стала работать, как эти привыкшие к бедам простые девушки.

Ночами она видела в редких от усталости, но кошмарных снах искалеченного Мико, которого надо кормить из ложечки, учить ходить на костылях или обходиться обрубком правой руки. Эти кошмары преследовали чуть ли не еженочно в сентябре 1855-го, когда в Тифлис пришли вести о неудачном штурме Карса, о сотнях жертв с нашей стороны. Через неделю стали поступать раненные, от Мико никаких вестей долго не было. Жив ли он, что с ним?

В первых числах октября генерал Бебутов был в гостях у Аргутинских и сказал, что охотники Лорис-Меликова на днях прекрасно себя показали в стычке с турками. Сам полковник жив-здоров и ни разу во всей кампании не был даже контужен. Нина стала спать спокойнее.

Тревоги эти, поняла Нина, означали, что в долгой разлуке она полюбила своего жениха. Мысли ее — о чем угодно — получили направление. Она уже не к самой себе обращалась, а всегда видела перед собой Мико и слышала от него, невидимого, но осязаемого, ответы. И что бы теперь с ним ни случилось, они уже навсегда были вдвоем.

20 ноября 1855 года Тифлис торжественно встречал героя Карса полковника Лорис-Меликова. Это был первый победитель, появившийся в городе. Сам Михаил Тариелович никак не ждал такой встречи, он еще весь был в недавнем прошлом, и для него самого возвращение в Тифлис мало чем отличалось от былых возвращений из кавказских походов. Но тогда он был в составе армии, и лишь хорошо знакомые выделяли его из толпы офицеров. Теперь же он был один, и был первый.

Он медленно ехал по Головинскому проспекту, за конем его бежали мальчишки, восторженно крича по-русски и по-грузински, со всех балконов ему бросали цветы, а из дворца наместника ему навстречу вышел сам генерал-лейтенант Василий Осипович Бебутов и при всех обнял триумфатора и расцеловал.

Радостями жизнь не обделила Лорис-Меликова. Но счастливее того недельного отпуска из Карса в его жизни, пожалуй, и не было.

Через день по возвращении игралась свадьба полковника Михаила Тариеловича Лорис-Меликова и княжны Нины Ивановны Аргутинской-Долгоруковой.

Медовый месяц в семьях знатных и небедных принято проводить в путешествиях. Можно в Париж, можно в Баден-Баден, а еще соблазнительнее — в Рим или Венецию, куда давно еще

звал Альфиери. Но война еще не кончена, и молодого мужа ждут неотложные дела в только что завоеванном Карсе. Туда и направились молодые по тряским, каменистым, необустроенным дорогам Закавказья.

Коменданту Карса предоставлен был лучший особняк в городе — тот самый, что в пору защиты крепости занимал английский генерал Вильямс. Поскольку нам не довелось побывать в Карсе, да и едва ли тот дом дожил до наших дней, доверимся генералу Мелетию Яковлевичу Ольшевскому, в то время подполковнику Генерального штаба, прикомандированному к Кавказской армии.

«Карс лежит на возвышенном правом берегу Карс-чая, текущего здесь в скалистых, высоких берегах. Эта крепость с высокою каменною зубчатою с башнями стеною, и в нее иначе нельзя въехать, как через сводчатые ворота. Улицы узкие, кривые, грязные, обставленные большею частью каменными двухэтажными домами с нависшими над вами балконами, с которых вас подчас и обольют разною нечистотою. Нужно было сделать более двух десятков поворотов, пока я добрался до дома, в котором жил начальник области полковник Лорис-Меликов.

В нижнем этаже были конюшни, или, как называли их наши солдаты, «буйволятники», наполненные лошадьми Лорис-Меликова, казачьими и милиционерскими, составляющими его конвой. Чтобы дойти до жилых комнат, в которых помещался правитель области, нужно было пройти несколько холодных, темных дорбазов, вроде наших сеней.

Да и комнаты, занимаемые правителем области, не могли считаться теплыми, светлыми, красивыми. Обе были без печей, низки, с высокими порогами, безобразными каминами, с неровным и дырявым полом. Окна в них были тусклы, малы, разной формы и величины; будучи же обращены на небольшие дворы, заставленные другими постройками, пропускали через себя мало света. А так как дом, занимаемый Лорис-Меликовым, без сомнения, принадлежал к лучшим домам Карса, то можно судить о других строениях этого города. А ведь в Карсе сосредоточивалось не только военное управление столь важною пограничною крепостью, но администрация всего Карсского пашалыка. При этом нужно взять во внимание, что в Карсе совершалась значительная торговая деятельность».

Полковнику после холодных, продувных палаток и ночевков под открытым небом этот представлялся дворцом. Каково

же Нине после их знаменитого на весь Тифлис отчего дома? Счастливые не замечают не только часов. Неуют — тоже. Она, конечно, старалась обустроить их экзотическое жилище новыми коврами и подушками, как принято на Востоке, но европейской мебели в Карсе днем с огнем не сыщешь. Украшавшие Вильямсовы покои гравюры из иллюстрированных журналов с картинами побед английской королевской армии в Крыму заменены были портретами русских полководцев и героев Севастополя. Вот, пожалуй, и все, что она сумела сделать. Но ничего. В Тифлисе их ждет новый особняк, выстроенный ей в приданое. Там-то она покажет, что такое хороший вкус и забота об удобствах.

Брать с собою молодую и, как он полагал, избалованную княжну Михаил Тариелович не предполагал. Все-таки хоть Карс и пал, но война еще идет, противник даром времени терять не будет — поднакопит сил, наберется стратегического ума от опытных англичан и французов, а там уж как Бог рассудит. И не исключено, что и нас возьмут и запрут в блокаде. Опять-таки и дом здешний — только для воина рай. Но Нина проявила такое упорство и решительность, была так настойчива, что молодой муж уступил и теперь вовсе не жалел об этом.

Голова шла кругом от новых обязанностей и забот. Жизнь для него перевернулась ровно на пол-оборота. Все, что он так азартно и воодушевленно разрушал со своими отчаянными охотниками, нужно теперь по камешку восстанавливать. Да и с самими охотниками что-то надо делать: эти разбойники только и жили мародерством. А теперь добыча трофея есть самое гнусное преступление, за которое надо карать по всей строгости. И, как ни печально, первые суровые меры были обращены против своих же милиционеров-грабителей.

По приезде в Карс Лорис-Меликов обнаружил, что ни одна мечеть в городе не работает. В мусульманской стране это угрожало серьезными для христолюбивого русского воинства последствиями. Комендант разузнал, в чем дело. Оказывается, во время блокады многие мечети по приказу Вильямса, равнодушного к местным верованиям, были обращены в цейхгаузы и магазины. Это дало повод старым фанатикам объявить те мечети оскверненными. А когда крепость взяли гяуры, по всему пашалыку распространилась молва, будто бы в городе, занятом неверными, не может быть отправлено угодное Аллаху мусульманское богослужение.

Михаил Тариелович созвал наутро в главную мечеть весь меджлис Карса. Речь его была кратка:



— До полудня осталось полтора часа. Это время вашей молитвы. Если сегодня муллы не начнут служить во всех мечетях, завтра меджлис в полном составе будет повешен вот здесь. — И показал на лампы, свисающие с потолка на мощных бронзовых цепях.

В полдень со всех минаретов муэдзины созывали верующих к намазу. А по городу пронесся слух, что главному мулле явился во сне пророк Мухаммед и явил весть, что проклятие снято.

У этой меры был и еще один эффект, управляющим областью не предвиденный: как только пророк снял проклятие с городских мечетей, на базар потянулись арбы с товарами.

По указаниям главнокомандующего да и по собственному разумению Лорис-Меликов не торопился вводить новые порядки. Оставив за русским управлением исполнительную власть и полицию, власть судебную он распорядился сохранить за турками. Подати в казну — так называемую бахру — также платили по-прежнему, не прибавив ни единого процента. На эти деньги устроена была почта, приводились в порядок дороги, на которых устанавливались полосатые верстовые столбы. Почтовые станции снабжались тройками лихих лошадей. Как шутя говаривал генерал Муравьев, первым шагом для обрусения страны должно быть введение на почтовых дорогах форменных столбов и самоваров. Самовары, кстати, тоже стали появляться на станциях, а солдаты и армянские купцы из Эривани и Александрополя торговали ими на базаре.

Армянин до мозга костей, счастливый тем, что громадная армянская область освобождена от многовекового турецкого ига, Лорис-Меликов не оказывал видимого предпочтения своим единоплеменникам. Всякого рода льготы армянским торговцам и ремесленникам предоставлялись руками заместителя его русского майора Попки. С турками Лорис-Меликов обходился предельно внимательно и деликатно. Его первой заботой был мир, и всякого рода межнациональные недовольствия он гасил внешней любезностью, но и твердой, сквозь приветливую улыбку, угрозой — худо вам придется, если что не так.

18 марта 1856 года Крымская война, наконец, закончилась подписанием Парижского мирного договора. Севастополь возвращался России, зато Карс, к новым страданиям турецких армян, положено было отдать назад Османской империи.

Город был к тому времени приведен в довоенное благосостояние, а в чем-то даже стал и лучше — во всяком случае, чище. Во избежание угрозы эпидемий комендант Лорис-Ме-

ликов заставил меджлис следить за санитарным состоянием Карса.

Сборы были недолги — все уже порядком устало от войны, и, как ни досадно было оставлять крепость, такими трудами и жертвами отвоеванную, хотелось домой, ностальгия душила ночами, ожидалась какие-то перемены в новое царствование. Лицо государя, по крайней мере на портретах, в отличие от Николая, не внушало страха, напротив того — мягкими своими чертами вселяло надежду на доброту и милосердие. В порядке сборов подсчитали доходы. Оказалось, что от бахры имеется немалый непотраченный остаток — 32 тысячи рублей. Лорис-Меликов снесся по этому поводу с наместником и спросил, нельзя ли оставшуюся сумму раздать русским чиновникам, за короткий срок сумевшим наладить покой и порядок в разоренной войною области, в качестве особой награды. Генерал Муравьев положил раздать с этой целью половину суммы, другую же направить на сооружение церкви в Пятигорске.

Удивительно было прощание с Карсом. Лорис-Меликова провожали едва ли не с таким же торжеством, как в ноябре встречали в Тифлисе. Его забрасывали цветами, нагрозили целую арбу подарков — так благодарны были местные жители гуманному русскому управлению. Больше того, Карс и спросил у султана орден Меджлиса 2-й степени для своего коменданта. Когда еще, в каких войнах награждали противника?

## ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЛЯ

Всякое бедствие — война, жесточайшая диктатура, эпидемия или сотрясение земли — порождает в людях ту иллюзию, что вот кончится эта напасть, тогда-то и заживем. Герои получают свои заслуженные награды и будут так же славны, как и в тяжкую годину, ничто не поколеблет их авторитета...

Ан нет. Мир — испытание не меньшее. И у него свои правила. Герои возвращаются с войны, революции, реформы или расчистки завалов после землетрясений, а ими завоеванные места вовсе не ждут их, на них обустроились ловкие люди и очень славненько там обжились. И со всяким покусившимся на теплое, обжитое место вступят в жесточайшую борьбу не на живот, а на смерть. А уж законы этой борьбы не имеют ничего общего с теми ясными и прямолинейными законами

чести; что пригодны были для сражений за Баш-Кадыкляр и Кюрюк-Дара.

Едва отгремели салюты и вернулись на дамские головки чепчики, брошенные в воздух в честь славного покорения неприступного Карса, что-то странное стало твориться в Тифлисе. Генерал Муравьев, благодаря тому событию впредь на всю русскую историю отличенный от прочих Муравьевых добавлением Карский, с азартом принялся учинять порядок на Кавказе. Но все его добрые начинания упирались в самый откровенный саботаж: чиновники ни словом не выражали своего недовольства, но и ничего не исполняли. А если и исполняли, то в такой уродливой от чрезмерного усердия форме, что генерал приходил в ужас и отменял свои же в благих намерениях родившиеся приказы.

В минуту жизни трудную написал Николай Николаевич письмо старому своему боевому другу и предшественнику в управлении Кавказом Алексею Петровичу Ермолову. Так ведь тайна переписки — увы, не русская добродетель. Неведомыми путями предстало оно чужим враждебным глазам, и генерал на свое частное письмо получил отповедь в печати. От подполковника князя Святополк-Мирского — воина храброго, но характером, как в таких случаях говаривал Гоголь, предрасположенного к подлости. Он ведь заранее знал, что ничего ему за свой праведный гнев не будет, отвaga подполковника, поднявшего голос на полного генерала, была надежно обеспечена патронажем личного друга императора князя Александра Ивановича Барятинского. Очень быстро падение Карса в результате умело организованной Муравьевым блокады забылось, и орден Георгия Победоносца 2-й степени, только что полученный за сей подвиг, потускнел, зато очень хорошо вспомнился не давший нетерпеливой армии успеха штурм.

Результатом разразившегося скандала стала отставка Муравьева-Карского. Наместником Кавказа, как и ожидалось, император назначил князя Александра Ивановича Барятинского.

28 июля 1856 года, вернувшись в Тифлис, Лорис-Меликов застал Николая Николаевича в спешных сборах и глубокой печали — сожрали старика, самым бессовестным образом сожрали. Впрочем, держался Николай Николаевич твердо и мужественно — ему не привыкать к опале. Но очень уж обидно. Старый воин никак не ожидал от императора неблагодарности. Напротив, восшествие на престол Александра II и в нем породило много надежд.

А через неделю было событие в жизни бывшего начальника Карсской области чрезвычайное. За отличную усердную службу, как сказано в послужном списке, Михаил Тариелович Лорис-Меликов произведен в генерал-майоры с зачислением по армейской кавалерии, со старшинством на основании Всемилоштивейшего Манифеста 18 февраля 1762 года. Но праздник был невесел. Муравьев, поздравляя, прослезился — он был горд за своего ученика, но, человек в интригах тертый, не ждал в будущем ничего хорошего для своего фаворита. Старая истина, не в одной лишь Польше действительная: «Паны дерутся — у холопов чубы летят». Поскольку Лорис-Меликов был любимцем и Воронцова, и Муравьева, то к новому наместнику он одним этим может попасть в немилость. И тут не имеет значения даже то обстоятельство, что князь Барятинский сам представлял Лорис-Меликова к ордену Анны 2-й степени с мечами за храбрость и как начальник штаба Кавказской армии при Воронцове был свидетелем его подвигов в Крымской войне. Впрочем, высказывать вслух своих опасений Муравьев не стал. В конце концов, Лорис-Меликов молод, отважен и умен. Правда, последнее качество не очень поощряется на Руси, скорее, наоборот. Ну да как-нибудь обойдется.

Осенью генерал Муравьев-Карский, не желая встречи с преемником, отбыл сначала в Петербург, а оттуда, огорченный холодным приемом императора, отправился в имение свое Скорняково в Задонском уезде Воронежской губернии.

Увы, тревоги старика оправдались в полной мере. 8 ноября 1856 года новый наместник торжественно, будто это он покорил Карс, въехал в Тифлис. Впрочем, встречали его радостно — на Кавказе Барятинского знали и любили. Он здесь всем был свой. Да и сам Лорис-Меликов не ожидал для себя никаких неприятностей — слава Богу, сколько вместе воевали!

В день представления Михаил Тариелович надел новый генеральский мундир — и зеркало, отразившее лихого кавалериста тридцати одного года от роду в сюртуке с золотыми эполетами, засияло от гордости и как будто само увеличилось в росте. Любо-дорого смотреть!

Новый наместник был весьма любезен и обжигающе холоден. Он, конечно, поздравил Лорис-Меликова с генеральским чином, но как-то очень уж надменно-вежливо, как бы сквозь зубы. На вопрос о должности милостиво улыбнулся, но ничего не сказал. Почему-то здоровье Нины Ивановны в

этот момент показалось ему интереснее. Впрочем, представление начальству — это обряд, праздник. Что-то будет в будни?

А ничего.

Лорис-Меликов числился в действующем Кавказском корпусе без должности. Он обязан был являться по приемным дням наместника в понедельник и среду, а также вечером в четверг и в воскресенье после обедни в его дворец; князь был отменно учтив с Михаилом Тариеловичем, но всякие разговоры о деле вводил в сторону, лицо его тут же каменело, Александр Иванович в такую минуту искал глазами кого-нибудь из приближенных и заводил речь о лошадях или о вчерашней партии в вист. «Да-да, посмотрим, я думаю» — вот и все, чего можно было добиться в лучшем случае.

А ведь идет война, Шамиль опять тревожит наши линии, а русские войска в ответ рубят лес, оттесняя противника в непроходимые горы. И боевой заслуженный генерал, полный сил и азарта, казалось бы, пригодился в Чечне и Дагестане. Так ведь за доблесть в боях награждать следует, повышать в чине. А этого князь Барятинский для муравьевского любимца никак не желал. Отважных на Кавказе и так пруд пруди, а ум, о котором тут все говорят... Это что же — в упрек? Да ведь и не об одном уме говорят. Дворец наместника — так уж исторически повелось — средоточие всех слухов и сплетен. Здесь любой шаг может выйти боком. Добрые отношения с доктором Андреевским, ненавистным Барятинскому с давних пор, повлекли за собою шепоток за спиной Лориса, будто бы милость Воронцова была им куплена у доктора за взятку. Наместник не очень доверял этому слуху, тем более что Андреевского выслал с Кавказа в первую же неделю, так что и не проверишь, но распространение таковой сплетни по Тифлису поощрял — в угрозу и назидание. Однако дороже всего молодому генералу обошлась ставшая известной Барятинскому фраза Муравьева из письма Бебутову: «Лорис-Меликов незаменим. Не знаю, что бы мы без него делали». Незаменимых Александр Иванович не терпел.

Но было и еще одно обстоятельство, усиливающее неприязнь Барятинского.

Вообще-то, несмотря на свое нерасположение к Лорис-Меликову, князь хлопотал за него, как, впрочем, и за других генералов, оставшихся после войны без твердого положения. Но тут главнокомандующий и наместник Кавказа имел не-

счастье убедиться, что власть его за отдаленностью от Зимнего дворца не безгранична. Новый военный министр генерал от артиллерии Николай Онуфриевич Сухозанет был непробиваемо туп. Оказавшись после войны наедине с разгромленной армией, министр был чрезвычайно напуган множеством проблем, вставших перед ним, и, как все недалекие люди, укрылся от них прежними инструкциями и приказами. И ни шагу назад! Не положено иметь Кавказскому наместнику свыше четырех генералов и штаб-офицеров по особым поручениям — и все! Мало ли что царь обещал. Он же в инструкции не смотрел.

Барятинский шлет в Петербург депешу за депешей — никакого результата. Наконец, потеряв терпение, уже 10 июля 1857 года пишет министру:

«С прошлого года я просил ваше высокопревосходительство исходатайствовать высочайшее соизволение на назначение нескольких генералов, штаб- и обер-офицеров в числе состоящих по корпусу. Некоторые из этих лиц, заслужившие известность и оказавшие даже большие услуги, остаются теперь без всякого служебного положения; таковы генерал-лейтенант князь Андронников, которого имя громко раздавалось в минувшую войну; генерал-майор князь Меликов, командовавший всею Лезгинскою линиею, один из полезнейших в здешнем крае молодых генералов и недавно исполнивший весьма успешно дипломатическое поручение в Персии; генерал-майор Лорис-Меликов, который пользовался особым вниманием предместника моего генерал-адъютанта Муравьева и был отлично им рекомендуем. Не стану поименовывать всех других, из коих каждый заслуживает внимания начальства, и по фамильному значению в этом крае. Несмотря на давность всех этих представлений, я не получаю до сих пор разрешений, ни даже ответов и начинаю опасаться, чтобы представленные мною лица не подверглись в определенные сроки жребию людей, не занимающих никакого определенного места».

Следующие строки дались гордому русскому аристократу с особым трудом:

«Пользуясь предложением вашим установить между нами откровенную переписку, я решаюсь напомнить вам, Николай Онуфриевич, о забытых моих представлениях и просить вас

приказать, кому следует, двинуть залежавшиеся дела. При этом случае я должен предупредить вас, что я имею в виду еще несколько лиц, которым необходимо дать служебное положение, и потому я вынужден представить их также в число состоящих по корпусу или, по политическим видам, одних на открывшиеся вакансии, других даже и сверх комплекта. Считаю излишним пояснить вашему высокопревосходительству, что в здешнем крае существует действительно множество личных соображений, по которым необходимо беречь людей, или за прежние их заслуги, или для будущей ожидаемой от них полезной деятельности».

Письмо это было написано в Коджорах, а в Тифлисе наместника ждал ответ на предыдущее, в котором военный министр писал по этому поводу:

«К Государю я отправил желание ваше о зачислении генерал-майора Грамотина по особым к вам поручениям; таковых положено иметь четыре, состоит уже 12. Грамотин будет 13-й. Пропустит ли это Его Величество, не ручаюсь; между тем вновь поступило представление о генерал-лейтенантах князе Андронникове и князе Орбелиани и генерал-майоре Лорис-Меликове, что составит 16, из которых 12 сверх сметного расхода».

На письмо из Коджор тоже последовал отказ. Гордый князь принужден писать новую челобитную министру.

«Не скрою от вас, — в раздражении диктует Барятинский адъютанту очередное обращение к Сухозанету, — что меня огорчают отказы на некоторые мои представления, которые, поверьте, всегда имеют единственно одно побуждение — пользе края и службы. Между прочим, вы нашли затруднение ходатайствовать о назначении по корпусу для особых поручений генерал-майора Лорис-Меликова и полковника князя Орбелиани, по тому поводу, что они будут сверх комплекта. Но если бы эта причина и была достаточна для того, чтобы выкидывать из службы офицеров, хорошо служивших и обещающих еще быть полезными для службы, то во всяком случае судьба эта не должна бы пасть на генерал-майора Лорис-Меликова, который был представлен мною ранее всех других. Что касается до полковника князя Орбелиани, то, огорченный полученным отказом, он видит себя вынужденным покинуть

службу, и я уже не возобновляю моего ходатайства о нем. Относительно же генерал-майора Лорис-Меликова я считаю долгом службы снова повторить мое о нем представление, как ни тягостно мне просить после полученного отказа».

В конце концов пришлось обращаться с ходатайством к самому императору, чтобы Военное министерство удосужилось-таки пересмотреть смету расходов на Кавказский корпус и удовлетворило ходатайства его главнокомандующего. Только 27 сентября 1857 года князь Барятинский смог, наконец, поздравить генерал-майора Лорис-Меликова с высочайше утвержденным назначением состоять при Отдельном Кавказском корпусе. Однако ж дела никакого предложено не было. И еще полгода полный сил молодой честолюбивый генерал четырежды в неделю посещал наместника и не получал от него никаких поручений.

В ленивых и беспечных юнкерах об этом даже мечталось: носить генеральские пышные эполеты, получать жалованье и ничегошеньки не делать. Так то в юнкерах! А каково в лучшие и самые деятельные и — что там говорить — тщеславные годы, когда вся Россия бурлит горячкою реформ и новых веяний, быть обреченным на преждевременную пенсию не пенсию, отставку не отставку... Одна радость — много и упоенно читал, благо литература русская переживала расцвет немыслимый, и каждый номер «Современника» и «Отечественных записок» являл собою событие в общественной жизни.

Наконец, 30 апреля 1858 года после стольких лет ожиданий генерал-майор Лорис-Меликов назначен был начальником правого фланга Лезгинской линии. Слава Богу, дождался! Ну, держись, Шамиль, идет наш Лорис! Неделю не выходил из Главного штаба, разрабатывая с Милютиным планы будущих операций, щедро одаряя дельными своими советами и другие направления боев, не только на своем фланге. Дома была веселая суета, Нина, беременная первым ребенком, оставила свою естественную в таком положении раздражительность и хлопотала в сборах.

13 мая утром молодой генерал распрощался с домашними — дорожный экипаж со скарбом был наготове, последний поцелуй... И входит адъютант князя Барятинского ротмистр Николаев, запыхавшийся и смущенный.

— Его сиятельство просит к себе. Как есть, даже в дорожном платье.

«С какой, интересно, стати? Я же вчера вечером был у него, откланялся, князь благословил меня... Но делать нечего — с главнокомандующим не спорят».

Все же являться к наместнику в дорожном костюме Лорис-Меликов счел для себя неприличным, быстро переоделся, поехали. Дорогой не утерпел, спросил-таки:

— А ты не знаешь, приятель, зачем я понадобился князю?

— Не знаю, генерал. Только выехали б вы на полчаса пораньше, мне б пришлось в эту жару загонять лошадей и мчаться за вами.

— Ах, все равно, через минуту и сам все узнаю. Только сдастся мне, что вы, ротмистр, мой черный ворон. И число сегодня тринадцатое... Нет, не жду я от этого свидания с князем ничего хорошего.

Князь Барятинский нетерпеливо мерил шагами свой кабинет. Он явно куда-то торопился, был в белом своем мундире, с шашкою, папаху держал в руке.

— Очень хорошо, Михаил Тариелович, что вы не успели уехать. К сожалению, я очень тороплюсь по срочному делу и не могу вам толком объяснить, но вам надлежит ехать не на Лезгинскую линию, а в Сухум-кале, вы назначаетесь пока исполняющим должность начальника войск в Абхазии и инспектором линейных батальонов Кутаисского генерал-губернаторства. Все, извините, генерал, больше ни минуты времени не имею. Выезжайте немедленно, на месте разберетесь.

Тысячи вопросов, возражений — да так и застряли в горле. Князь недвусмысленно посмотрел на часы, давая понять, что и секунды истекли. Обескураженный, Михаил Тариелович вышел из кабинета.

Адъютант главнокомандующего был в прихожей, генерал с грустной улыбкой посмотрел на него.

— Ах, ротмистр, я ж говорил вам, что вы мой черный ворон. Так оно и вышло. Знаете, зачем меня вызывали?

— Да нет же, я вам и в дороге сказал, что не знаю.

— Ах да. Так вот, меня назначают в Абхазию.

— Ну так что же?

— Как что? И без того ни я, ни жена моя не можем отделаться от лихорадки; я радовался — на Лезгинской линии прекрасный климат, минеральные воды. Места мне известные, и дело хоть и жаркое, но ясное мне как день. А в Абхазии самый рассадник лихорадки, а потом... И вообще скверно. — Генерал махнул рукой в горькой досаде.

— А что же вы, ваше превосходительство, не объяснили всего этого самому князю? Нельзя ж, в самом деле, больного человека посылать в малярийный рассадник.

— Я и хотел, да времени не было — главнокомандующий уезжает куда-то, он уже при шашке, с папахой, извинился, что не может уделить мне более минуты... Да что ж теперь делать, такова судьба. Прощайте, мой черный ворон!

Уходя, Лорис-Меликов, погруженный в свою печаль, глаз на черного ворона не поднял. И напрасно. Он бы увидел немалое изумление на лице ротмистра Николаева, еще не научившегося скрывать своих чувств. Князь Барятинский, посылая его вдогонку за Лорис-Меликовым, был одет по-домашнему и, насколько было известно адъютанту, никуда не собирался. А тут — уезжает, и спешно, а я ничего не знаю.

Николаев отыскал Никиту, камердинера князя:

— Скажи, любезный, едет ли куда-нибудь князь?

— Нет, ваше благородие, — отвечал Никита. — Вроде надумал было что-то, оделся, но ни седлать, ни закладывать не приказывал. Разве что пешком?

«В такую жару? Да он и пешком-то никуда не ходит», — еще более изумился адъютант.

Размышления его прервал нетерпеливый звонок, раздавшийся из кабинета главнокомандующего. Николаев ринулся на зов.

Двери из кабинета в сад были распахнуты, оттуда журчали фонтаны и доносился тонкий запах расцветших роз. Князь Барятинский в мягком домашнем сюртучке возлежал на диване и хитро посмеивался.

— Будьте любезны, Пьер, подготовьте приказ о назначении генерал-майора Лорис-Меликова в Абхазию. А тот, старый, я отменяю. Его можно уничтожить. Да, кстати, как вам показался Лорис-Меликов?

— Сильно был обескуражен, ваше сиятельство.

— Я так и думал.

— Но, ваше сиятельство, — осмелился спросить адъютант, — генерал мне сказал, что вы куда-то уезжаете и были в мундире, при шашке, с папахой в руке. А теперь вы опять по-домашнему...

Александр Иванович расхохотался.

— Если помните, ротмистр, перед судом над Дантоном Робеспьер сказал Сен-Жюсту: «Если мы дадим ему говорить, он спасен».

За фразой «И вообще», брошенной в сердцах генерал-майором Лорис-Меликовым, скрывалось то обстоятельство, что Абхазия в ту пору была источником не одной лишь малярии, но и головной боли всего кавказского наместничества. Владелец Абхазии был генерал-адъютант генерал-лейтенант князь Михаил Георгиевич Шервашидзе. Во время Крымской войны, когда турецкий генерал Омер-паша высадил в Сухум-кале экспедиционный корпус, владелец Абхазии встретил его с распростертыми объятиями и вел игру весьма двусмысленную в глазах русского правительства. Муравьев-Карский намеревался провести особое расследование по поводу странной политики князя Шервашидзе в столь трудное для России время, но внезапная отставка помешала этому, а новому главнокомандующему хитрый владелец Абхазии сумел втереть очки. В конце-то концов Омер-паша ушел из пределов Колхиды ни с чем, немалую роль в этом сыграли абхазские партизанские отряды, Шервашидзе в оправдание свое клялся, что к их формированию сам руку приложил, и, хотя доказательств тому никаких не было, Бярятинский оставил его в покое.

В своем крае князь Шервашидзе властвовал безграничным деспотом. Он обложил абхазские селенья данью, но платить налогов в казну не торопился. Немалым источником его доходов была турецкая контрабанда, которая провозилась через Абхазию разве что не средь бела дня. Поговаривали, что этот генерал-лейтенант русской службы имел сношения с непокорными племенами и поддерживал их деньгами и оружием.

Предшественники Лорис-Меликова не могли справиться с князем Шервашидзе. Генерал Карганов — тот самый, что организовал облаву на сбежавшего из-под надзора Хаджи-Мурата — так и не нашел на него управы. Шервашидзе обманывал прямодушного начальника войск самым наглým образом, а когда Карганов пытался объяснить с ним, всегда исчезал из дому и был неуловим. Генерала же Бартоломея, сменившего Карганова, вообще превратил в пешку. Тот только оправдывался за владельца Абхазии перед наместником и заслужил лишь немилость последнего.

С новым начальником войск князь Шервашидзе тоже решил особо не церемониться. Принял он его надменно, давая понять, что отпрыску знатной грузинской фамилии не пристало подчиняться какому-то армянину, и если генерал-майору Лорис-Меликову угодно сохранить свой пост и не иметь неприятностей, он должен дружить с владельцем Абхазии.

Обиды Михаил Тариелович как бы и не заметил и ласково заверил князя, что в крепости их предстоящей дружбы не сомневается и надеется, что на земле Абхазии свято чтутся законы Российской империи, и в любых затруднениях при их исполнении всегда готов прийти на помощь его сиятельству. Настала очередь Шервашидзе сглотнуть легкую обиду.

На том и расстались.

Князю Михаилу Георгиевичу очень скоро пришлось убедиться, что Лорис-Меликов — отнюдь не Карганов и уж тем более не Бартоломей и что с ним такие шутки, как с предметниками его, не проходят. Лорис еще во времена Воронцова имел своих людей во всех округах Кавказского края и связи с ними не растерял. Иные же укрепились еще более, когда во время минувшей войны он командовал охотниками, в числе каковых было немало и абхазцев. Так что он был вполне осведомлен о настроении местного населения, знал, что абхазские князья крайне недовольны своим правителем, но решительно не находят способов избавиться от его деспотии.

Начальник войск с большой охотой стал принимать у себя абхазских князей, во всех препирательствах с владельцем неизменно принимал их сторону, беря под свою защиту. Он отменил дань, которую собирал с абхазцев грузинский князь, и велел направлять подати в российскую казну через казну армейскую, добившись этой привилегии от Бярятинского. Собственно, Лорис-Меликовым же казенные деньги и тратились, поскольку шли они на строительство Военно-Сухумской дороги и Цебельдинского укрепления, возводившегося на ее пересечении с рекой Кодори.

Удивительное дело, но необходимость обустройства дороги Лорис-Меликову пришлось доказывать, исписывая десятки бумаг Кутаисскому генерал-губернатору и наместнику. Командующий Правым крылом генерал-лейтенант Филипсон всячески противился этому, исходя из того, что в случае войны Абхазии нам все равно не удержать, так что и тратиться нечего. Торговля же с ее выгодами представлялась генералу видом к весьма отдаленному будущему, так что пусть потомки на сей счет и хлопочут. И только взяв под свою ответственность сбор средств на дорогу с местного населения, Лорис-Меликов добился разрешения на ее строительство.

Князь Шервашидзе, прежде не допускавший до себя русских генералов, сам стал искать встреч с Лорис-Меликовым, но тот оказался для него неуловим, неделями пропадая в Цебельде.

Крепость надо было охранять от набегов непокорных горцев, и войска расположились здесь лагерем. И Михаилу Тариеловичу лучше дышалось в этих благословенных местах, не то что в низинах Колхиды. Горцы же, зная, что на строительстве укрепления присутствует сам Лорис, не рисковали с нападениями. Слава по Кавказу о генерал-майоре ходила немалая, обрастая легендами в местном фольклоре.

Он без боя покорил самое воинственное из местных племен — убыхов, знаменитое на всем восточном Черноморском побережье. У горцев существовало даже поверье: чтобы быть храбрым, надо пожить и поучиться у убыхов. В июле новому воинскому начальнику доставили несколько убыхских старшин, пойманных на контрабанде порохов и оружием из Турции. Русский генерал распорядился протомить их несколько месяцев в плену. Но потом сам же и отпустил по домам после беседы с каждым из них. Грозный генерал в разговоре наедине оказался ласков и добродушен и приглашал к себе без всяких церемоний. И даже предложил устроить в Гаграх встречу всех старшин убыхских и соседних джигетских селений для решения самых важных вопросов местных племен. Больше того, приехал на нее почти без охраны.

Генерал предложил учредить народные суды, при которых образовать и милицию из 25 есаулов. Судьям и есаулам от правительства полагалось жалованье. Кроме того, Лорис-Меликов пообещал упростить для покорившихся племен оформление паспортов для поездок в Турцию, где едва ли не каждая семья имела родственников, и выхлопотать облегчение в торговле с турками. Но, посулил генерал, если кого поймает на контрабанде, — уж не взыщите.

Так мало-помалу начальник войск прибирал к своим рукам прежде единоличную власть дома князей Шервашидзе.

В Сухум-кале Лорис-Меликов наезжал изредка и то лишь по крайней в том надобности. В передней всегда оказывалось несколько визитных карточек спесивого владельца Абхазии. Так что в один прекрасный день — а был это праздник Успения Богородицы, и князь Шервашидзе устроил у себя большой прием — начальник войск сам явился во дворец князя.

— Мне бы хотелось, любезный генерал, поговорить с вами конфиденциально, — сказал князь, уловив минуту и отведя Лорис-Меликова в сторону от гостей.

— Ваше сиятельство! — Улыбка Лорис-Меликова была широка и радостна. — Какие у нас с вами могут быть конфидененты? У нас общие заботы, все открыто любому взору.

— Да-да, конечно, генерал, но все же есть некоторые обстоятельства...

— Ваше сиятельство, какие могут быть тайные обстоятельства у двух генералов гвардейской выучки? — И все это вслух и достаточно громко.

Старый хитрец пришел в некоторое замешательство.

— М-м-м, вы знаете, генерал, я вижу, как вы заняты в Цебельде, мне хотелось бы освободить вас от некоторых затруднений. Все-таки собирать подати с местных княжеств, с этих жуликов... Все норовят обмануть, недодать. Давайте уж лучше по-старому, чтобы я сам этим занимался.

— Князь, рад бы. Мне это действительно обуза. Но строительство требует быстрых средств. К тому же, я знаю, у вас среди чиновников есть люди не очень, я бы сказал, надежные. А у нас в войсках больше порядка.

Сказать на это князю Михаилу Георгиевичу было нечего.

Но и по завершении строительства укрепления, в ноябре Лорис-Меликов не уступил князю Шервашидзе чести собирать налоги. Дело это было уже как следует налажено, и абхазские князья стали забывать дорогу во дворец владельца своего. Они грозили взбунтоваться, а начальник войск дал понять князю, чью сторону возьмет, если, не дай Бог, начнутся волнения в Абхазии.

Тифлис с большим интересом наблюдал за укрощением владельца Абхазии. Иные меры генерал-майора приводили в восхищение князя Бяратинского, и он переменял свое отношение к Лорис-Меликову. За отлично-усердную службу и труды, понесенные при устройстве Цебельдинского укрепления, по ходатайству наместника генерал Лорис-Меликов удостоен был ордена Станислава 1-й степени.

В послужном списке Лорис-Меликова, в графе «Бытность в делах и походах», есть странная для кавалерийского генерала запись: «В 1859 году, 5 апреля, взятие шхуною «Бомборы» и двумя Азовскими баркасами турецкой кочермы с контрабандою и уничтожение выстрелами той же шхуны другой контрабандной кочермы на берегу; 6 апреля сожжение выстрелами корвета «Рысь» контрабандной кочермы на берегу р. Сочи, сильное повреждение корветом двух кочерм у бывшего Головинского форта и перестрелка корвета с горцами, собравшимися на бе-



регу; 7 апреля сильное повреждение выстрелами корвета «Зубр» двух контрабандных кочерм на берегу между Субаши и Вардане и духана с контрабандными товарами; 11 мая взятие шхуною «Редут-кале» контрабандной турецкой кочермы с экипажем и 9 пассажирами-горцами».

Турецкая контрабанда — а составляли ее порох, свинец и оружие — была немалым источником доходов и власти князя Шервашидзе. Никакие увещевания на владетеля Абхазии не действовали, и генерал Лорис-Меликов отважился самолично покончить с этим злом. Он взял на себя командование морской операцией, сам допрашивал турецких моряков, напуганных больше не тем, что попались, а тем, что русский генерал свободно владеет их языком. Было проведено тщательное расследование — куда, кому и какими горными тропами идут смертоносные товары, где ими торгуют, какими путями и в чьи карманы попадает выручка. Как и подозревалось изначально, все нити контрабандных связей уходили своими концами во дворец владетеля.

По окончании расследования начальник русских войск пригласил к себе князя Шервашидзе. Ах, как он был мил и любезен сегодня с дорогим своим гостем! Стол ломился от яств, и вино было подобрано со вкусом, а тут уж Михаил Георгиевич сам был из первых знатоков, оценил.

После ужина мужчины уединились в кабинет.

— Прошу, ваше сиятельство, у меня к вам конфиденциальный разговор.

— Любезный генерал, какие могут быть между нами конфиденциенты?

— Могут, князь, могут.

На письменном столе лежала стопочка бумаг — протоколы допросов турецких контрабандистов, торговцев, перекупщиков, чиновников при абхазском владетеле. Кое-какие из этих бумаг предъявлены были князю. Очень были расстроены его сиятельство, читая показания против самого себя.

— Я бы не хотел доводить это дело до суда и даже до сведения Тифлиса, — мягко улыбнувшись, произнес Лорис-Меликов. — Мы очень высоко ценим ваше многолетнее управление краем, и не хотелось бы омрачать его громким скандалом. Как вы понимаете, больше таких вторжений турок в сферу нашей торговли я не потерплю и вам советую пресекать, насколько возможно, любую попытку контрабанды. И давайте договоримся:

если вы хотите сохранить за собою свой пост и не иметь неприятностей, поддерживайте со мною дружеские отношения.

Генерал-адъютант князь Шервашидзе изъявил самые искренние дружеские чувства проклятому армяшке, переигравшему его по всем статьям.

Но насчет Тифлиса Лорис-Меликов, конечно, слукавил. Он давно снесся по этому поводу с князем Барятинским, и такова была воля наместника — властителя Абхазии укоротить, но дела не раздувать и не доводить до суда. Шум легко мог достигнуть и Петербурга, а там иди доказывай, что столько лет не ведал о проделках Шервашидзе.

В августе 1859 года пал Гуниб — последний оплот Шамиля. Вот когда Лорис-Меликов пожалел, что не попал на Лезгинскую линию! Но осенью ему выпала миссия особой сложности.

На Вселенском соборе в Константинополе армянским патриархом был избран Матевос, и генерал-майору Лорис-Меликову поручено было сопровождать нового патриарха из турецкой столицы в Эчмиадзин. Но то была официальная, широко объявленная версия его командировки. Была и другая, секретная. Петербург счел удачным опытом отправление после Крымской войны всех мусульман полуострова согласно их желанию в пределы Турции. Решено было так же поступить и с покоренными народами Чечни и Дагестана. Следовало попытаться уговорить турецкое правительство принять переселенцев с Северного Кавказа.

Лучшей кандидатуры для решения столь сложной задачи было, пожалуй, и не сыскать. Лорис-Меликова в Турции знали и хорошо помнили его удачное управление Карсской областью. А человек, сумевший унять князя Шервашидзе, с которым не справились два уважаемых боевых генерала, полагал наместник, уговорит и турок слегка подвинуться и дать место своим кавказским братьям по вере.

Переговоры были долгие и много раз заходили в тупик. Турецкие власти понимали, что разместить и прокормить такую ораву — под миллион душ — их бедной стране довольно затруднительно, у них только-только улеглись заботы с крымскими татарами. Опять-таки и воины Шамиля — публика беспокойная. Это люди, поколениями прожившие в состоянии партизанской войны, отученные от плуга и ремесла. А правительству хватало головной боли от своих подданных — армян, курдов, лазов, карапахов, время от времени поднимавших мятежи.

Русский генерал, воевавший в Малой Азии во главе охотничьих полков, очень толково объяснил разницу между башибузуками и кавказскими добровольцами в минувшую войну. Башибузуки как были бандиты, так ими и остались, охотники же, набранные, кстати, и с Северного Кавказа, при каждой встрече били хищных и трусливых башибузуков. Так что иррегулярная армия турок получает смелых и хорошо обученных бойцов. Сам Кази-Магома, старший сын Шамиля, намерен поселиться в Турции. Ваши границы будут надежно защищены.

Что же до умений горцев в ремесле, так Лорис-Меликов приехал к султану не с пустыми руками. Он привез дагестанские ковры и серебряное оружие работы кубачинских мастеров, и султан, с младенчества избалованный роскошью, великолепный знаток дорогих и ненужных штучек, немало был восхищен кубачинской саблею, инкрустированную драгоценными камнями. А сама беседа о том, с какими мастерами вынуждена расстаться Российская империя, очень была похожа на торг Собакевича с Чичиковым. Лорис-Меликов с таким азартом расписывал какого-то сапожника Али из Гергебиля — что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо! — и увлекся так, что глазом не моргнув на ходу сочинил, будто сам у него заказывал обувь и для себя, и для наместника князя Барятинского, и для — подумать только! — русского императора.

И-выторговал у султана задешево договор о принятии турецким правительством переселенцев Терской области. Сей дипломатический подвиг Лорис-Меликова отмечен был орденом Святой Анны с мечами 1-й степени.

В Константинополе в ту пору оказался великий князь Константин Николаевич, возвращавшийся домой из Иерусалима. Брат императора был управляющим Морским министерством, но это по традиции, главным же делом великого князя была готовившаяся крестьянская реформа, и Константин, умнейший из братьев, сумел объединить вокруг себя самых дельных и толковых людей в России. Так что умом его вроде и не удивить. Но он был совершенно очарован генералом Лорис-Меликовым.

Они провели вместе не один вечер, скрашивая скуку чужбины, которая наваливается на русского человека в самых экзотических городах, когда глаза истомлены впечатлениями, желудок не берет иноземных яств, а слух соскучился по родной речи.

Великий князь расспрашивал генерала о минувшей войне, о том, как она проходила в Малой Азии, где сошлось столько

разных верований, народов и племен. Едва ли не все они были представлены в сотнях охотников Лорис-Меликова, и Константин Николаевич искренне дивился тому, как Лорис сумел управиться с этой разношерстной публикой.

— Ах, ваше высочество, единственный признак силы отнюдь не насилие, но великодушие. Я всем показывал свое уважение. Человек самолюбив и требует немножечко терпения.

— Так они ж дикари. Чуть что — за ножи.

— Я между ними суд организовал. Из самых почетных воинов. Это избавляло от того, что люди, влиятельные в их среде, сами схватятся за кинжал, они сначала подумают, и от того, чтобы самому разбираться в их пустяковых ссорах. К тому же, ваше высочество, не все и дикари. Народы христианские гораздо ближе к русской культуре и государственности, чем о том полагает русское правительство.

И Лорис-Меликов пустился в рассуждения на любимую свою тему — о несчастной доле армянского народа, рассеянного после персидских, византийских, турецких нашествий по всей Азии и сохранивших христианскую веру, христианские книги и бережно оберегающих древнюю свою культуру. В православной России армяне всегда видели естественного своего союзника и готовы поддерживать влияние нашей могучей державы на всем Востоке, где только есть армянские поселения. И вообще было бы неплохо, если б в Персии и Турции развернулась сеть русских консульств с образованными и благонамеренными армянскими деятелями во главе.

Мысль эта чрезвычайно понравилась Константину. Представитель царствующего дома, он, честно говоря, почти и не задумывался о судьбах народов, угодивших под власть русской монархии, да толком и не различал их. Как человек умный, он был свободен от предрассудков и не видел в каждом армянине торговца, как о том твердила молва, а в каждом черкесе — разбойника. Но и до глубоких мыслей на сей счет не нисходил. Повода не было. Михаил же Тариелович со своей формулой «Признак силы — не насилие, но великодушие» свершил тот поворот в чувствах и уме, когда бездумное равнодушие делает шаг именно к великодушию.

А мысль об армяно-российских консульствах — интересная мысль. И полезная. Но тут он увидел, как вытянется и без того узкая физиономия князя Александра Михайловича Горчакова с его вечным сакраментальным вопросом: «А деньги?»

Как содержать такую массу учреждений? Может, Бяратинский возьмет на себя часть расходов?

Вообще великий князь несколько позавидовал Бяратинскому, под чьим началом служат такие умные люди. Ему уж стало казаться, что весь Кавказ полон генералами, столь дельно рассуждающими о самых сложных политических вопросах. Он ведь додумался, как обойти ненавистный Парижский трактат, запретивший России держать на Черном море военный флот. Надо развивать морскую торговлю: А чем больше страна торгует, тем больше соблазна для контрабанды, с коей надо нещадно бороться и держать крейсера вдоль торговых путей. А там видно будет. Мысль эта пришлась по душе морскому министру.

По возвращении из Константинополя генерал-майор Лорис-Меликов был назначен военным начальником Южного Дагестана и градоначальником Дербента. Начальником он назывался военным, дела же на него посыпались гражданские, рядом с которыми штурм крепости казался не то что легкой прогулкой, но приятным приключением. Война кончилась, надо налаживать повседневный быт. Отстраивать заново аулы, которые сам же в 40-е годы и сжигал, обеспечивать крестьян зерном для посева, мирить племенную вражду, посеянную давно умершими дедами.

Хлопот было много, каждый вечер военный начальник валится с ног от немыслимой усталости, но работе этой он был несказанно рад. Оказалось, что созидание увлекательнее убийств и пожаров и приложения ума требует, пожалуй, побольше, чем планирование стратегических операций. Впрочем, все это он еще в Карсе испытал.

Но главное преимущество в новом положении Лориса — полная самостоятельность и отдаление от Тифлиса. В столице Кавказского края было скверно. Интриги в окружении наместника, поутихшие за последние два года, вспыхнули с новой силой.

После победы над Шамилем князь Бяратинский исхлопотал для своего начальника штаба генерала Милютинна должность товарища военного министра. Александр Иванович затеял многоходовую комбинацию. Себя он видел в кресле начальника Главного штаба с расширенными за счет военного министра функциями и правами, главная из которых — распоряжение военным бюджетом. И так все было хорошо, так складненько задумывалось и исполнялось, но...

Князь Александр Иванович Бяратинский человек был дьявольски, изощренно хитрый, испытанный в придворных интригах не меньше, чем в сражениях. А Дмитрий Алексеевич Милютин — умный. Во власть он пришел не с пустой головой, но с четко разработанной программой преобразования русской армии. А потому вовсе не собирался становиться пешкой в руках бывшего своего начальника. Дмитрий Алексеевич был прекрасно осведомлен в осторожных мыслях фельдмаршала Бяратинского по поводу усовершенствования вооруженных сил. Они сводились к углублению прусской системы — той самой, что в России доведена была до абсурда и привела к поражению в Крымской войне. Милютин же считал, что армия, как и вся страна, нуждается в решительной реформе.

Вообще-то на Руси хитрецы побеждают умников. Они их спеленывают, как лилипуты Гулливера, тоненькими и крепкими ниточками ябед, пересудов, сплетен, маленьких интрижек и валят наземь, беспомощных и честных. Крик несчастного о помощи теряется и гложет в бескрайних просторах спящей империи.

Но России свойственно изредка просыпаться. Особенно после катастроф. И тогда ей позарез нужны умники.

Будучи наследником, Александр Николаевич чувствовал себя за могучей спиной властного и жестокого отца как за каменной стеной и полагал, что его царствование будет столь же безоблачным и бесшумным. Но трагедия Севастополя разверзла под самыми ногами нового царя такие бездны и с такой беспощадностью правды, что он понял: надо менять всю систему, и немедленно. А для такого дела хитрецы не годятся.

В августе 1856 года князь Бяратинский расстался с одним царем. Милютинна спустя четыре года прислал к другому. Благие намерения, о которых заявил молодой император при коронации и которым Бяратинский, зная русскую бюрократическую машину, особого значения не придавал, устилали дорогу к скорому воплощению, и лучшие умы боролись за наиболее скорый и радикальный путь реформ, но могущественные сановники старых еще, николаевских, времен, распри позабыв, объединились в сопротивление.

И Петербург Дмитрий Алексеевич застал не тем, который покинул четыре года назад. Здесь все бурлило свежей мыслью, надеждами, брат его Николай пребывал в чрезвычайном возбуждении — он дорвался до настоящего дела и в подготавливаемой реформе был одним из самых горячих деятелей. Всех

своих идей воплотить ему не удалось, но с места реформы сдвинулись, и в ночь на шестилетие восшествия на престол Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян.

В Военном министерстве, пока им правил столь же доблестный, сколь и невежественный, ума весьма ограниченного генерал от артиллерии Николай Онуфриевич Сухозанет, о реформах и помышлять было нечего. Отчаявшись, Милютин подал было прошение об отпуске «для морских купаний». По счастью, искупаться в морских волнах Милютину не пришлось: в мае 1861 года генерал Сухозанет получил назначение наместника Царства Польского, и министерство осталось в управлении Дмитрия Алексеевича.

Тут и начались сюрпризы для князя Барятинского. Первым делом Милютин доказал царю, что управление армией должно быть сосредоточено в одних руках и требует значительного упрощения и упорядочения. В министерстве, до того мертвом и сонном учреждении, закипела работа — ежедневные совещания, записки, доклады как о современном состоянии дел, так и по поводу неотложных мер для преобразования всей системы вооруженных сил России. Стали создаваться особые комиссии, куда стекались со всей империи проекты реформы армии. Что было особенно оскорбительно для сиятельного князя и фельдмаршала — любой армейский поручик мог отослать в министерство свои предложения, и они там обсуждались всерьез, а иные мысли учитывались самим военным министром, о чем не пренебрегалось сообщить в особом благодарственном письме их автору. Князь недоумевал. Все-таки товарищем юности императора был он, а не какой-то там Милютин, и его предложения должны были быть особо ценны в глазах царя хотя бы в силу одних только этих обстоятельств. Но монарху было не до юношеских привязанностей. Слишком велика оказалась его ответственность за ослабевшее отечество, чтобы исходить из подобных лирических соображений. Европа год от году усиливает свою военную мощь и с вождельением поглядывает на Россию. Нам опять, как Петру Великому, надо выдираться из гнилого крепостнического болота на сухую, твердую почву и пускаться вдогонку. Александр Иванович при всей своей образованности этого не понимал и все приписывал козням и интригам хитреца Милютина.

В Тифлисе общественное мнение раскололось надвое. Люди дальновидные понимали правоту военного министра, успешного и на Кавказе преобразовать управление войсками, что

немало способствовало победе над Шамилем. Люди же практические полагали: Петербург с его новыми веяниями далеко, а нам жить здесь и под управлением фельдмаршала Барятинского. Завязалась борьба меж людей дальновидных и практических. Как водится, борьба эта приняла характер интриг и подсиживаний, измывая в своих жерновах и натуры крупные, недюжинные. Михаил Тариелович Лорис-Меликов принадлежал к людям дальновидным, а посему Бога благодарил, что заслали его в такое время в Дербент, подальше от препирательств при дворе наместника. Из каждого посещения Тифлиса он укреплялся в твердом убеждении Альфиери: «Все дворы — лакейская».

В Южном Дагестане Лорис-Меликов не стал вводить порядков, общих для всей империи, а отдал местную власть вождям многочисленных здешних племен. Сам только следил, чтобы борьба между властолюбивыми предводителями не доходила до крови. Людей же воинственных, так от оружия и не отвыкших, приглашал к себе и уговаривал уехать навсегда в Турцию, где для правоверного мусульманина уготован настоящий рай.

Войны, подобные Кавказской, сразу не утихают. Рядом, в Чечне, генерал граф Евдокимов огнем и мечом покорял не желающие смириться горные аулы, да и в Дагестане время от времени вспыхивали волнения. Генерал Лорис-Меликов действовал иначе. Племенные вожди, как правило, имели одну человеческую слабость: они были корыстолюбивы, а посему неверны в клятвах и переменчивы в настроениях. Их приближенные также не отличались большой щепетильностью, и военный начальник области без особого ущерба для казны в каждом тейпе содержал своих агентов и о намерениях местных князей бывал прекрасно осведомлен. Как говорится, то лаской, то таской Лорис-Меликов заранее гасил конфликты и за все время своего здесь правления не приводил в действие своих угроз ни разу.

Мысль, нечаянно вырвавшаяся в беседах с великим князем Константином Николаевичем, — признак силы не насилие, но великодушие — стала руководящей во всех его действиях. Как следует осмотревшись, разузнав о настроениях недавних шамилевских партизан, начальник Южного Дагестана отважился на путешествие по Кайтагу и Табасарани — областям, считающим себя свободными от русского владычества. Ехал не верхом, а в коляске, сопровождаемый не отрядом казаков, а немногочисленной чиновной свитой. А сзади шла арба с не

виданными для сих мест товарами, доставленными из глубины России, — тульские медные самовары, расписные павловопосадские шали, деревянная посуда с хохломскими рисунками и целая гора глиняных свистулек для детей.

Генерал оказался совсем не страшный. Да еще говорил на местном наречии. И говорил с каждым, кто, одолев робость, выбивался к нему из толпы, поначалу недоверчивой, готовой в любой миг схватиться за оружие. И скоро инспекционная поездка начальника превратилась в праздник: весть о приближении генеральской коляски неслась впереди нее, и в каждом ауле гостя ждали с хлебом и солью почтенные старики.

Когда вышел Манифест об освобождении крестьян, Лорис-Меликов стал подумывать, не ввести ли крестьянскую реформу и здесь — освобождение горцев от крепостного ига подорвало бы могущество племенных вождей, оживило торговлю и ремесла, но, пока наместником на Кавказе был князь Барятинский, об этом нельзя было и мечтать. Достаточно уж того, что князь, наконец, в полной мере оценил достоинства военного начальника Южного Дагестана, представив его к ордену Владимира 2-й степени и к следующему чину — генерал-лейтенанта.

Орден был получен из рук князя Барятинского, а генерал-лейтенантом Лорис-Меликов стал в другой должности и при другом наместнике. В декабре 1862 года, истомленный борьбой с военным министром, фельдмаршал Барятинский вышел в отставку и тотчас же отправился за границу на воды. Наместником на Кавказе стал брат царя, четвертый сын Николая I, великий князь Михаил Николаевич. Воинское его звание было генерал-фельдцейхмейстер, то есть высший начальник артиллерии. Несмотря на столь грозное звание, человек он был вовсе не воинственный, в отличие от своего покойного дяди и тезки, звание носил чисто номинально и делами артиллерии даже не интересовался. Впрочем, и делами вверенного ему края он тоже интересовался постольку-поскольку — жизнь частная была ему интереснее.

Это был первый наместник, который по приходе своем на Кавказ не стал наводить порядка. Но изменения в руководстве краем произошли, и для Лорис-Меликова существенные. Возвращенный Барятинским до генеральского чина и хлопотной должности начальника Терской области, князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский был тем же Барятинским рекомендован своему преемнику в помощники и с радостью поспешил в

Тифлис. Начальником же Терской области 23 марта 1863 года был назначен генерал-майор Лорис-Меликов (меньше чем через месяц он будет утвержден в следующем чине).

Новое назначение совпало с событием знаменательным: в тот же день родился третий ребенок в семье и первый сын, названный в честь деда Тариелом. Генерал счел это хорошей приметой, сулившей счастье.

Счастье, как его Господь ни сули, надо заработать самому.

А Терская область досталась Лорис-Меликову в состоянии ужасающем. Вновь завоеванные земли, объявленные казенными, задешево распродавались его предшественниками «нужным людям», дороги оставляли желать много лучшего, в управлении областью царил хаос, естественный в том полувоенном положении, в котором оставался этот край. В состав Терской области была включена Чечня — предмет беспокойства всех правителей Кавказа. Разобравшись в ее проблемах, Лорис-Меликов подал великому князю Михаилу Николаевичу особую записку, в которой писал:

«Настоящее тревожное и неопределенное положение чеченского населения, самого значительного по числу из всех туземных племен Терской области и самого беспокойного, заставляющего опасаться новых беспорядков и новых с нашей стороны усилий, произошло, главным образом, вследствие тех крайне противоположных систем управления, которые область испытала в непродолжительный промежуток времени.

По завоевании Кавказа и взятии Шамиля, чеченское население лишилось опоры против нашего владычества и некоторое время находилось в неопределенном положении. По-видимому, оно покорилось навсегда, но в сущности этой покорности не было, т.е. не было в народе этом убеждения, что власть Шамиля неизбежно должна замениться нашею. Это выразилось тем, что некоторые аулы чеченского племени, даже когда покорился весь Дагестан, не теряли какой-то смутной надежды избежать той же участи и сложили оружие только тогда, когда дальнейшее сопротивление было бесполезным. Бывший в то время начальником области генерал-адъютант граф Евдокимов, от которого не скрылось это настроение Чечни, видел ясно, что население ее требует все-таки многих энергических мер, без которых трудно упрочить окончательное спокойствие в области. Поэтому он принял систему, которая обуславливалась самыми свойствами чеченского народа.

Первобытное демократическое устройство чеченского племени, не уживавшееся ни с каким понятием о праве одной постоянной власти, ставило даже Шамяля в необходимость управлять им только посредством страха и периодических казней лиц, шедших против его влияния. Наследовать такой образ управления мы не могли, а потому, чтоб поставить чеченцев в то положение, в котором должны находиться побежденные к победителям и подданные к законной власти, граф Евдокимов не видел другого средства, кроме того, чтобы действовать против чеченцев, как бы они вовсе нам не покорялись, т.е. он решился, так сказать, завоевать Чечню во время мира. Для этого он счел необходимым стеснить туземное население, вывести его из предгорий и поселить или же на открытой местности Малой Кабарды, или же воспользоваться тогдашним движением мусульман на Кавказе и перевести их в Турцию, чтоб этим средством избавить область от беспокойного населения, с которым он не видел иного средства справиться. Земли же, которые должны были оставаться свободными, за уходом населения, имелось в виду отвести под поселение 2-го Владикавказского полка или оставить их пустыми.

Едва предположения эти начались приводиться в исполнение, как тотчас же встретили сопротивление со стороны народа. Чеченцы поняли, к чему клонятся эти меры, и сознание ожидавшей их будущности побудило их к противодействию всеми силами. Большая часть горцев, на которых рассчитывали, что они уйдут в Турцию, — осталась. Между тем их земли были уже отданы другим, которые, в свою очередь, должны были очистить места для казаков. Это обстоятельство еще более увеличило уже возникшие затруднения. Некоторые, как, например, карабулаки, не хотели вовсе оставить своих аулов и были готовы к открытому сопротивлению. Затем обнаружилось беспорядки в Аргунском ущелье и Ичкерии. Появились значительные шайки, сообщения сделались небезопасными, и все чеченское население стало в положение, грозившее общим восстанием.

Когда дела приняли такой оборот, то, чтобы достигнуть предположенной цели прежним путем, нужно было сломить во что бы то ни стало сопротивление народа. Это повлекло бы к новой, быть может, продолжительной борьбе, которая, без сомнения, кончилась бы в нашу пользу и навсегда бы уже решила вопрос окончательного успокоения Терской области. Мы хотя и с пожертвованиями, но достигли бы цели, ослабив

племя, которое признано было малоспособным войти в состав государства и стать в ряды его подданных.

Но Восточный Кавказ считался покорным, и опасения, чтоб возникшие беспорядки не были приняты за следствие наших собственных ошибок, принудили изменить принятую систему. Она остановилась на половине дороги, и граф Евдокимов был отозван в Кубанскую область, дела которой поглотили всю его деятельность. Помощник его, генерал Кемпфорт, хотя и действовал в военном отношении удачно, но не был в состоянии выполнить окончательно предначертания графа и привести туземное население в желаемое положение. К тому же опасение продолжительных беспорядков в части Кавказа, которая была объявлена покорной, невыгода усилить Турцию приливом свежего населения и мнение, что чеченцы, при гуманном обращении, могут изменить свои вековые хищнические привычки и из полудикого народа сделаться со временем гражданами, восторжествовали.

Граф Евдокимов окончательно устранился от вмешательства в дела Терской области и передал ее князю Мирскому, который, на основании убеждений в возможности успокоить Чечню другими мерами, принял немедленно совершенно обратный образ действий».

Целью этой записки было добиться полной свободы действий, которую наместник ему с большим для себя облегчением предоставил, при минимуме ответственности, если плоды управления областью не созреют в первые же недели работы нового начальника, которому пришлось отвечать за свирепый нрав героя Гуниба и повергшие область в полный хаос меры его преемника.

Собственно, меры князя Мирского сводились к отсутствию каких бы то ни было мер. Если Евдокимов обращался с Чечней, будто она никогда и не была покорена, то Дмитрий Иванович на все закрывал глаза, полагая, что область эта состоит из благонамеренных и законопослушных граждан. А проблемы, оставшиеся неразрешенными, росли как снежный ком, запутываясь день ото дня.

Лорис-Меликов, приступив к исполнению должности начальника Терской области, первым делом попытался уговорить хотя бы несколько десятков семей уехать в Турцию и достиг в этом немалого успеха. Он пересмотрел также место размещения казачьего Владикавказского полка с учетом расселения оставших оружие чеченцев. Незавершенные сделки с земель-

ными участками, сомнительные с точки зрения закона, он приостановил, освободив тем самым пространство для новых казачьих станиц.

Наконец, здесь, в Терской области, Лорис-Меликов решился на осуществление Крестьянской реформы 1861 года. Он первым на Кавказе освободил крестьян как в русских поселениях, так и в горных аулах от крепостной зависимости. Былые вожди кавказских племен тотчас потеряли силу и авторитет. Первобытная демократия горских народов сыграла на руку властям, так как феодальные отношения в их среде не были закреплены общероссийскими законами. Новое положение очень быстро успокоило Чечню — оно немало озадачило население, нашедшее для себя много выгод в избавлении от гнета своих властителей. О властителях русских они на время позабыли.

Вообще за реформы Лорис-Меликов взялся с большим азартом, применив немало энергии для их воплощения. Петербург, в котором реформаторская деятельность после выстрела Каракозова остановилась, далеко, начальник области был во многом предоставлен самому себе и мог действовать на свой страх и риск. Он организовал сельскую общину и ввел сельские суды не только в деревнях и станицах, но и в глухих горных аулах. Судьи при этом не назначались, а избирались самим населением, равно как и помощник сельского старшины и сборщик податей.

Позже наместник Кавказский великий князь Михаил признался, что реформы на Кавказе начинались в Терской области и уже потом распространялись по всему краю. Во всяком случае, из всех начальников областей Кавказа только Лорис-Меликов удостоился «за оказанные заслуги при приведении в исполнение освобождения от крепостной зависимости рабов и крестьян горских племен Терской области Именного Монаршего благоволения».

Как много воды утекло с той поры, когда генерал-адъютант Лорис-Меликов управлял Терским краем. Всё, решительно всё поросло быльем — и его реформаторская деятельность, и проведение каналов, и исправление дорог, разбитых новыми поколениями... Что же, так и остались бесследны те годы?

Нет. В центре Владикавказа стоит одно из красивейших и по нынешний день зданий. Это русский театр, основанный в 1872 году хлопотами управляющего Терской областью.

Ему перевалило за пятьдесят, он достиг всех мыслимых в его положении высот — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, наказной атаман Терского казачьего войска, управляющий с правами генерал-губернатора Терской области. Старший сын устроен в Пажеский корпус, младший — Захарий — тоже пойдёт по его стопам, так что их будущее не должно вызывать никаких беспокойств. Чего еще надо?

А он уже порядком устал от мелких интриг, которые плетет против него тифлисская придворная сволочь, устал от дурацких приказов Кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича... И в конце концов, пора заняться собой, здоровьем своим, смолоду большими бронхами и легкими... Для отставки срок еще не вышел, и Михаил Тариелович Лорис-Меликов подал прошение о бессрочном отпуске «до излечения». Великий князь в награду за безупречную службу испросил для него следующий чин — генерала от кавалерии и с легким сердцем отпустил на все четыре стороны, оставив состоять при своей особе.

Это была самая счастливая пора в его жизни, и длилась она целых полтора года. Он занялся наконец своим имением на Кубани, высочайше пожалованном еще в 1868 году и находившимся без особого присмотра. Объездил все пять тысяч десятин, принял отчет от управляющего, назначил нового, из поляков, а значит, честного, дотошного и толкового, а сам с женою и детьми отправился в странствования по европейским курортам.

В Берлине по дороге в Эмс попала на глаза изданная там русская брошюра «Наше положение». Об авторе ее Александре Ивановиче Кошелеве Лорис-Меликов слышал краем уха, что он был когда-то весьма активным деятелем Крестьянской реформы, принимал участие в образовании земств... И больше ничего не слышал. Книжка же показалась интересной — видно, что писал ее человек, озабоченный судьбами России и чрезвычайно досадующий на то, что реформы, с таким жаром начатые, заглохли в русском бездорожье, а заглохнув, стали оборачиваться уже против народа, ради которого и затевались. Как это у Некрасова? «Одним концом по барину, другим — по мужику». Кошелев видит спасение в развитии демократических институтов — расширении прав земства, отмене цензуры, создании на основе земств Общей Земской Думы, куда бы избирались лучшие деятели из провинции. Сво-



бода печати и Общая Земская Дума, по мысли автора, — вернейшее средство объединить царя и отечество. Ведь до государя правда не доходит, ее прячут чиновники.

На Кавказе земства учреждены не были, и Михаилу Тариеловичу было крайне интересно понять, что же это такое. Он хоть и был в долгосрочном отпуске и понимал, что во Владикавказ, скорее всего, не вернется, но еще не расстался с генерал-губернаторскими мыслями и каждое соображение автора пытался в мечтах примерить к оставленной Терской области. Хорошо бы познакомиться с этим Кошелевым.

На ловца и зверь бежит. В гостинице в Эмсе Лорис-Меликов полюбопытствовал у портье, кто из русских пребывает на курорте, и среди перечисленных лиц оказался господин Кошелев из Москвы.

Пожилой господин в очках с золотой оправой важно шествовал по аллее, совершая моцион после приема стаканчика кесселя — местной минеральной воды, по мнению докторов улучшающей работу желудочно-кишечного тракта. Как-то жалко было спутнуть это сосредоточенное на собственном здоровье состояние. Но и поговорить интересно.

— Прошу прощения, это вы Александр Иванович Кошелев?

— Кошелёв, с вашего позволения.

— Очень приятно. Меня зовут Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Я только что прочитал вашу книжку «Наше положение», вполне сочувствую вашим взглядам и желаниям и непременно пожелал познакомиться с вами.

— Весьма рад. — В глазах за очками, умных и проницательных, мелькнула радость почти мальчишеская. Но облик был строг и величав. — Не изволите ли в таком случае, уважаемый Михаил Тариелович, согласиться на приглашение отобедать у меня?

Михаил Тариелович изволил.

У Кошелева его ждал сюрприз. Хозяин был не один. Старичок, сильно смахивающий на доброго крестьянского дедушку, рассказывал о новгородском вече с такими подробностями, будто в Эмс приехал прямо с его очередного собрания. Лицо его, грубое и простое, из глубины освещалось ясными голубыми глазами, и оттого мгновенно стиралась топорная вырубленность неказистых мужицких черт, все в нем становилось несущественно, кроме мудрости и щедрых знаний. Звали старичка Михаил Петрович Погодин.

И Михаил Тариелович Лорис-Меликов, отягощенный полнотою званий, а именно: полный генерал, генерал-адъютант Его Императорского Величества, полный кавалер орденов Святой Анны, Станислава, Белого Орла, Александра Невского, Наказной атаман Терского казачьего войска — стушевался рядом с такой знаменитостью. Подумать только — он пожал руку, знавшую тепло ладони Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Этот старичок когда-то на равных спорил с Белинским, блистал на кафедре университета вместе с Грановским. Собственные заслуги перед царем-отечеством вмиг потускнели, генерал почувствовал себя пустым гвардейским офицером в таком обществе. И первые полчаса боялся слово проронить.

Однако ж разговор был интересен, мало-помалу Лорис-Меликов втянулся в беседу. И оказалось даже, что его соображения насчет настоящего и будущего России не так уж и ничтожны. Все-таки опыт управления столь пестрой по составу населения губернией, как Терская область, кое-что да значит. Он давно подумывал о том, что и на Кавказе пришла пора вводить земство — администрации, хоть она и семи пядей во лбу, не уследить за меняющимися потребностями людей, да и ответственность, падающая на одного лишь губернатора, тяжеловата. Очень, кстати, его потешила одна фраза из книжки Кошелева на этот счет: «Жалуются на недостаточность власти преимущественно те губернаторы, сиречь помпадуров, которые стремятся дать своему произволу полный разгул и обратить свои области в турецкие пашалыки». Среди губернаторов, наезжавших на кавказские воды, он навидался этих помпадуров.

— Да, кстати, Александр Иванович, а ведь мне пришлось однажды управлять турецким пашалыком.

— И при сем помпадуствовали?

— В известной степени. Все-таки мое управление было военным. Но с оглядкой. Что ни говори, а Турция для нас — чужой монастырь. Но наше правление там было значительно разумнее турецкого, самоуправления мы себе не позволяли. И вообще демократические порядки, скажу я вам, следует вводить, не оглядываясь на созревание народа, развитие и прочее. Если ждать и ничего не делать — ничего и не дождешься. Народ созревает в процессе, когда сам участвует в движении. Спешить тоже не следует, здесь нужна известная постепенность.

— Россия, сударь мой, — заметил из угла, где он устроился в глубоком кресле, Погодин, — такая страна, что никаких постепенностей не признает. Ей или все, или ничего. Стоит ска-

зять «постепенно», как тут же все и замрет-с. Для движения нужен Петр с палкою.

— А для остановки — Николай. Палкин. — И Кошелев весело расхохотался своему невольному каламбуру.

Генерал раскланялся первым, и, как всегда бывает после знакомства, едва дверь за ним затворилась, персоне его стала темой обсуждения.

— Как все-таки странно, однако, — сказал Александр Иванович, — военный, армянин, всю жизнь провел на диком Кавказе, а смотрит на вещи и события как совершенно русский гражданин и человек современно развитый.

— Что ж вы хотите, батенька, он при Воронцове и Муравьеве-Карском служил. А это были личности весьма яркие, — отвечал Погодин. — К тому же он ведь в Лазаревском институте учился. У нас в университете лазаревские всегда отличались. Даром что инородцы. Армяне очень, скажу я вам, живой и сообразительный народ. Древняя культура.

Скучный Эмс с его педантичной подчиненностью курортному режиму преобразился. Прав Достоевский — надо, чтобы человеку было куда пойти. И теперь целые вечера Кошелевы, Погодины и Лорис-Меликовы проводили вместе. Кошелев в продолжение «Нашего положения», каждый раз досадуя, что столь благонамеренную книгу в силу идиотизма отечественной цензуры приходится издавать в Берлине, писал работу «Общая Земская Дума» и по вечерам читал свежие главы.

— Общая дума — вещь, несомненно, полезная, — высказался генерал в первый вечер. — Но как согласовать существование такой думы с нашим самодержавием? Все-таки как его по-русски ни называй, думой ли, собором, а это уже парламент.

— Нет-нет-с, если и парламент, то только отчасти. — Александр Иванович при этих словах как-то так укрыл рукопись руками, будто оберег ее, цыпленочка своего, от налета хищного коршуна. — Мы же не предлагаем решающего голоса. Это как бы совет, съезд сведущих людей, избранных от всей России. И с одной только целью — довести до царя правду о России, а до правительства — свои местные нужды. Чтоб законы не из министерского пальца высасывались, а порождались самой природою российского существования. Что может видеть министр из своего окошка где-нибудь на Большой Морской или Литейном? Так-с, парадный подъезд. И то не разглядит и десятой доли увиденного Некрасовым.

— А если ей не дать решительного голоса, зачем созывать? Ее никто и слушать не будет. И авторитета никакого.

— Авторитет уж тем будет высок, что люди, ее составляющие, избираются, а не назначаются начальством по капризу личных симпатий. Дума будет оберегать наше законодательство от противоречий. Таких, к примеру, как установления о цензуре губернаторов над журналами земских собраний или неперменное председательство на них предводителей дворянства. В три года значение земства подобными установлениями свели к нулю!

Александр Иванович кипятился, в каждом вопросе он слышал возражение и даже явное противодействие своим мыслям, будто речь уже шла о немедленном учреждении думы здесь же, сейчас. Вот-вот государь император склонится перед доводами и подпишет указ, но пришли сомневающиеся господа, задают свои едкие вопросы и мешают царю установить справедливое правление. Потом, правда, остывал, опоминался, что он в Эмсе, среди друзей, а до учреждения думы в России еще ох как далеко.

Месяц с Кошелевыми и Погодинами пролетел незаметно в спорах о конституции и от том, как проводить ее начала в нашем отсталом отечестве, не изжившем еще крепостнических предрассудков, тогда как капитализм, не успев утвердиться, порождает свои предрассудки, не разумнее старых. Как сам же Александр Иванович справедливо заметил, «без гроша в кармане и только с отвагою в душе и голове мы составляем компании, стараемся извлечь что можем и затем покидаем их на произвол судьбы. Состоятельность и честность в денежных делах у нас почти не существуют и ими мало дорожат».

Москвичи уехали, но мысли, ими возбужденные, не давали спокойно спать. Что, вообще-то говоря, странно: какая печаль отставному губернатору до учреждения Общей Земской Думы? Собственное будущее представлялось Лорис-Меликову весьма туманно. Он был назначен состоять при его императорском высочестве великом князе Михаиле Николаевиче, но и ему самому, и его высочеству ясно было, что никакой должности для генерала в Тифлисе нет и в скором времени не появится. В Петербурге же его никто толком не знает, да и сам он не очень стремится в стольный град. Так что гуляй, Михаил Тариевич, по европейским курортам и не забивай себе голову пустопорожними рассуждениями.

Так без особых забот прошло полтора года. Но в мире, если судить по газетам, было тревожно. На Балканах волновались болгары и сербы, бунтуя против турецкого владычества. Англия, Германия, Австрия зашевелились в интригах, Россия тоже не осталась в стороне, оживились мечты о проливах и воспоминания о вешем Олеге, приколотившем щит к стенам православной святыни — Царьграда. Но пока все это выглядело газетной болтовней, а воздух в Висбадене, куда, наскучив Эмсом, в августе 1876 года направились Лорис-Меликовы, упитительно свеж, хотя подступающие холода заставляют думать о краях более теплых. Пора перебираться в Ниццу.

О Ницце и был разговор тем ноябрьским утром. Горничная убрала со стола после завтрака, Маша с Соней отправились гулять, а младенец Лиза, прелестный ребенок, не достигший еще четырех лет, — в детскую кормить завтраком любимую куклу, названную по имени старшей сестры Машею.

Михаил Тариелович устроился в кресле-качалке, накрывши ноги толстым красно-зеленым шотландским пледом. Нина Ивановна с вязаньем расположилась в кресле обычном.

— Мико, ты опять прокашлял полночи. Надо что-то делать. Я не понимаю, что ты медлишь? Давно пора переезжать, а ты до сих пор не дал телеграмму мадам Шевалье.

— Да уж больно дорого дерет. А Тариел пишет, опять издержался. Беда с этими будущими гвардейцами. И зачем мы отдали их в эту конюшню? Кончили бы гимназии в Тифлисе, пошли в университет. Толковые, способные ребята — чему они научатся в корпусе?

— Джаник мой, Бог с ней, что дерет. Здоровье дороже. Отправь сегодня же телеграмму.

— Хорошо-хорошо, отправлю. — В согласии было больше досады и желания поскорее отвязаться. К болезням своим генерал относился трепетно, прислушивался к каждому хрипу в груди, отсчитывая неумолимое время до могилы, но всякая мысль о докторгах, о лекарствах и способах их почасового приема, о переезде в теплые края с неизбежными дорожными хлопотами приводила его в состояние паническое. Кончится все, как всегда, тем, что Нина Ивановна потеряет терпение и сама даст телеграмму в Ниццу.

Михаил Тариелович взял свежий номер «Отечественных записок», стал аккуратно перламутровым ножичком разрезать страницы, и тут явился посыльный с телеграммой.

Телеграмма была из Тифлиса. Его высочество Кавказский наместник сообщал генерал-адъютанту Лорис-Меликову, что высочайшим приказом он назначен командующим действующим корпусом на кавказско-турецкой границе и обязан немедленно прибыть в Тифлис.

— Вот тебе, матушка, и Ницца! — заключил генерал, вслух прочитав телеграмму. — Собирайся домой. Сегодня же вечером надобно выехать. Кажется, доигрались, как бы война не началась.

— Не дай Боже!

— Но как это тебе понравится? Извольте корпусом командовать! А я и батальоном строевым никогда не управлял. А тут — корпус. Что они там, в Тифлисе, с ума посходили?

Впрочем, назначение на корпус генералу льстило.

О ночных кашлях и бессонницах тотчас было забыто. Вмиг явилась бодрость и ясность в мыслях. Вся дорога от Висбадена до Тифлиса прошла в составлении оперативных планов на случай перехода границы, движения к Карсу и блокированию его по примеру прошлой, Крымской войны. Конечно, всем этим планам, набросанным в трясном вагонном купе, грош цена, на месте окажется все не то и не так, но плох генерал, который не планирует заранее грядущей войны.

Русской армии в Турецкую войну 1877 — 1878 годов на редкость не повезло с главнокомандующими. Беда абсолютной монархии в том, что правило «в семье не без урода» в полной мере распространяется и на семью императорскую, и нет решительно никаких гарантий от того, что судьба не выкинет фортелей в царской фамилии. Она и выкинула. Главнокомандующим на Балканском театре военных действий по праву рождения своего стал великий князь Николай Николаевич — старший брат императора — человек легендарно глупый и пустой, такому и взвода нельзя доверить. Но с рожденных властвовать талантов не спрашивают.

Главнокомандующим же Кавказским театром, опять-таки по праву не общечеловеческому, а Божественному, как позже выразится о том Лорис-Меликов, назначен был младший из братьев императора — великий князь Михаил Николаевич. Это был хороший, приветливый на первый взгляд человек, правда, недалекий, малообразованный, но отменно воспитанный и

весьма любезный со всеми, с кем приходилось общаться, и пятнадцатилетнее наместничество его на Кавказе доставило бы ему репутацию не очень толкового, конечно, но доброго управляющего, если б не корыстолюбие супруги его принцессы Баденской Ольги Федоровны — женщины неглупой, но властной, злой и чудовищно жадной. Ей очень уж понравилось имение грузинских царей Боржоми — что ж, оно ей и досталось, к великой досаде грузинского общества.

Михаил Николаевич, даже понимая неправоту супруги своей, ничего поделать не мог — хоть и великий князь и генерал-фельдцейхмейстер, он был, что называется, совершенный подкаблучник.

Войсками, вверенными мужу, Главнокомандующему Кавказским военным округом, Ольга Федоровна тоже норовила управлять сама. Чем с немалою ловкостью пользовались помощник наместника генерал князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский, начальник штаба Платон Петрович Павлов и какие-то иностранные проходимцы — французский военный атташе граф де Курси, австрийский генерал Фердинанд Витгенштейн, ну и, конечно, свора адъютантов, из которых особой ловкостью в интригах отличался полковник Винспир, итальянец, так и не удосужившийся за годы службы в русской армии выучить хоть самые необходимые фразы по-русски.

В отличие от своих предшественников — Воронцова, Муравьева и даже князя Барятинского, Михаил Николаевич очень тяготился своими гражданскими и военными обязанностями и во всем полагался на своих советчиков. А поскольку люди вокруг него были разные по своим убеждениям и преследовали разные, порой самые противоречивые интересы и каждое указание наместника диктовалось последним, кому удостоилось уговорить августейшего князя, сумбур и непоследовательность в делах края были несусветные. Военно-Грузинская дорога в бытность начальствования Терской областью была накатана Лорис-Меликовым, как центральная улица Владикавказа. Десетки раз, получив циркуляр из Тифлиса, Лорис мчался к наместнику уговаривать его отменить приказ, убеждать, доказывать. Возвращался домой — и тут же получал новую бумагу, все начисто переиначивавшую. Это значит, кто-то из доброжелателей пробился к великому князю... И так без конца. Маленький двор тоже двор, и интриги при нем кипят не в меньшей температуре, чем при дворе императорском.

Никаких иллюзий по поводу публики, выходящей вокруг главнокомандующего и его супруги, Лорис-Меликов не питал, но он и представить себе не мог, какую силу собрала против него придворная тифлисская камарилья.

Война представлялась в Тифлисе легкой прогулкой за наградами и новыми чинами. Во дворце наместника и штабе округа были убеждены в скором и успешном окончании неначатой кампании и уже распределили победоносные должности по Кавказской армии. Но Александр II, которому не было никакого дела до тифлиссских дележей, спутал все карты, когда по его императорскому выбору командующим корпусом, действующим в Азиатской Турции, пришлось назначить не князя Святополк-Мирского, а генерал-адъютанта Лорис-Меликова.

За царской волею стоял военный министр Милютин. Дмитрий Алексеевич знал князю истинную цену с давних времен, когда сам воевал на Кавказе. Князь Мирский был когда-то воином весьма храбрым, грудь его хранила две невынутые пули, и если дать ему под начало пару батальонов и даже полк, он бы, несомненно, отличился. Однако ж за долгие мирные годы князь показал, что гораздо более, чем в сражениях, он опытен и изобретателен в тончайших сплетениях закулисной игры. Но в вопросах военной стратегии, где одной храбростью не возмешь, он был, мягко говоря, не уверен. И не то чтобы он был трус — пули в грудь он заработал в стычках с горцами, и в Крымскую войну; в бою князь Мирский был ретивым исполнителем чужой воли, но сам командовать не стремился и вообще в любом трудном деле умудрялся изящно уклоняться от ответственности. Зато был изощрен в искусстве угадывать чужие желания и исполнять их к своей выгоде. Он, будучи предшественником Лорис-Меликова в управлении Терской областью, в делах, если они не приносили ему самому и ближайшему его окружению больших выгод, оказался крайне нерасторопен и скоро запросился в Тифлис, оставив после себя редкостный беспорядок. Зато успехи Лорис-Меликова на этом поприще воспринимал как кровную обиду и всегда находил случай не то чтобы отомстить, но стушевать успех в глазах августейшего начальства.

Турки блаженствовали последние месяцы мирной жизни, а война уже началась. Война против Лорис-Меликова. Боевые действия велись во дворце главнокомандующего. Бой шел вокруг каждой кандидатуры на командование отрядом, колонною, полком. Лорис-Меликов настаивал, чтобы Эриванским отря-

дом командовал генерал-лейтенант Тергукасов, а Ардаганским — Лазарев. Ему же прочили «своих людей» — то Девеля, то Геймана, то Оклобжио. Упрекали в том, что он хлопочет за одних армян, а ведь армия русская. Но что прикажете делать, если и Лазарев, и Тергукасов, и Шелковников — отменные воины, знают места будущих сражений еще с Крымской войны. Немногого достиг командующий корпусом. Разве что Тергукасова отвоевал. Лазарева оставили при границе, а Шелковникова и Алхазова отправили в Рионский отряд под начальство Оклобжио.

Уяснив для себя все обстоятельства, съездив на осмотр границы для выбора удобных мест ее перехода, на следующий день по возвращении в Тифлис командующий корпусом на прямую спросил великого князя:

— Ваше высочество, поскольку война еще не началась, а я вижу, что назначение мое не очень согласно с вашим планами, не поздно и переиначить. Я готов и отрядом командовать. А если угодно, то в отставку подать.

— Что ты, что ты! — Отважный генерал-фельдцейхмейстер, будущий фельдмаршал, заозирался вокруг себя, не слышат ли стены, перешел на полусшепот: — Мне лучшего командующего корпусом на всем Кавказе не сыскать! И не думай! Я перед императором за тебя хлопотал. Что ж я ему скажу?

— Тогда я хотел бы испросить у вашего высочества приказа или инструкции об отделении действующего корпуса от Кавказской армии со всеми вытекающими из этого правами.

Испрошенный приказ развязал руки Лорис-Меликову: теперь уже никто не смел совать нос в дела корпуса, он сам довершил его формирование. Но приказом этим не кончилась война против самого Лориса.

На совете у великого князя решалось распределение сил Кавказской армии в грядущей войне. Предположено было помимо корпуса, действовавшего на территории Турции, сформировать Рионский отряд под начальством генерала Оклобжио для взятия Кобулета и Батума. Состав отряда — 32 батальона.

Решение это, объявленное Святополк-Мирским, привело в ярость командующего корпусом. Тут видна была явная игра, и не по правилам войны, а по причудливым законам придворной суеты.

О солдатах — живых людях, обреченных на глупую, ничем, кроме желания насолить непокорному генералу, жертву, никто, разумеется, и не задумывался. Опять-таки и главнокоманду-

ющему, только что отдавшему власть над основными войсками, надо же хоть чем-то тешить свое полководческое тщеславие.

— Ваше императорское высочество, — подавив вспышку гнева и вложив в интонацию свою максимум яда и любезности, обратился Лорис-Меликов к наместнику, — а вы убеждены в том, что в Рионском крае следует вести наступательные действия? Опыт прошлой войны свидетельствует об обратном.

Вместо главнокомандующего ответил все тот же Мирский:

— Наполеон, кажется, говаривал, что генералы проигрывают потому, что ведут против него прошлые войны. Мы в своих расчетах не можем во всем полагаться на опыты минувших битв.

Великий князь одобрительно кивнул своему помощнику и застыл с каменным спокойствием на лице.

— Но в Рионском крае нельзя вести никаких наступательных действий. Мы там завязнем в болотах. А малярия? Омер-паша в пятьдесят пятом половину своей армии в лазареты уложил. И от лихорадки потерял больше, чем в боях. Вы об этом подумали?

— У Омера-паши не было хинина, — отвечал начальник штаба Павлов. — Медицина за эти двадцать лет многого достигла.

— Платон Петрович, душа моя, это ж сколько хины надо на все тридцать два батальона? Тут никакая медицина не спасет. А тиф, не дай Бог, а простуды?

— Мы рассчитываем на скорый поход, так что можете не беспокоиться, болезни не успеют сразить наших солдат. Две-три недели — и Батум наш.

— Так Батум защищать придется. Турки его просто так не отдадут. Пришлют из Трабзона пару крейсеров. И чем мы им ответим? Флот у нас есть? Нет у нас флота.

К великой досаде Лорис-Меликова, в разговор ввязался граф де Курси. Он долго распространялся о героизме русских моряков и стратегическом гении наших адмиралов, так славно проявивших себя при обороне Севастополя. Нахимов, Корнилов, Истомин... Он бы еще Ушакова вспомнил! Пустомеля этот долгой и выпренной речью совершенно зачаровал главнокомандующего, хотя конкретного ответа на свой вопрос Лорис так ни от кого и не услышал. Зато все вокруг с большим воодушевлением пустились в рассуждения о славе русского флота, о блестящих перспективах новых кораблей по проектам

адмирала Попова, о которых великий князь немало слышал был от брата своего Константина Николаевича.

— Я все-таки еще раз настаиваю, дайте мне хотя бы десять батальонов из Рионского отряда, — не считая уже нужным скрывать раздражение, потребовал Лорис-Меликов.

— Мы вам пятнадцать пришлем. Но только после успешного взятия Батума, — заключил главнокомандующий.

Присутствовавший на совете начальник штаба корпуса генерал-майор Духовской ни слова не проронил в поддержку своего начальника.

— Что ж вы молчали, Сергей Михайлович? — упрекнул его Лорис-Меликов. — Отвечать за все потом не кому-нибудь, а нам с вами придется.

Духовской будто мимо ушей пропустил упрек. Только плечами пожал. Станный все-таки человек этот начальник штаба. Лорис-Меликов, всю жизнь прослужив на Кавказе, почти не знал генерала Духовского, назначенного ему в помощники еще до прибытия в Тифлис, пока сам он пересекал германскую границу. Что за спешка была? Могли бы и подождать и предоставить командующему корпусом самому выбрать человека на столь ответственную должность. Но во дворце наместника Лориса уверили, что Сергей Михайлович — отменнейший штабной генерал, аккуратный, дотошный и исполнительный, а что еще надо?

Вообще-то надо. Надо, чтобы начальник штаба был инициативный и азартный в своем деле. Но такие качества в высших дворцах не в самой большой чести. Умеренность же и аккуратность в Сергее Михайловиче превосходили, пожалуй, молчалинские — не человек, а ходячий циркуль. И в походе, осанке его было что-то от ожившего циркуля, как и стальная молчаливость. Лорис почти не слышал голоса своего ближайшего сотрудника. Тот слегка кланялся в ответ на каждое приказание, исполнял точно в срок и точно со слов командира, не выказав ни единой собственной мысли.

На этом беды корпуса не кончились. Следующий совет создан был по настоянию начальников Терской области и Дагестана. По их сведениям, турецкие эмиссары, тайно посланные через границу, мутят местное мусульманское население и готовят восстание горцев после начала войны.

— Да-с, — заключил главнокомандующий, ознакомив совет с донесениями, — надо оставить на Северном Кавказе две дивизии. И пусть Свистунов покажет им, как бунтовать.

...Свистунов! Они б еще Держиморду мне отыскивали!

— Ну куда ему две дивизии! Там одной за глаза хватит! И Свистунов — знаю я его, он как тот гоголевский исправник: фуражку свою пошлет — и бунт затихнет сам собою.

— Да что вы, право, говорите, Михаил Тариевич! — подал голос Святополк-Мирский. — Это ж такой народ ненадежный — все эти чеченцы, даргинцы, абхазы. Чуть только почуют войну, тут и вставят нам кинжал в спину.

— Дмитрий Иванович, голубчик мой, а то вы Кавказа не знаете и сами той же Терской областью не управляли! Сто вождей, и у каждого свои виды. Тут не Свистунов нужен, а старый и хитрый кавказский чиновник, который во всех их хитросплетениях и интригах как в своем хозяйстве разбирается. Куда далеко ходить — моему терскому помощнику дайте сто тысяч на эти нужды. Уж он-то, поверьте мне, найдет, кого подкупить, и эти главари сами друг друга перестреляют или сдадут властям.

И опять ввязался французский болтун де Курси, стал поминать Шамиля, коварных горцев, загадочный Восток, а люди, всю жизнь прослужившие на Кавказе, прошедшие путь от корнета до генерала, внимали вычитанным из дурных брошюр откровениям с самой серьезною миною на лице. Удивительно, какую власть над русским человеком даже и в чинах немалых имеет вертлявый «французик из Бордо»! Он ведь и подвел главнокомандующего к итогу:

— Да-с, подкупы, интриги — дело это мудреное, а оставлять в тылу нашей армии беспокойные области опасно. Так что пусть у Свистунова останутся две дивизии.

— Ваше императорское высочество, хотел бы заметить, что объект войны не в трущобах Чечни и Дагестана, а в скорейшем разгроме турецкой армии в Карсском и Эрзерумском пашалыках. И первые же наши успехи в Турции мигом усмирят наших горцев. А если так, то, скажите мне на милость, с каким войском собираемся границу переходить? Тут две дивизии, в Рионском крае Бог весть сколько, а я с кем воевать буду?

На что начитанный князь Святополк-Мирский ответил, вынул цитату из Суворова:

— Воюют не числом, а умением, уважаемый Михаил Тариевич. А в вашем умении мы не сомневаемся.

— В войне еще приходится считаться с умением противника нашего, в данном случае — Мухтара-паши.

11 апреля 1877 года в 3 часа пополудни в Александрополь, в ставку командующего действующим корпусом, пришла шифрованная депеша из Тифлиса. Его императорское высочество всемилостивейше изволил сообщить, что 12 апреля сего года объявляется война Турции, и вместе с этим предписывал, согласно первоначальным предначертаниям, открыть наступательные действия. Тотчас же были сделаны последние распоряжения и по всем трем отрядам — Александропольскому, Ахалцихскому и Эриванскому — был разослан и зачитан перед строем приказ следующего содержания:

«Приказ по действующему корпусу на кавказско-турецкой границе, № 53, апреля 12 дня 1877 года.

По воле Государя Императора и распоряжению Его Императорского Высочества Главнокомандующего Кавказскою Армиею войска вверенного мне корпуса вступают в пределы Азиатской Турции.

Войска Действующего Корпуса!

Воля Государя, честь и достоинство России требуют, чтобы с занятием нами турецких провинций спокойствие среди населения утверждалось прочно.

Никто ни под каким предлогом не должен поднимать оружия на жителей, покоряющихся нашей власти, бесплатно пользоваться имуществом жителей, в чем бы таковое ни состояло и к какому бы вероисповеданию и к какой бы национальности жители ни принадлежали.

Врагом нашим будет лишь поднимающий оружие на защиту турецкого правительства вместе с турецкими войсками.

Участники прежних войн, воспитанные в боях начальники укажут молодым путь, по которому вели их в свое время боевые руководители. Нижние чины частей войск, заслуживших в прежних войнах геройскими подвигами бессмертную славу, ныне под теми же знаменами сделают все, чтобы слава эта росла и крепла и чтобы каждый из них терпеливо честною, молодецкою службою удостоился милостивого благоволения Государя Императора и Его Императорского Высочества Главнокомандующего Армиею, благодарной гордости начальства и благословения всех русских людей.

Подлинный подписал:

Командующий Корпусом  
Генерал-Адъютант  
*Лорис-Меликов*.

Лица солдат и офицеров при оглашении приказа были торжественны и по-особому сосредоточенны. Мысль, которую сегодня же днем они будут отгонять от себя по тому воинскому инстинкту, который и дает выжить, сейчас целиком владела каждым: Бог его весть, вернусь ли целым и невредимым.

Два часа пути — и мы на чужбине, и каждый принадлежит не себе, а неведомой судьбе, ее прихотливому капризу. Солдаты входили в эту войну молодые, необстрелянные, и не то чтобы страх, а вот именно торжественное смирение перед будущим и некоторое любопытство читалось в их глазах, даже в стойке «смирно» не образцово-парадной, а фронтовой.

Старые офицеры, прошедшие по дорогам Турецкой Армении в Крымскую еще войну, а таковых в Александропольском отряде было довольно много, казались спокойными, хотя прекрасно знали: никакой опыт не спасет от шальной пули и снаряда.

Колонна тронулась. Впереди молодецкая кавалерия: драгуны, гусары, казаки — любо-дорого смотреть! — полк за полком, под развернутыми знаменами, значками, с духовыми оркестрами, старательно выдувающими бравые марши. Красота! И куда-то улетучились ночные тревоги командующего, знающего наверняка, что войск у него мало, надежда на внезапность нашего наступления и неподготовленность противника, так воодушевлявшая его еще в декабре, нынче непрочна, и свита главнокомандующего сделала все, чтобы нынешняя кампания не показалась легкой прогулкой за чинами и наградами; что немало хлопот доставят ему интендантские службы, недовольные его последними распоряжениями: вчера получено было высочайшее повеление расплачиваться с поставщиками провианта и фуража в случае надобности золотом монетою, но командующий корпусом принял твердое решение не исполнять царской милости, ибо по опыту прошлой войны знал — тут только начни, глазом не успеешь мигнуть, как часть превращается в целое и умудряется превзойти это самое целое: в войну золото теряет вес и вообще свойства твердого тела, оно вытекает между пальцами и возвращается в первоначальную субстанцию уже в карманах интендантов, комиссионеров, нечистых на руку командиров... Нет, нет и нет, пока это возможно, снабжение армии будет происходить исключительно по кредитным билетам. И уже первый удар разочарованных интендантских служб генерал выдержал. Жди теперь действий исподтишка, жалоб и саботажа...



Но все эти мысли, тяжкие и печальные, миновали как сон (так, кстати говоря, и не давшийся в эту ночь), когда мимо генерал-адъютанта текла колонна. За конными шла пехота — так же браво, весело, с молодецкими песнями, а уж за пехотой — тяжелая артиллерия и, наконец, обозы, обозы с палатками, провиантом, боевыми запасами... Отряд растянулся на несколько верст, и когда последняя арба вышла из крепостных ворот Александрополя, голова колонны пересекла русско-турецкую границу. Командир корпуса с легкостью молодого гвардейского корнета пустился вскачь во главу отряда. Свита едва поспевала за ним: в ее составе люди были солидные — генералы, полковники, отяжелевшие на долгой казенной службе.

Первая остановка сделана была у большого турецкого села Молла-муса. Солдаты с большим любопытством рассматривали местных жителей, несколько дивясь тому, что чужбина ничем не отличается от пограничных мусульманских и армянских сел. Они ожидали чего-то совершенно необычного. Для турок приход русских войск стал неожиданным праздником. Весть о том, что армией предводительствует генерал Лорис-Меликов, привела их в какое-то радостное возбуждение.

— Сердарь Мелик приехал!

— Царь Мелика прислал!

«Мелик» было прозвищем командующего корпусом еще с Крымской войны. Поначалу оно наводило страх, когда охотники отважного русского полковника внезапно появлялись в самом надежном тылу турецких войск, свершали отчаянные, дерзкие набеги, а едва опомнившийся лагерь трубил тревогу, они будто растворялись в голубом горном воздухе. Позже мирные жители, разобравшись во внутренних отношениях в русском войске, поняли, что Мелик — лицо настолько важное, что его сам сердарь Муравьев-паша слушает. И теперь с этим именем стали связываться самые сказочные надежды, укрепившиеся после войны, когда Мелик стал управлять всей Карсской областью. За двадцать два минувших с той поры года русского генерала не только не забыли, но напридумывали о кратком его управлении таких легенд, что наши солдаты, слушая сбивчивые пересказы толмачей о своем командующем, приходили в тихое изумление. Генерал-адъютант и в натуре казался высок ростом, по-гвардейски молодцеват и строен, несмотря на почтенный свой возраст. Но никакая гвардейская выправка и близко не подходила к тому исполинскому образу русского батыра и справедливого царя, каким он представлялся

в турецких рассказах. Солдаты, конечно, посмеивались в усы, но и гордость их распирала. Поди, ни в какой другой армии не сыщешь такого командира.

Теперь Мелик — сам сердарь. И эта легенда не развеется, даже когда турки увидят настоящего сердаря всего Кавказа — великого князя Михаила Николаевича, родного брата русского императора. Властью над собой они раз и навсегда признали Мелика.

Утром, ясным, солнечным, радующим глаз свежей, пробивающейся листвой, Александропольский отряд сворачивал свой лагерь. Солдаты собирали палатки, бежали молоденькие обер-офицеры, покрикивая на нерасторопных, им радостно было отдавать команды на настоящей войне, хотя противника они не видели и Бог весть когда увидят в первый раз: турецкие посты при виде колонны предпочитали в бой не ввязываться и убегались подобру-поздорову подалее в тыл. Но самое сознание войны приводило вчерашних юнкеров в легкий нервный трепет. Штаб-офицеры же скептически посмеивались, наблюдая суетливое возбуждение молодежи, — они это уже давно прошли.

Пока строились колонны, шли переклички, на центральной площади села быстро соорудили возвышение с трибуной, и со всех концов стали собираться местные жители. Из соседних деревень, пешие и конные, съехались старейшины. Ровно в 9 утра на трибуну взошел генерал-адъютант Лорис-Меликов в парадном мундире с орденами и на самом видном месте — турецкий орден Меджлиса 2-й степени, полученный за справедливое управление Карсской областью в 1855 году. Человек семь из свиты его, одетых столь же парадно и без шинелей, несмотря на утренний прохватывающий морозец, стояли позади генерала, образуя каре.

Тишина воцарилась на площади.

Русский генерал заговорил на чистейшем турецком языке.

— Мы не хотели этой войны, — начал свою речь Лорис-Меликов. — Но так сложилось, что наша армия оказалась вынужденною вступить в пределы Турции. Смею вас заверить, что война идет не между народами, а между государствами. Со стороны русских войск никакого насилия мирному населению делается не будет. В этом вы убедились уже сегодня. Если вы будете продолжать заниматься по-прежнему своим хозяйством и исполнять законные требования русских властей, то вы и впредь не подвергнетесь никаким притеснениям. Для

гражданского управления в занятом нашими войсками крае создается Шоральский округ. Начальником округа будет генерал-майор Иван Михайлович Попко. Старики должны его помнить, в прошлую войну Иван Михайлович управлял Баш-Шурагельским уездом. Вы были им довольны.

— О, Попка-паша, хороший был паша... Попка-паша, Попка-паша... — разнеслось почтительным шепотом по площади.

— Но пока генерал Попко не прибыл сюда, временным управляющим округом я назначаю полковника Степана Осиповича Кишмишева. Он старый кавказец, прекрасно знает по-турецки и по-армянски, надеюсь, вы от него в обиде не останетесь.

По приглашению генерала из-за его спины выдвинулся седоватый полковник с широкими черными бакенбардами, из которых красненьким клювиком выдавался острый маленький нос и не по возрасту яркие губы. Полковник с достоинством поклонился толпе и с тем же достоинством отступил на место.

Генерал же продолжил свою речь, обратившись уже не ко всей толпе, а лишь к мусульманскому духовенству:

— Уважаемым муллам особо хочу сказать: вы должны с прежнею строгостию следить за исполнением вашей паствой дедовских религиозных обрядов. Мы, православные христиане, вовсе не собираемся навязывать вам свою веру, свою религию. Настоящая война идет против турецкого правительства и турецких вооруженных сил. Религия же безоружна и справедлива, мы ее уважаем и призываем вас молиться Аллаху с тем же рвением, как и в мирное время. Такова воля императора России Александра Второго, такова воля его наместника на Кавказе главнокомандующего его императорского высочества великого князя Михаила Николаевича.

Событие в истории войн редкостное, удивительное, но это факт: командующего оккупационными войсками встречали как освободителя, долгожданного справедливого царя, надежду и опору. Его речь произвела впечатление благотворное и умиротворяющее. Офицеры из окружения Лорис-Меликова, не ставшие прошлой кампании, не уставали дивиться такой любви турок к военачальнику вражеской, по сути, армии. «Не тешьте себя иллюзией, господа, — отвечал на изумление генерал, — это они силу уважают, а только начнутся неприятности — и следа любви и покорности не останется, уж будьте благонадежны».

Полковник Кишмишев сразу же вступил в свои права. Он распорядился раздать местному населению и старшинам ок-

рестных сел и деревень прокламации от имени главнокомандующего на русском, турецком и армянском языках, загодя изготовленные в тифлисской типографии. Воззвание гласило:

«Войска вверенной Мне Кавказской армии вступают в ваши пределы.

Именем Государя Императора Всероссийского, как Главнокомандующий армиею и Наместник Его Величества на Кавказе, объявляю вам:

Русские войска идут не для разорения мирных подданных Турецкой державы, а для того, чтобы подать руку помощи безвинно страдающим и угнетенным.

Не опасайтесь за ваш покой и за целостность имущества. Волос с головы вашей не упадет от насилия, ежели вы, с доверием к нашим войскам, останетесь мирно в своих жилищах. Начальнику войск, генерал-адъютанту генералу от кавалерии Лорис-Меликову Мною дано повеление строжайше преследовать виновных во всякой причиненной вам несправедливости и обиде, если бы то, вопреки ожиданиям, случилось. Зато каждый, кто окажет противодействие нашим войскам, а в особенности с оружием в руках, станет против нас, будет наш враг, — и пусть он считает себя самого виновным в бедствиях, которые могут его постигнуть».

Штабные писаря начали раздавать прокламации, турки с жадностью потянулись за ними, стали внимательно, даже неграмотные, рассматривать эти листы и с явным неудовольствием возвращали воззвания великого князя главнокомандующего писарям. Степан Осипович, хоть и старый кавказский вояка, не сразу понял, в чем дело. Это же Восток! А на Востоке ни одна бумага без приложенной к ней печати не считается документом и не вызывает к себе никакого почтения, что бы в ней ни было написано.

— Что делать, ваше высокопревосходительство? — спросил Кишмишев командующего. — Эти турки не хотят признавать нашего воззвания, требуют, чтоб на каждой прокламации стояла печать. А где я возьму печать наместника?

— А зачем печать наместника? Им главное, чтоб двуглавый орел красовался. Да поставьте нашу корпусную — так даже лучше будет, если у них на глазах проштемпелюем.

Тут же на улице у штабного фургона соорудили некое подобие стола, писаря лихо и азартно шлепали корпусную печать на протянутые листы. Но отходили с бумагой не сразу, а тща-

тельно осматривая оттиск русского герба. Если, не дай Бог, очертания орла раздваивались, печать признавалась непригодной, и писарям приходилось, уняв рвение свое, уничтожить испорченную прокламацию и, высуня язык, штемпелевать новую с прилежностью и аккуратностью, как в каком-либо важном петербургском департаменте.

Очередь к штабному фургону растянулась на длину всей улицы. Турки воспринимали бумагу эту как охранную грамоту для ограждения семейства и имущества своего от всякого посягательства со стороны русских. Они были убеждены, что если кто явится за чем-нибудь в их деревню, то послание русского сердаря, скрепленное печатью с двуглавым орлом, освобождают их от любых, даже законных, требований военных властей. Это вызвало впоследствии, когда пришлось взяться за снабжение армии фуражом и продовольствием, уйму недоумений.

В войну 1914 года местные старики предъявляли эти прокламации великого князя Михаила Николаевича офицерам Кавказского фронта и требовали точного соблюдения их прав, предписанных давно умершим сердарем. Офицеры только посмеивались в ответ и пожимали плечами. Война была другая, другая и армия.

Наконец, отряд тронулся в путь. Толпа турок окружила конную группу, замыкающую движение, — в ней находился сам Мелик-паша.

— Али-бек, дорогой, да ты совсем не изменился, только поседел чуть-чуть! — Русский генерал сам изумился тому, что узнал в толпе старого своего знакомого. — Что твой Фарид?

— Аллах взял Фариду, — отвечивал старый турок, но в словах его не осталось и тени печали по безвременно ушедшему в мир иной сыну. Гордость светила во всем его облике: сам урус-сердарь помнит меня! И он победно огляделся вокруг.

А Лорис-Меликов разглядел в толпе еще одного знакомого по прежней кампании, и еще одного, и для каждого отыскивалось особое слово. Память вдруг ожила и подсказала ему какие-то подробности их просьб к русскому начальнику, давно выслушанных и забытых и едва ли даже в ту пору исполненных. Да теперь это не столь важно — память дороже, они теперь и сами себя, и внуков своих убедят в том, что Мелик-паша еще в прошлую войну сделал их счастливыми.

— Эх, господи, так бы всю кампанию! — вздохнул генерал, когда толпа провожавших осталась позади. — Да ведь не вый-

дет, нас еще Мухтар ждет. Чем-то он встретит? Ну, прочь тоска, пошли вперед!

И помчался, увлекая за собой свиту, в обгон правой колонны, которая наступала в полном боевом порядке. В хвосте ее двигался пехотный полк, и двигался как-то небравно, будто через силу, и это в самом начале дневного перехода. Корпусной командир всмотрелся в лица нижних чинов — какие-то угрюмые были лица, не то неспроставшиеся, не то чем-то недовольные.

— Тебя как звать, братец? — спросил генерал-адъютант старого, как подсказал наметанный глаз, кавказца.

— Унтер-офицер Карякин, ваше превосходительство! — И хотя гордость генеральским вниманием распирала унтер-офицера Карякина, она не могла укрыть озабоченности солдатского начальника.

— А что, брат Карякин, удалось вам горячего поесть на дороге?

И тут какое-то замешательство, род испуга мелькнул в оловянных глазах унтер-офицера. Ответ его был не по-солдатски уклончив, сквозило нежелание подвести под горячую руку своего ротного командира. Да ведь генерала не проведешь. Вот он и продолжает допытываться:

— А что, служивый, мяса-то вам выдали на завтрак в пути?

Молчание было ответом на простой, прямо поставленный вопрос. Обратился с тем же к солдатам, одному, другому. Прячут глаза и отмалчиваются.

— Командира полка ко мне! — приказал Лорис-Меликов. Лицо его было бледно в прекрасном гневе. Глаза горели испепеляющим огнем, видели б его только что расставшиеся с колонною турки — тут же бы все разбежались от ужаса.

Вообще-то генерал от кавалерии отличался удивительным хладнокровием и сдержанностью. Он был чрезвычайно любезен со всеми, с кем доводилось ему иметь дело. Во Владикавказе в бытность его начальником Терского края он обольщал своей обходительностью какого-нибудь чиновника, тот уходил из его кабинета в состоянии духа даже приподнятом, счастливый тем, что обвел вокруг пальца губернатора, а на утро следующего дня являлись к чиновнику полицейские, а там и суд, и тюрьма за выявившиеся колоссальные расхищения. Это была школа князя Воронцова — человека светского, в высшей степени воспитанного и деликатного. Но Лорис-Меликов и другую выучку прошел — у генерала Муравьева-Карского. Тот выше всех в

армии ставил рядового солдата и долгом каждого офицера, а командующего войсками в первую очередь, почитал заботу о том, чтобы солдат был сыт, напоен, тепло одет и ни в чем никаких нужд не испытывал. И за солдатскую обиду мог и матом отчестить нерадивого офицера и даже генерала.

— Так-с, любезный, ответьте мне на милость, почему полк вышел в поход голодным? — Голос генерала распалялся с каждым словом, и полковник, старый служака, давно знавший Лорис-Меликова, на мгновение утратил дар речи.

Но лучше бы он его не обретал. Отговорки, что, дескать, полевые кухни припоздали с прибытием на ночлег, что у полкового маркитанта порционного скота не оказалось в распоряжении и прочая и прочая — короче, все, чем оправдываются полковые командиры в таких случаях, только ввело в бешенство корпусного командира. Он пригрозил отдать под суд и самого полковника, и всех его маркитантов, если еще раз увидит что-либо подобное.

Весь отряд был вновь остановлен. Лорис-Меликов потребовал отчета от каждого командира полка о том, как накормлены и снабжены провиантом нижние чины. Выяснилось, конечно, что два полка и одна казачья сотня так и не дождались утром своих полевых кухонь и вышли в поход, откушав лишь чаю с сухарями. Генерал-адъютант приказал тотчас же накормить всех и не давал команды на дальнейшее движение, пока самый последний солдат не поест и не получит пайка в дорогу, состоящего из двух фунтов сухарей и полутора фунтов говядины.

А по всему Действующему корпусу из уст в уста прошлестело новое имя командующего в меткой солдатской вариации: «Михал Тарелыч».

Лорис-Меликов дал волю чувствам неспроста. Он увидел козни интендантской службы, затосковавшей по золотой царской казне и решившей показать командующему, кто в армейском хозяйстве главный. Командующий и показал. И посулил большие неприятности в будущем, если заметит хоть малейший беспорядок в этом деле.

История ахнет от размеров расхищений и обнищания государства на Балканском театре военных действий русской армии и немало поразится командующему Кавказским корпусом, который ухитрился всю кампанию провести без особого голода ни для людей, ни для лошадей, не истратив при этом ни полуимперии золотых денег. По приказу Лорис-Меликова рас-

плата с турецким населением велась исключительно кредитными билетами, день ото дня терявшими ценность в силу вечной во всех войнах инфляции.

## ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Когда еще Шекспир предупреждал — не доверяйте апрельскому дню, господа! Он ведь капризен, как характер красавицы. Едва колонны Александропольского отряда, внезапно остановленные для завтрака солдат, не обеспеченного в свое время и в своем месте, двинулись в путь, тут и началось! В небе, еще час назад ясном, радующем юную зелень, пробившуюся к солнцу на склонах гор, и малых птишек, щебетом и посвистом своим перебивавших ротных запевал, вдруг потемнело, откуда ни возьмись все заволокло серо-оранжевыми грозными тучами, и сверху посыпало-посыпало — не то дождь, не то снег. Дороги вмиг раскисли, расквасились, лошади, особенно артиллерийские, стали вязнуть в грязи. Солдаты надрывались, помогая бедным животным тащить неподъемные пушки, тяжело нагруженные арбы с армейским имуществом, оскальзывались, жестоко матерились и кричали друг на друга, да криком делу не поможешь, к исходу дня и эта энергия истощилась. Отряд повалился кое-как собранным лагерем на двенадцатой версте пути.

Наутро лучше не стало. Буран сменился занудным мелким дождичком из тех, что могут сеяться сутками, мешая глиняную кашу под ногами. Окрестностей Карса достигли лишь на пятый день пути. Мухтар-паша, получивший сведения о маршруте русских войск, как донесла разведка, покинул город с пяти тысячным отрядом, оставив защищать крепость гарнизону, впрочем, немало — тысяч около двадцати. Турецкий главнокомандующий двинулся на Саганлугский хребет, в сторону Эрзерума, собирать армию.

Момент внезапности был упущен, и корпус оказался в положении двусмысленном. Сил брать Карс штурмом явно недоставало, осада же с уходом Мухтара-паши смысла своего, конечно, не теряла, но эффект ее явно ослаб. К осаде все-таки приступили, собирая сведения из других отрядов. Тергукасов без боя вошел в крепость Баязет: защитники предпочли заблаговременно скрыться, завидев мощную колонну русской армии. Генерал Девель с Ахалцихским отрядом подошел к сте-

нам крепости Ардаган, укрепленной английскими инженерами по последнему слову техники.

Эту-то крепость и решил атаковать командующий корпусом.

Лорис-Меликов, надо сказать, не очень доверял генерал-лейтенанту Федору Даниловичу Девелю, которого прекрасно знал с давних времен. В молодости тот был брестер и дуэлянт, из тех кавказских офицеров, о которых слава гремит по всем гарнизонам, кроме тех, где они несут службу. И только непосредственные сослуживцы лихого забияки знают истинную цену молвы, поскольку автором расхожих анекдотов об отваге Девеля чаще всего бывал он сам, в деле же был не то чтобы трус, но как-то не очень надежен, зато весьма изворотлив в изобретении самых убедительных причин случившихся с его отрядом неудач, так что отвечать за них приходилось то его начальникам, то подчиненным. В бытность свою подполковником Девель и впрямь отличился в битве с горцами, обустроив мост перед носом у противника. Любому другому за такой подвиг дали бы Анну или Владимира за храбрость, произвели в полковники и послали свершать дальше новые подвиги во славу отечества. Не таков был Девель. О его отваге и находчивости вскоре заговорил не только Тифлис, а, почитай, весь Петербург — так ловко он сумел обольстить столичных корреспондентов. Больше Федор Данилович рискованных должностей не занимал, но, никому не давая забыть о своем подполковничьем отличии, в штабах и при особе Кавказского наместника быстро выслужился в генерал-лейтенанты.

Так что отдать Девелю целиком руководство штурмом Ардагана Лорис-Меликов не отважился. Он сам прибыл под стены крепости с колонной генерала Геймана и обнаружил, что разведка здесь толком не налажена и командующий отрядом лишь приблизительно знает противостоящие ему турецкие силы. Командующий корпусом призвал к себе удалца из нового Шорегельского конно-иррегулярного полка, собранного из бежавших в Турцию мусульман Закавказья.

— Вот что, Юсуф, возьми десяток надежных всадников и отправь их в город, а сам разведай укрепления на подступах: как они охраняются, какое оружие имеют — ну, не мне тебя учить.

Глаза разведчика вспыхнули хищным кошачьим огнем.

— Вах! Будет исполнено.

С задачей своей сорвиголовы Юсуфа справились в два дня и вполне успешно, только вот грамоте никто из них обучен

не был, и в штабе корпуса пришлось немало поломать голову, разбирая каракули и рисунки на донесении.

Ардаган оказался великолепной крепостью уже в силу своего расположения в тылу наших наступающих войск, а природа оборудовала ее надежнейшей защитой, чем в полной мере воспользовались догадливые английские фортификаторы. Они построили мощные укрепления на господствующих высотах — горах Гелаверды и Рамазан, а подступы к ним прекрасно обстреливались с городских стен, возведенных на крутых берегах Куры, и из цитадели.

Гелаверды — гора крутая, и турки, надеясь на ее неприсутность, держали сравнительно слабый отряд в бастионе Эмир-Оглы, размещенном на полутораверстовой высоте и окруженном тремя рядами окопов от подошвы горы. На Эмир-Оглы и решил направить первый удар Лорис-Меликов.

Лучший полк в Ахалцихском отряде был, несомненно, 156-й пехотный Елизаветпольский под началом князя Амираджиби. Полковник сам повел в атаку свои батальоны. Елизаветпольцы, несмотря на частый огонь, потерь несли мало: они шли рассыпной цепью, по опыту кавказских войн зная, что в атаке нельзя сбиваться в кучу. Шальной панический залп хоть из сотни ружей палит в белый свет как в копеечку, и, одолев страх первого шага, солдат мало уязвим для неприцельного огня. Вскоре и вторая линия обороны была смята, за ней третья, и к 10 часам утра мощное «ура!» возвестило о том, что укрепление Эмир-Оглы в наших руках. Вражеские орудия — не пушки, а загляденье! в нашей армии таких еще не было — тут же перенацелили на самую крепость, и артиллеристы, сменив пехоту, взялись за свое дело.

Отряд Девеля отвоевывал на Гелаверды бастион за бастионом, и к вечеру пришло время действовать 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Геймана. Отважный генерал, славный кавказский рубака, на белом коне вывел дивизию свою прямо к крепостным стенам.

— А ну, не мешкай, ребята, вперед, мать вашу!

Прекрасен был в этот миг Василий Александрович! В битвах поседель, с внешностью библейского пророка, он весь горел азартом и воодушевлением. Стыдно трусить перед лицом такого командира.

И солдатушки, bravo-ребятушки не трусились, рванули вперед, навстречу сплошному ружейному, артиллерийскому огню и штыками пробили дорогу в крепость. Чуть было не захлеб-

нулась атака четвертого батальона Эриванского полка, когда упал, раненный, его командир. Из свиты Геймана, никого не спросив, отделился инженер-полковник Бульмеринг — единственный инженер в колонне — и повел эриванцев на штурм. С ходу взяли последний редут — и вот уже батальон в городе. Тем временем с другого берега Куры в Ардаган ворвались полки Девеля. Ох и рубка же началась!

Самое страшное было на мосту через Куру. Здесь столкнулись друг с другом ошалелые от ужаса защитники двух ее берегов. Рухнули перила, и десятки тел с предсмертным последним криком полетели в кипящую пену горной реки.

Бой затих к ночи. Город был взят. Самое мощное из укреплений на горе Рамазан, обустроенное английскими военными инженерами по последнему слову техники, турки бросили, не дожидаясь наших войск.

Наутро подсчитали потери и обречения. Убитыми и ранеными после такой переделки оказалось всего 420 человек. Турки же одними убитыми потеряли около двух тысяч. В плен к нам попали комендант Ардагана Али-паша и около 800 солдат и офицеров турецкой армии. Трофеем русских войск стали 92 орудия, из них половина — новейшей английской системы, тысячи ружей и 6 миллионов патронов к ним, большие вещевые и провиантские склады.

Это была первая победа русской армии в русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов. За взятие Ардагана генерал-адъютант Лорис-Меликов первым в ту кампанию высочайшим указом пожалован орденом Георгия Победоносца 3-й степени.

### СТАРЫЕ ЗНАКОМЦЫ

Еще со времен Ермолова и Паскевича в приграничных турецких санджаках стали селиться беглецы из мусульманских деревень Закавказья — азербайджанцы, курды, горцы Чечни и Дагестана. В России они назывались по вере их татарами, а в Турции — карапапахами, поскольку, в отличие от аборигенов, привыкших к фескам, носили черные бараньи шапки. Эти карапапахы были сущие разбойники, прославившиеся разорительными набегами на села армян и русских первопроходцев Закавказья — молокан и духоборов. В начале Крымской войны турки выпустили из тюрьмы отпетого бандита Багира-хана, который сколотил на границе огромную шайку, доставившую

немало хлопот Василию Осиповичу Бебутову своими дерзкими вылазками в пределы Российской империи.

Лишь через год после гибели Багира-хана удалось усмирить его шайку, а когда полковнику Лорис-Меликову пришла в голову замечательная мысль сформировать свои знаменитые сотни охотников из местных жителей, немало вчерашних бандитов влилось в их ряды. В настоящую кампанию наличие у наших границ больших поселений карапапахов, возобновивших уже в 1856 году набеги на нашу территорию, еще задолго до перехода границы было источником бессонниц и головной боли корпусного командира. Одними мерами военной предосторожности — сторожевыми постами, кордонами — этих вольных дикарей от разбоев не удержишь. Людей в отрядах и так мало, чтобы держать по меньшей мере два батальона для наблюдения за всеми путями их хищных набегов.

Способ, испытанный на Кавказе по меньшей мере со времен Хаджи-Мурата и блистательно освоенный Михаилом Тариевичем. Если нет разумного военного решения (а таковое всегда неразумно), надо искать дипломатическое и воздействовать на тех же карапапахов посредством влиятельных лиц из их же среды. И такая возможность появилась. Еще в феврале карапапахы почувствовали приближение войны. Хитрые их старейшины, размышляя, чью сторону выгоднее принять, стали засылать гонцов в Александрополь. Первого же гонца, некоего Гасана, захватили бдительные полицейские чины, не без оснований приняв его за шпиона. Поскольку это был первый шпион, пойманный в городе, дело дошло до самого корпусного командира. Генерал немало удивил свитских своих офицеров, пожелав лично пообщаться с пойманным бродягою.

Гасан, перепуганный арестом своим и ночью, проведенной в каземате, еще больше перепугался, когда его ввели в кабинет к самому главному русскому генералу.

А самый главный русский генерал отпустил конвойных, и, когда они остались в кабинете вдвоем, первым делом на чистейшем азербайджанском наречии спросил:

— Ты что хочешь, чаю или кофе? — Не услышав ответа, генерал ласково потрел Гасана по плечу: — Да чего ты испугался, видишь, я не такой страшный. Давай-ка все-таки по чашечке кофе — от него голова лучше работает.

Генерал по-восточному хлопнул в ладоши. Явился вестовой.

— Кофе! — распорядился генерал. — И сыру, пожалуй.

Через минуту на серебряном подносе солдат внес чашечку кофе и на серебряной же тарелочке хлеб и овечий сыр.

— Нас двое! — к большому неудовольствию вестового заметил генерал. И сам поставил поднос перед гостем.

Солдат, бормоча в усы: «Вот еще, всяких бродяг барской едой баловать», вышел за новой порцией.

— Скажи мне, Гасан, у вас там есть, наверно, люди, которые меня с прошлой войны помнят? Хорошо бы потолковать с ними.

— Рза есть. Но Рза старый. Ему трудно прийти.

— Пусть придет человека, которому доверяет. Он тебе доверяет?

— Он меня прислал. Велел узнать, когда воевать будешь.

— Ну, этого я пока и сам не знаю. Но мне надо договориться с вашими вождями о помощи. Мне ваша помощь нужна. Ты понял? А я для вас много могу сделать, если сумеете со мной столкнуться. А старику Рзе мой поклон передай, он был отважный воин, я его не забыл.

С тем и отпустил командующий корпусом вражеского лазутчика и распорядился впредь карапахов, перешедших границу, доставлять прямо в корпусную квартиру. Сам же вышел с просьбой к главнокомандующему разрешить формирование особого полка из карапахов.

Едва войска наши вошли в пределы Турции, двести вооруженных пиками и кремневыми ружьями карапахов явились в наш лагерь, а уже 17 апреля был организован Шорагельский конно-иррегулярный полк из четырех сотен, каждая из которых возглавлялась вождями славных набегов на нашу землю шаек. Особенно ценен среди них был беглец из Эриванской губернии Тагибек — он пользовался громадным авторитетом как у карапахов, так и у курдов.

Шорагельский полк с начала кампании состоял при корпусной квартире и чаще всего посылался по отдаленным деревням в поисках фуража. Здесь они отличались особой ловкостью и чутьем на богатые склады, так что лошади русских войск редко знавали бескормицу.

Однако ж наблюдать этот полк было грустно. Во всем корпусе у генерала от кавалерии Лорис-Меликова не отыскалось ни одного полковника Лорис-Меликова прошлой войны — ловкого, дерзкого, изобретательного и изощренно-хитрого. Хороший человек, офицер над вожатыми полковник Генерального штаба Степан Осипович Кишмишев — старый кавказец, ум-

ный, тщательный в каждой мелочи, и войну он по заслугам своим окончит в генеральском чине, а потом напишет ее историю, честную и самокритичную. Но добрый Степан Осипович — штабист, штабист до мозга костей, и нет в нем ни лести, ни умения ладить с полудикими племенами.

Но то уже хорошо, что удалось перекупить на свою службу специально содержавшуюся турками столь враждебную публике. А ведь среди них были разбойники, отведавшие нашей сибирской каторги и ухитрившиеся бежать с нее!

Если б так обстояло дело со всеми переселенцами из Российской империи...

Когда Лорис-Меликов договорился о приеме в пределы Османской империи всех горцев, желающих там поселиться, не каждое из воюющих племен пожелало эмигрировать в мусульманское государство за Кавказом. Так, сколько ни усмирял генерал Евдокимов Большую и Малую Чечню, засылая к вождям и старшинам добрых людей с уговорами тихо и мирно сложить оружие, а если жизнь под русским правлением не нравится — дорога к добрым туркам-единоверцам открыта, — мало кто из чеченцев соблазнился такой перспективой.

В 60-е годы тысячи семей переместились в приграничные Карсский и Эрзерумский санджаки, где всегда селились беглецы из Российской империи. В их числе были даже два генерала. Один — сын Шамиля Казима Магома, высланный за пределы Российской империи сразу же после падения Гуниба. Он поступил на турецкую службу и достиг чина генерал-лейтенанта. В эту войну он действовал против нашего Эриванского отряда. Вторым был старый знакомец Лорис-Меликова генерал-майор русской службы Муса Кундухов.

Отпрыск знатного осетинского рода, Кундухов получил воспитание ни мало ни много как в Павловском кадетском корпусе, откуда выпущен был гвардейским корнетом в 1836 году. Через двенадцать лет, когда после Французской революции 1848 года заволновалась вся Европа, Кундухов, уже в чине подполковника, так отличился в действующей армии в Варшаве, что был назначен в собственный конвой его величества. Николай Павлович очень гордился красивым горцем в своей свите — с безупречной выправкой, безукоризненно точным в исполнении любых поручений, глядящим браво и преданно. По смерти императора Муса вернулся на Кавказ. В Крымской войне Муса командовал полком охотников, и Лорис-Меликов, прямой его



начальник, не раз отличал Кундухова за сообразительность и отвагу. Да ведь к Анне 2-й степени сам его представлял.

После Крымской войны Муса Кундухов, уже полковник, не оставил армии и на Правом крыле Кавказской линии лихо бился со своими соплеменниками, прекрасно зная их слабые стороны: он терпеливо выжидал, когда иссякнет пылкий боевой задор воинственных горцев, ослабнет их настороженная, чуткая бдительность, и наносил удар решительный и жестокий, вел схватки такого рода, когда пленных не берут. И заслужил тем самым полное доверие и особое к себе расположение победителя самого Шамиля генерала графа Евдокимова, человека крутого и к местным уроженцам весьма подозрительного. Так или иначе, но в 1859 году именно по настоятельной его рекомендации Мусу Кундухова назначили начальником Владикавказского округа Терской области с одновременным производством в чин генерал-майора со старшинством.

И вскоре что-то странное стало твориться во владениях нового начальника. Успокоившаяся было под управлением Лорис-Меликова Чечня вновь стала волноваться, возбуждаемая фанатичным мусульманским духовенством. Михаил Тариелович обнаружил, что его ближайший помощник ведет двойную игру и главный подстрекатель бунтовщиков вовсе не муллы, а именно он, присягнувший на верность императору российскому кавалер многих орденов и генерал-майор Муса Кундухов. Наделенный недюжинным тщеславием, Кундухов решил, что большего он на русской службе уже не достигнет и надобно ему, чтобы прославиться в веках, стать, наподобие Шамиля, имамом Большой и Малой Чечни, а если вывернет судьба — так и всего Дагестана.

По счастью, среди мусульманских народов Северного Кавказа стало распространяться учение Зикры, по догматам которого оказывалось большим грехом молиться на земле, оскверненной гяурами. И тысячи семей стали проситься в Турцию.

И тут блестящая мысль пришла на ум Лорис-Меликову.

В один прекрасный день он пригласил к себе Кундухова.

Начальник Терской области был крайне любезен с генерал-майором. За бокалом доброго кахетинского, к которому поданы были так обожаемые Мусою цыплята табака, зашла речь о новом религиозном учении.

— Да, здесь много мудрости, — осторожно заметил Кундухов, — но и бездумного фанатизма много. Как это так — нельзя молиться на родине предков своих?

— Но, я вижу, очень многие мусульмане на Кавказе склонны разделять это учение. У меня целая кипа прошений — все в Турцию хотят.

— Хотят — пусть едут.

— И я так думаю. Но не хотелось бы, чтоб валили толпой. В таком деле организация нужна. Я сегодня ночью не спал, все размышлял об этом. Здесь необходим человек авторитетный и среди кавказских верующих, и в глазах турецкого правительства. В Терском крае и Дагестане никого так не уважают, как тебя, Муса. И в Тифлисе тебя уважают.

Муса сдержанно кивнул головою, будто речь шла не о нем, но Лорис-Меликов видел: польщен. Польстить, однако, мало, не мешало б и припугнуть.

— Да, имя твоё гремит по Кавказу... Один добрый человек дал мне понять, что ты способен даже всю Чечню поднять на гяуров. Ну это он явно преувеличил. Да и не поверю я, чтоб у тебя, любимца покойного императора Николая Павловича, русского генерала, такие наивные и глупые мысли заводились. Ты ж не хуже меня понимаешь, что второго Шамиля мы не допустим. (Губы у Мусы чуть побелели и в струнку вытянулись.) Так вот о чем я в нынешнюю бессонницу подумал. Что, если б это перемещение наших мусульман в пределы Турции ты бы и возглавил? Подумай, Муса.

С тем и отпустил.

Размышлял Муса недолго. Начальник Терской области недвусмысленно дал понять, что не только карьера Кундухова на русской службе исчерпала себя, но вся судьба его под большой угрозой. А в Турции много чего можно достичь. Ведь этой массой пришельцев кто-то должен управлять. Почему ж не я?

Но ответ Кундухов дал не сразу. До начальства стали доходить сведения, что Муса вдруг переменял взгляды и как бы прислушивается к новому учению, потом он стал приближать к себе адептов Зикры, и лишь через полгода как-то так сложилось, что Кундухов чуть ли не автор этого догмата. Он сдружился с турецкими консулами в Тифлисе и Владикавказе, вел с ними, доносили доверенные люди, какие-то тайные переговоры и в один прекрасный день сам заявился к Лорис-Меликову.

Поговорили о делах, о том, что, уважая местные обычаи, надо все же приступить к тем реформам, что давно уже прошли в России. Дикое рабство среди горских народов не дает им догнать в своем развитии тех же терских казаков. А чем осетины или чеченцы хуже?

Подали кофе. Тут-то, за чашечкой прекрасно заваренного напитка, Муса как бы невзначай обронил:

— У вас так много забот, дорогой Михаил Тариелович. А вы не забыли своей зимней бессонницы? Мы с вами говорили о ней тогда. Сон-то у вас с тех пор не налачился?

— О, спасибо, Муса, за заботу. Спать все равно при моей хлопотной должности удастся мало. Но ту бессонницу помню. Так что ты решил?

— Если его императорское высочество отпустит меня со службы, я, пожалуй, соглашусь с вашим предложением.

— Я похлопочу за тебя перед его высочеством, хотя, признаюсь, ему трудно будет расстаться с таким генералом.

Великий князь и наместник Кавказский, разумеется, не чинил никаких препятствий отъезду генерала-клятвопреступника. Он был в восхищении от дипломатической изобретательности Лорис-Меликова и вынес ему свою особую августейшую благодарность.

Вместе с Кундуховым пределы Российской империи покинули 27 тысяч семейств — целая армия, которой Муса надеялся предводительствовать в Турции. Но надежды его никак не согласовывались с планами турецкого правительства, не доверявшего чужаку, к тому же достаточно напуганного несметной массой переселенцев. Не о таком нашествии договаривался султан с русским представителем Лорис-Меликовым в 1860 году. И, выброшенный отовсюду за ненадобностью, генерал Кундухов тихо старел, занимаясь хозяйством своим в селе Сивасе Эрзерумского санджака.

Война с Россией разожгла честолюбивые мечты Кундухова. А когда он узнал, что во главе русского корпуса столь ему ненавистный Лорис-Меликов, все обиды разом поднялись в кипящий его голове. Мстить, мстить и мстить.

В начале апреля Кундухов явился к главнокомандующему турецкими войсками в Малой Азии Мухтару-паше и не то что предложил — потребовал принять, и немедленно, свои услуги. У него уже созрел план организовать из горцев, наподобие лорис-меликовских охотничьих сотен, которые Турция хорошо помнит с прошлой войны, летучий отряд для ведения партизанских действий на всей территории, занятой русскими войсками, а потом перенести их непосредственно в пределы России. Дрожи, Кавказ, идет Кундухов!

Идея такого летучего отряда Мухтару-паше понравилась, хотя лучше б этот горец про позор прошлой войны не напо-

минал. Кундухов был принят на турецкую службу с присвоением звания бригадного генерала.

Отряд Мусы-паши формировался у большого села Бегли-Ахмет к западу от Карса. В штабе корпуса о нем долго не знали, хотя и подозревал Лорис-Меликов, что старый знакомец его Кундухов сидеть сложа руки не будет.

После Ардагана, когда колонна Геймана, преодолев распутицу, наконец, вернулась под Карс, корпус начал готовить осаду крепости. Во все стороны рассылались отряды для рекогносцировки местности.

Командир третьего эскадрона Нижегородского драгунского полка майор Александр Витте получил задание обследовать пути к Карсу с северо-запада, в сторону села Большая Тикма, причем до Тикмы он должен был идти одной дорогой, а возвращаться — другой. С эскадром его отправлен был на эту рекогносцировку офицер Генерального штаба, который держал перед собой карту, генштабистами и составленную на основании старых, еще времен Паскевича, маршрутов.

У деревни Кекач, верстах в шести от Бегли-Ахмета, эскадрон обнаружил большое скопление вражеских войск.

— А ну, ребята, шашки наголо! — скомандовал Витте. — В атаку!

Драгуны на рысях врубались в галдящую массу турок и почти без потерь прорвались вперед, оставив за собой десятки трупов.

— Ваше благородие, — к майору обратился старый фельдфебель Варюшкин, служивший в полку в ту еще пору, когда Витте постигал науку побеждать в Московском кадетском корпусе, — а это, кажись, не турки были. Поговору на наших горцев похожи.

Штабист, скакавший рядом, отметил на своей карте скопление противника и особо приписал на полях, что есть подозрение, не горцы ли были встречены.

Один классик, большой любитель сентенций, заметил как-то, что в жизни всегда есть место подвигу. В пафосе от его внимания ускользнуло то обстоятельство, что в России подвигу, как правило, предшествует бардак: чья-то глупость, халатность, нераспорядительность.

Топографические карты, раз и навсегда составленные, тихо живут своей пыльной жизнью в архивах. Природа тоже живет своей жизнью. Зимой неслышно пушит снежок, замерзают

реки, потом оттаивают, дожди то хлещут как из ведра, а то сеются туманной пылью, а то вдруг солнце зарядит таким зноем, что и в горах не продохнуть. С горами под влиянием тихих процессов солнца и воды тоже мало-помалу происходят перемены, то невидные, то бурные, будто исполин проснулся и стряхнул с себя каменные одежды.

Но вот наступает день, и какой-то чиновник извлекает из архива уснувшую карту, составленную при графе Паскевиче Эриванском в 1828 году, тщательно перерисовывает ее и пускает в оборот для Действующего кавказского корпуса весною 1877 года, почти полвека спустя.

Витте следовал со своим эскадром строго по карте, расстеленной на холке коня штабного офицера. Но его собственный гневой не поверил карте и стал как вкопанный. Александр Юльевич глянул вперед и обомлел. Они стоят на краю пропасти. Еще шаг — и считай, нет эскадрона.

— Ну что, Сусанин, куда дальше путь держим? — грозно спросил он штабиста.

Тот не нашел ничего лучше, как лепетать про приказ, про то, что карта же не может врать, она из Генерального штаба.

Витте, не дослушав, поворотил эскадрон обратно.

А у Кекача их ждали. За тот час, пока драгуны разведывали пропасть, толпа горцев увеличилась втрое. Секунда на размышление...

— Ну, с Богом, ребяташки! Все равно погибать — авось прорвемся. В атаку!

Смелость города берет. Эскадрон прорвался, сохранив не только знамя свое, но один из драгун ухитрился вырвать из рук башибузука синий значок летучего отряда Кундухова. Однако ж стоил этот прорыв дорого. Штабиста с картой не убергли, он пал одним из первых. От эскадрона осталось чуть больше половины.

Доклад Витте привел в восхищение командующего корпусом. Он выспрашивал подробности молодецкого дела, вспоминал собственные лихие поиски в дебрях турецкой Армении, горько вздыхал о том, что не дано ему сменить генеральские погони на полковничьи и тряхнуть стариной, пустившись с сотнею казаков на разведку.

Русские генералы на Кавказе как-то легко переходят с подчиненными на «ты». Ни тени фамильярности здесь не было, напротив того, вежливое «вы» означало предельный генеральский гнев и сулило поименованному по всей формуле этикета

большие неприятности. Кавказская армия, едва ли не целое столетие не знающая покоя даже в самое мирное время, всегда полагала себя особой семьей, в которой чины производились как бы по родственной иерархии.

Рапорт майора как-то незаметно перетек в беседу за стаканом хорошего грузинского вина, которое тут же и подали герою и его высокому начальнику.

— А ты давно на Кавказе? Что-то фамилия знакомая.

— Я родился в Тифлисе. А батюшка наш покойный служил директором департамента. В канцелярии наместника.

— При Михал Семеныче? Князе Воронцове? Да, да, припоминаю. Умный был человек. Впрочем, Воронцов дураков при себе не держал. Но ведь он давно умер. Кто ж тебя вырастил таким молодцом?

За давностию лет лица старшего Витте Михаил Тариелович припомнить, конечно, не мог. Он вглядывался в тучного, тяжеловатого майора с простецким, скорее русским очень добродушным лицом, черты которого казались генералу хорошо и давно знакомыми.

— Маме очень помогал ее старший брат. Он и сейчас не оставляет ее заботами, хотя и издалека. Дядя наш на Балканах и недавно произведен в генералы.

— Кто ж твой дядя?

— Фадеев.

— Ростислав?

— Да-с, Ростислав Андреевич.

— Так вот ты на кого похож! А я все смотрю, кого это ты мне напоминаешь. А ведь мы с твоим дядей в похожих обстоятельствах познакомились. Эх, славное дело было под Гергебилем! Дядя твой отлично рубился с горцами...

Дело и впрямь было славное. Поручик Лорис-Меликов в разгар боя увидел храбреца, под которым убили лошадь, — бледный и злой, он отражал саблей удары горцев, прижавшись спиной к старой и мощной чинаре. Лорис бросился с двумя казаками на выручку незнакомому офицеру, молодые черты которого повторились в облике нынешнего собеседника. За это дело молодой поручик был представлен к первому своему ордену — Анны 4-й степени «За храбрость», нежно именуемый русскими офицерами клюковкой. Фадеев получил тогда, кажется, Владимира с мечами.

Генерал загрузил. Эта дурацкая кавказская привычка с каждым встречным искать родственников и общих знакомых сыг-

рата с ним злую шутку. Он вроде как породнился с незнакомым до сегодняшнего дня майором, и это усугубило его затруднительное положение. Дело в том, что за нынешний подвиг командующий корпусом обязан представить майора Витте к ордену Святого Георгия 4-й степени — самой почетной офицерской награде в русской армии, настолько почетной, что реляция утверждается самим императором. Но в реляции следует указать и причину подвига, в данном случае — редкостную глупость офицеров Генерального штаба. И тут уж не одна голова полетит с плеч. Впрочем, и сам Лорис-Меликов, отправляя Витте на рекогносцировку, мог бы проверить проклятую карту: уже в Крымскую войну обозначенной дороги не существовало, он-то покружил на подступах к Карсу достаточно.

Лучший выход из затруднительного положения всегда один — набраться духу и сказать правду. Хотя в иные моменты легче с эскадром врезаться в гущу противника, что явно бы предпочел генерал от кавалерии, предложи ему такой вариант.

— Вот что, братец ты мой, — тяжело вздохнув, начал командующий корпусом. — Ты за нынешнее молодецкое дело свое достоин «Георгия». И я тебя к нему представляю. Да вся беда в том, что твой орден отправит под суд этих дураков из Генштаба. Хоть и дураки, а жалко. Война... тут каторгой пахнет... Я подам реляцию главнокомандующему, что он решит, так и будет.

Главкомандующий решил наградного дела не возбуждать, он призвал к себе героя да так и объявил ему:

— Ты уж, друг мой, извини, но дело это придется забыть, как будто его и не бывало. Иначе я должен выдать офицеров Генерального штаба.

— Ваше высочество, война не кончилась, даст Бог, отличусь еще раз. — Он же еще и утешать начальство должен. Да Бог с ним, с орденом, пусть и «Георгием». Лучшей наградой для Александра Юльевича стала новая песня Нижегородского драгунского полка, сочиненная по поводу удалого дела третьего эскадрона с отважным Витте во главе.

Много воды утечет, и кости полковника Витте, умершего от контузии, полученной в самом конце войны, уже истлеют, а песня будет жить и жить, и новобранцы будут разучивать ее с первых дней службы. Она б и сейчас жила — песни долговечней героев, — да вот беда: Нижегородский полк расформирован вместе со всей Кавказской армией в 1918 году, добровольно, по наущению большевистских пропагандистов, разоружен и весь поголовно расстрелян по дороге домой с Первой

мировой войны. С полком и песню расстреляли, запетуя напоследок поздно опомнившимися драгунами.

А орден от Витте никуда не делся и вручен ему был при обстоятельствах удивительных. 26 ноября 1878 года на первый же послевоенный праздник Святого Георгия Победоносца в числе депутаций георгиевских кавалеров от Кавказской армии прибыл в Петербург на прием в Георгиевский зал Зимнего дворца и полковник Витте, за подвиги свои при взятии Аладжинских высот удостоенный золотой Георгиевской саблей с надписью «За храбрость» и черно-золотистым темляком. Лорис-Меликов, узнав героя, подмигнул ему и о чем-то зашептался с заместником Кавказским великим князем Михаилом Николаевичем. Тот кивнул в ответ, подозвал к себе Витте и подвел к императору.

— Дело прошлое, ваше величество, но этот офицер славно отличился год назад...

Шум в зале поутих, и при полном молчании лучших русских офицеров и генералов главнокомандующий Кавказским театром действий в минувшей войне довел свой рассказ о подвиге майора Витте до конца.

Император Александр II снял с себя крест Георгиевского ордена и сам укрепил его на мундире Витте:

— Ты давно заслужил этот орден, и мне жаль, что я только сейчас узнал об этом.

А на обеде в честь георгиевских кавалеров император провозгласил тост за Александра Юльевича.

Лорис-Меликов был единственным на том празднике георгиевских кавалеров, кто знал историю ордена, украсившего героя.

Дело было в конце октября 1850 года. Александр Николаевич, тогда наследник цесаревич, знакомился с Кавказским краем. Громадная свита во главе с самим заместником Кавказским светлейшим князем Михаилом Семеновичем Воронцовым сопровождала его императорское высочество. Разумеется, и штаб-ротмистр Лорис-Меликов как офицер для особых поручений при Главнокомандующем Кавказским корпусом был здесь же. Светлейший князь по причине преклонных лет и старческих болезней ехал в экипаже. Цесаревич обозревал Чечню. Еще не доезжая укрепления Урус-Мартан, конвой великого князя то и дело замечал то там, то здесь на опушке леса одиночных всадников. Но когда миновали крепость, чеченцы стали показываться группами. Джигиты и гикая, они

затевали перестрелку с казаками, находящимися в цепи вдоль дороги, и как бы дразнили русский отряд со столь важными персонами. Подъехали к небольшой горной речке Рошне, и на краю леса в полутора верстах от дороги обнаружилась уже целая толпа неприятеля.

— Чеченцы! — раздался крик.

Никто и глазом моргнуть не успел, как молодой великий князь, наследник престола Российской империи, помчался с саблей наголо к лесу. Вся свита бросилась за цесаревичем. Старый князь Воронцов, до того мирно дремавший в мягких подушках своей кареты, востропнул, ахнув, потребовал коня, как юный гвардейский корнет, вскочил на него и пустился вдогонку — лихо и отважно, будто не было на его плечах груза прожитых лет и болезней, будто впереди перед ним не глухие дебри чеченского леса, а славное Тарутино или то же Бородино.

Обошлось!

Наследник торжествовал победу. Неприятель бежал, лишь тело чеченца, убитого в схватке, лежало на траве да несколько лошадей, потерявших седоков своих, резвились на опушке леса, радуясь внезапной свободе. С нашей стороны ранены были, и то легко, один казак и мирный чеченец.

Тут же была по достоинству оценена отвага, с которой его императорское высочество, не считаясь со своим званием, бросился на врага. Главнокомандующий Кавказским корпусом, по предоставленному ему праву, с легким сердцем — еще бы! — поздравил цесаревича георгиевским кавалером, о чем по прибытии в станицу Сунженскую вошел с представлением к государю императору, отправленным в Петербург срочною депешою.

### БЕГЛИ-АХМЕТ

После славного поиска майора Витте и донесений лазутчиков в корпусной квартире решено было ликвидировать отряд Мусы Кундухова. Иначе его кавалерия будет непрестанно тревожить наши отряды и держать под угрозой пресечения пути сообщения русской армии.

Муса-паша, как донесли верные люди, в тот день, когда его отряд обнаружил Витте, встречался с комендантом Карса Гусейном-пашой и прельщал его своими масштабными планами. Муса рассчитывал не только беспокоить набегами наши

отряды и держать под контролем основные дороги, но и довести партизанскую войну аж до Тифлиса, где к нему, как он заверял турецкое командование, присоединятся местные мусульмане, подготовленные к восстанию турецкими эмиссарами. Гусейн-паша, уже тесным стягивающимся вокруг Карса кольцом осады, все же решился усилить летучий отряд Кундухова тремя сотнями осетинской конницы, набранной в ближайших аулах, и вдобавок снабдил его двумя горными орудиями.

В Ардосте, ближайшем к Бегли-Ахмету селе, занятом войсками Действующего корпуса, стояла конница генерал-майора князя Чавчавадзе. Ему и поручил командующий корпусом наблюдать за отрядом Кундухова и, по возможности, атаковать его. Иван Захарович — старый кавказский вояка, многое на своем веку повидавший, — прекрасно знал Мусу-пашу и в общем-то верно предполагал его будущие действия. Поскольку отряд горцев находился, по последним сведениям, верстах в шести от села у Эрзерумской дороги, планы противника обрисовывались с достаточной определенностью.

— Скорее всего, — князь маленькой своей аристократической рукою показал на карту, — он дожидается транспорта из Эрзерума в Карс, чтобы прикрыть его от наших налетов. Исходя из этого, и будем планировать операцию.

Дальше князь дал выговориться начальникам отрядов и штабным офицерам, а сам молча сидел в сторонке и попыхивал трубочкой. Последнее слово будет за ним. Оно уже созрело в его голове, готовое завершить болтай-болтай, как называл эти совещания сам князь, но едва генерал остановил жестом дискуссию, дежурный офицер ввел армянского священника.

— Ваше превосходительство, я пришел из Бегли-Ахмета. Очень важное дело скажу. — Он перешел на шепот и заозирался вокруг себя, боясь, как бы офицеры, стоящие над столом с расстеленной картой, не услышали его «очень важного дела».

— Говори громко, дорогой, не стесняйся. Здесь такие люди сидят — за голову каждого турки большие деньги дадут.

— В Бегли-Ахмет пришел большой отряд. Там две пушки у них, я сам видел. А конных три тысячи. Они ночевать будут. Лагерь у села разбили.

Глаза старого вояки заблистали азартным огнем. Он никогда не держался за составленные планы и даже любил их менять по ходу дела в соответствии с обстановкой. Команды отдавал тут же, в присутствии армянина-священника.

— Иван, — обратился князь к молодому генералу Ивану Лорис-Меликову, племяннику командира корпуса, которого все здесь звали Маленький Лорис. — Ты с правой колонной пойдешь из Большой Тикмы на Сусус, за Сусусом свернешь налево и атакуешь Бегли-Ахмет с севера. А подполковник Эристов возьмет свой Дагестанский полк и пойдет левой колонной по левому берегу Карс-чая и выйдет на пути, ведущие к Бегли-Ахмету с юга.

Сам же князь Чавчавадзе намеревался идти со средней колонной во главе прямо на Бегли-Ахмет.

Выступать назначено было ночью. В кромешной тьме колонна Эристова сбилась с пути, конники поднялись на гору, возвышавшуюся перед ними, и оказались прямо над биваком противника.

Луна освободилась из плена туч и засияла над рекой, горами, селами вдаль. В бледном свете ее горцы увидели казаков. В ужасе бросились назад, но тут Эристов скомандовал: «К атаке!», охватив кундуховский отряд с правого фланга. Горцы отчаянно защищались, заняв, отступая, небольшой бугор, но, теснимые Эристовым с одной стороны и посланными ему на подмогу драгунами-нижегородцами с другой, бросили и эту позицию, ища спасения в Бегли-Ахмете.

Кундухов следил за битвой из самого села. Увидев бегство своих удалцов, он бросил на выручку им три резервные сотни и оба только что в Карсе полученные орудия.

Свежие силы горцев заняли позицию близ села. Сюда же приказано было являться бежавшим с поля боя. Так что когда командир Нижегородского полка поднялся на вершину прикрывавшего с запада Бегли-Ахмет хребта, глазам его предстала огромная толпа горцев, которая начала палить по драгунам из ружей и двух своих пушек. Ни секунды не медля, он послал капитана Малхаза Кусова с эскадроном в атаку. Драгуны бросились столь смело и стремительно, что в рядах горцев началась паника, суматоха и, как естественный конец, повальное бегство. У пушек завязалась отчаянная рукопашная схватка. Здесь бились самые отважные из горцев. Напрасны были их жертвы. Эскадрон Кусова отбил и артиллерию, и обоз кундуховского отряда со всем его войсковым имуществом.

Может, это легенда, но в корпусе ходили упорные слухи о том, будто капитан Кусов, осетин по рождению, в горячке боя чуть не зарубил собственного дядю, двенадцать лет назад уехавшего с другими мусульманами в Турцию. Он взял со ста-

рика слово никогда больше не поднимать оружия против русских и отпустил его. Старик сдержал слово и больше в схватках этой войны замечен не был. Впрочем, та ночь на 18 мая 1877 года под Бегли-Ахметом многих горцев отвалила от войны, и почему-то больше всего из числа тех, кто громче и слышнее кричал на аульных сходках, когда Муса-паша собирал свое войско: «Смерть гяурам! Аллах акбар!»

Муса-паша недолго наблюдал за течением последнего боя с самой высокой в Бегли-Ахмете крыши. Отчаянный честолюбец не утерпел и ринулся в схватку, отдавал разумные приказы, которые некому было исполнить, в конце концов сам, вынув саблю, кинулся на наших драгун и бился бы до последнего, если б в горячий момент не обнаружил, что верный его конвой стыдно бежал, бросив значок своего командира. Тут уж и сам бригадный генерал турецкой армии счел за лучшее последовать примеру своих личных охранников.

Уже совсем рассвело, когда показалась правая колонна генерала Лорис-Меликова. Она тоже в темноте сбилась с пути и, достигнув села Сусус, услышала звуки боя. Кратчайшим путем через пахотное поле кавалеристы Маленького Лориса бросились на звуки стрельбы. Увы, кратчайший путь не означает быстрейший. Кони завязли в сырой и мягкой земле и выбрались на твердое место, когда бой уже завершился и горцы бежали к спасительным горам Саганлугского хребта, разделяющего Карсскую и Эрзерумскую области. Так что на долю храброй колонны осталось лишь участие в преследовании неприятеля.

Все армии мира стоят на том, что гораздо страшнее самого удачливого и свирепого неприятеля гнев собственного начальства.

Перевалив Саганлугский хребет, Муса-паша собрал остатки еще вчера мощного 4-тысячного отряда. В наличии оказалось чуть более трех сотен, половина из них растеряла свое оружие.

Сильно пожалел генерал, что поддался инстинкту самосохранения и слабым надеждам поправить свои дела. Уж лучше бы гяуры убили его! Не стесняясь своего разбитого войска, Муса упал на траву, стал кататься, безутешно воя и посылая проклятья на головы русских и главного своего ненавистника — корпусного командира Лорис-Меликова, и здесь перехитрившего его, расстроившего тщательные и стройные планы, на своих горцев-ополченцев — жалких трусов и продажных собак. И в полном мраке в те минуты представлялось несчастному

паше ближайшее будущее. Он даже вообразить страшился, как, с какими глазами явится пред черные гневные очи главнокомандующего.

В Бозгале, на квартире главнокомандующего турецкими войсками, победоносного генерала, отличившегося блистательными операциями против взбунтовавшихся в прошлом году сербов и черногорцев Ахмета-Мухтара-паши, Кундухова ждали. Молодой генерал уже оправился от поражения Али-паши в Ардагане и готовил реванш в операции против Эриванского отряда русских. Он предполагал усилить отряд Татлы-Оглы-Магомета-паши горцами и нанести решающий удар войску Тергукасова. И очень все хорошо складывалось в его расчетах. Подкрепление Кундухова даст явное превосходство в числе над Эриванским отрядом и если не разобьет его, то во всяком случае не даст безнаказанно двигаться по дорогам Османской империи.

Сын великого султана Абдул-Азиза генерал Мухтар-паша читил себя великим стратегом. Внушительных побед за ним числилось больше, чем частных поражений, восточная лесть верной свиты изо дня в день утверждала двадцатитрехлетнего главнокомандующего в столь высоком о себе мнении. О, он уже проявил гениальный дар мудрого и осторожного полководца, не дав запереть себя русским войскам в Карсе, который они, несомненно, намерены взять в осаду и заморить голодом, как в прошлую войну. Не выйдет! Мухтар-паша уже по всей Анатолии энергично начал набор новой армии, которая скоро превзойдет своей силой Кавказский корпус Лорис-Меликова. С таким главнокомандующим нас ждут великие победы! Мухтар-паша заткнет за широкий генеральский пояс Наполеона.

Сравнение с Наполеоном обольщало турецкого генерала. О конце величайшего полководца, соблазнившегося очевидной слабостью русской армии, Мухтар-паша как-то не задумывался. Аустерлиц во французском военном колледже, где проходил боевую науку будущий турецкий генерал, вспоминался почему-то почаще, чем Березина.

Мухтар бросил последний взгляд на оперативную карту, радующую глаз тщательным исполнением свежей разноцветной тушью, хотя у генерала доставало опыта, чтобы не верить этим образцам штабистской старательности в рисунке и чистописании — в бою все окажется не так и не то: кто-то собьется с маршрута, опоздает или, наоборот, сунется раньше назначенного времени, где-то батальон напорется на целый полк

русских, а в другом месте прорвется едва ли не к штабной палатке противника.

Но карта — загляденье и возбуждает самые радужные наполеоновские мечты, кружившие не одну генеральскую голову.

В такой-то головокружительный момент и влетел в квартиру главнокомандующего его адъютант Сулейман. На храбром полковнике доблестной турецкой армии, испытанном в трудных боях в Сербии и Черногории, лица не было.

— Что случилось, Сулейман? Почему так запыхался? Приди в себя и отвечай.

— Русские!.. Бегли-Ахмет...

Как генерал молодой и быстро выдвинувшийся, Мухтар легко терял терпение и еще не считал нужным скрывать этого от своих подчиненных. Он закричал на адъютанта, повергая того еще в большее замешательство:

— Ты будешь говорить по-человечески?! Что русские? Какой Бегли-Ахмет?

— Русские разбили...

— Зачем им Бегли-Ахмет? Там нет наших войск.

— Были, глубокочтимый паша. Муса-паша с отрядом. Все бежали, кто жив остался.

— И Муса бежал?

— Впереди всех! Как заяц. — Адъютант оправился от ужаса перед Мухтар-пашой, перед русскими, от бегства разбитого отряда, за что и он как представитель главнокомандующего отвечал, и, гонец с дурною вестью, рад был выставить в наилучшем свете Мусу Кундухова, которого терпеть не мог за высокомерие, за то, что тот чужак, и просто из зависти. Какой штаб-офицер не завидует паше, да еще из инородцев!

Нельзя сказать, чтоб в гнев Мухтар-паша был прекрасен. Как всякий человек, избалованный с раннего детства, он в детство и впадал — безобразное, визгливое, капризное... И некому сказать, как постыдно жалок и мерзок главнокомандующий, когда он кричит и топает ногами, некому пристыдить.

На счастье Сулеймана, взгляд Мухтара-паши упал на растеленную на столе оперативную карту. Свежая, блистающая на солнце растушевка, только что сиявшая живою штабной мыслью величайшего из современных стратегов Османской империи, теперь она дразнила полководца, и красные стрелочки стремительных атак редифа обратились в ехидные кончики языка русских генералов. В бешенстве Мухтар-паша содрал карту со стола и растерзал ее в мелкие клочочки. Да и не



нужна она теперь — все эти изыски военной мысли вмиг обрратились в пустую фантазию. Равно как и основной расчет терзать противника партизанскими налетами на тылы, дороги, обозы в пределах Турции, а потом и в самой России, где отряд Кундухова промчится огнедышащим драконом, поджигающим восстаниями, настоящим джихадом все мусульманские провинции страны гяуров. У-у-у-у!!! И все это было сегодняшней ночью — такой сладкой, такой блаженной... С лучшей из жен его гарема! Какой позор! Мухтар расшвырял со стола карандаши, чернильницу, готовальню, беспощадно растоптал всех этих немых свидетелей фантазий и стратегических грез.

Истерика прекратилась. Как соната без коды — на самой высокой ноте. Не узнать было турецкого генерала. Краска ярости спала с лица, сменившись бледностью. Преодолев боль, он стал хладнокровно расспрашивать адъютанта в малейших подробностях обо всех обстоятельствах ночного нападения русских на лагерь отряда горцев. Сулейман, постыдно проспавший начало кровавой драмы и поддавшийся спросонку панике, от которой он так и не пришел в себя, поначалу был довольно нетверд в объяснениях, но потом, когда в помощь к памяти подоспело воображение, увлекся и излагал ясно, складно, но очень уж часто превосходя пределы достоверности. От Мухтара-паши, к которому вернулась, а после истерики обострилась тонкая наблюдательность и способность подмечать и быстро анализировать самые неприметные детали как в интонациях, так и в переменах лица рассказчика, не утаилось легкое злорадство Сулеймана, как бы прозревшего в своем докладе по части того, что надо было делать в той ситуации Мусе Кундухову и чего делать не следовало, как надо было оборонять пушки...

— Какие пушки? Откуда еще пушки?

— Два горных орудия, высокочтимый паша. Мы с Мусой-пашой посетили в Карсе Гусейна-пашу, и Гусейн-паша, выслушав доводы Мусы-паши, выделил ему три сотни всадников и эти орудия. Но, я и говорю, горцы не сумели сохранить артиллерию, Муса не послушал моего совета...

Этого еще не хватало! И за что Аллах так прогневался на несчастного Мухтара! Мало Кундухову своих головорезов — их не жалко, раз такие трусы, — но он еще и горные орудия — лучшее, что есть на вооружении турецкой армии, — проворонил. А какие грозные речи говорил, какой смелый был в обещаниях — самого Гусейна-пашу обольстил! Скрагу Гусейна — у него кос-

точки виноградной не допросишься; а тут две пушки и три сотни всадников!

Полковник Сулейман развивал тем временем мудрые свои теории, послушай которых Муса не проиграл бы битвы. Ах, Сулейман, Сулейман! Нельзя хитрить с сыном великого султана, ты и не заметил еле скрываемой иронической улыбочки своего любимого начальника. А ведь это конец твоей карьеры. И дни свои ты кончишь разжалованным рядовым редифа очень скоро — 4 июня сего, 1877 года у Драмдагского хребта, зарубленный от плеча до пояса казацкой шашкою.

— Иди, Сулейман, оставь меня! — Только сейчас в грозных нотках приказа бывший адъютант расслышал собственную катастрофу.

Целую неделю Мухтар-паша не принимал явившегося в ставку Мусу Кундухова, хотя каждое утро за бригадным генералом приходил один из адъютантов главнокомандующего с повелением прийти в приемную и ждать. В приемной дежурный офицер из невысоких чинов отбирал у него, бригадного генерала, шпагу, как у арестанта, на глазах у презренных штабных офицеров и писарей.

Мухтар-паша, случалось, выходил из своих дверей и, проходя мимо, не удостоивал Кундухова и взглядом. Вечером шпагу отдавали с таким презрением на холопском лице, будто это не боевое оружие почтенного шестидесятилетнего воина, а просто какая-то железная палка. Уж лучше бы сразу под суд!

Под суд отдавать Кундухова Мухтар-паша, однако, не собирался — громкое это дело немедленно отозвалось бы в Стамбуле, и тогда уж самому главнокомандующему несдобровать. Пусть казнит себя сам.

А через неделю его допустили на военный совет — без шпаги. И он был готов провалиться сквозь землю, когда главнокомандующий поднял его с места вопросом:

— А что скажет досточтимый Муса-паша?

И досточтимый Муса-паша вынужден встать при всех в своем жалком безоружном виде.

Вот в этом жалком, безоружном виде и свершилась казнь. Ему самому стало ясно до слез, что никогда он не будет имамом — ни Большой Чечни, ни Малой, ни даже самого захудалого аула. Мухтар дал понять Мусе Кундухову то, что видел ушлый начальник Терской области Лорис-Меликов едва ли не с первого взгляда: раб ты, Муса, раб до мозга костей. Тем и отличаешься от Шамиля. И нечего виноватых искать!

5 июня, на следующий день после разгрома у Драмдагского хребта сильного отряда Татлы-Оглы-Магомета-паша, Мухтар-паша неистовствовал. Та самая операция, которую он дважды столь тщательно планировал, провалилась из-за жалких трусов офицеров, предавших своего отважного генерала Магомета-пашу, убитого в том бою. Вместо того чтобы собрать отряд и биться до последнего, едва только упал, сраженный пулей, Магомет, командиры доблестной турецкой армии первыми поддались панике и бросили собственных солдат на волю быстрых ног и счастливого случая.

Мухтар-паша тотчас же учинил следствие и суд — скорый и правый. Он разжаловал в рядовые больше половины офицеров, а двоих — полковника Турсуна и подполковника Максуда — велел выпороть розгами. А командовать экзекуцией послал, в назидание, Мусу Кундухова.

Таким причудливым образом состоялся акт прощения Мусы-паша. Шпагу ему вернули навсегда, а проигранное дело под Бегли-Ахметом изобразили лишь досадным эпизодом в войне, да и значение той конфузии померкнет рядом с катастрофой, постигшей анатолийскую турецкую армию меньше чем через полгода; он будет искать смерти своей и вместо смерти получит орден, но доверия к себе не вернет никогда. Что для русской армии обернется великим благом: отряд Кундухова раз и навсегда потерял стратегическое значение и до самого конца войны ему не дадут провести ни одной самостоятельной вылазки, а советами озлобленного и в злобе ясно видящего старого генерала молодой и самоуверенный Мухтар-паша будет, на свою голову, демонстративно пренебрегать.

### КАТАСТРОФА

Если бы наместник его императорского величества на Кавказе Главнокомандующий Кавказской армией генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич был настоящим главнокомандующим, способным нести ответственность за жизнь каждого солдата, обеспечивать своим штабом победу над хитрым и ловким противником, он должен был бы принять какие-то меры в отношении Рионского отряда. Уж больно плохи там были дела: войска наши, терзаемые набегами аджарцев, науськанных турецкими эмиссарами, природным союзником

турок — малярийным комаром, продвинулись по непроходимым болотам за целый месяц всего лишь на десяток верст.

За месяц Дервиш-паша прекрасно обосновался у Цихиздзирского хребта и остановил робкое наступление генерала Оклобжио. Турецкий флот тем временем высадил мощный десант в Сухуми и взял этот город. Так что там, на Черноморском побережье, и опасно, и бесславно. Зато Действующий корпус за каких-то две-три недели войны отличился великолепно: без боя взяли Баязет, затем после блистательной операции пал Ардаган. Сладкий запах наград достиг чутких тифлисских ноздрей, и вот 29 мая 1877 года сам главнокомандующий со своим штабом и многочисленной свитой явился под стены осажденного Карса.

Положение командующего Действующим корпусом стало трудным и двусмысленным. Лорис-Меликов предвидел, какая суeta и бестолковщина начнутся в армии, какие интриги заплетутся вокруг него: теперь каждое его слово будет доноситься до слуха великого князя в таких удивительных интерпретациях — хоть волком вой, но волчий этот вой августейшего слуха не достигнет. В первое же утро генерал-адъютант Лорис-Меликов обратился с просьбой к главнокомандующему, чтобы тот в порядке служебном и по долгу чести издал приказ о вступлении своем в непосредственное командование и распоряжение войсками. Так в 1829 году поступил Паскевич, а в 1854-м Муравьев. Действующий корпус, таким образом, прекращает быть отдельным, а его командир становится непосредственным подчиненным главнокомандующего и безусловно выполняет все его приказы.

— Да-да, ты, пожалуй, прав, я подумую.

День прошел, однако ж вечером никакого приказа не последовало.

— Ваше императорское высочество, положение обязывает меня напомнить вам об обещанном с утра приказе.

— Я помню, помню... Но знаешь, дело это сложное, семь раз отмерить нужно. Но моя канцелярия работает. Завтра приказ получишь.

Что ж, слово свое великий князь вроде как и сдержал, и поутру Михаилу Тариеловичу приказ был вручен. Да вовсе не такой, о каком просил. «Прибыв в войска Действующего корпуса, — говорилось в нем, — Я оставляю по-прежнему все распоряжения и действия на Командире корпуса».

Это означало, что все успешные действия корпуса будут отнесены на счет главнокомандующего по самому факту его руководящего и вдохновляющего присутствия в войсках, а любая неудача валится на голову ответственного лица — командующего Действующим корпусом.

Ситуация. Хотя в отставку подавай! Ох как раздосадовался на себя Михаил Тариелович, что тогда, в ноябре, лишь пригрозил отставкой и пожалел Кавказского наместника, перепугавшегося объяснений с императором по этому поводу. Теперь же отставка равносильна бегству с поля боя. Лорис-Меликов давно приучился не врать самому себе и трезво оценивать свои способности. Он был честный кавказский генерал и дара полководца в себе не ощущал. Тем более что со строевой службой распростился навсегда еще гвардейским поручиком ровно тридцать лет назад. Но он твердо чувствовал свой долг. Чувства долга и ответственности придавали решительности в трудный момент, но напрочь отнимали, когда перед ним стояли проблемы стратегического порядка без прямой угрозы вверенным ему войскам. Слишком близкий по тогдашнему положению своему к главнокомандующему Муравьеву в прошлую войну, он был свидетелем и участником катастрофы 17 сентября 1855 года, когда провалился штурм Карса. Страх повторить ту ошибку сковывал мысль, и его приходилось преодолевать каждое утро. Увы, не всегда успешно.

Последствия приказа дали себя знать сегодня же. Ситуация на Кавказском фронте после Ардагана существенно переменилась, и надо было менять первоначальный план действий. Главнокомандующий и начальник штаба армии Павлов категорически отказались давать не то что указания — хоть какие-либо рекомендации.

— Собери военный совет, пусть твои генералы и решают, — отвечал великий князь.

Но оглядывая — штабного подполковника, адъютанта своего помощника князя Святополк-Мирского — на совет прислал, хотя и так нашлись бы доброжелатели и все ему расписали в самом желанном свете.

На заседании Лорис-Меликов поставил три вопроса.

Можно ли одновременно вести осаду Карса и наступать по направлению к Эрзеруму?

Если нельзя, то можно ли заняться осадой Карса и не обращать внимания на армию Мухтара-паши?

Нельзя ли полностью бросить осаду Карса и заняться исключительно разгромом Мухтара-паши?

Сам Лорис-Меликов склонялся к третьему варианту — пока турки не завершили мобилизации и обучения новобранцев, время работает на нас. Разгромив силами трех отрядов полевую армию Мухтара-паши, мы бы с меньшими затратами сия взяли Карс. Осада же крепости с оглядкой на растущую армию противника у себя в тылу только измотает наши войска и едва ли приведет к успеху.

Тут встал герой Ардагана генерал-лейтенант Гейман и, зажигаясь от каждой собственной фразы, повел речь о том, что вот, мы только достигли цели, еще немного — и крепость падет, а в такой близкий к победе момент командующий корпусом предлагает снимать почти завершённую осаду и гоняться по полям и хребтам за Мухтаром-пашой. На взгляд Василия Александровича, это не только малодушно, но и безумно.

— Враг в капкане, и мы его не выпустим! — заключил свою пылкую речь отважный генерал.

Федор Данилович Девель, начальник Ардаганского, бывшего Ахалцихского, отряда, говоря, обращался почему-то не к товарищам своим и даже не к командующему корпусом, а к подполковничку из свиты, адъютанту князя Мирского, ища как бы его благословения. А сам ведь генерал-лейтенант! Он тоже говорил, что не надо снимать осады, это-де, поднимет боевой дух турок, а наши солдаты, наоборот, не поймут нас, сочтут за малодушие и подумают, что сил у турок больше, чем у нас, станут их бояться...

Начальник штаба корпуса мрачно молчал, лишь кивком седой головы поддерживая Геймана и Девеля.

И так получилось, что, кроме командующего корпусом, не нашлось достаточно разумного человека, который увидел бы, что осада сейчас — напрасная трата времени, под Карсом достаточно оставить небольшой наблюдательный отряд, который демонстрировал бы присутствие наших основных сил и вел неусыпную разведку вокруг крепости; Мухтар же паша представляет сейчас самую серьезную опасность, на него и надо устремить всю мощь корпуса.

Нет, никто и слушать не хотел: все вдруг загорелись призраком близкой победы у Карса. Так хотелось главнокомандующему — не зря же он сюда приехал из Тифлиса, одолевая трудности долгого пути!

Лорис-Меликов, обложенный интриганами и сплетниками, не решился пойти против военного совета, наподобие Кутузова в Филях. Опять-таки и авторитет у боевого генерала, командира 20-й дивизии генерал-лейтенанта Геймана, казался выше, чем его собственный. Все-таки в армии Лорис-Меликов не командовал и батальоном и, хотя никто б не посмел даже намекнуть на это вслух, для строевых генералов и офицеров оставался «фазаном», а Василий Александрович прошел все ступени от унтер-офицера. С авторитетом Геймана Лорис посчитался и уступил. И это была его первая ошибка.

Не прошло и недели, как доставили радостную весть о Драмдагском сражении Эриванского отряда, но за ней — и тревожную: Мухтар-паша готовит ловушку отряду Тергукасова и собирает против него большие силы. Надо выручать. На требование Лорис-Меликова срочно отозвать из Рионского отряда десять батальонов в подкрепление Эриванскому отряду определенного ответа от главнокомандующего он не получил. Надо подождать, надо дать Оклобжию отличиться... Еще что-то в этом роде. Будто речь идет не о солдатских жизнях, а о шахматных деревянных фигурках. А действовать надо незамедлительно.

Лорис-Меликов вызвал к себе генерала Геймана:

— Вот, душа ты мой, тебе и победа над Карсом. Снимаю твою дивизию и кавалерию тебе отдаю — иди на Саганлуг Арзасу Артемьевичу помогать. Там плохо дело.

Выйти к Саганлугскому хребту вовремя не удалось — ждали, пока нерасторопные интенданты подвезут продовольствие, и потеряли на этом два дня. Тем временем турки перекрыли всякую связь с Эриванским отрядом, и только по слухам среди местных жителей узнали, что где-то под Даяром Тергукасов принял бой и вроде бы стороны остались при своих позициях.

Слух был не вполне достоверный. 9 июня турки во главе с самим главнокомандующим своими превосходящими более чем вдвое силами напали на расположившийся биваком отряд. По счастью, из лагеря выступил батальон майора Гурова для фуражировки, а в разведку отправился батальон полковника Медведовского.

Оба этих отряда столкнулись с турками, а начальники их, правильно оценив позицию, успели занять выгоднейшие для обороны места. Так что когда весь отряд, поднятый по тревоге, выступил в поддержку Гурова и Медведовского, противник уже безнадежно утратил выгоду от внезапности нападения.

Тяжело далась Эриванскому отряду победа в Даярском бою, который назовут потом битвой капитанов — так отличились в нем штаб- и обер-офицеры, проявив умение мгновенно оценивать ежеминутно меняющуюся обстановку и на свой страх и риск отдавать верные команды — ускользать от противника или, наоборот, кидаться в решительную атаку. Мы потеряли 450 человек, но то обстоятельство, что турецкие потери превысили 4 тысячи, служило слабым утешением. Боезапасы были истощены, никаких известий о главном отряде корпуса нет и долго не будет, так как все попытки с обеих сторон наладить связь кончались провалом — турецкие посты надежно перекрыли территорию, разделяющую отряды.

Тергукасову ничего не оставалось, как начать отступление.

Колонна генерала Геймана, в которой находился и командующий корпусом, подошла к Зивину — мощной крепости в теснинах Саганлугского хребта, защищавшей путь на Эрзерум, как и Ардаган, оборудованной англичанами по последнему слову военно-инженерной техники.

И опять был военный совет, и опять Лорис-Меликов остался со своим мнением в одиночестве. Он предложил обойти Зивин, обороняющийся сильным отрядом бывшего эрзерумского губернатора Измаила-паши, и дать в долинах Хоросана бой войскам Мухтара-паши, но не нашел поддержки у своих боевых генералов и уступил их напору. И напрасно. По опыту прошлых войн командующий знал, что турки в открытом полевом бою значительно слабее, нежели под защитой крепостных стен. Но и Гейман, и Чавчавадзе, и, разумеется, Духовской, никогда не принимавший сторону своего начальника, настаивали на штурме Зивина.

Всех как-то обнадежила сравнительно легкая победа под Ардаганом. И в особенности — генерала Геймана.

Эх, Василий Александрович, лучше б вам было не отличаться под Ардаганом! Легкие победы кружат голову и лишают бдительности. Враг ведь тоже не дурак и едва ли намерен делать вам новые подарки. К тому же Гейман, старый кавказец, привыкший иметь дело с разбойными отрядами Шамиля, не имел никакого опыта войны против регулярной армии, а это совсем другая война, и у нее свои законы.

После явления войскам великого князя на Геймана со всех сторон, а более — со свиты главнокомандующего посыпались комплименты, его объявили едва ли не единственным героем Ардагана; в конце концов он и сам поверил, что Ардаган взят

исключительно его одного смелостью и тактической мудростью. Смелость он там действительно проявил, и немалую, что ж до тактической мудрости... Была и мудрость, только не его, а командующего корпусом.

Сам же Гейман был превосходным кавказским офицером, эдаким лермонтовским Максим Максимычем, доросшим до генерала. Причем дорасти до генерала ему было несколько затруднительнее, нежели Максим Максимычу, по той простой причине, что по происхождению своему Василий Александрович был еврей, и хотя отец его из солдат-кантонистов выслужил себе личное дворянство и дал сыну образование в гомельской гимназии, начинать военную карьеру пришлось с нижних чинов. В 1845 году, он уже был капитаном, в очередной стычке с горцами его тяжело ранили пулей в плечо, отчего он навсегда лишился способности свободно владеть левой рукой. Мундир ему был тесен, он ходил в скюртуке и в таком-то неподобающем виде попался на глаза императору Николаю Павловичу, легкому на гнев, стоит ему заметить малейший непорядок в форме. Гвардейцев царь отправлял на гауптвахту за расстегнувшийся крючок на воротнике. А тут нате вам — пехотный капитан в скюртуке. Он бы еще бабий капот натянул. Но, узнав, в чем дело, император смиростивился и разрешил — единственному во всей армии! — носить скюртук вместо мундира даже на парадах.

Гейман еще не раз бывал ранен, не успев залечиться как следует, рвался в дело и вновь отличался в боях. Солдаты его любили, офицеры уважали. Прост был Василий Александрович. В атаку вел сам, бодря солдат веселым матерком. Распекал тоже матом. Правда, когда он как бы в сердцах бранился, не оставляло ощущение, что нецензурное слово Василий Александрович выучил специально к этому случаю. Но за отвагу и простоту ему прощали.

Будь генерал-лейтенант Гейман не так прост, едва ли б он с таким прямотушем поверил наглой лести из уст самого великого князя и его лизоблюдского окружения, он бы рассмотрел некую корысть в том, как его ненароком сталкивали лбами с командующим корпусом. Однако ж в силу столь внезапно вспыхнувшего самомнения Гейман стал совершенно неуправляем, находя поддержку во всем над головой Лорис-Меликова. Он, конечно, не интриговал и не ябедничал, как Девель, но весьма охотно и безоглядно пользовался привилегирован-

ным своим положением. И это еще немало бед причинит Действующему корпусу.

Ну что ж, Зивин так Зивин. Теперь дело за штабом, за грамотной рекогносцировкой и разработкой операции. В штабе 20-й дивизии заместителем начальника служил подполковник Воинов. До войны он был русским военным агентом в Эрзеруме.

Любит русский чиновник длительные заграничные командировки. Готов горло перегрызть, а лучше — донос написать на ближнего своего, если тот окажется на пути к райскому местечку в любой дыре, но чтоб за пределами Российской империи. Вот и Александр Максимович немало врагов пером своим поразил, а вырвался-таки за границу. Турция, конечно, не Лазурный берег, да и Эрзерум — не Рим и не Париж и даже не Константинополь, но все равно хорошо. Начальского глаза над тобой нет, местные власти тебя уважают, сам губернатор раскланивается. Хорошо, хорошо пожил Александр Максимыч в Эрзеруме. И состояньице кой-какое сколотил — переселенцы из России сами несут за обустройство свое на турецкой земле. Помогли, мол, Александр Максимыч. Что ж не помочь, хоть и басурман, а службу знает и за службу благодарит. Так бы и дальше жил, да вот война началась. Ну, ничего, при штабе как-нибудь и войну перетерпим... Кому война, а кому мать родна.

12 июня в 8 утра вызваны были Александр Максимович Воинов и помощник его в заграничной службе коллежский асессор Климентьев в палатку к самому командующему корпусом. За столом перед оперативной картой сидели сам Лорис-Меликов, генералы Гейман, Чавчавадзе, Духовской, Авинов, Комаров, человек с десять майоров и полковников — штабных офицеров и адъютантов.

— Душа моя, — обратился генерал от кавалерии к Воинову, — ты, говорят, все здесь должен знать. Покажи-ка нам, как Зивин этот чертов укреплен. Все сведения путанные: одни показывают одно, другие — другое...

Воинов был здесь года два назад, все тогда осмотрел, запомнил, на карту нанес. Укрепления показались ему тогда не-solidными — четыре редута с траншеями от них в разные стороны. Он и показал по памяти расположение этих редутов. Климентьев с готовностью подтвердил все сказанное.

— Странно, — усомнился генерал. — Мне доложили, что перед редутами они понастроили три ряда укреплений. А у

тебя — все уж как-то просто получается. Ударь в лоб — и бери за милую душу.

Гейман заступился за своего штабного:

— Александр Максимович в этих краях лет уж десять прослужил. Кому как не ему тут все знать! А мало ль чего паникеры нараскажут. У страха глаза велики.

— Нет, проверить все-таки надо. Отряди-ка, Василий Александрович, с подполковником Воиновым полусотню казаков, пусть еще разок проведут рекогносцировку. Мало ли что.

Пока Гейман давал распоряжение адъютанту, пока искали казачьего офицера в помощь Воинову, командующий вернулся к разработке операции, прерванной докладом бывших военных агентов.

Речь шла о пути обходной кавалерийской колонны генерала Чавчавадзе, чтобы ударить туркам в тыл. Вариантов было два: дорога короткая казалась труднопроходимой, но на другой заведомо терялось не меньше двух часов.

И кто тянул Александра Максимыча за язык? Но очень уж отличиться хотелось — два месяца идет война, а бедный подполковник даже к Анне 4-й степени не представлен.

— Я знаю еще одну дорогу — и короткую, и проезжую! Вот смотрите. — И на карте провел карандашом езженную им году в 73-м очень удобную, соблазнительную для обхода дорогу.

— Да что ты говоришь, душа моя, — опять усомнился командующий корпусом. — Мы тут специально всех опрашивали — никто не называет твою дорогу. Может, ее и нет уже? Мало ли — засыпало, размыло, тут ведь все меняется. — Генералу хорошо помнился конфуз с рекогносцировкой майора Витте.

— Да что вы, ваше высокопревосходительство, я эти места как собственный кошелек знаю! Есть там дорога, прекрасная дорога!

— Как собственный кошелек, говоришь? Ну что ж, отправляйся с казаками на разведку, а вечером, как нам доложишь о результатах, поступай в распоряжение генерал-майора Чавчавадзе. Будешь ему проводником.

Как проводил рекогносцировку подполковник Воинов, одному Богу известно. Только ничего нового против собственных утренних показаний он не обнаружил. Палатки, увиденные им вдаль за редутом, принял за кухни и прочие хозяйственные службы турецкого лагеря, в чем старательно и красноречиво уверял дотошно о том выпрашивавших генералов. Сомнений он не рассеял, но как не поверить штаб-

офицеру специалисту. И дислокация была утверждена по результатам разведки Воинова.

Нельзя, ох нельзя давить свои сомнения! Уже с началом атаки стало ясно — турки укреплены гораздо сильнее и грамотнее, чем это представлялось и Воинову, и самому генералу Гейману. Уже первый ряд окопов вдоль берега горной речки Ханы-чай оказался почти неприступен. Турки встретили нашу пехоту дружным и таким плотным огнем, что об овладении ближайшим укреплением с ходу не могло быть и речи. И как этот Воинов умудрился среди бела дня не заметить на добрую версту растянутых траншей и укрытий! Вершины вдоль Ханычая все же взяли. Да мало с того радости. Второй ряд окопов укреплен самой природой и английскими инженерами втрое надежнее. А сверху русские войска обстреливает артиллерия...

К трем часам дня наши солдаты не продвинулись ни на четверть версты. А потери несли немалые.

С наблюдательного пункта командующий увидел колонну, но шла она почему-то не с той стороны, откуда должен появиться со своей конницей и артиллерией Чавчавадзе. Увы, скоро, слишком скоро разъяснилось: оставив преследование Эриванского отряда, на помощь Измаилу-паше с основными силами турецкой армии пришел Мухтар-паша.

А нашей обходной колонны все нет и нет. Ей пути-то всего девять верст! Что ж там могло случиться?

День уж клонился к вечеру, когда на взмыленной лошади появился ординарец генерала Чавчавадзе. Он доложил, что генерал впервые в своей жизни не может исполнить приказа. Дорога оказалась непроходимой не только для орудий, но и для кавалерии. Надежды на благоприятный исход боя рухнули. Всего-то и достигли — за целый день одолели первую линию обороны. А положили девятьсот человек. Турки, правда, потеряли не меньше, но позиции свои они отстояли и торжествовали первую свою в этой войне победу.

В истории войн это не первый, конечно, случай, когда из-за нерадивости и упрямства всего лишь одного офицера терпит катастрофу целая армия. Но очень уж досадно. Воинова даже под суд не отдали и в чинах не понизили, не любил Лорис-Меликов наказаний, если и за собою чувствовал вину. А Александра Максимовича отстранили просто-напросто от оперативной штабной работы и поручили его заботам цензуры военных корреспонденций. Так и провоевал до конца кампании с журналистами. Да в наказанье ли дело? При таком, как г.о.

Зивином, числе убитых и раненых в сводках теряются имена, а люди, их носившие, становятся героями учебника арифметики, не желающей знать, что яблоневый сад, возвращенный унтер-офицером Ерофеевым, останется без ухода, что стихи нового Надсона — вольноопределяющегося рядового Евгения Косторезцева, бывшего студента-филолога Московского университета, так и не узнают журнальной страницы. А этих Ерофеевых и Косторезцевых почти тысяча.

Михаил Тариелович достиг высшего генеральского чина, еще в поручиках одолел страх перед собственной смертью и знал, что, командуя: «В атаку!», он каждый раз выносит кому-то смертный приговор — без суда, следствия, а главное, без вины. Не спасает и то, что, отдавая этот приказ, он не ведает, кого настигнет расстрельная пуля или граната. Назло самому себе, уже зная, как будет терзаться завтра, накануне боя генерал от кавалерии Лорис-Меликов непременно обходит войска и присаживается к солдатскому костру, знакомится с завтрашними героями, чтобы вынести из предстоящей бойни пусть одно имя, пусть одну судьбу. Хоть так спасти от равнодушного забвения многозначным числом.

#### НАУКА ОТСТУПАТЬ

После Зивина ни о каком штурме Карса или полевом сражении с выросшей в числе аж вчетверо армией Мухтара-пашы нечего было и думать. Эриванский отряд Тергукасова, обескровленный в боях у Драмдага и еще более под Даяром, по сведениям, уходил к своей границе, преследуемый вдвое превосходящей его армией Измаила-пашы. Ардаганский отряд Девеля был малочислен и способен только демонстрационными набегами — крайне редкими по причине известной робости громогласного и красноречивого генерала, — а больше самим фактом своего существования сдерживать Мухтара-пашу. Основные силы Действующего корпуса, потрепанные в Зивинском сражении, тоже требовали подкреплений.

Бессмысленной — теперь это даже упрямый храбрец Гейман понял — стала дальнейшая осада Карса: фураж и продовольственные запасы войск стремительно иссякали, а блокадный отряд сам запросто мог оказаться в кольце: с юга, с озера Ван, двигалась только что сформированная группировка Фаик-пашы, с запада угрожали основные силы противника, а гар-

низон Карса, и так немалый; после Зивина усилен был 30-тысячным корпусом, который ввел в город сам главнокомандующий Ахмет-Мухтар-паша.

Поскольку розы победоносной войны увяли и осыпались, зато выросли шипы, его высочество Главнокомандующий Кавказской армией со всей своей свитой счел за лучшее покинуть войска. Надо отдохнуть от переживаний, так что в Тифлисе наместник Кавказа пробыл недолго и отправился в Боржом. В силу чего Действующий корпус до осени остался предоставлен самому себе. На Промысел Божий и распорядительность своего командующего.

Ну и правильно. Теперь Лорис-Меликову никто не мешал. Отступление — дело бесславное, но ответственное и ума, воинской дисциплины, хитрости и осмотрительности требует, пожалуй, больше, чем безоглядный Sturm und Drang.

Вокруг Карса размещено было около сотни тяжелых осадных орудий. Хозяйство многотысячного отряда, ежедневно пополнявшееся в течение двух месяцев, тоже представляло собой ношу не из легких, а артиллерийского и интендантского транспорта явно было недостаточно, чтобы разом, в одну ночь сдвинуть всю эту махину с места. Значит, надо обратиться за помощью к местному населению, собрать арбы из ближайших деревень.

— Понимаешь, отец дорогой, — говорил Лорис-Меликов штаб-офицеру над вожатыми полковнику Кишмишеву, ставя перед ним деликатную и трудноисполнимую задачу, — нам нужно собрать пятнадцать, а лучше двадцать тысяч арб. И при этом чтоб ни одна душа не догадалась, для чего они нам нужны. Стоит среди этих турок пустить слух, будто мы снимаем осаду и отступаем, — кончай базар! Это ж такой народец — только силу уважают. Почуют, что дела наши плохи, тут же и предадут. И того гляди, как бы в спину не ударили.

— Но ведь вас все здешние старики помнят и уважают. А на Востоке стариков слушаются во всем.

— Ах, душа моя, цена их уважения известна. В ту войну меня тоже уважали. А как семнадцатого сентября штурм провалился, половина моих охотников к башибузукам перебежала. И пока я этих самых башибузуков не потрепал как следует, плохо дело было. Корки лаваша даже у армян не допросишься — боятся. А вдруг мы войну проиграем и уйдем, а им терпи потом в одиночку. Сейчас опять у населения разные толки пошли.

— Ну, это немногие панику разносят, а в целом...



— А в целом глазом повести не успеешь, запаникуют все поголовно. Мой тебе совет, душа моя: никогда не утешай себя общими словами, что, мол, мелочи, пустые слухи... В нашем деле нет мелочей. Вовремя панику не пресечешь — жди беды. Так что нам, я думаю, надо всячески демонстрировать свою силу. С сегодняшнего дня мы усилим обстрел. Пусть считают, будто мы к штурму готовимся. Вот под эту музыку и собирай подводы. И делай вид, что они к штурму нам понадобились.

В ночь с 23 на 24 июня из всех осадных батарей началась прицельная стрельба по городу и сильнейшему из его укреплений — Карадагу. Для корректировки огня была обустроена обсервационная станция. Теперь уже другого рода панические слухи терзали и окрестные деревни, и карский гарнизон — все были уверены, что под Зивиним русские только отвлекали противника от главного своего удара, и вот-вот Карс выбросит белый флаг или будет разрушен.

А в наш лагерь у села Енгикей со всех сторон потекли арбы, подводы. Перевозить тяжести на глазах у местных крестьян надо было с умом. Днем арбы шли из Енгикей к другому русскому лагерю, расположенному на Александропольской дороге около деревни Кюрюк-дара. Это не возбуждало в турках никаких подозрений. Зато из Мацры, что над самым Карсом, тяжести, в основном орудия, перевозились исключительно ночью и только казенным транспортом.

К ночи с 27 на 28 июня наши пушки устроили последнюю канонаду наподобие Прощальной симфонии Гайдна, в которой каждый оркестрант, отыграв свою партию, тушит свечу над пюпитром и уходит, забирая инструмент. Дав последний залп, каждая пушка тихо снималась с позиции и увозилась в ночную мглу. Последняя исполнила свою мелодию ровно в час ночи.

Утром турки, ожидая продолжения обстрела, сами открыли стрельбу по нашим вчерашним позициям. Никакого ответа. Усилили огонь. Вновь тишина.

Выслали разведку — никаких признаков осадного лагеря с кухнями, мастерскими, палатками, командными и наблюдательными пунктами — ничего. Никого.

Русский корпус будто растаял в тумане.

С большим запозданием Мухтар-паша вывел из Карса войска для преследования русских. Но и отступая, Лорис-Меликов постоянно держал противника в тревоге. Внезапные нападения то казачьих сотен, то драгунских эскадронов, то ночные вы-

лазки небольших отрядов охотников, демонстрация накопления сил то в одной местности, то в другой, слухи о вот-вот начинающемся контрнаступлении, умело внедряемые в уста не только местных жителей, но и лазутчиков турецкой армии, вносили такую бестолковщину в работу турецкого штаба, что Мухтар-паша уже и сам никак не мог принять какого-то твердого решения.

Отступление, в котором корпус, не упуская ни малейшей возможности потрепать противника, не потерял ни одного солдата и до последней телеги сохранил все свое боевое имущество, завершилось неподалеку от границы; корпусную квартиру командующий приказал расположить в селе Баш-Кадыкляр, памятном с 1853 года, когда он первым ворвался сюда с казачьим эскадроном, за что удостоен был Георгиевской золотой саблей с надписью «За храбрость».

Дожидаясь подкреплений, генерал Лорис-Меликов не изменил своей тактики постоянно тревожить армию Мухтара-паши короткими и победоносными набегами. Турецкий главнокомандующий, после Зивина и снятия русским корпусом осады Карса объявленный в стамбульских газетах новым Наполеоном (дождался-таки славы!), все никак не мог решиться на активные действия. Несколько попыток прорваться через русскую границу в конце июля были блистательно отражены отрядами генерала Ореуса и полковника Рыдзевского, и в турецкой столице, только что превозносившей полководца до небес, разом охладели к былым его победам и начали терять терпение.

Мухтар-паша заметно нервничал.

Отправленный по его приказу в охоту за Эриванским отрядом, Измаил-паша упустил Тергукасова и дал ему возможность, не потеряв ни единой телеги из чрезвычайно разросшегося обоза (к его отряду прибились сотни армянских семей, спасавшихся от погромов, которые турки и курды учинили в их селах), перейти границу, в Игдыре оставить обоз, раненых и беженцев, пополнить запасы и вновь вернуться в Турцию на помощь оставленному в Баязете гарнизону. Гарнизон этот, еще в начале июня блокированный курдами и 7-тысячным отрядом Фаика-паши, 23 дня держал героическую оборону. В смелой атаке 29 июня отряд Тергукасова освободил осажденных и увел гарнизон в Игдырь. Армия Фаик-паши была разгромлена и полностью деморализована, так что не могла участвовать в боях с русскими войсками.

Измаил-паша тоже не решался напасть на Эриванский отряд и вторгнуться в пределы Российской империи. Правда, здесь были свои причины — соперничество главнокомандующего и бывшего губернатора Эрзерума на поле интриг перед стамбульским престолом довело их до такой острой взаимной вражды, что им уже не до судеб Турции.

Впрочем, в Тифлисе, в ставке Главнокомандующего Кавказской армией тоже было не до судеб России. Война вроде как поутихла, из глубины России пошли наконец эшелоны с подкреплением, явно недостаточным, чтобы вести наступательные действия, но для передышки в активной обороне, которую Действующий корпус держал вдоль границы, вполне могло бы хватить, если бы не бесконечные болезни самарских гренадеров. Кавказский воздух, он ведь не повсеместно целебный, где-то и губительный для русского солдата, привыкшего к холодному, но сухому климату. Простуда, лихорадка валила с ног здоровенных, выносливых мужиков, так что пустяковый вроде переход от Тифлиса, где кончалась тогда железная дорога, до Эривани или Александрополя каждая часть одолевала едва ли не в половинном составе. Требования же командующего корпусом прислать привычные к сюрпризам местной природы полки с Кавказа Тифлис долго оставлял без внимания. У него свои игры. Полоса затишья на фронте — прекрасное время для всякого рода интриг в безопасном тылу при дворе августейшего наместника. Оттуда поползли настойчивые слухи, будто главнокомандующий склоняется к великой стратегической идее превратить в Действующий корпус Эриванский отряд, куда и будут направлены ожидающиеся из Москвы гренадеры.

Генерал Девель, который после Ардагана не отважился ни на одно сколько-нибудь серьезное дело, немедленно напросился к Тергукасову и уже исхлопотал от великого князя Михаила приказ переходить со своим отрядом в распоряжение Эриванского, давно требовавшего подкреплений. Снимать целый отряд с Ардагана, где он был хоть и пассивной, но постоянной угрозой тылам Мухтара-паши, было жалко, однако ж и Тергукасова оставлять перед полчищами Измаила-паши без поддержки значило погубить Эриванский отряд.

Но чтобы превращать его в корпус? Ни сам Тергукасов, ни Лорис-Меликов в планы эти великих тифлиских стратегов не посвящались, хотя сплетни, исходившие из Главной квартиры Кавказской армии, испортили нервы обоим.

В Главной императорской квартире на Балканах тоже не знали о хитросплетениях и тайнах Мадридского двора при тифлисском наместнике, но военный министр Милютин чувствовал, что на Азиатском театре творится что-то неладное. Он ни на грош не верил ни главнокомандующему на Кавказе, ни его помощнику генерал-адъютанту князю Святополк-Мирскому. Их депеши свидетельствовали об элементарной трусости обоих военачальников, больше пекущихся о самосохранении, чем о решительных действиях. Великий князь, не сумевший толком распорядиться 200-тысячной армией, шлет панические телеграммы с требованием новых войск, и теперь приходится уступать ему и отправлять готовые дивизии не в Болгарию, где так жарко, а в кавказскую прорву. И еще большой вопрос, не сгубит ли штаб Кавказской армии понапрасну и эти войска.

11 июля в Белу, где располагался император со свитой, прибыл фельдъегерь с Кавказа с письмом великого князя Михаила Николаевича Александру II. Главнокомандующий Кавказской армией, объясняя неблагоприятный оборот дел на Азиатском театре, снова жаловался на недостаточность войск, малярию в Рионском отряде и прочее, давно всеми слышанное. Оправдывая свой отъезд из Действующего корпуса, августейший генерал-фельдцейхмейстер выставлял разные неудобства и невыгоды своего личного пребывания в войсках. Хороший намек братьям, только мешающим собственным генералам вести войну на Балканах.

Письмо это поселило неясную тревогу в душе военного министра, и после недолгих, но тягостных раздумий Дмитрий Алексеевич решил командировать на Кавказ генерал-лейтенанта, профессора академии Генерального штаба Николая Николаевича Обручева, хотя толковый этот генерал, стратег и мыслитель, крайне был необходим здесь, в Болгарии.

Наставляя своего представителя, наделенного широкими полномочиями, Милютин заметил:

— Не стесняйтесь, пожалуйста, высокого положения кавказского главнокомандующего. Он труслив и бесхарактерен, его окружение ловко пользуется этим и играет им, как куклой. Но пуще всего великий князь боится прогневить брата своего императора, а ваши полномочия позволяют вам прибегать к этой угрозе.

Главнокомандующего в Тифлисе Обручев не застал. Его императорское высочество вместе с великой княгиней Ольгой Федоровной изволили отдыхать на водах. Всем и всеми в Глав-

ной квартире Кавказской армии управлял генерал-адъютант князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский. В отличие от младшего своего брата, азартно воюющего на каменистых дорогах Болгарии, этот воин с большим мастерством и ловкостью одерживал победы на дорогах ковровых.

Николай Николаевич был немало наслышан о подвигах этого рода, но князя Мирского он видел впервые, и впечатление от великолепно воспитанного и остроумного генерал-адъютанта поначалу складывалось весьма благоприятное. Правда, в вопросах сугубо военных Дмитрий Иванович был нетверд, но каждый раз он умудрялся как-то так изящно и непринужденно повернуть трудный разговор, что экзаменатор невольно сам отвечал на свой же вопрос. Да тут Обручева не проведешь, профессор и не таких выдвигал за свою академическую карьеру.

На третий день пребывания в Тифлисе Обручев почувствовал себя в положении Хлестакова, к которому потянулись чиновники с ябедками и ходатайствами. Бог ты мой! Да тут какой-то змеиний клубок взаимной ненависти, интриг, русская партия, армянская, грузинская, польская... Партии — тыловые. На поле боя как-то не до счетов по этому пункту, и люди ценятся несколько иными мерами. Здесь же, вдали от пуль и снарядов, битвы за будущие ордена и чины идут нешуточные и уже есть жертвы. Одного из заместителей начальника штаба Кавказской армии полковника Сутробова, перепутавшего партии и примкнувшего не к той, которую в тот момент поддерживал его начальник, хватил апоплексический удар. Вновь образовавшаяся вакансия вызвала большой переполох в адъютантской наместника, и Обручев, незадолго до войны ознакомившийся с теорией Дарвина, мог наблюдать воочию самую настоящую борьбу видов.

Князь Мирский только тем и занят, что сталкивает лбами генералов, высекая искры и раздувая пожар, в котором ему приятно, видите ли, руки погреть. В штабе армии полная неразбериха. Его начальника генерал-майора Павлова Обручев полагал за человека толкового и добросовестного. Платон же Петрович сам по уши влез во все эти дразги и совсем голову потерял. Только и способен оказался держать нос по ветру и внимать всякого рода советникам главнокомандующего из иностранцев — то французского генерала графа де Курси, то австрияка Виттенштейна. Своим тут не доверяли.

С головой, распухшей от чужих склок, Обручев отправился в Баш-Кадыкляр, в корпусную квартиру. Ничего хорошего он

от этой поездки не ждал — те же небось ябеды и обиды, те же живые картинки к монографии Дарвина о происхождении видов... Однако ж командующий корпусом удивил стойким — по крайней мере во внешнем проявлении — равнодушием к закулисной вокруг своей персоны тифлисской возне.

Ему было не до того. Интендантские службы не обеспечили корпус походными пекарнями, в близлежащих деревнях ни мельниц, ни пекарен тоже не было, а сухари — что ж сухари? Пища сытная, да не так чтобы полезная. Армию стал истязать сухарный понос, дизентерия... От генерал-адъютанта подвигов ждут, а ему приходится правильную ассенизацию военного лагеря организовывать, следить, чтобы нижние чины зеленых яблок не налопались, чтоб фрукты, потребляемые в несметных количествах, мыли перед едой, и издавать по этому поводу строжайшие приказы по корпусу.

Другой заботой Лорис-Меликова была демонстрация отсутствующей у него силы перед лицом Мухтара-паши. Он был изобретателен по этой части, хотя с большим простодушием признался Обручеву, что чувствует недостаток штабного образования: когда он в прошлую войну был полковником и командовал сотнями охотников, было как-то легче. Одного здравого смысла и боевой смелости для командования целым корпусом явно недостаточно. А тут еще собственный начальник штаба сказался больным и отпросился в отпуск. Пользы от него было немного, но остаться вообще без начальника штаба как-то неловко. Кого бы Николай Николаевич порекомендовал на эту должность?

Обручев знал многих кавказских штаб-офицеров и генералов — лишь тех из их числа, кто прошел курс в академии Генштаба. В Тифлисе ему попало на глаза представление к чину генерал-майора полковника Гурчина, на которого он еще года три назад обратил внимание, когда тот был слушателем академии. Очень толковый офицер с задатками отличного стратега — широкий кругозор, воображение и при всем том тщательность в мелочах. Лорис-Меликов видел Витольда Викентьевича в деле. В деле Гурчин был смел, но не отчаянно, а расчетливо и хладнокровно. Пожалуй, лучшего начальника штаба и не найти.

У самого Лорис-Меликова, конечно, чувствовалось отсутствие опыта командования большими армейскими соединениями, но он был чрезвычайно любознателен и любую мысль схватывал на лету. Обручев с большим удовольствием сам бы

пошел к такому командующему в начальники штаба — положение не позволяло. И такого человека сживают со света?! Удивительно.

— Да вам ли удивляться, Николай Николаевич, с вашей репутацией «красного». Сколько вы горюшка хлебнули за минутные романтические увлечения ветроголовой юности! Это ж какое счастье — да не для вас, для всего отечества, — что в России до сих пор на своем посту удержался военный министр Милютин!

Предел интригам придворной тифлисской камарилы положил Мухтар-паша. Не дождавшись никаких серьезных выступлений от Исмала-паши и собственным бездействием вызвав крайнее раздражение султана, под утро 13 августа, воспользовавшись тем, что колонна генерала Девеля покинула Ардаган и отправилась на усиление отряда Тергукасова, он напал на Баш-Кадыкляр.

Удар был внезапный и сильный, туркам удалось захватить первый ряд укреплений и господствующую высоту Кизил-тапа.

Командующий корпусом телеграфировал Девелю, находившемуся в пути на соединение с Эриванским отрядом, и приказал ему привести отряд на помощь. Девель в ответной телеграмме потребовал дать ему в прикрытии артиллерийскую бригаду, которая и была немедленно выслана. Корпус тем временем держал оборону. Попытка вновь захватить Кизил-тапу не удалась: турки успели хорошо укрепиться, бросив сюда свои резервы. В атаке был тяжело ранен командующий корпусной кавалерией генерал Чавчавадзе. Его тут же сменил генерал-майор Иван Лорис-Меликов, но момент азарта был упущен, атака захлебнулась.

В штабе корпуса, где злобного педанта Духовского сменил только что назначенный генерал-майор Гурчин, разработали план контратаки. По плану этому хватило бы пары батальонов из отряда Девеля для удара по туркам с тыла, и уже мечтали, как разовьем успех, как дойдем до Аладжинских высот, где противник сосредоточил свои основные силы, как развернем силы собственные для грядущих наступлений... Только бы Девель с отрядом не опоздал!

Час шел за часом, колонны Девеля не было. Сражение превращалось в бессмысленную бойню: равные по численности противники уничтожали друг друга в бешеной перестрелке, и ни у кого не было сил, чтобы завершить это дело, измотавшее и атакующих, и обороняющихся.

Уже в сумерках прискакал артиллерийский офицер и сообщил, что Девель, не дождавшись бригады, отвел войска свои на исходные позиции. Так был сорван план захвата Кизил-тапы.

В таком гневе командующего корпусом не выдвигали. Стены дрожали от его голоса:

— Эх-кой pistols! Храбрец! В палатке он храбрец! Когда его в бою видали?! Разжалую! Под суд отдам!

Ни разжаловать, ни отдать под суд струсившего генерала у Лорис-Меликова власти не было. Он только отстранил Девеля от командования отрядом и срочной депешей в Тифлис потребовал от великого князя незамедлительной замены Девеля в этой должности.

Когда депеша была доставлена в Тифлис и генерала Обручева как представителя Главной императорской квартиры ознакомили с ней, он приступил к решительным действиям. Дождавшись возвращения августейшего семейства с вод, он добился аудиенции у главнокомандующего с глазу на глаз. Выглядел генерал-фельдцейхмейстер великолепно: он хорошо отдохнул, посвежел и будто лет пятнадцать сбросил — ну никак не дашь сорока пяти! Взгляд его излучал изысканную доброту и благожелательность и как бы заранее, еще до просьб и жалоб, раздавал щедрые согласия со всем, что ему будет сказано. Лишь бы отвязались поскорее и не мучили никакими сложностями, никакими трудными вопросами.

— Ваше высочество, — начал Обручев, — меня крайне тревожит положение дел на нашем театре.

— Да-да, Николай Николаевич, вы совершенно правы, я уже сколько телеграмм отправлял его величеству — войск катастрофически не хватает...

— Дело не только в этом. Я хотел бы понять, с кем воюет Главная квартира Кавказской армии. С турками или с Лорис-Меликовым? Штаб армии совершенно неудовлетворительно распределил войска перед началом кампании. Мы потеряли время, дали Мухтару-паше провести мобилизацию, а теперь, когда Действующий корпус находится в положении затруднительном, вокруг его командующего плетутся какие-то интриги. Я слышал, в чью-то голову взбрело переподчинить корпус Тергукасову и продолжать кампанию с базой в Игдыре. Это безумие, ваше высочество. Мало того, что ваш штаб ставит в двусмысленное положение и Арзаса Артемьевича, и Михаила Тариеловича, но лучшего подарка туркам, нежели переформирование корпуса в разгар войны, придумать невозможно! Я

вынужден буду доложить об этом в Главную императорскую квартиру.

Испуг мелькнул в глазах главнокомандующего. Он представил себе, какая ответственность свалится на его плечи, осуществив он эту идею де Курси, еще вчера казавшуюся и ему, и князю Мирскому столь заманчивой. Впрочем, Михаил Николаевич легко отказывался от любых планов, едва почувствует исходящую от них хотя бы тень угрозы для своего положения или источник малейшего беспокойства.

— Видимо, предположение, о котором вы мне только что сказали, обсуждалось в мое отсутствие. Вы, несомненно, правы — неловко вмешиваться в дела Действующего корпуса в столь трудное для него время.

— К сожалению, результат этой возни вокруг корпуса уже налицо. Генерал Девель осмелился не подчиниться приказу командующего и сорвал операцию по возвращению важной позиции на высоте Кизил-тапа. Позвольте посоветовать вам, ваше высочество, утвердить решение Лорис-Меликова об отстранении Девеля от командования Ардаганским отрядом. Генерал Лазарев, о котором хлопочет командующий Действующим корпусом, как мне представляется, гораздо уместнее в этой должности.

— Но позвольте, Николай Николаевич, что ж это будет? Армянин на армянина и армянином погоняет!

— А вы хотите, чтобы русскую армию турок погонял? Нам, ваше высочество, решительно безразлично, к какой национальности принадлежит генерал, способный побеждать врага.

Нам — то есть императору и военному министру. Так следовало понимать слова Обручева, так их и понял сообразительный великий князь.

## ПЕРЕЛОМ

Между Баш-Кадыкляром и Карсом расположена горная цепь с малопрístupными от природы возвышенностями — Аладжинскими, Авлиарскими, Визинкевскими. Мухтар-паша, остановив преследование Действующего корпуса, сосредоточил там главные свои силы. Все лето на Аладжинских высотах и на Авлияре шли фортификационные работы. Создавалась мощная база для защиты Карса и, по возможности, которую Лорис-Меликов активным своим отступлением все никак не пре-

доставлял противнику, контрнаступления и вторжения в пределы Российской империи. Подарок Девеля, Кизил-тапа тоже ощерялась укреплениями.

Еще в июле штаб Действующего корпуса разрабатывал планы овладения Аладжинскими высотами. Велась активная разведка, поиски специальных отрядов прощупывали оборону, время от времени терзая отдельные ее участки. Генерал Лазарев, сменивший Девеля, по прибытии своем в корпус отлично организовал это дело. Он порядком истомился в первые месяцы войны, командуя бездействующими войсками в приграничных уездах и осаждая Тифлис нервными, беспокойными требованиями снять свои гарнизоны с мест и немедленно отправить в пределы Турции. Боевой генерал, рожденный для сражений и побед — смелый, быстрый и точный в мгновенных решениях, принимаемых по ходу дела, не в меру, правда, тщеславный и крутоватый характером, Иван Давидович был смертельно оскорблен холодным молчанием главнокомандующего и даже на Лорис-Меликова затаил обиду. Как это так: командующий корпусом — и не может добиться простейших вещей! Впрочем, сейчас не до обид — за дело Лазарев взялся с азартом, и его присутствие в корпусе очень быстро ощутил Мухтар-паша. Он теперь не осмеливался ни на какие набеги на наш лагерь, гадая каждое утро, откуда ему ждать опасности.

В конце августа, после освобождения от турок Сухуми, главнокомандующий отважился, наконец, и то под давлением Лорис-Меликова и генерала Обручева, снять часть войск с Черноморского побережья. А к исходу сентября пришли, наконец, из России казачья и Московская гренадерская дивизии и еще четыре батальона для охраны путей сообщения. Теперь можно было думать о наступлении.

Операция готовилась с особой тщательностью. Разрабатывал ее Обручев сам, разумеется, с помощью штаба корпуса, офицеры которого прекрасно знали местные условия, иные еще с прошлой войны. Командующий корпусом, ежевечерне принимая доклады о ходе дела, с трудом сдерживал нетерпение — хотелось немедленно ввязаться в схватку, отместить за унижение в Зивине, отобрать назад Кизил-тапу. Но крепился, держал себя в руках и чем острее чувствовал нетерпение, тем вдумливей искал изыскания в планах будущих атак.

План операции восхищал смелостью и строгой логикой. Наступление, по нему, должно вестись тремя колоннами по

центру и левому флангу, на правом же следовало лишь ско-  
вывать силы противника, не давая ему перебросить в поддержку  
слабых мест ни единого взвода. Справа же должна была вступить  
в действие обходная колонна и ударить в тыл.

Наконец подготовка была завершена, командиры колонн  
получили диспозицию, и на 20 сентября назначено было вы-  
ступление. Накануне командующий корпусом один, без свиты,  
объезжал войска.

Московские гренадеры завтра вступают в бой в первый  
раз. К ним и направился Лорис-Меликов.

Жизнь в лагере москвичей вроде ничем не отличается от  
вчерашней. Где-то слышится перебранка — это денщики двух  
офицеров не поделили господское имущество и препираются,  
чья это сапожная щетка:

— У его благородия с рыжим волосом, а твоя вся черная  
была.

— Да протри глаза! Где там рыжий волос?

— А вона. Ты его, шельмец, ваксой замазал...

И раздраженный голос из палатки:

— Да прекратите вы лаяться, дурачье! Завтра вам турки по-  
кажут рыжий волос.

— То завтра, ваше благородие. А порядок всегда быть дол-  
жон...

Где-то — здоровый солдатский гогот в добрый десяток лу-  
женных глоток. Ротный шут и балагур травит байки.

И только чуткое ухо генерала различало напряженное вол-  
нение и в этом смехе, чересчур веселом, и в этой перебранке,  
подчеркнуто заботливой.

Какому-то унтер-офицеру вздумалось разучивать с солда-  
тами новую песню. Боясь спугнуть, генерал остановил коня  
за кустарником, отделявшим его от поющего костра.

Ой, во поле стояла ракета,  
Ой, во поле стояла ракета;  
А под этой ракетой гусарик убитый.

— Трюхин, тебе что, медведь на ухо наступил? Ты, Трюхин,  
остановочку делай, остановочку:

А под этой ракетой...

— Теперь вздохни чуток, во-от, и продолжай:

Гусарик убитый.

— Дальше повели:

Он убит, принакрыт черною китайкой...  
Приходила к нему пава-жена молодая,  
Китаечку открывала, в лицо признавала...  
Ты встань-восстань, мой милый, гусарик убитый!  
Твой конь вороной по лужкам гуляет,  
Тебя молода жена домой ожидает,  
Тебя молода жена домой ожидает.

Генерал выехал на свет костра. Унтер-офицер всполошился,  
вскочил с места, за ним и солдаты... «Тарелыч, Тарелыч при-  
шел!» — зашептал неясными голосами воздух.

— Садитесь, садитесь. Ну как, все сыты-накормлены? Вин-  
ца по крышечке выдали?

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство! —  
за всех ответил бравый унтер. — Уж так нынче ублажили, прям  
как на убой...

И тут же смутился страшно от невольной игры слов:

— То есть, ваше превосходительство, как следует перед боем.

Получилось еще нелепее, и приглушенный смехок прошел  
вокруг костра.

— Ну а что, зададим завтра туркам перцу?

— Зададим, ваше превосходительство, не извольте сумле-  
ваться, еще как зададим! — Голос унтер-офицера, счастливо  
выпутавшегося с помощью генерала из щекотливой ситуации,  
завенел особым энтузиазмом.

— А что ж песни такие печальные поете?

— Уж больно за душу берет, ваше превосходительство, —  
подал осмелевший голос рыжеватый солдат с голубыми хит-  
рыми глазами. — Смерти — ее все равно не миновать, а вот  
как за душу заберет, так оно и воевать вроде как легче.

— Ну а веселее неужто ничего нет?

— Как не бывать, ваше превосходительство, есть и веселее.  
А ну, Пьецух, давай!

Рыжеватый солдат подмигнул хитрым голубым глазом и  
дал-таки звонким тенорком:

Выхвалялись злые турки,  
Будто в деле молодцы;  
А теперь мы их узнали  
Они первы беглецы!..

— Вот это другое дело! Вижу, завтра не дрогнете.

— Не дрогнем, ваше превосходительство. Мы привычные. Что бой, что парад. Бой так даже веселее. Разве что барин, ему тут все в новинку.

— Что за барин?

Барин — вольноопределяющийся Грушин из московских студентов. Он сидел в стороне на опрокинутом барабане и при неверном робком свете коптящего огарка, пристроенного к пеньку, читал книжку, довольно потрепанную. «Севастопольские рассказы», сочинения графа Льва Толстого.

Вольноопределяющийся — новинка милютинской военной реформы, и генерал-адъютанту как-то еще не приходилось ни с кем из них общаться. Посмотреть бы, что это за публика, способны ль воевать, как воет простой солдат. Все-таки это не прежние юнкера, сознательно выбиравшие военную карьеру.

Бравостью вида и выправкой вольноопределяющийся Грушин не отличался. Это был бледноватый, лишь слегка прихваченный загаром юноша с глубоко посаженными темными глазами, из которых в секунду воодушевления, как со дна омута, исходил нервный блеск и тут же гас, как гаснет и омут, едва солнечный луч помутится облаком. С ним как-то неловко было по-привычному начинать на «ты», невзирая ни на какую субординацию. Генерал от кавалерии усмехнулся, поймав себя на столь странном ощущении.

Впрочем, честь солдат отдал по-уставному правильно, старательно.

— Что ж вы один, в стороне?

— К сожалению, от природы обделен слухом и петь не могу. Да мне и так не скучно.

В Москве у вольноопределяющегося Грушина осталась мать, вдова надворного советника, младший брат, гимназист шестого класса, и две сестры. Невесты у Грушина не было, хотя девица Ховрина оставила ему какие-то надежды, которым он побаивался верить. Сам он прослушал два курса на историческом факультете, и генерал с легкой завистью взгрустнул — совсем бы другая была жизнь, не поломай себе статской карьеры глупый мальчишка из последнего класса Лазаревского института. Он бы сейчас был профессором, писал бы большие книги о былых царствах и забытых народах... Человек в любом чине недоволен своей судьбой. Все ему кажется, что в другом мундире жизнь его была б счастливее.

На войну Грушин пошел не то чтобы охотно, а из демократического стыда: как это так, какой-нибудь Тарас Пьецух

будет жизнь свою класть только потому, что он простой крестьянин и некому заступиться от призыва в армию, а я, молодой и здоровый, буду разгуливать с барышнями по Пречистенскому бульвару. Нехорошо это.

— Но в самой войне, честно говоря, я ничего хорошего не вижу. С какой это стати меня сорвали с лекций приват-доцента Ключевского, а, допустим, Али или Ахмеда — с его виноградника, одели в тяжелые шинели и заставляют убивать друг друга? Что он мне сделал? Что я ему сделал такого, чтоб жизни лишать?.. Не понимаю. Если уж так пошло, вызвали б вы, ваше превосходительство, на дуэль его превосходительство Мухта-ра-пашу.

Генерала рассмешила такая перспектива, он очень живописно представил себе поединок наподобие печоринского. Но смех оборвал на полуноте и строго сказал:

— Мы не можем так рассуждать. Наше дело солдатское: приказали — выполни, хоть ты рядовой, хоть фельдмаршал. Да и не советую: с таким настроением нельзя победить. А победа — единственное спасение для солдата.

Заговорили и о книгах, разумеется, о той, что лежала сейчас, заложенная сорванным дубовым листком на недочитанной странице, на пеньке со свечой. Читал Грушин последний из рассказов — «Севастополь в августе 1855 года». И этот перед боем не легкие юморески читает, а что «за душу берет». Все-таки интеллигент русский мало чем отличается от простого человека — в ситуациях острых те же чувства, те же потребности. Пока Лорис-Меликов додумывал эту свою мысль, слух полумеханически воспринимал рассуждения вольноопределяющегося из студентов.

— Вот граф Толстой. Образованный человек и писатель хороший, хотя до Чернышевского ему далеко. Но хороший, хороший писатель, тут я не спорю. Правда в нем есть. Только вот странно в середине нашего просвещенного века убогую молитву прапорщика Козельцова читать. А Толстой еще и восхищается. Вот он что пишет: «Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидела новые, обширные и светлые горизонты...» И это от наивной молитвы? Не поверю. Мне тоже завтра в бой идти, меня, может, тоже убьют. Но, право, стыдно молиться современному образованному человеку.

— Что ж тут стыдного, прекрасный юноша?



— Я атеист. — Сказано было гордо, Грушин как-то вдруг вырос и расправил плечи, хотя голос сорвался, и не сгустись так сумерки, видно было б, как запунцовели щеки. — Бога нет. И сам Толстой это знает. Ведь был бы Бог, разве б он допустил такой позор русской армии — сдачу Севастополя?..

— Как знать... — Генерал не сразу и нашелся что ответить пылкому ниспровергателю Бога. — А может, это испытание — не сдай мы тогда Севастополь, мы б крестьян не освободили. Впрочем, мне трудно судить, я сражался здесь, а здесь совсем другая война была. Как раз в августе пятьдесят пятого мои охотники на этом самом месте отличились, под Суботаном...

А лихой тогда был поиск под Суботаном! В ущелье у самого ручья сотни его отчаянных ребятишек нарвались на лагерь башибузуков — тоже хороших разбойников. На рысях промчались сквозь галдящую толпу, застигнутую врасплох, погнали их вперед, к Авлиару, а там их встретили казаки Дондукова-Корсакова. Завтра бы что-нибудь подобное!

Как это часто бывает с молодыми и неистовыми ниспровергателями основ, в Грушине пробудилось совершенно мальчишеское любопытство.

— А вы Толстого-то знали? Я еще его «Набег» и «Рубку леса» читал. Он, выходит, и на Кавказе служил.

— Знаком не был. Хотя когда увидел портрет в офицерском мундире, показалось, что узнал этого артиллериста. Очень может быть, что и в самом деле встречал. Да только дистанция между поручиком и юнкером побольше, чем между генералом и вольноопределяющимся солдатом. Мог видеть и не замечать. Я в молодости был глуповат и спесив. А ты все-таки помолись перед завтрашним боем. Не хочешь Богу — так Его отсутствию. Или Чернышевскому. Ему на каторге тоже молитвы чьи-нибудь нужны.

Важный чин, полный генерал, а прогресса, передовых идей не чужд. Это никак не укладывалось в революционное сознание двадцатидвухлетнего мыслителя.

Еще опытный воин посоветовал солдату Грушину силою воли одолеть первые шаги под обстрелом и не жаться к своим — в одиночку хоть и жутче, зато в тебя попасть труднее. С тем и уехал.

Всем хорош план операции, разработанный под руководством петербургского военного мыслителя генерал-лейтенанта Обручева. Все четко, точно, учтены, казалось бы, малейшие

детали как в пространстве, так и во времени. Кроме, пожалуй, одного. Тут не Марсово поле и не Михайловский плац, особенно для войск, пришедших из России. Они-то и сорвали начало столь блистательно задуманного наступления. Колонна самарцев вообще заблудилась в заросших непроходимым терновником ущельях и вышла на чужую позицию с большим опозданием, потеряв много сил понапрасну в преодолении бездорожья. В центре же удалось наладить наступление сразу и после недолгого сопротивления турки оставили гору Большие Ягны.

Гора эта господствовала над всей местностью, но Мухтар-паша не стал строить на ней мощных оборонительных укреплений и держать там большие скопления своих войск, поскольку она прекрасно обстреливалась слева с горы Малые Ягны, справа — с Авлиара, а с фронта — с идеально обустроенной Визинкевской позиции. Но едва только с Больших Ягн выбили турок, командующий корпусом отправился туда на рекогносцировку. Надо было менять диспозицию по ходу боя, а, наученный печальным опытом Зивина, Лорис-Меликов никому не доверял теперь столь ответственного дела.

Едва группа всадников поднялась на естественную площадку, с которой открывалась панорама сражения, турки усилили обстрел горы из дальнобойных орудий. Снаряды стали рваться совсем близко.

— Вот и чудненько. Какой прелестный обзор. Степан Осипович, голубчик мой, нанесите-ка на карту... — Договорить Лорис-Меликову не удалось. Прямо под его конем разорвалась граната, генерал успел спрыгнуть с ловкостью молодого корнета. Свита мигом сбежалась, но генерал как ни в чем не бывало взялся за бинокль.

— Ваше превосходительство, не ранены? Вам тут никак нельзя! — захлопотали вокруг адъютанты, штабные офицеры.

— Занимайтесь своим делом, господа. Видите, как турки раскрыли позиции. Извольте нанести их на карты. — Сам же только распорядился, чтобы убрали с глаз умирающего коня. Больно было смотреть в умные лиловые глаза ахалтекинца, не имея возможности облегчить его муки — у генерала никогда бы не поднялась рука пристрелить верного друга. Но через минуту командующий корпусом хладнокровно стал рассматривать ход боя у Суботана. Там было жарко, и снова, в который уж раз, ему захотелось стать простым офицером и ринуться с головой в драку. Нет, надо оберегать себя, а в драку бросать

какого-нибудь смелого майора, которого он и имени-то не знает. Генерал отдал соответствующие распоряжения, осмотрелся вокруг еще раз, как бы запоминая настоящее положение дел и прикинув, как сложится ход событий, если завтра из Суботана послать конницу на Хаджи-Вали — следующий крупный пункт укреплений на пути к Аладжинским высотам. И поручит он это дело племяннику своему Ивану Егоровичу Лорис-Меликову.

За три дня боев исполнить план Обручева до конца не удалось. Но турки потеряли все свои передовые позиции и отошли в глубину обороны, где уже не было столь прочных и выгодных для защиты и контратаки укреплений, как на Кизил-тапе, в Суботане и Хаджи-Вали. Надо строить новые, но уж теперь-то мы им не дадим и часу.

Дни и ночи в штабе корпуса кипела работа. Тщательно анализировались все обстоятельства минувших боев, и особенно промахи как в оперативном плане, так и в его исполнении. Успехи, впрочем, тоже были учтены. Гора Большие Ягны моментально ощерилась мощными полевыми укреплениями, оснащенными артиллерией. Наверняка Мухтар-паша, беззаботно оставив ее, раскаивается в своей опрометчивости и уж первым делом постарается отобрать ее назад и направит именно на нее свой первый и главный удар. И вожделенные Большие Ягны превратятся в ловушку для турок.

На этот раз решили значительно усилить обходную колонну: до двадцати трех с половиною пехотных батальонов, стольких же сотен и эскадронов кавалерии и 72 орудий. Возглавлять эту массу войск поручили генералу Лазареву. Только он мог провести на добрых восемьдесят верст целую армаду, да еще так тихо, что, когда противник обнаружит его, будет катастрофически поздно. Выступил Лазарев загодя, за три дня до назначенного часа.

Осенняя ночь в горах Турецкой Армении пронзительно холодна и ясна. Звезды низки, и потому кажется, что хрустящий морозец, седая заиндевелая роса и вызваны их снежным светом. Покой над миром в этих краях так тих и вечен, Арарат над тобою так торжественно высок и величав, что кажется, будто ты еще в раю, еще до изгнания, и вот-вот спустится со снежных вершин добрый Бог и заговорит с тобою о красоте создания Своего.

Вместо Бога в 5 часов утра 1 октября 1877 года полыхнули огнем и загрохотали две сотни пушек. Так началось знаменитое сражение за Авлиар и Аладжинские высоты.

Турок артиллерийская подготовка врасплох не застала. Они тут же открыли ответную стрельбу. Как и предполагалось, первым делом Мухтар-паша бросил с трех сторон свои таборы на Большие Ягны. Но не зря здесь целую неделю работали саперные батальоны под командой полковника Бульмеринга. Не зря здесь стояли отборные войска генерала Геймана. Весь день шли упорные бои, турки бросались в отчаянные атаки — безуспешно. Тем временем на правом фланге кавалерия генерал-майора князя Щербатова налетела на Малые Ягны. Умокла артиллерия, поддерживавшая атаки турок в главном направлении. А с наступлением темноты стало окончательно ясно, что Большие Ягны потеряны Мухтаром-пашою навсегда.

Утром 2 октября у себя в глубоком тылу турки обнаружили мощную колонну противника. Это отряд генерала Лазарева, заняв село Базарджик, где Иван Давидович напрасно прождал приказа о дальнейшем наступлении, посланного ему от командующего корпусом еще в 5 утра по телеграфу и проплутавшего Бог весть сколько за адресатом (и прогресс дает сбои!), лишь к полудню двинулся вперед. Турки, увидев лазаревскую колонну, всполошились, донесли своему командующему. Мухтар-паша с высоты Чифт-тепеси — теперь высочайшей вершины, оставшейся в его власти, — увидел надвигающуюся опасность и срочно бросил против Лазарева девять таборов Рашида-паши. Но время было упущено. Наша обходная колонна успела занять выгодные позиции и отбросила неприятеля на Орлоксские высоты — последние укрепления на дороге к Карсу. Лазарев, заметив, что на помощь Рашиду-паше идут полки от Визинкева, двинул наперерез подкреплениям пять сотен конницы подполковника Маламы.

Ох и славное вышло дельце, когда турки еще на полпути к Орлоку наткнулись на наших кавалеристов! Конники, спешившись, заняли дорогу и встретили врага дружным залпом.

Около часа бились с противником, удерживая наступление, пока не подошел на выручку пехотный батальон. Тут уж сами двинулись вперед и погнали турок аж до окраин Визинкева.

И тут Лазарев решил, не теряя времени, занять Орлоксские высоты до наступления темноты. Дербентский полк во главе с полковником Кавтарадзе совместно с батальоном саперов так решительно и быстро ринулся в атаку и посеял в рядах

противника такую панику, что турки, бежав, не успели и сообразить, что их самих было по крайней мере в пять раз больше, чем русских. Другие батальоны штурмовали Базарджикские высоты, и столь же успешно. К исходу дня обходная колонна Лазарева обосновалась в глубоком тылу правого фланга армии Мухтара-паши. Как только в Базарджике открылась полевая телеграфная станция, Лазарев отправил в Главную квартиру донесение: «Стою с отрядом в виду визинкевских лагерей. Необходимо завтра с рассветом атаковать от Хаджи-Вали и Ягны — Визинкев».

В ночь на 3 октября никому уж было не до звезд. Солдаты и офицеры, измученные двумя днями непрерывных боев, спали тем особым фронтовым сном, в который проваливаешься в том месте, где тебя скосила усталость, и вроде бы вмертвую, но нет, и сквозь крепчайший сон держится тревога и готовность вскочить на ноги по первому звуку команды. А в Главной квартире никому не до сна. К четырем часам утра составили диспозицию и разослали всем начальникам колонн и отрядов. Основной удар был сосредоточен на Авлиар. Туда направлялись колонны генералов Геймана и Авинова. На Аладжу должна пойти колонна генерала Роопа, состоящая главным образом из дивизий, присланных из России.

Вольноопределяющегося Грушина из крепкого сна выбила какая-то неясная мысль из тех, что так и не находят воплощения в слове, но вносят смутное беспокойство. За эту неделю он, как ему казалось, уже освоился с войной, то есть полностью отдался автоматизму необходимых движений. Прав был тогда генерал: главное — одолеть первые шаги, когда над головой, ревя, проносятся снаряды — идет артиллерийская дуэль, — а навстречу тебе летят с противным свистом пули и воздух перед тобой становится плотным, оказывая сопротивление шагу. Цепенеет душа, и сковывает тело. И будь Грушин один, ему было бы не одолеть шага. Но другие-то, из народа, который Грушин привык снисходительно любить и жалеть, идут. У них что, страха нет? Страх все-таки есть. Рядом с Грушиным рыжевато-хитрец из хохлов Тарас Пьецух с вечно веселым, как и полагается ротному балагуру, выражением лица. Сей же час он бледен, губы вытянуты в чуть розовую ниточку, а над переносицей образовалась суровая, сосредоточенная складка. И все солдатские лица напряжены, сосредоточенны, суровы, и даже совершенные мальчишки сбросили юность, как шелуху. На-

верно, и я сейчас как бы без возраста, успел подумать Грушин и услышал команду:

— Ложись!

Недоумевая, лег. Тут же новая команда:

— По-пластунски вперед!

Вроде как все пополз.

— Барин, голову пригни, — шепотом приказал унтер-офицер Мурашкин — тот, что разучивал с солдатами песню про убитого гусарика.

— Я тогда не вижу, — ответил Грушин, но голову опустил.

— А и не надо, ты ползи себе и ползи, пока не скажут. Ты локтями, локтями работай, барин.

Эти команды-советы унтера Мурашкина как-то отвлекли внимание от свистящих пуль и рвущихся где-то позади снарядов.

Проползли минут пять, роту подняли:

— А теперь — бегом!

Добежали до кустарника над пересохшим ручьем. Остановились.

— Передохни, барин, — сказал Мурашкин. — Сейчас на дело пойдем.

Грушин оглянулся на пространство, только что преодоленное. Несколько человек лежали на склоне холма, с которого они только что спустились, и в долине пересохшего ручья. Со стороны нашей позиции к ним подползали солдаты-санитары. «Это что же, и я мог там остаться?» Мысль пронзила колени. Они вдруг мелко-мелко задрожали, и Грушин едва удержался на ногах.

Вид у него был, наверно, бледный, потому что Мурашкин тронул Грушина за рукав и тем же шепотом добрый дал совет:

— Ты, барин, не оглядывайся. Проскочил, и слава Богу. Нас уже не достанет. Мертвая зона. Ты теперь вперед смотри. Примеривайся.

Впереди же был крутой склон горы, где на высоте метров с пятьдесят сложен был из камней широкий бруствер, с которого турецкие солдаты вели ружейный огонь по нашей стороне, откуда пошла еще одна цепь пехоты. Бегом, ползком, бегом, оставляя новых убитых и раненых.

За второй цепью третья, четвертая...

Наконец, последовала команда:

— Вперед, братцы!

Грушин вместе со всеми карабкался вверх, оскальзываясь, хватаясь руками то за куст, то за пучок травы. Мысли исчезли, остался какой-то инстинкт, подсказывающий, куда ступить, за что зацепиться. Потом кричали «ура!» — это самые ловкие одолели бруствер, ворвались в турецкую траншею. Грушин уже не помнил как, но тоже оказался в траншее, тоже кричал «ура!», на него наскочила какая-то фигура в синем мундире, и Грушин, защищаясь, двинул вперед себя штыком. Успел только услышать крик и удивиться тому, как легко штык пропорол чужое тело. Потом он стрелял, не целясь, по бегущим, точнее, по карабкающимся вверх и сам вместе с другими полез вверх, там снова была траншея, и снова пришлось работать штыком, только на этот раз он успел увидеть худое лицо в голубой щетине, черные сливовые глаза, но дальше опять стрельба, опять карабканье по склону и новая турецкая траншея. Своих он давно потерял, вокруг незнакомые лица из чужих рот, а может, и батальонов, и он давно уже исполнял чужие команды. И время куда-то пролетело, он только чувствовал жару, сменявшую утренний морозец, где-то обронил шинель...

Вдруг упала тишина. Грушин по инерции пробежал несколько шагов, пока не понял их бессмысленности. Бой кончился.

Оказывается, целый день прошел. По-южному стремительно сгустились сумерки. Грушин огляделся. Вокруг в странном нерусском порядке нерусские же саманные дома с плоскими крышами. На площади перед ним бедненькая мечеть, а за нею видна каменная армянская церковь. По улицам зажигаются костры, и слух, вернувший себе способность слышать не только команды, а весь мир, различает чей-то смех, чужие разговоры и крики унтер-офицеров и фельдфебелей: «Пятая рота! Эй, пятая рота! Вторая рота, ко мне! Третья рота!..» Издалека, с другого конца села, донесся характерный клич Мурашкина, созывающего шестую роту.

— Барин! Барин пришел! — Радостные голоса встретили Грушина у большого костра с высоким постреливающим пламенем.

Солдаты раздвинулись, дав ему место на бревнышке.

— А барин-то у нас молодцом! — В словах солдата Буркалова, которого Грушин знал только по фамилии, чувствовалось не столько восхищение, сколько искреннее удивление: вот ведь, мол, барин, образованный, а в деле оказался такой же, как

мы. Что они, за труса меня держали? И, одолев неловкость, так прямо и спросил:

— А вы что, за труса меня держали?

— Не, не за труса, конечно. Да только... не барское это дело в атаку ходить.

— А офицеры? Ротный-то наш, он ведь тоже молодцом.

— Так то охвицеры, их на то сызмала в кадетском корпусе учили. А ты, барин, другие науки превзошел. И охвицер, он командовать должен, а не штыком пороть. Планида другая, — зафилософствовал рыжеватый Пьецух. Речь его была серьезна, а глаза веселые и хитрые. Та суровость, что заметил в нем Грушин утром, растворилась без следа. — А как наш барин турку-то заколол! Ражий такой детина, без ножа кормленный как пойдет на барина, а барин ка-ак вдарит!

И представил всем, как турка пошел на барина, как руками замахал, падая, да так уморительно, что все вокруг хохотали до истерики. А Грушину стало неловко. Это он завтра поймет, что в надрывном хохоте исходят преодоленный страх, и скорбь по товарищам, оставшимся позади кто до скорого излечения, кто инвалидом до конца жизни своей, а кто и навсегда, и жалость, и отвращение — десятки чувств, названных и неназванных, но цепких и неотвязных и лишающих воли, а завтра-то снова бежать куда-то вперед, брать траншеи, убивать... И если держать все это в себе — гиблое дело. Но пока Грушин этого не понимает, ему просто неловко быть героем роты, о котором все говорят в третьем лице и величают барином. «Барин»-то и смущает его больше всего.

В Москве, когда он напросился в армию, ему казалось, да что казалось — уверен был, что сольется с солдатскою массою. А как же иначе? Вот в газетах, подсчитывая потери, пишут: «Погибло штаб-офицеров 7, обер-офицеров 16, нижних чинов 243...» Штаб-офицеров называют поименно, обер-офицеров, при небольших сравнительно потерях — тоже, нижние чины остаются безликою массою, выраженной в числах. Даже награды нижним чинам, Георгиевские солдатские кресты за храбрость, — тоже равнодушным числом.

А как народоволец Залепухин радовался за него и уверял, что непременно студент Грушин сольется с простым народом и посеет в нем передовые общественные идеи равенства, братства и социализма. Сам Залепухин уже ходил в народ и проповедовал борьбу за всеобщее счастье в лесах Костромской губернии, за что был арестован и два года страдал в минусин

ской ссылке. Он много об этой своей ссылке рассказывал, и о тюрьмах — Костромской, Владимирской, но никогда ни словом не обмолвился, как повязал его любимый народец и сдал в полицейский участок. Залепухин и теперь собирался кончить курс вольнослушателем, а потом снова отправиться в народ. На этот раз на Тамбовщину, там, говорят, мужик сознательнее костромского и больше подготовлен к революции.

Уже в учебной роте никакого слияния с массами не получилось. Грушин оказался довольно бестолков и неловок. То, что простым новобранцам давалось легко, как дыханье, Грушину, непривычному к физическому труду, стоило злых одиноких упражнений в часы, когда все разойдется, отпущенные по своим делам.

Да и то, оценивая себя строго, Грушин не достиг естественной привычки в солдатском деле, хотя силою он, пожалуй, многим не уступал.

Фельдфебелям учебных рот вольноопределяющиеся из людей высокого звания, образованных, были в новинку, и они обращались с каждым образованным как с тончайшего стекла хрустальной рюмочкой, ненароком оказавшейся в могучих медвежьих лапах. Это потом уж они освоятся, начнут покрикивать, хамить, а иные даже издеваться, мстя обделившей их с рожденья судьбе и завидуя. Но это — потом, к следующей, японской войне. А сейчас они недоуменно-почтительны. И солдаты, видя неуклюжесть вчерашнего студента, вовсе не чувствуют своего превосходства, а стараются во всем оберегать барина, как Савельич Гринева.

Трудности перехода, уже в составе Московской гренадерской дивизии, уже за Кавказом, он одолел тоже через силу, больше стараясь не отстать, чем не отставая. Но Грушин все надеялся, что будет бой, он покажет себя героем, и тогда солдатская масса примет его, и сам он станет народом скорее и успешнее, чем народоволец Залепухин.

Бой прошел. Героем он себя не почувствовал, хотя все у костра только и говорят что о барине, как барин штыком задрал одного турку и еще одного, как барин стрелял и несколько раз попал. Барин, барин... И вот ведь что странно. Кроме унтер-офицера Мурашкина, которому прострелили плечо на Черной речке в Крымскую войну, все были в настоящем сражении в первый раз, у каждого свои заботы. Но почему все они подмечали за баринком, и ведь мало кто врал — подсказывали такие детали, которые глаз механически отмечал, и они бы наверно

забылись, но вот его товарищи рассказывают, и в памяти оживает колючий куст, за который он уцепился и вырвал с корнем, едва не сорвавшись, и камень на бруствере третьей траншеи, которым он швырнул в турок. Камень ему просто мешал, и отшвырнул он его не задумываясь.

А потому, догадался Грушин, и дела всем до барина, что он — особенный. Как жираф в Московском зоопарке. И смотрят на него, как младший брат Алеша на жирафа, когда он привел его в позапрошлом году в зоопарк. Нет, не на жирафа, скорее — на обезьяну, способную повторять человеческие жесты.

Вольноопределяющийся Грушин и уважение к себе чувствовал, но — не слияние. Осталась дистанция. Дистанция, поглотившая имя. Ведь не скажешь: «Что вы все «барин» да «барин», зовите меня Федей». И уж тем более Федором Аполлоновичем не представишься, впрочем, так его еще никто не называл.

А ночью ужас напал на Грушина. Едва он смежил веки, как увидел давешнего турка, им убитого, — голубая щетина на худом лице, большие глаза с фиолетового оттенка белками. И запах чужой крови почувствовал, да так явственно, что едва вырвался из палатки, упал на траву, тут и началось... Спазм за спазмом, и желудок стал пуст, а его все крутило и крутило. Разбуженный солдат Пьецух выбежал из палатки, захолопотал вокруг барина.

— Ты не бойсь, барин, с кем не бывает. Ты вот лучше на, водички выпей. А еще лучше — винца. Хошь, спрошу у унтера?

— Не надо, какое вино. Все уж пусто.

— А ты выпей, барин, выпей. На душе-то и полегчает. От вина грех с души сойдет.

Сказал, озадачив, и скрылся в палатке, откуда слышался шепот:

— Пал Фомич, винца выдай. Барину, вишь, плохо. Турку жалеет небось, кого убил.

Ответа Грушин не услышал, но вскоре появился Тарас с двумя крышками, до краев наполненными водкой.

— Давай, барин, пей. И я с тобой. Прости, Господи, прегрешенья наши!

Странное дело, но теплая, противная водка, выпитая через силу и с отвращением, вместо ожидаемой пустой и потому особенно мучительной рвоты прекратила спазмы, и как-то действительно полегчало.

— А ты, барин, турку-то не жалеи. Война дело такое. Не ты его, так он тебя. Наших-то вон сколько полегло. Белкин, Гудов, Еропкин, Ржачев, — стал перечислять Тарас, загибая пальцы.

За именами вставляли лица еще вчера вот так же сидевших у костра и подпевавших унтер-офицеру Мурашкину. Иван Белкин, похожий на Алешу Поповича, розовощекий исполин с наивными серыми глазами, курносый рязанец Аким Гудов... Еропкина Грушин по имени вспомнить не мог, тот всегда как-то прятался по углам, взглядывая из глубины черными быстрыми глазками, а Пантелеймон Ржачев отличался степенностью отца большого крестьянского семейства. А завтра в сводках о потерях лица эти исчезнут за цифрой — 640 нижних чинов.

Вольноопределяющийся Грушин представил себе избу, крытую дранкой, где-нибудь в глухой нижегородской деревне, сильную русскую бабу Ефросинью или Катерину, детей ее малолетних, и вот с утра уже на его глазах баба стала вдовой, а дети — сиротами. И еще яснее увидел вольноопределяющийся Грушин их скромную квартирку на втором этаже особняка в Воронцовском переулке, на углу Дегтярного, мама читает свежий номер «Вестника Европы», сестры Люба и Лиза шепчутся за рукодельем, а брат Алеша склонил остриженную голову над тетрадкой, он сейчас и тетрадку увидел, и как новое стальное перо, брызгаясь, царапает бумагу... А у того турка тоже где-нибудь дом и старательный брат выводит арабскую вязью урок, заданный в медресе.

— Нет, лучше б он меня убил.

— Ах, барин, себя не жалеешь, пожалей *своих*. Может, этот твой турок нашего Белкина убил. Или Еропкина. И выходит, что ты отомстил. Благое дело сделал.

Вот ведь философ какой этот Пьецух!

Заснуть Грушин долго не мог. Он сжался калачиком под грубым солдатским одеялом и сам себе показался маленьким-маленьким мальчиком дома, в детской. Иконка в углу, лампадка горит темно-розовая, почти фиолетовая, и ему вдруг страстно захотелось молиться детскою безыскусной молитвой, как Володя Козельцов у графа Толстого. И тут, выходит, генерал был прав, засыпая под молитву, подумал передовой человек просвещенного XIX века вольноопределяющийся Федор Грушин.

За эту неделю, что миновала с первого боя, Грушин свыкся со своим положением барина в роте, никаких, разумеется, не извлекая из него выгод. Он просто откликался на «барина» и вел себя *естественно*, принимая от товарищей услуги, когда им хотелось услужить, но стараясь все же всякую работу делать без чужой помощи. Еще он понял, что нечего соваться к *простым* людям с передовыми идеями, вычитанными из Добролюбова и Чернышевского и потайных брошюр «Народной воли», которыми их кружок снабжал неистовый пропагатор Залепухин. Сложим завтра головы что солдат, что генерал — вот и все тебе, Илларион Залепухин, равенство.

Грушин вышел из палатки.

Тьма над горами была уже жиденькая. Звезды не блистали тысячами холодных огоньков, а рассеивались, уменьшаясь в числе и потихоньку растворяясь в светлеющем небе. В горах Грушин, не выезжавший дальше Калужской губернии, где у дяди его Константина Максимовича было небольшое имение, чувствовал себя вовлеченным в какую-то игру, где все было как бы понарошку. Хотя боль в пятке, стертой во вчерашнем переходе, была вполне живой и вполне осязаемой, чужая природа окружала его, как театральная декорация.

Баба-бах! — грохнуло оружие, и Грушин вздрогнул. И та тревога, что подняла его из глубокого сна, толкнулась в груди.

«Надо надеть чистую рубаху», — подумал солдат. В эту минуту скомандовали: «Подъем!» — и ни для каких мыслей места не осталось.

Их наскоро покормили, и вот уже рота цепью идет на турецкие траншеи: бегом, ползком, снова бегом.

Турки на этот раз дерутся отчаянно, их тоже встретили штыками, и уже никакого «ура!», а мрачное сопение в молчаливой рукопашной драке. Грушин получил удар кулаком в глаз, и звезды брызнули; не разбираясь, сунул в кого-то прикладом, а очнулся, в себя пришел, когда турок все ж таки вытеснили из траншеи и солдаты наши лениво постреливали вслед спасшимся. Грушин стрелять не мог, у него разболелся заплывший глаз, но вид был, наверно, бравый, унтер Мурашкин, скупой на всякого рода одобрения, похвалил барина.

Передышка, впрочем, была недолгой. Их снова подняли на следующий ряд укреплений.

Глаз болел, но Грушин чувствовал счастливое возбуждение, он вспомнил на бегу утреннюю тревогу и порадовался, что то было пустое суеверие, и еще какую-то мысль хотел продумать,

слова напрашивались... В прыжке Грушин рухнул на руки унтер-офицеру Мурашкину, и только звук «Бо...» успел исторгнуть. Мурашкин бережно положил на траву отяжелевшее тело. Вот все, что он мог сделать для барина. И повлек за собою солдат своих дальше. День только начинается, и бой будет жаркий, и Бог его знает, как все сложится.

Для старого воина унтер-офицера Мурашкина сложилось все куда как складно. Турки у Аладжинских высот бились так отчаянно, что еще за полдень было непонятно, за кем останется эта мощно укрепленная гора. Траншеи переходили из рук в руки, и упругая сила, витавшая в тугом воздухе, металась из стороны в сторону и в какой-то момент решила — турки дрогнули. Верхний ряд оборонительных сооружений с двумя батареями дальнобойных орудий взяли почти без боя...

У турок в этом направлении осталась последняя высота — Чифт-тепеси. Сюда устремились, ища спасения, защитники Авлиара и Аладжи. Их бегство внесло такую панику, путаницу и бестолковщину, что, едва русские показались у подошвы горы, обороняющимся стало ясно: и Чифта им не удержать. Но остановить бой и сами турецкие генералы не могли. Команды не доходили до офицеров, связи были расстроены, управлять обороной Чифта стало невозможно: кто-то очертя голову и визжа неслась невеста куда спасаться, а кто-то, так же очертя голову, лез в бесплодную рукопашную на русских. Вот в такой-то рукопашной турецкий офицер отбивался от могучего Мурашкина здоровенной палкою. Гренадер перехватил ее и сумел концом палки ударить турка в грудь. И лишь когда разжались руки противника, Мурашкин увидел, что палка эта — древко полкового знамени.

Через час, когда бой удалось наконец остановить, Мурашкина с ценным его трофеем отправили к командующему корпусом для личного доклада.

Никогда еще генерал-адъютант Лорис-Меликов не был в таком упоительном состоянии пойманной удачи, как весь этот день 3 октября 1877 года. Только сегодня он почувствовал себя не просто генералом, а именно полководцем. Он вел сражение в полном смысле этого слова, то есть видел, а скорее, чувствовал поле боя и его постоянно меняющуюся картину, заставляющую мгновенно принимать решение, еще никому вокруг не понятное, даже самому командующему, но *угаданное*. Это уже потом поймут и объяснят, почему Лорис-Меликов приказал в час дня бросить кавалерийский полк на Малые Ягны, а в половине

двенадцатого убрать пехотный батальон с Авлиара и двинуть его к Аладже. В тот же миг он и сам не мог объяснить, какое чувство подтолкнуло его к решению, лишь потом, после победного прорыва, оказавшемуся единственно правильным.

А уже ближе к вечеру победные реляции, донесения сыпались со всех сторон. И даже главнокомандующий перенес свою квартиру с тыла в Хаджи-Вали, поближе к победе.

В такой-то радостный час командующий корпусом принимал у себя в палатке унтер-офицера Мурашкина. Лицо нижнего чина Московской гренадерской дивизии показалось Лорис-Меликову знакомым. Ах да, это вроде тот самый унтер, что песню с солдатами разучивал.

— Ну вот видишь, все про гусарика убитого плакался, а сам какой молодец! — сказал генерал. — Как же это тебе удалось?

— А *он*, ваше превосходительство, с ним, как с палкой, на меня в драку полез. Ну, я, значит... того... отобрал палку, а оказалось — знамя.

— Молодец! Герой! И вижу — не в первый раз.

На груди у Мурашкина красовался солдатский Георгиевский крест 3-й степени. Генерал достал из наградного ящика знак воинского отличия 2-й степени и прикрепил к кителю храброго унтер-офицера. От себя же вручил 10 рублей серебром. Но и это не все. Находившийся неотлучно при командующем корпусом полковник Кишмишев торжественно объявил:

— Владикавказский мещанин Михаил Горбунцов пожертвовал серебряный рубль в пользу того из нижних чинов, кто первым отобьет у неприятеля знамя. В соответствии с волей жертвователя мещанина Михаила Горбунцова этот рубль вручается вам, унтер-офицер Мурашкин.

Генерал тем временем напряженно вглядывался в сияющего гордостью Мурашкина, что-то припоминая. И припомнил:

— А скажи, дорогой, вы там все за барина беспокоились, как он в бою покажется. Ну и как он?

— Барин был у нас молодцом, ваше высокопревосходительство. Бил турок прям-таки по-геройски.

— Да что ж был? Он что, ранен?

— Никак нет-с, ваше высокопревосходительство. Убит сегодня утром-с, Царствие ему Небесное. Изволил прямо на меня упасть.

Генерал-адъютант помрачнел. Число потерь — равнодушная цифра, которую завтра-послезавтра принесут ему на подпись в отчете о сегодняшней победе, — обретает грустное лицо



вольноопределяющегося из московских студентов Грушина. Но печаль недолго владела командующим корпусом. Он объявил:

— Ну а теперь, брат Мурашкин, ступай к его императорскому высочеству в Хаджи-Вали. Ему и сдай отвоеванное в бою знамя. Ты заслужил такую честь.

Его императорское высочество Главнокомандующий Кавказской армией великий князь Михаил Николаевич одарил несчастного Мурашкина, потерявшего голову от изобилия свалившихся на него наград и почестей, по-царски: сто рублей ассигнациями, целый золотой империял, произвел его в фельдфебели и вручил серебряный чеченский кинжал.

Выйдя в отставку полным кавалером Знака отличия Военного ордена, фельдфебель Мурашкин приобретает лавку колониальных товаров в Оружейном переулке, капитал, геройски нажитый в турецкую войну, не пропадет, а, напротив того, приумножит и к началу XX века купит четыре дома в том же переулке и заведет в них меблированные комнаты для небогатых, но чистых и платежеспособных господ. Один из этих домов описан в романе «Доктор Живаго», так что имущество, нажитое отважным фельдфебелем, перейдет в область мира духовного. Но не все деньги Мурашкина пошли в оборот. Серебряный рубль, пожертвованный владикавказским мещанином Михаилом Горбунцовым, будет храниться в доме героя как реликвия. В 1954 году правнук фельдфебеля двенадцатилетний ученик 5 класса «Б» 167-й школы Витюня доберется до семейных тайников и обнаружит прекрасную тяжелую битую для популярной в те годы, а ныне совершенно забытой игры в расшибец.

Ах, какая прекрасная бита была у Витюни! Сколько скопленных от школьных завтраков детских капиталов поглотила она мощным ударом по стопочке алтынов и гривенников на асфальтовом пяточке!

Конечно, не жалец она была в Витюниных руках. Вовка Лодейников спер ее однажды у зазевавшегося хозяина, но сам так и не попользовался краденым: в драке с арбатской шпаной отобрали тот серебряный рубль. Арбатские ребята были серьезные, что им этот расшибец — продали тот рублик за 21 рубль 47 копеек — «семь рваных», по определению тех цен на основной продукт, а монета долго хранилась у нумизмата Ниточкина, пока его в 1963 году не посадили по валютной статье. Рубль приглянулся взятому в понятия дворнику Эдуарду. Долго крепился дворник Эдуард, любясь приобретением. Не выдер-

жала душа, дрогнула — уступил прижимистому сантехнику Васькину за 2 рубля 87 копеек. Сантехник Васькин обронит рубль в щель между половицами, раздосадованный потерей, побьет жену Клавдию и забудет. Но угораздило сантехника Васькина жить в памятнике культуры XIX века — в том особняке вроде как Тургенев своего «Рудина» читал, зато Ленин даже по малой нужде в тихий его дворик не забегал ни разу. А следовательно, дом этот, несмотря на протесты недокормленной интеллигенции, а может, благодаря им, поскольку тогдашний отец города люто ненавидел как недокормленную протестующую интеллигенцию, так и ее любимую старую Москву, подлежал сносу.

Витюня Мурашкин работал на экскаваторе, когда в тихий июльский денек 1974 года добывали руины славного домика в Сивцевом Вражке, где вроде как Тургенев читал своего «Рудина», а Ленин не забегал даже по малой нужде. Что-то звякнуло в ковше — мелодично так, что даже его грубый слух отозвался счастливым предчувствием. Клад! Увы, всего кладу и было что побитый серебряный рубль царской чеканки 1874 года. «Ишь ты — сто лет!» Вот и вся радость. Биты своей Витюня не узнал, так что ненадолго награда вернулась в семью героя. Забубенный потомок его оценил находку по курсу своего времени — 3 рубля 62 копейки. И покатился заслуженный рубль от владикавказского мещанина Михаила Горбунцова дальше. Наследники его последнего владельца художника Протасова снесли его в антикварный отдел Дома книги на Новом Арбате. Поскольку, побывав в разных переделках, вид свой презентабельный он давно потерял, иностранцы за доллары его не берут, своим он все равно не по карману, так что лежит он в самом уголку витрины и ждет продолжения своей замысловатой судьбы.

Полковник Степан Осипович Кишмишев, вручивший тот рубль унтер-офицеру Мурашкину, и не предполагал будущего монеты. Да ему и не до того. Он подводил итог Аладжинско-авлиярскому сражению и дивится столь неожиданному результату. В общем-то корпус, вступая в него, рассчитывал основательно потрепать армию Мухтара-паши. Но кто мог предполагать, что мы ее наголову разобьем? Только в плен взято 7 пашей, 252 офицера и 8 тысяч нижних чинов. На поле боя взято 35 орудий и 8 тысяч отличных английских ружей. Около 20 тысяч человек турецкая армия потеряла убитыми и ранеными. Лишь 8 батальонов, сохранив свои 14 орудий, ушли невредимыми. Еще 5 спаслись бегством к Кагызману, но там

были разоружены казаками Тергукасова. Разбежалась вся иррегулярная кавалерия, и больше башибузуки за оружие не брались. Около 4 тысяч солдат дезертировали.

Сам главнокомандующий Мухтар-паша бросил войско и бежал в Карс. Но вот досада: из-под носа ускользнул Муса Кундухов. В сумерках, когда из охваченного паникой лагеря на Чифт-тепеси был послан парламентар с изъяснением желания о сдаче, Муса, сняв приметную феску, вышел в одиночку к нашим войскам и стал расспрашивать на чистом русском языке, как найти дорогу к главнокомандующему великому князю для передачи ему срочного донесения. Ничего не подозревавшие московские гренадеры охотно указали ему верный путь, и никем не узнанный Кундухов скрылся. Попадись ему навстречу старые кавказцы, едва ли б он так легко и счастливо отделался.

### ГЕЙМАН, ГЕЙМАН!..

После блистательной победы на Аладжинских высотах корпус был разделен на два отряда. Гейману, вновь отличившемуся в той битве, предназначено было преследовать Мухтара-пашу, который, передохнув в Карсе и организовав оборону крепости, разделил войска и со второй половиной отправился через Саганлугский хребет к Эрзеруму. Туда же он приказал двигаться со своим отрядом Измаилу-паше. Из преследователя Измаил-паша превратился в преследуемого, его роли с Тергукасовым поменялись. По замыслу Лорис-Меликова, Гейман и Тергукасов должны были слить свои отряды в один, не дав при этом соединиться Мухтару-паше с Измаилом-пашой.

Второй отряд под общим командованием генерала Лазарева занялся организацией блокады Карса. Главная квартира Кавказской армии и Корпусная квартира также отправились под Карс, и, может быть, командующий корпусом совершил здесь ошибку. Было бы разумнее не доверять Гейману и руководить его действиями в непосредственной близости. Лорис-Меликов и Саганлугский отряд хотел было подчинить Тергукасову, но в Главной квартире, где Геймана превозносили выше небес, несмотря даже на поражение его под Зивином (все равно ответствен за это — командир корпуса), тут же заговорили об армянском засилье в Действующем корпусе, и великий князь,

в решительные моменты все же отдававший инициативу Лорис-Меликову, тут остался непреклонен.

Василий Александрович Гейман, генерал волевой и храбрый, прошел на Кавказе огни и воды, но с первого же фальшивого звука медных труб спотыкался, мертвецки опьяненный малейшим успехом. Ардаган, как известно, обернулся Зивинком. Теперь же Гейман, застряв в ожидании обозов, упустил Мухтара-пашу. Правда, и Тергукасов немногого достиг, преследуя Измаила-пашу. В бегстве турецкий генерал оказался куда как резвее и сообразительнее, чем в наступлении. Увы, наши доблестные генералы упустили возможность разбить турецкие отряды поодиночке и дали им соединиться. Лишь кавалеристы Маленького Лориса и героя Баязета генерал-майора Келбалихана Нахичеванского основательно потрепали арьергард отступавших турок и гнали его до самого Деве-бойну — последней крепости на пути к Эрзеруму.

Во все наши войны с Турцией Деве-бойну играла особенно важную роль. Именно сюда после неудач в восточной части Турецкой Армении отступали неприятельские войска, держа почти неприступную оборону на подступах к Эрзеруму. Деве-бойну находится между хребтами Палантекен, тянущимся к западу от города, и Карабаязидом, лежащим к востоку от него, и представляет собою цепь гор, напоминающих верблюжью шею, что и отразилось в его названии, ибо «деве-бойну» в переводе с турецкого и есть «верблюжья шея».

С этой Верблюжьей Шеи прекрасно обстреливались атакующие снизу, с долины войска. Но едва они достигали гребня гор, тут же подвергались перекрестному огню с отрогов Палантекена и Карабаязида. Обход Деве-бойну с флангов был также крайне труден по причине неодолимости узких горных троп и слева, и в особенности справа.

22 октября генерал-лейтенант Гейман в сопровождении начальников колонн самолично произвел рекогносцировку. Опытным глазом он увидел, что расположенную на правом фланге гору Узун-Ахмед, обращенную к нашему лагерю крутым склоном, обороняют всего пять турецких таборов, тогда как против центра и левого фланга их пятнадцать. Решено было на Узун-Ахмед и направить главный удар. Против центра и левого фланга две колонны лишь демонстрировали наши намерения.

К вечеру 23 октября вся доблестная армия Мухтара-паши обратилась в паническое бегство, оставив нам в добычу 46 орудий

и все имущество громадного военного лагеря. В Эрзеруме началась паника и полная неразбериха.

Славную победу одержал генерал Гейман на Деве-бойну! Такую славную, что лучше б он ее не одерживал вовсе. Тот день как бы высосал из отважного генерала все соки, и, отрапортовав о своем успехе по телеграфу в Главную и Корпусную квартиры, он едва удержался на ногах. Так устал Василий Александрович. И счел, что и все устали, хотя в резерве оставались так и не вошедшие в дело 17 батальонов и кавалерия генерал-майора Лорис-Меликова. И приказал отбой.

После войны, анализируя ее итоги, полководцы больше клянут себя не за поражения, а за упущенные победы. В бессонные нищичьи ночи терзали Михаила Тариеловича не обстоятельство его отставки и оскорбительной опалы, не обиды на врагов и не тоска одиночества, а вот именно мысли об упущенной победе в последних числах октября 1877 года, хотя собственной его вины в этом и не было.

Эрзерум ждал русских. Генералы, офицеры, нижние чины, особенно из тех, кому не довелось поучаствовать в бою, рвались вперед. Так бы и влететь в город с шашками наголо на плечах бегущего в панике противника! И наплевать, что ночь опустилась и тьма хоть глаз выколи — беглецы сами укажут дорогу. Нет-с, мы устали-с, солдатам надо выспаться, прийти в чувство, поесть...

Наутро 24 октября тоже было не поздно. Арзас Артемьевич Тергукасов изошел во гнев, всеми средствами пытаясь убедить упрямого Геймана. Но Гейман был из того удивительно частого в русской армии числа генералов, которые свой авторитет в войсках ставят выше здравого смысла и уж по одному по этому приказов своих, пусть даже и самых нелепых, не отменяют.

Герой минувшего сражения, генерал-лейтенант и георгиевский кавалер, Гейман опять, как в неудавшемся преследовании, стал дожидаться обозов, неторопливо выбирал позиции, усердно составлял план штурма... И подарил Мухтару-паше целых пять дней.

Мухтар-паша не был таким идиотом, за какого держал его наш Василий Александрович. А положение, когда тебе нечего терять, просветляет мозги и самым неразумным. Кнутом и пряником Мухтар-паша собрал остатки своей армии, извлек из подполов и сараев дезертиров, призвал все местное население, способное держать в руках оружие, и организовал прочную, неприступную оборону своей последней крепости.

Трудно понять, чем руководствовался Гейман, планируя штурм Эрзерума в темную дождливую ночь. Местность вокруг города была разведана не лучшим образом, и это сказалось еще в те часы, когда наши колонны лишь подходили к стенам крепости. Одна из колонн набрела на стадо, приняла его за вражескую кавалерию и стала обстреливать несчастных коров. Тотчас же в самом Эрзеруме была поднята тревога, и мы мгновенно потеряли всякую надежду на эффект внезапности. Две колонны просто-напросто сбились с маршрута, заблудились и вступили в бой усталыми и не способными ни к какой серьезной атаке.

Штурм, ведомый Гейманом, захлебнулся. Сам командующий отрядом был так деморализован, что собирать увязшие в безнадежном препирательстве с турками разрозненные отряды и выводить их целыми из боя пришлось Тергукасову.

Последствия столь бездарно упущенной победы оказались весьма печальны для всей русской армии. На Балканах турки держались еще достаточно крепко, тогда как наша армия только приступала после трех неудавшихся штурмов к осаде Плевны. Взятие же Эрзерума немедленно сказалось бы на общем моральном духе обеих воюющих сторон и ускорило поражение турецких войск. Да и потом, на Берлинском конгрессе 1879 года, заложившем мину замедленного действия такой силы, что на весь XX век хватило, после такой победы наша делегация чувствовала бы за своей спиной гораздо большую силу и не позволила говорить с собой как со страной побежденной.

Зимние квартиры, которыми манили солдат в бой, обречены были теперь обустраиваться не в городе, а в осадном лагере. И хотя командование корпуса и самого отряда немало положили сил на обеспечение осадных войск самым необходимым, пришел неумолимый спутник войны — тиф.

Зараза беспощадней пуль и снарядов. Кавказский действующий корпус за три месяца — с декабря по февраль — потерял 37 тысяч человек, вчетверо больше, чем в боях. Чинов болезнь не признает. В сражении пал лишь один генерал, в лазарете — шестеро: племянник командующего корпусом генерал-майор Иван Лорис-Меликов, герой Деве-бойну генерал-майор Соловьев, великолепный воин генерал-майор Шелковников... Наконец, сам Гейман. И вот ведь странность: смерть его была схожа с боевою судьбой. Он вроде победил болезнь, из Эрзерума, уже капитулировавшего, приехал в Карс, где в местном госпитале долечивались его товарищи, и, как ни удерживали

его и свита, и врачи, упрямый генерал отправился навестить больных сослуживцев... Тут его и настиг второй удар тифа.

А может, это вовсе не упрямство и Василий Александрович сам смерти искал?

## ОСЕННЯЯ БЛОКАДА

Отпраздновав славную победу у Аладжинских высот, великий князь Михаил Николаевич и его ближайшее окружение какое-то время оставались в нерешительности: а стоит ли продолжать войну на Кавказском театре? В конце концов, армия Мухтара-паши разгромлена, а сулят ли дальнейшие действия победы, это еще большой вопрос. И граф де Курси, прочитав донесения разведки и представив данные, раздобытые еще до войны французским генштабом, о фортификационных работах английских инженеров по укреплению и без того мощной крепости Карса, утверждает, что мы положим всю свою армию, но ни одного заграждения на подступах к городу не возьмем. И не лучше ли вообще отойти на зимние квартиры. Разумеется, и князь Фердинанд Витгенштейн, получая жалованье на русской службе, больше старался в интересах родной Австрии и немедленно поддержал авторитетное мнение француза.

Так что, прежде чем осаждать и штурмовать Карс, Лорис-Меликову опять пришлось штурмовать Главную квартиру. Но тут у него был пылкий, темпераментный союзник — Иван Давидович Лазарев, не остывший от сражения и потому особенно яростный.

Иван Давидович, хоть и принадлежал роду великих армянских просветителей, в русском языке был нетверд, французского не знал вовсе — в битвах с горцами большой надобности в наречиях петербургских салонов как-то не ощущалось. Он ведь солдат в полном смысле этого слова и привык понимать чужую речь буквально, безо всяких там нюансов. От этого произошло недоразумение, попавшее с его слов в историю непроясненным. На военном совете у главнокомандующего Лорис-Меликов перевел почти без комментариев речь де Курси, вложив в свое изложение немало издевки. Во всяком случае, великий князь его понял и заметно помрачнел. И князь Мирский заерзал на своем месте. Иван же Давидович понял дело так, будто это Лорис настаивает на переходе на зимние квартиры. Потом, в минуту раздражения на своего начальника, он

перескажет все это столичному корреспонденту князю Мещерскому. Мещерский — человек неглупый, но злой и коварный, и если в 1877 году нелепость обвинений Лориса в трусости была ему очевидна, то через двадцать лет лукавый и желчный князь ославит командующего корпусом в своих мемуарах, благо ответить некому — ни обвиняемого, ни свидетелей к тому времени просто не останется в живых. А клевета переползет в XX век, в труды советских военных историков, отнявших у Лорис-Меликова заслуженную славу полководца.

Ну а тогда, на военном совете у главнокомандующего 6 октября, славное было сраженье. Михаил Тариелович своей иронией и намеками на седанскую доблесть французских генералов довел несчастного де Курси до белого каления; взбешенный атташе, задыхаясь от гнева, посулил покинуть ставку Кавказского наместника, где не хотят прислушиваться к его разумным советам и позволяют господину Лорис-Меликову издеваться над старым и почтенным воином.

Странно, однако ж на этот раз угроза обидчивого француза не подействовала. Михаил Николаевич выслушал его сдержанно и лишь кивнул головой, ни словом не заступившись за своего авторитетного советника. К тому моменту горячий Лазарев сам вызвался вести войска на осаду Карса и, когда позволяют обстоятельства, штурм его. Поскольку уже два военачальника взяли на себя столь серьезную ответственность и будет на кого свалить вероятную неудачу, его императорское высочество изволили склониться на сторону Лорис-Меликова и Лазарева.

К великому облегчению русских генералов, граф де Курси вскоре осуществил свою угрозу и покинул Главную квартиру. А великий князь счел за благо положиться во всем на Бога и сообразительность ответственных лиц и отныне почти не вмешивался в их распоряжения.

12 октября состоявший при корпусном командире артиллерии подполковник князь Тарханов выехал из Большой Тикмы — деревни к югу от Карса, где расположились Главная и Корпусная квартиры, — в сопровождении трубача, двух драгунов и переводчика. Он вез с собою письмо командующего корпусом генерал-адъютанта Лорис-Меликова коменданту Карса его высокопревосходительству Гусейну-Хами-паше с предложением во избежание напрасных потерь и для облегчения бедствий, неизбежных для войск и мирных жителей в осажденном городе, сдать Карс. Не доезжая трех верст до крепости, князь Тарханов

был остановлен турецким аванпостом. Любезный офицер, видимо начальник над сторожевой командой, предложил парламентам подождать в ближайшей деревне и забрал письмо. Спустя час прибыли из Карса несколько всадников. Лица, возглавившие турецкую делегацию, были немаловажные: начальник крепостной артиллерии Гусейн-бей и начальник инженеров Акиф-бей. Однако ж полномочия их свелись к тому, что они объявили нашему посланнику: ответ на письмо командующего русскими войсками будет доставлен на следующий день.

И действительно, на следующий день на квартиру командующего корпусом прибыли Гусейн-бей и офицер генерального штаба Фехим-эфенди с письмом от коменданта. Гусейн-паша просил разъяснений, что означают слова «облегчение бедствий», ибо без этого комендант не считал для себя возможным решить вопрос, видаться ли ему с его высокопревосходительством досточтимым генерал-адъютантом его величества русского императора Лорис-Меликовым для переговоров или нет, и при каких обстоятельствах, по какому протоколу может состояться это свидание.

Глава турецкой делегации произвел на Лорис-Меликова впечатление сильное. Это был чрезвычайно образованный и толковый офицер. Несмотря на ярко восточную внешность, мысль о национальной его принадлежности ни с первого, ни со второго взгляда не возникала — верный признак интеллигентности. Гусейн-бей казался скорее европейцем, что и неудивительно, поскольку воспитывался он в Вульвиче, в совершенстве владел английским языком и в меру, ненавязчиво демонстрировал редкую в любой армейской среде начитанность.

— Мне очень трудно представить себе, — сказал Лорис-Меликов, прочитав письмо, — что досточтимый Гусейн-паша не предвидит голода, холода и болезней, которые постигнут город в осадном положении.

— Досточтимый Гусейн-паша знает о подобных трудностях, но считает, что Карс надолго обеспечен всем необходимым.

— Ну а вы, уважаемый Гусейн-бей, тоже считаете, что город выдержит многомесячную блокаду? Впереди ведь зима. Не знаю, как сейчас, но двадцать два года назад, когда я сам был комендантом Карса, с дровами дело было совсем швах. Мы их из Александрополя привозили. И больных было много — полгорода разом в госпиталях. А ведь осада тогда длилась до первых морозов. А каково-то будет сейчас?

— Дров пока хватит, — отвечал Гусейн-бей, но в этом «пока» промелькнула тень сомнения, что не ускользнуло от всегда внимательного к любому собеседнику Лорис-Меликова. — И врачей в нашем гарнизоне достаточно.

— Пизанской выучки? Тогда я вас поздравляю. Мы уже имели с ними дело.

К середине XIX века Пиза прославилась на всю Европу не одной башней, но и университетом своим и удивительной легкостью получения в нем дипломов. Знаниями студентов там не обременяли, и этим с великой охотой пользовались ленивые и легкомысленные румыны и турки. Они охотно вызывались лечить кого угодно и от чего угодно и даже навязывали свои услуги, но очень скоро становилась видна цена их медицинских дипломов, и в Кавказской армии им даже фельдшерской работы не доверяли.

Гусейн-бей усмехнулся. Он тоже знал цену эскулапам пизанской выучки. С этого момента дипломатический лед в беседе растаял. Из слов выветрилась высокопарная восточная лесть, и, со стороны глядя, можно было подумать, что беседуют не генералы воюющих армий, а добрые и приятные друг другу знакомые. При всем том оба были настороже, и Лорис-Меликов, расписывая тяготы предстоящей блокады, ни намека не допустил на свое намерение штурмовать крепость. Это как бы и в голову не может прийти при виде укреплений вокруг крепости и орудий, в них установленных.

Собеседник тоже был не до конца откровенен и не на все вопросы давал прямые ответы. Хотя на вверенную ему артиллерию и прочность фортификационных сооружений Гусейн-бей полагался вполне, он все же сомневался в том, что крепость можно будет удержать. Войска уже сейчас пребывали не в надлежащем для активных действий духе, а что с ними станет через месяц, два, три? Жители поговаривают о том, что жестоко и бессмысленно держать их взаперти, и только страх перед комендантом, легким на расправу по малейшему подозрению, удерживает их от того, чтобы твердо потребовать от Гусейн-паши сдачи Карса.

Но все упирается в крутой, упрямый нрав и твердость характера коменданта. Никакими разумными доводами не сокрушить его раз и навсегда принятого решения любой ценой держать оборону. И тут, хоть весь гарнизон до последнего солдата истреби, Гусейн-пашу не сдвинешь.

И точно. 14 октября Гусейн-паша прислал второе письмо. По обсуждении всех условий касательно очищения Карса от войск, говорилось в нем, всеми начальствующими лицами единодушно решено сопротивляться до последней крайности, упо-  
вая на Всемогущего Аллаха и на духовную помощь Пророка.

Ну что ж, до крайности так до крайности. У нас тоже есть Бог, авось и поможет. Во всяком случае, разговор с Гусейн-беем укрепил в Лорис-Меликове решение брать крепость не измором, а именно штурмом. Ведь еще утром того же 12 октября, когда в Карс был послан подполковник Тарханов, командующий корпусом позаботился о возможной в ближайшие недели операции. Правда, тогда он больше думал о прошлом, чем о будущем, анализируя уже в который раз результаты катастрофы 17 сентября 1855 года.

Лорис-Меликов, истомленный в резерве свидетель той неудачи, прекрасно видел, как путались наши штурмовые колонны в малознакомых горных тропах вокруг Карса и его укреплений, которые сам-то он великолепно изучил в разведывательных поисках со своими сорвиголовами. Так что теперь самое серьезное значение он придавал тому, чтобы войска и начальники отдельных частей еще до начала решительных действий успели ознакомиться с местностью против своих позиций и до последней тропки обследовали подступы ко всем фортам. В этих видах командующий корпусом, едва колонны заняли свои места и расположились лагерем, с утра 12 октября издал приказ, чтобы из всех блокирующих отрядов с наступлением ночи высылались пешие охотничьи команды и конные партии. Командам этим вменялось в обязанность:

1. Высматривать местность.
2. Перехватывать всех проходящих в крепость и выходящих оттуда.
3. Пробирается возможно ближе к укреплениям.
4. Залпами из ружей или одиночными выстрелами тревожить гарнизон.

Начальники охотничьих команд по возвращении с поиска обязаны были доложить подробно о всем замеченном своему начальнику колонны, а равно генерал-майору Граббе, на которого возложено заведование всеми охотниками.

В ту же ночь приказ начал действовать. Ночной поиск — дело азартное, и в охотниках недостатка не было. Фельдфебель Мурашкин, человек степенный и трезвый, все же не был настолько степенен и трезв, чтобы не попытать счастья в добыче

знака военного ордена 1-й степени. Он первым записался в охотники-добровольцы в команду незнакомого офицера майора Герича. С собою взял пятерых — Ваньку Трюхина, которому медведь на ухо наступил, Симеона Петрова, Погоса Довлатяна, Илью Малинина да запевалу Пьецуха Тараса. Остальным жаждающим подвигов объяснил:

— Дело, ребята, рисковое. Солдаты вы справные, сумлеваться не приходится, но его благородию майору Геричу нужны не солдаты, а башибузуки. Он мне так и сказал: ты, грит, самых отчаянных, самых, грит, отпетых бери, сущих, грит, башибузуков. А гляньте на Тараса — да кто ж он, как не башибузук!

Общий хохот разрядил обстановку, даже обиды улеглись. Еще бы! Тарас умудрился в самое военное время, когда меньше всего о формальной дисциплине помышляют, на гауптвахту загнать. А как дело было? Это уж после Аладжи, когда с драгунами братались. Играли в секу у эскадронного коновала Бурунова. И этот стервец Тарас ободрал, почитай, всю роту, и не на деньги, а на водку. Собрал выигрыш, да так нажрался, да так среди ночи стал песни горланить — никто утихомирить не мог. А тут какой-то генерал из палатки вышел. Он и генерала матом. Это Ивана-то Давыдыча! Самого Лазарева! Ну чем не башибузук, даром что хохол.

Едва стало смеркаться, вышли из лагеря. Команда набралась человек с полтора. Впереди — горнисты и барабанщики. Но шли тихо, зорко оглядываясь по сторонам и запоминая дорогу. Почти стемнело, когда достигли цели — стен укрепления Канлы. Шепотом по цепи передали приказ майора: выискать удобные места для укрытия от стрельбы — желательно выбраться без потерь. Трюхин, потомственный лесник в калужских имениях князей Гагариных, тут же указал на заросли шиповника, по-южному густые, почти непроходимые. Да жить захочешь — и не из таких дебрей выберешься.

Майор Герич, такой тихий и вежливый, из тех, кого легче представить себе в барском халате, нежели в офицерском мундире, вдруг зычным, раскатистым басом врубился в тишину:

— А ну, братцы, начинай с Богом!

Затрубили горнисты, забили дробь барабаны, охотники начали отчаянную пальбу, соревнуясь, кто собьет фигуру часового у редута. В ответ затрещали выстрелы с турецкой стороны, сначала одиночные со сторожевых постов, но очень скоро в лагере противника забили тревогу, и на банкет укрепления

высыпала целая цепь турецкой пехоты, на бегу обстреливая ночную мглу. Наших солдат они не видели, зато их силуэты, выделявшиеся над ровной поверхностью бруствера, представляли отличную мишень.

Тарас тут же поспорил на полную крышку водки с Симеоном Петровым, что первым выбьет не меньше десятка турок. Когда от выстрела Симеона упал восьмой, а у Пьецуха всего седьмой, скомандовали отход. И вовремя. Мурашкин первым увидел, как отворились ворота крепости, а оттуда — почитай, полк пехоты. Майор находился неподалеку и не видел этого, увлеченный изучением крепостного редута. «Пора! — ответил он Мурашкину. — Передай по цепи — отползай по-пластунски, бесшумно и незаметно, на дорогу не выходить!»

Тем временем вслед за пехотой турки выкатили две пушки. «Потеха! — подумал Тарас. — Это на полторы сотни охотников! Вот уж точно, из пушек по воробьям. А я из ружья по своим птичкам. Жаль уходить, вот уж девятого уложил. Последнего срежу и пойду».

— Эй, Петров!

Никто не откликнулся.

— Петров!

Молчание. Послушный Петров по команде ушел к своим, и Пьецух остался в шиповнике один. Вот тебе и переплет! И тут уж не до десятого.

Пушки открыли огонь в сторону нашего лагеря, пехота же пошла на звуки умолкнувших выстрелов — прямо на кустарники, где только что была вся наша команда и остался только один Тарас.

Злые, судя по голосам незнакомой речи, офицеры гнали вперед непроспавшихся солдат, и строй превратился в толпу, нестройными залпами стреляющую наугад куда-то вперед. Тарас вжался в землю, повторяя вместо забытых со страху молитв: «Господи Иисусе! Спаси-сохрани! Спаси-сохрани!» Как же, сохранит. Какой-то турок споткнулся о ногу Тараса...

Он сам потом никак не мог понять, каким это образом успел вскочить и всадить штык турку в спину. На счастье Тараса, в тот миг выстрелила пушка, и крика раненого никто не услышал: бить пришлось два раза. Не долго думая, Пьецух сорвал феску с убитого, взял его ружье и побежал вместе со всеми вперед. Бежать с двумя ружьями тяжело, а бросать жалко: ружья у турок чудо как хороши, не чета нашим, зато где найдешь такой, как у нас, штык? Еще до свету Тарас успел оторваться

от толпы и побрел вперед не разбирая дороги. К рассвету вышел в русский лагерь и тут же повалился с ног у ближайшей палатки. Не от усталости, нет — ноги его не держали от страха. Дрожь началась в коленях необоримая, едва он осознал, что спасся. Да тут же и увидел, от какой беды Бог его вынес. Пьецух был из отважных солдат и воевал не хуже других. Но то было на миру, при всех, когда ужас подавляется бравадой. А тут-то совсем один. Расскажешь — и не поверят, хотя ружье турецкое — вот оно. После тех, общих боев и похвастаться не грех. Да ночью-то он турка заколол не с отваги, а от страха. Так почему ж ночью страх его подвиг на бой в одиночку, а сейчас, когда все позади, повалил наземь и двинуть рукой-ногой не дает? Только через полчаса, отлежавшись, он сумел встать, а солдатам, окружившим его, ничего внятного сказать о себе не мог, только отмахнулся: «Да в деле был». Кутаисский полк, к чьим палаткам его вынесло, тоже был нынче ночью в деле против укрепления Февзи-паша и тоже задал шороху туркам, но пушек против них не выкатывали, и поиск полковника Фадеева был потише, чем у Герича. А этот, завидовали кутаисцы, теребя Тараса любопытством, и под артобстрелом был, и ружье трофейное притащил. Правда, толку от Пьецуха не добились. Вечный балагур был настолько не в духе, что от него быстро отвязались. Тарас же, придя в себя, порасспросил кутаисцев, куда ж его вынесло, оказалось — очень далеко от своего полка, и Тарас еще целый день проплутал по чужим, незнакомым дорогам, пока не ввалился в палатку, где Симеон Петров по пятому разу рассказывал, какой покойник был молодец и на его, Петрова, глазах добрую дюжину турок уколошил, а вот себя не уберег.

— А водку я у тебя, Симеон, отспорил!

На такие поиски команда ходила каждую ночь, и турки в конце концов привыкли и встречали их не барабанным боем тревоги, а ленивым обстрелом сторожевых постов. Дорого им обойдется эта привычка 5 ноября.

Назначенный в 1855 году комендантом Карса полковник Лорис-Меликов по молодости лет упивался властью и собственной свободой. Ему нравилось единым росчерком пера решать судьбу любого просителя, коих принимал он безотказно с утра до вечера. А так как человек он был добрый и обладал здравым смыслом, в решении чужих судеб русский правитель



не допускал и тени самодурства и произвола и, скорее, готов был нарушить жестковатые дореформенные законы собственной империи, чем оставить чью-либо слезную мольбу без ответа. Поскольку Лорис-Меликов по профессии своей был в первую очередь военным, а не добрым халифом, покидая Карс, он оставил на всякий случай нескольких надежных людей — то, что нынче называется агентурной сетью. Сеть, конечно, поодряхла, где-то порвалась за смертью агента, где-то пересохла из-за отсутствия надежной связи. Но в нынешнее лето живые ее части воссоединились, лазутчики из штаба корпуса подштопали оборванные нити, и она заработала во всю мощь, поставляя командованию сведения о состоянии дел в Карсе.

Команда охотников захватила в плен турецкого офицера, выбравшегося из Карса в районе крепости Сувари. Собственно, захватила — слишком сильно сказано: тот сам искал дорогу к русскому сардарю Лорису. И умолял доставить его к сардарю до утра. Охрана не хотела будить командующего корпусом, но тот сам, услышав шум, вышел из палатки. Гафур занимал при гарнизонном штабе должность невысокую, но место это было безопасное и перспективное. И он бы и дальше служил старательно и честно, добиваясь повышений по службе и орденов больше за выслугу, чем за боевые подвиги. Но еще в ту, весеннюю блокаду отец его, старый медник Юсуф-оглы, вдруг потребовал, чтобы Гафур поступил в полное распоряжение русского сардаря. Пока Гафур колебался, корпус снял осаду, но теперь отец пригрозил проклятьем и заставил идти к доброму сардарю Мелику в благодарность за спасение.

Хоть убей, никакого медника Юсуфа-оглы Михаил Тарелович вспомнить не мог, и уж тем более отчего он когда-то спас этого самого Юсуфа. Увидя, может, и узнал бы, память на лица у генерала была великолепная... Впрочем, это и не важно. А важно то, что турецкий штабной офицер принес чертежи укреплений, места расположения волчьих ям между ними и готов был, рискуя собственной головой, сообщать о намерениях турецкого командования и приносить иные весьма ценные сведения.

Какие, однако ж, неожиданные плоды приносит справедливое гражданское управление!

В одном из своих докладов Гафур сообщил, что начальство его и в первую очередь Гусейн-паша абсолютно уверены в том, что русские не отважатся напасть на Карс, а если уж в их безумные головы и взбредет такое намерение, они, несомненно,

полезут на северо-западные укрепления, куда и привели свои основные блокирующие силы.

Гусейн-паша был человек храбрый, упрямый и никуда не годный стратег. Поскольку в 1855 году именно северо-западные укрепления выдержали штурм русской армии, то и в 1877 году командующий гарнизоном, не слушая ничьих осторожных советов, все свое внимание сосредоточил на оборону тех героических форт — Тохмаса, Тепеси и Лаз-тепеси.

Известие это подвигло Лорис-Меликова на окончательный выбор направления главного удара при штурме Карса. Как раз с той стороны, откуда он, томясь в резерве, наблюдал драматическое для наших войск развитие событий.

По мере подготовки к штурму менялся план осады. Блокирующие отряды стали сосредотачиваться в юго-восточном и южном направлении. Здесь и стали возводить основные осадные батареи. В ночь с 13 на 14 октября заложили первую дальнобойную батарею на 4 двадцатичетырехфунтовых орудия в четырех верстах от укреплений Канлы и Хафиз и в шести — от города. Уже утром наши пушки дали по Карсу первые залпы.

Турки, обеспокоенные бомбардировкой, в ответ построили полевую, по-военному — контрапрошную батарею перед Хафизом. Под ее прикрытием они выдвинули пехотную цепь, а аванпосты расположили вблизи от наших позиций и чрезвычайно затруднили работы по сооружению новых батарей.

Вечером 23 октября против укрепления Канлы были установлены три осадные батареи, и уже с утра 24-го открыли стрельбу с расстояния в полторы тысячи сажен. Очень эта стрельба не понравилась Гусейну-паше, и он отправил из города шесть батальонов пехоты, две сотни кавалерии и две полевые батареи, чтобы захватить наши осадные орудия. Со всех форт был открыт артиллерийский огонь.

Прикрывали осадную батарею всего два батальона Владикавказского полка под командой майора Григоровича. Они встретили противника таким дружным и плотным залпом, оборонялись так смело, что за добрый час боя турки не сумели продвинуться к нашим траншеям ближе ружейного выстрела. А за это время к левому флангу подошли присланные Алхазовым два батальона Имеретинского полка полковника Карасева и стремительной атакой обратили неприятеля в бегство.

Получив в Канлах подкрепление, турки возобновили атаку, на этот раз против Карасева. И снова вынуждены были дважды

отступать с потерями, гораздо большими, чем высланные на подмогу войска.

Яков Койхосрович Алхазов, человек упрямый и если что задумает, не отступится. В самый разгар боя под Канлами он решает покончить, наконец, с контрапрошной батареей перед Хафизом. Доверившись отваге и сообразительности Карасева и Григоровича, он берется за новое дело. Для завладения неприятельской батареей Алхазов отрядил две колонны. Три батальона и пять орудий под командой подполковника Есипова должны были атаковать противника во фронт. А чтоб туркам мало не показалось, в обход справа для удара в тыл были отправлены два батальона Кутаисского полка — того самого, в чье расположение прибудил Тарас Пыцух, под начальством полковника Фадеева.

Есиповцы выступили раньше фадеевцев. Без единого выстрела артиллерия вышла на заранее намеченные позиции и вдруг ошарашила плотным прицельным огнем ничего не подозревавших турок, которые, следя за перипетиями боя у Канлов, и подумать не смели, что могут подвергнуться нападению обороняющихся русских. Пехоту тем временем подполковник Есипов повел вперед.

Противник, наконец, опомнился. С начала осады турки не открывали столь мощного артиллерийского огня, а русские все шли и шли вперед. Подойдя на ружейный выстрел, батальоны сами дали залп и с криком «ура!» бросились на батареи. Пока турецкая пехота пыталась удержать наших солдат, артиллеристы поспешили увести орудия подальше от греха. Так что есиповцам осталось лишь взять несколько десятков пленных.

Колонна Фадеева вышла в сумерках, когда фронтальный бой был в разгаре. Пока шли, совсем стемнело, и Семен Андреевич, ведя свои батальоны, взял слишком вправо — он не отличался топографическим чутьем, хотя сам же водил сюда команды охотников по ночам. Авангард увидел перед собой высокий бруствер, когда Фадеева отыскал адъютант генерала Лазарева с приказом немедленно отходить назад, поскольку задача уже выполнена. Как это выполнена, когда вот он, бруствер той самой батареи и, судя по голосам, раздающимся оттуда, неприятель ждет себе, поджидает нашей атаки? А ну, ребята, вперед!

Ребята и двинулись вперед. Взобрались на бруствер, оттуда вниз на турок, изумленных до немоты дерзостью кутаисцев.

А те заработали штыками, пробивая дорогу... Только куда? Орудия здесь дальнобойные, не те, на которые их посылали, турки бегут в панике в какое-то каменное строение. Только тут и понял полковник Фадеев, что маленько сбился с пути и оказался в неприступной крепости Хафиз-паша-табиа.

Повезло лишь тем защитникам Хафиза, кто сообразил подбежать к воротам, ведущим в Карс. Прочих покололи штыками. В стенах казармы спасения тоже не было: солдаты выбили двери прикладами и взяли в плен десять турецких офицеров и 68 нижних чинов.

Убедившись, что крепость в наших руках, Фадеев приступил к делу. В Карс отправилась группа поиска, собранная из охотников лихим подпоручиком Ходаковским. Смельчаки таки пробрались в город незамеченными, произвели разведку и даже напились воды из фонтана. А кутаисцы занялись порчей орудий. К сожалению, специалистов в этом деле среди них не было, они немногого достигли: сняли семь замков и испортили несколько подъемных винтов.

Тем временем Гусейн-паша срочным порядком направил в Хафиз шесть батальонов, которые Фадеев в темноте принял за возвращающихся охотников Ходаковского. Он отворил было ворота, но, убедившись, что перед ним неприятель, приказал снова запереть их и открыть огонь. В ответ противник пустил в дело артиллерию с ближайшего форта Карадаг, расположенного на высокой горе к востоку от Хафиза. Дело принимало крутой оборот.

Адъютант, посланный к Алхазову с донесением о взятии Хафиза и за дальнейшими распоряжениями, не возвращался — делать нечего, надо решать самому. Фадеев приказал кутаисцам, взяв тела двух погибших солдат, раненых и пленных, тем же путем, через бруствер, возвращаться назад.

Ни на русском, ни на родном их армянском не найдется слов, чтобы передать досаду и Лорис-Меликова, и Лазарева, и Алхазова, когда лишь только утром узнали, что образец английского фортификационного гения неприступная крепость Хафиз-паша целых полночи была в наших руках. И как отчаянно горевал Яков Койхосрович! Он был всего в семи верстах оттуда и слышал выстрелы, но ни в какую разумную голову не могло взойти, что это доблестные кутаисцы, сидя в укреплении, отбиваются от бешеных турецких атак.

Нагоревавшись и надосадовав, генералы сделали выводы из ночных походов колонны полковника Фадеева. Когда в начале осады Лорис-Меликов издал приказ о поисках охот-

ничьих команд, он не думал о времени суток для штурма. Но после нечаянного взятия Хафиза стало очевидно, что Карс следует брать ночью. И безотлагательно. По данным разведки, город был достаточно обеспечен продовольствием и фуражом, чтобы выдержать и зиму, и весну в полной блокаде. Оружия и боеприпасов у турок тоже хватало, одних пушек 303. Зато нашим войскам зимовать без полушубков и валенок в палатках и постоянно думать о том, как разжиться фуражом, где и как печь хлеб и прочая и прочая, — дело рискованное. И снимать осаду бессмысленно, да и не получится второй раз обмануть бдительность противника. Осталось только убедить в очевидности Главную квартиру, которая даже после известия о победе Геймана у Деве-бойну, повергшего гарнизон в глубокое уныние, а жителей подтолкнувшего на открытое требование от коменданта сдачи Карса, все не решалась на штурм. Оно и понятно: великий князь хорошо помнил, чем обернулась неудача штурма 17 сентября 1855 года для наместника Кавказа Николая Николаевича Муравьева.

Корпус, не дожидаясь приказа главнокомандующего, стал готовиться к штурму.

### ШТУРМ

26 октября генерал-адъютант генерал от кавалерии Лорис-Меликов отправил командующему гарнизоном Карса Гусейну-паше последнее письмо с предложением о бескровной сдаче города. Упрямый комендант ответом не удостоил. И тем самым ускорил развязку.

Наконец и главнокомандующий великий князь Михаил Николаевич счел необходимым немедленно приступить к овладению турецкой крепостью. Время штурма было назначено на ночь с 1 на 2 ноября.

Накануне по всем войскам была разслана диспозиция, составленная начальниками Главного и Корпусного штабов генералами Павловым и Гурчиным и подписанная командующим корпусом Лорис-Меликовым.

Помимо диспозиции корпусной командир, памятуя о неудачах 17 сентября 1855 года, когда на первых минутах боя турками были выбиты начальники колонн — генералы Ковалевский и Гагарин, а вслед за ними старшие чины, взявшие на себя командование, строжайше наказал командирам атаку-

ющих колонн и отрядов попусту не геройствовать и под пули без крайности не соваться.

Теплая осень в Турецкой Армении прекратилась в один день. Будто по приказу из Стамбула, с утра 1 ноября зарядил мелкий дождичек, в течение какого-нибудь часа превратившийся накатанные дороги в вязкие грязевые болота. С полудня задул северный ветер и повалил мокрый, липкий снег. В сумерки пал туман. Да такой густой — уже в трех шагах не различишь, что за силуэт перед тобой, дерево или человек...

Богу сверху, наверно, интересно было наблюдать, как два русских генерала, разделенные, согласно диспозиции, тремя верстами, одинаковыми словами кланут погоду, одинаковыми шагами меряют пространство каждый перед своей палаткой и каждые пять минут в беспокойстве смотрят то на темное небо, то на свой серебряный хронометр. Хронометры, правда, у генерал-лейтенанта Лазарева и генерала от кавалерии Лорис-Меликова разнились отделкой: у Лазарева на крышечке вытеснен амурчик, у Лорис-Меликова — орнамент из цветов.

Нетерпеливый Лазарев, с первого дня осады рвавшийся в немедленный бой, всех вокруг себя свел с ума вздорной придирчивостью, гонял несчастных адъютантов по отрядам проверять их готовность к выступлению, хотя и понимал: командиры в отрядах народ тертый и к штурму прекрасно подготовлены без всяких понуканий. Он кричал, грозил гауптвахтой, судом и хотя видел, что адъютанты не виноваты ни в чем, а ни дождя, ни снега под суд не отдашь и на гауптвахту не посадишь, уняться никак не мог. Отряды ждали сигнала к началу атаки, а снег и туман делали всякое движение трудным и бесполезным.

К одиннадцати вечера, поняв бесполезность борьбы с природой, Иван Давидович дал телеграмму в Корпусную квартиру с просьбой отменить штурм. Через несколько минут приказ об отмене штурма был уже разслан по всем колоннам.

К вечеру 2 ноября в Главной квартире Кавказской армии, расположенной в 12 верстах от места боев, появился интересный документ. Помощник главнокомандующего генерал-адъютант князь Святополк-Мирский подал великому князю на высочайшее усмотрение записку. В записке этой Дмитрий Иванович находил, что взятие Карса блокадой в нынешних условиях невозможно из-за трудностей с продовольствием и теплой одеждой для армии, суровой зимы и прочего. Бомбардировка тоже мало что даст — эффект ее лишь вспомогательный. А по-

сему, заключал мудрый стратег, повторив все до единого аргументы Лорис-Меликова, Гурчина и Лазарева, со дня победы под Авлиаром и Аладжей ежечасно долбивших ими Главную квартиру и ежечасно же упираясь в нерешительность главнокомандующего и ближайшего советника его по военной части генерал-адъютанта Святополк-Мирского, необходимо прибегнуть к решительному штурму Карса.

К сему прилагалась диспозиция, почти ничем не отличающаяся от той, по которой собирались действовать минувшей ночью. Собственно, важным различием было одно: подпись Дмитрия Ивановича.

По войскам записка Святополк-Мирского была разослана как приказ, освященный августейшей подписью главнокомандующего. Генералы поусмеялись между собой, но делать нечего: произвели незначительную рокировку и стали готовить штурм по новой диспозиции.

Наконец, ударили морозы. Небо разъяснилось, днем стояла пронзительная синь, а ночами лунный свет играл снежными искрами. Грунт начал твердеть и к вечеру уже звенел под конскими копытами. Решили времени не терять и в полнолуние 5 ноября начать штурм. На военном совете в палатке Лазарева генералы Гурчин и Граббе предложили приступить к штурму не за два часа до рассвета, как предполагалось раньше, а в 8 часов вечера. По данным разведки и вылазок охотничьих команд было известно, что гарнизон низовых укреплений в Карсе с прекращением огня наших осадных батарей и наступлением темноты оставлял обыкновенно одних часовых на валах и в 6 вечера расходился по казематам, где происходила раздача пищи, пополнение патронов и вообще наступало время отдыха, продолжающегося до часу ночи, когда войска занимали свои места. Вот тут-то и задать им жару! К решению этому склоняли также ночные легкие морозцы, полная и ясная луна и в немалой степени удачный опыт полковника Фадеева поздним вечером 24 октября. Лазарев, в отличие от Геймана легко отменявший свои приказы, если видел в том прок для победы, согласился.

Суeta в лагере была какая-то тихая и торжественная. Солдаты передвигались разве что не на цыпочках. Майор Герич подозревал нового своего ординарца Ивана Трюхина, выбранного им из команды охотников.

— Вот что, Иван, — сказал Герич, — когда меня убьют, отпавишь это письмо в Петербург. Там завещание и все такое прочее. Жалованье мое перешлешь по тому же адресу за вычетом

ста двадцати рублей, которые я проиграл капитану Клименко. Отдашь ему. Сундучок можешь взять себе.

— Ваше благородие, Бога побойтесь, что это вы говорите — когда убьют... На то Его воля, не ваша!

— Так я и не говорю, что завтра. Хотя... А, ладно, иди к себе, Иван.

В солдатской палатке ступали тихо, разговаривали шепотом. Грамотные писали письма. С не могущих писать даже денег не брали. Дел вроде никаких больше не оставалось — все было собрано, ружья почищены и готовы к бою. Симеон Петров прилаживал ротному любимцу — черному псу по имени Лапкин ошейник и ремень и увещевал чуткого зверя, сменившего лай на скорбный скулеж в преддверии скорого одиночества и несвободы.

— Ты уж того, Лапкин, зла на нас не держи, а привязать я тебя должен. Таков уж приказ. А ты хоть и тварь бессловесная, а раз к нам прибулдился и жрешь из солдатского пайка, тоже, почитай, солдат и приказы исполнять твое первое дело, — говорил Петров, и голос его дрожал.

Еще бы не дрожать Симеонову голосу. Черный с рыжеватым отливом пес о трех лапах прихрамал в роту еще в Александрополе; правая передняя была порезана, гноилась, и Симеон, будто смолodu служил в ветеринарах, вычистил рану, залил йодом, перевязал, и уже дня через три-четыре пес бегал на всех четырех и ни на шаг не отставал от роты. На поверках он пристраивался на левом фланге, отчего прозвище Лапа переделалось в фамилию, и к кормежке Петров призывал не иначе как: «Рядовой Лапкин! На обед стройсь, раз-два!» Как многие здоровые собаки, осознающие свою силу, Лапкин, пес незнатного происхождения, обладал удивительным великодушием и благородством. Хозяином своим почитал одного Симеона, и когда по случаю отмены штурма Симеон упился до положения риз и лежал без сил под кустами, добрый и ласковый пес уселся рядом на страже и никого близко не подпустил к почти бездыханному телу своего лекаря и кормильца. Так Симеон и проспал на снегу всю холодную ночь, и потом только диву давались, как это он простуду не схлопотал.

Каждый теперь норовил погладить Лапкина, как бы чувствуя вину перед преданным животным. А Лапкин был особенно нежен, лизал теплым шершавым языком кому руку, кому щеку и довел до слез московских гренaдерoв.

Минут за десять до построения фельдфебель Мурашкин призвал солдат:

— Давайте-ка, ребятушки, Господу Богу помолимся!

И тишина воцарилась в палатке. Молитвы бормотались слабыми голосами: каждый из тридцати солдат в палатке общался с Богом по отдельности, и хотя слова они повторяли одни и те же, таинство уединения не нарушалось.

В 7 часов вечера рота московских гренадеров в составе 1-го Кавказского стрелкового батальона в колонне генерал-майора графа Граббе строевым маршем проходила по селу Верхний Караджуран перед командующим Действующим корпусом.

Речь Лорис-Меликова была кратка и сводилась к командирскому благословению:

— Ну, с Богом, братцы! Не подкачайте!

— Рады стараться, ваше превосходительство! Ура!!!

Они и в самом деле рады были стараться. Командующий корпусом не брезговал общением с нижними чинами и был со всеми уважителен и добр. История с гранатой, разорвавшейся под его конем на Больших Ягнах, как снежный ком, обросла самыми невероятными подробностями и превратилась в легенду. А уж рассказы стариков о его проделках в прошлую войну — смелых поисках и рейдах по турецким тылам — были полны таких преувеличений, что когда доводилось кому-либо из солдат увидеть Лорис-Меликова в первый раз, он едва скрывал свое разочарование обыкновенным ростом и сложением генерала. Те подвиги, о которых летела молва по полкам и дивизиям, были в пору лишь былинному богатырю — Илье Муромцу, Святогору. Так или иначе, но за «Михал Тарелыча» не задумываясь любой солдат кинется хоть в огонь, хоть в воду.

Через час колонна тихими шагами приблизилась к укреплению Канлы, к правому его редуту, который по диспозиции и должны были брать войска генерала Граббе, оставив левый колонне полковника Вождякина, с которым впоследствии должны сойтись в центре. Впереди, как в обычную ночь, — охотники. Дорогу они знали прекрасно, но на всякий случай в их рядах шли проводники, обитатели предместий и ближайших сел, одетые в солдатские шинели. Когда стена форта выросла перед глазами, проводников отпустили, но те, в азарте предстоящего боя, не стали отползать назад.

Но вот со сторожевых постов заметили движение, открыли нечастую, чтобы не потревожить покой отдыхающего гарни-

зона, стрельбу. Вместо ответа наши охотники, согласно приказу генерала Граббе, резко ушли влево и ворвались в траншеи, соединяющие Канлы с фортом Сувари, и уже оттуда, работая штыками и прикладами, пробили дорогу в тыл туркам, разбуженным стрельбой с фронта. Там граф Михаил Петрович Граббе на боевом вороном коне поднял батальоны в атаку. Ах, как он был красив в тот первый момент! Моменту второго не случилось. Генерала сразило пулей в сердце. И чуть было не захлебнулась атака. Ведь предупреждал корпусной командир — не лезьте под пули в начале дела! Уж граф-то Граббе мог помнить, как пал в начале боя в 55-м азартный Ковалевский и геройскою смертью своей свел весь тщательно подготовленный штурм насмарку.

Отшатнувшись было солдат повел на бруствер полковник Белинский. А майор Герич ударил со своими молодцами-охотниками с тыла. Схватка завязалась нешуточная, турки отбивались изо всех сил, но в конце концов были отброшены во внутрь укрепления, и бруствер остался за нашими стрелками. Дорого нам обошелся этот бруствер, были убиты майор Герич и капитан Клименко — тот самый, которому Герич проиграл 120 рублей и завещал отдать долг.

И нижних чинов полегло немало. Могучий детина Симеон Петров у самой кромки бруствера споткнулся и тут же был зарублен турецкой саблей. Тарас Пьесух кинулся ему на помощь, но только и успел, что отомстить за друга, заколов штыком убийцу Симеона. А вскоре и его, раненного, унесли с банкета бруствера.

Крики «ура!» с правого редута воодушевили войска колонны полковника Вождякина, остановленные бешеным картечным огнем из укреплений и ружейным — из траншей, ведущих к форту Февзи-паша. Услышав победоносный клич с бруствера правого редута, охотники перепрыгнули через волчьи ямы, выбили турок из траншей и вскочили на бруствер. В этот момент контузило полковника Вождякина, и пришедший на подмогу полковник Карасев принял командование всей колонной на себя. В разгар боя на бруствере раздалось радостное «ура!» откуда-то слева.

Оказалось, шедшие во второй линии два батальона карасевского полка сбились с дороги и ворвались в укрепление Февзи-паша.

Лорис-Меликов, наблюдавший за боем в полутора верстах от Канлы, узнав о геройской гибели генерала Граббе и контузии

полковника Вожакина, послал с батальоном Перновского полка инженер-полковника Бульмеринга и приказал ему принять начальство над обеими колоннами. Непокойно было в те минуты генерал-адъютанту Лорис-Меликову. Колонна подполковника Меликова, предназначенная для взятия форта Сувари, не давала о себе никаких известий. Огонь оттуда был виден в начале боя, потом затих, и куда девалась целая колонна — один Бог ведаст. Командующий корпусом призвал к себе генерал-лейтенанта Чавчавадзе.

— Иван Захарович, душа моя, возьми с собой кавалерию, посмотри сам, что там делается в Сувари и в Канлах. И давай командуй всей линией от Карс-чая до Февзи-паши. Я тебе верю.

Генерал Чавчавадзе, с изумлением обнаружив, что форт Сувари очищен от неприятеля и пуст, не замедлил с подкреплением для полковника Бульмеринга, переломившим положение в пользу русских атакующих войск, и уже к часу ночи самый твердый в сопротивлении и неприступный форт Канлы с обоими своими редутами был в наших руках. Лишь небольшой отряд неприятеля, запершийся в казарме, не пытаясь уже отстреливаться, обреченно ждал своей судьбы.

Гораздо лучше пошли дела при взятии восточных фортов. На Хафиз генерал Алхазов направил две колонны. Слева шли два владикавказских батальона под командой майора Урбанского. Бруствером юго-восточного фаса овладели быстро, но продвинуться дальше было затруднительно: гарнизон, засевший в казарме, открыл по владикавказцам плотный ружейный огонь. Колонны полковника Фадеева, которая должна была атаковать Хафиз справа, все не было.

Генерал Алхазов, увидя это, взял два резервных батальона и сам пошел на выручку Урбанскому. Успел как раз вовремя, и к 11 часам вечера форт Хафиз пал. В горячке боя под генералом Алхазовым убили коня — гнедого красавца карабахской породы. Слава Богу, сам Яков Койхосрович остался невредим.

А полковник Фадеев со своими brave кутаисцами опять заблудился. Чтобы не подвергнуться фланговому огню с северных от Хафиза траншей, Семен Андреевич начал атаку с них. Очень скоро турки дрогнули и, не выдержав штыкового боя, бежали кто в город, кто под защиту укрепления Карадаг, откуда по фадеевским батальонам открыли огонь. Отважный полковник повел своих ребят прямо на выстрелы. В 23 часа в Хафиз-пашу к генералу Алхазову Семен Андреевич послал

своего адъютанта с донесением, что крепость Карадаг, неприступная настолько, что в диспозициях рекомендовалось брать ее лишь в силу особо благополучно сложившихся обстоятельств, в наших руках.

Оставалось укрепление Араб. Против него демонстрировал отряд генерала Шатилова, не давая туркам возможности выйти на помощь Карадагу. Шатилов представления не имел о том, что делается к югу от него. Только странно ему стало, что стрельба с Карадагских высот утихла. Левая колонна шатиловского отряда под командой генерала Рыдзевского начала отход, когда генералу доставили телеграмму Лазарева для передачи Шатилову с приказом идти на помощь полковнику Фадееву, взявшему Карадаг. Пока этот приказ дойдет до Шатилова, просчитал Рыдзевский, пока тот соберет обе колонны... Была не была! И Рыдзевский принимает решение времени не терять и бросается на штурм траншей, соединяющих Араб с Карадагом, откуда турки вот уже третий раз пытались контратаковать Фадеева.

Увлеченные стремлением отобрать назад Карадаг, турки не заметили, как в траншеях возникли целых пять батальонов русских. И оказались в ловушке. С Карадага их наступление отражали солдаты Фадеева, а назад, в форт Араб, путь перерезали батальоны Рыдзевского. Плен был единственным спасением. Покончив с траншеями, молодцы Рыдзевского взялись за самое укрепление. В ход пошли штурмовые лестницы. Унтер-офицер Рожницын одной рукой отбивался от наседавших турок, другою втаскивал на крепостной вал солдат. Фельдфебель Исаев в пылу драки забыл вытянуть шашку и напавшего на него турка просто-напросто задушил руками. Лишь потом, спохватившись, вытянул-таки шашку из ножен и давай рубить направо-налево.

Колоннам Меликова и генерала Комарова пришлось в ту ночь тяжелее всех. Подполковник Меликов быстро и легко овладел укреплением Сувари. Турки, сочтя его колонну за привычных ночных охотников, выслали на 200 сажен перед фортом аванпостные группы, которые мгновенно были оттеснены назад. Форт был взят так неожиданно быстро, что сигнальных ракет, означавших победу, никто ни в ставке Лазарева, ни Лорис-Меликова не увидел.

А подполковник Меликов, как и следовало ему по диспозиции, перешел на левый берег Карс-чая и направился к ук-





реплению Чим, где должен был соединиться с колонной генерала Комарова. Но едва его колонна достигла другого берега, как попала под жесточайший огонь турок. Силы наших солдат стремительно иссякали. Вот уже и сам подполковник Меликов тяжело ранен в живот и все-таки продолжает руководить боем, наотрез отказавшись уходить в лазарет. Но рана его была смертельна. После гибели командира колонна стала отходить назад.

Генерал Комаров со своими полками должен был демонстрировать против укрепления Тохмас и частью своего отряда двигаться к Чиму. Он выслал вперед полк пехоты во главе с полковником Бучкиевым — тем самым Бучкиевым, из-под надзора которого в свое время сбежал Хаджи-Мурат. Полк Бучкиева попал под перекрестный огонь с Чима и Тохмаса. Двигаться дальше, подставляя солдат под расстрел, было бессмысленно, и Бучкиев принял единственно верное в той ситуации решение — взбираться по крутому склону на Тохмас и попытаться атаковать его.

Вслед за Бучкиевым и вся колонна вместо демонстрации втянулась в штурм Тохмаса. Поскольку турки, памятуя о своем успехе в 1855 году, именно отсюда ждали русских, сопротивление Комарову было организовано самым серьезным образом. Лишь к утру, когда уже погиб отважный Бучкиев, когда потери отряда исчислялись десятками, командующему корпусом удалось получить сведения об истинном положении колонны Комарова. Лорис-Меликов тотчас же распорядился отправить в помощь ему резервную колонну генерала Дена.

Подмога была в пути, когда узнали об этом в Главной квартире, расположенной в 12-ти верстах от места событий. Великого князя чрезвычайно напугала необходимость пускать в дело резерв. Срочно был отправлен вдогонку Дену начальник штаба генерал Павлов, который именем главнокомандующего приказал остановить дальнейшее продвижение колонны, что обошлось для Комарова лишними потерями. Таков был результат единственного вмешательства главнокомандующего и ближайших его советников в штурм Карса.

В то время, когда Комаров штурмовал Тохмас, к северу от него колонна полковника Черемисинова из отряда генерала Роопа осторожно и одновременно дерзко демонстрировала против мощного укрепления Лаз-тепеси. Действия этой колонны были так убедительны, что комендант Карса Гусейн-паша принял ее за главные силы Действующего корпуса и бросил на защиту Лаз-тепеси все резервы. Сюда же он перенес и соб-

ственную ставку, не подозревая, что беда неумолимо грядет с юго-востока.

Но дело уже стремительно шло к развязке. В 7 часов утра отряды генерала Лазарева, взявшие все укрепления на правом берегу Карс-чая, вошли в город.

Рано утром из города, взятого колоннами Лазарева, в ставку коменданта выбрался гонец с дурной вестью. Гусейну-паше оставалось лишь бегство. Организовать его толком не удалось. Спасся только сам командующий карсским гарнизоном с тремя десятками башибузуков.

А на следующий день состоялся торжественный въезд в победенный Карс Главнокомандующего Кавказской армией, наместника его величества императора на Кавказе генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Николаевича. Войска, участвовавшие в славном штурме, были выстроены на парад.

Великий князь объехал ряды и от имени государя императора и своего собственного поблагодарил отважных воинов, не посрамивших чести русского оружия. Завершив объезд, главнокомандующий выехал к середине фронта и здесь, вынув саблю, скомандовал:

— На караул!

Парад застыл.

Главнокомандующий генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич отдал салют командующему Действующим корпусом генерал-адъютанту Лорис-Меликову и крикнул войскам:

— Вашему командиру генералу от кавалерии Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову — ура!

— Ур-р-ра-а-а!!!

Отдание салюта старшим по званию, к тому же членом императорской фамилии, младшему — награда исключительная. Каким-то седьмым чувством великий князь уловил, что войска ждут ее для своего любимого генерала, который привел их к победе в этой трудной войне с тяжелыми отступательными походами и кровопролитными битвами. Каждый — от нестрелевого солдата из слабосильной команды до бравого героя Кавказа генерал-лейтенанта Лазарева — чувствовал собственную причастность к этой награде и то редко выходящее наружу солдатское чувство, без которого никакие победы невозможны, пусть даже по самым умным диспозициям и оперативным пла-

нам: искреннюю любовь к «Михал Тарелычу». И все это выплеснулось в коротком крике, которому и объяснения вразумительного не найдешь, ибо унаследован он от древних врагов наших — татарской орды:

— Ура!

Утро 8 ноября 1877 года началось для командующего Действующим корпусом с посещения раненых. Начал с нового госпиталя, вчера размещенного в каземате укрепления Канлы. Здесь наши отряды понесли самые большие потери.

Столь важного гостя никто не ждал, так что травы перед порогом, как это будет принято в Советской Армии, не красили и занимались своим делом. Хирурги стояли на операциях, как на конвейере, сменяя друг друга лишь на короткий нервный сон, продолжавший кошмарную действительность, и в забытии их преследовали ампутации, очищение гнойных ран, перевязки... Для врачей настала самая жаркая пора. И генерал не стал отвлекать их от дела, только приободрил в нескольких добрых словах.

В палате легкораненых царило оживление. Оттуда раздавался хохот в дюжину солдатских глоток, сопровождавший куплеты, видимо только что сочиненные обладателем звонкого, почти мальчишеского голоса:

Доктор, батюшка, спасите —  
Смерти до смерти боюсь,  
Мне Дуняшу покажите,  
Я на ней сейчас женюсь.

— Так смерти до смерти боишься? — Генерал, войдя в палату, улыбнулся рыжевату солдатику с веселыми голубыми глазами. Левое плечо солдата было перевязано, и кровь проступала сквозь бинты, но это никак не омрачало балагура. «Где-то я видел эти веселые голубые глаза», — мелькнуло у генерала, но затруднять память он не стал.

— Да кто ж ее не боится, ваше высококородие! — Солдата этого вроде ничем не смутишь. — Вот она, рядом ходит. Да все равно не минешь ее, проклятую, хоть завтра, хоть в девяносто лет. А по мне, все равно, ваше высококородие, кому быть повешену, тот не утонет.

— Экой ты пистолет! Да как звать тебя, служивый?

— Рядовой Московского гренадерского полка Пьецух Тарас. В Карсе был в составе Кавказского стрелкового батальона.

— У Герича?

— Так точно. Сперва в охотниках, потом со всеми вместе.

— Да ты настоящий герой! — И командующий корпусом сам прикрепил на грудь Тараса солдатский Георгиевский крест.

Лорис-Меликов порасспросил других солдат: кто где был ранен, из какого полка, и был щедр на награды. Так он объехал все госпитали и лазареты вокруг Карса, не пропустил ни одного офицера и солдата. И весь день усмехался про себя, вспоминая утреннюю поговорку: «Ишь, пистолет! Кому быть повешену, тот не утонет...» Была бы в Российской империи медаль за остроумие, он бы не пожалел ее для Тараса Пьецуха.

И какие, однако же, штуки выкидывает судьба. Не на виле кончил дни свои Тарас и не своею смертью в тихой постели. Он утонул, и притом самым экзотическим образом. После войны Тараса носило по всей Руси великой, нигде остановиться не мог: веселой работы искал. Он мыл золото на Урале, выдувал стекло на заводе у Лорис-Меликова под Екатеринодаром, пока завод этот не разорился, потом оказался в Польше и устроился на винный завод графов Потоцких. Вроде бы осел и даже семью завел. И однажды на спор нырнул с головой в чан с готовым вином. Да так и не всплыл. Кому быть утоплену, того не повесят.

В двадцатых числах ноября из Петербурга пришла большая почта со столичными и московскими газетами и журналами. Пора добрых новостей с Балкан еще не наступила, и Карс был притчей во языцех. Газеты наперебой славил кавказского главнокомандующего, генерал-адъютанта Лорис-Меликова, генерал-лейтенанта Лазарева. Заслуги последнего были несомненны, но вот странность: только из столичных газет Михаил Тариелович узнал, что, оказывается, исключительно благодаря приказам и распоряжениям Ивана Давидовича полковник Фадеев, сбившийся с пути и действовавший по обстановке, взял Карадаг; Рыздзевский овладел Арабом и даже генерал Алхазов пришел на помощь батальонам Урбанского у Хафиза. И все не по своей инициативе, а лишь послушные воле Лазарева. А дальше — уж совсем анекдот: выходит, по газетам, будто и кавалеристами Щербатова и Шереметьева, пленившими основную массу турок, тоже управлял генерал Лазарев, даже по диспозиции находившийся далеко от них и не имевший никакого права отдавать им приказы. И уж конечно план штурма — тоже заслуга одного только Лазарева.

Лорис-Меликов попробовал было поговорить с Иваном Давидовичем, надеясь, что столь непомерные восхваления его —

дело рук лихих и бестолковых журналистов. Куда там! С Лазаревым стало совершенно невозможно разговаривать — он вбил себе в голову мнимые заслуги свои, да так крепко, что на любое возражение вскипал, и в гневе его постигала полная глухота.

— Не понимаю, Иван, зачем тебе чужие заслуги, когда своих достаточно? Все и так знают, что ты молодец и герой. Но что ж ты на себя тащишь славу Рыдзевского, Алхазова, Фадеева. Не будь жадиной — поделись.

— Я командовал блокирующим отрядом? Я! Мои колонны штурмовали Канлы, Хафиз, Араб и Карадаг? Мои!

Ну что ты с ним поделаешь!

Бедный Иван Давидович! Он все ждал и надеялся, что за успешный штурм Карса его наградят орденом Святого Георгия 2-й степени, произведут в следующий чин... Увы! Когда по Кавказской армии стали зачитывать высочайшие указы о награждениях, всех ошеломила новость похлеще газетных: а Карс-то мы взяли по плану, составленному Дмитрием Ивановичем Святополк-Мирским! И пусть сам он носу не высовывал из недоступной самой дальнобойной артиллерии Главной квартиры, он единственный оказался достоин Георгия 2-й степени. Только теперь стало понятно, зачем 2 ноября по войскам разослали диспозицию, лишь подписью отличавшуюся от прежней.

С той же почтой пришел свежий номер «Отечественных записок». Лорис-Меликов не сразу взялся за него — хоть и был назначен комендантом Карса старый его помощник по прошлой войне генерал-майор Попко, но неграмотному турку не докажешь, что начальник теперь над ним другой. Все опять валом валят к сердарю Лорису, как двадцать два года назад. А Лорис, хоть и важный генерал, отказывать не любит, так что опять все дни забиты делами: до журналов ли тут? Но как-то за обедом у великого князя Святополк-Мирский вдруг с несвойственным ему жаром заговорил о наших литературных журналах, как много они стали позволять себе:

— Я не понимаю, господа, в этой стране есть цензура или нет? Идет война, надо поднимать народ на борьбу, возбуждать в русских людях святы патриотические чувства! А тут получаешь столичный журнал, солидный, с уважаемым редактором, — и в нем возмутительнейший пасквиль. Где это видано, чтобы наша доблестная армия на целых четыре дня раненого на поле боя оставила?! Мы когда с Шамилем дрались — трупы своих солдат уносили.

— Факт, конечно, возмутительный, но если отступление или, наоборот, успешное наступление, когда войска на плечах противника уходят верст на тридцать вперед... Что ж, и не такое случается, — возразил Лорис-Меликов. Про себя же усмехнулся: давненько наш Дмитрий Иванович в переделках не бывал.

— Мало ли что случается! Писатель должен не случайности расписывать, а так показывать жизнь, чтобы она вдохновляла солдат и офицеров на подвиги. Идея должна быть, в конце концов! А этому... этому... ему и война наша, видите ли, не по нраву. Хоть бы раз, стервец этакий, угнетенных братьев славян вспомнил! Нет, ему турка убитого жалко! Трус и пасифист, вот он кто, а не русский писатель и уж конечно не патриот!

— Да кто он-то, Дмитрий Иваныч?

— Некто Гаршин. Еврей, наверное.

Тем же вечером Михаил Тариелович взялся, наконец, за октябрьский номер «Отечественных записок». Рассказ, возмущивший князя Мирского, назывался «Четыре дня». Удивительное дело, но, читая эту вещь, Лорис-Меликов не мог отделаться от ощущения, будто он слышит чей-то знакомый, но подзабытый голос. Страницы через две со слов: «Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома!..» — он ясно вспомнил, кому принадлежал тот голос, которым теперь звучала каждая фраза. Одиноким читатель «Севастопольских рассказов» у костра перед солдатской палаткой накануне Аладжинского сражения. Как же его фамилия? Ах да, вольноопределяющийся Грушин. А автор — тоже, кажется... Нет, не Грушин — Гаршин. Не совпадение, так созвучие. А Грушин погиб, он храбро погиб, я помню, я спрашивал, мне докладывали. Но вот ведь — звучит его голос, и хотя звезды над героем рассказа болгарские, я вижу его под Аладжей у того костра и он мне говорит то, чего не успел в ту ночь. Или не знал еще.

Голос с того света, явственный голос несчастного героя не патриотической болтовни, а собственного благородства рядового Московской гренадерской дивизии вольноопределяющегося Грушина высказал генералу мысль, которую он знал все тридцать лет своей службы на Кавказе, но страшился облечь в слова:

«Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. *Это сделал я.*

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил».

Для Грушина война кончилась, и он был вправе высказать истину, только на войне и добываемую, но тем и страшную, беспощадную. Она превращает каждого солдата, от рядового до генералиссимуса, в убийцу.

Генерала от кавалерии, покорителя Карса, только что пожалованного орденом Святого Владимира 1-й степени с мечами, окатил жгучий стыд. Стыд за все, чем гордился смолоду. И за гордость — особенно жгучий. Разом и вдруг поблекли все его молодецкие дела, чин от чину множившие мертвецов на полях сражений, в которых ему доводилось участвовать.

После Карса военные действия в Турецкой Армении практически закончились. Но не кончилась война. На смену ружьям, саблям и пушкам пришел враг более свирепый и беспощадный к обеим воюющим сторонам. В феврале Мухтар-паша сдал осажденный Эрзерум, едва ли не на две трети вымерший. В блокированном городе при недостатке воды и полном отсутствии канализации начались эпидемии, и самые страшные из них — возвратный тиф и, кажется, чума. Последнюю занесли сюда сами турки, передислоцировав под Эрзерум полк редифа. Странный был этот полк. Его солдаты что-то очень легко сдавались в плен. Сдавались и тут же сваливались в лазарет. Скоро выяснилось, в чем дело. На южных границах Османской империи вспыхнула эпидемия. Турки вознамерились отправить больные полки под Плевну. Но англичане запретили им запускать эпидемию в Европу. На Кавказском же театре военных действий, вдали от британского присмотра, Мухтар-паша нарушил запрет союзников. Привозная зараза оказалась чумой. Во всяком случае, так утверждали полковые доктора. Но комиссия, прибывшая из Петербурга, видимо, боялась самого этого слова — ее диагноз был всего лишь тиф. Тоже мало радости.

Неведомая болезнь перекинулась от пленных в блокирующий лагерь, оттуда — в Карс, и главной заботой генерала от кавалерии Лорис-Меликова стала санитария. Во всех местностях, где стояли русские войска, были проведены ассенизации.

онные работы, установлен жесточайший карантин, а не то тиф, не то чума, а может, и обе продолжали косить людей тысячами, не глядя на звания. Одних генералов погибло шестеро. И каких генералов!

Только к весне эпидемия как-то поутихла, съезжилась, зацепляя лишь по одному, по два в неделю, а не десятками в день, как раньше.

В апреле, сразу после подписания Сан-Стефанского договора, Лорис-Меликов вновь отпросился в долгосрочный отпуск вплоть до исцеления. Великий князь изобразил несказанную печаль по этому поводу и глубочайшее нежелание расставаться с командующим корпусом, хотя просьбе уступил очень быстро. В связи с уходом генерал-адъютанта Лорис-Меликова со своего поста по Кавказской армии главнокомандующим был издан лирический по духу своему приказ, растрогавший даже героя его. Были в нем такие слезные слова:

«Я уверен, что вся Кавказская армия разделит со Мною глубокое сожаление об оставлении генерал-адъютантом Лорис-Меликовым, хотя и временно, рядов ее, среди которых имя его останется навсегда связанным со всеми доблестными подвигами войск Действующего корпуса в минувшую кампанию. Не одна новая блестящая страница внесена им в славные летописи войск, ему вверенных, с которыми в течение 18 месяцев делил он геройские труды и тяжелые лишения, выпавшие на их долю; а взятие Ардагана, бой на высотах Аладжи, сражение на Деве-бойну и беспримерный в истории штурм Карса составят навсегда гордость русской армии. Глубокая душевная признательность Моя, любовь и уважение боевых товарищей и искреннее русское спасибо солдат, привыкших видеть своего корпусного командира в неустанных попечениях и заботах о них, да послужат генерал-адъютанту Лорис-Меликову залогом тех чувств, с которыми встретит его Кавказская армия, когда восстановленное здоровье позволит ему вернуться вновь в ряды ее.

Главнокомандующий Кавказской армией  
и Кавказского военного округа  
Генерал-Фельдцейхмейстер *Михаил*.

Спустя всего четыре дня по Кавказской армии и Кавказскому военному округу был объявлен приказ № 261: «За отличие, оказанное в делах с неприятелем в минувшую кампанию 1877 — 1878 годов генерал-адъютант Михаил Тариелович Ло-

рис-Меликов Всемилоостивейше пожалован в Графское Рос-  
сийской империи достоинство со всем нисходящим от него  
потомством».

### СВОБОДА!

Отправляясь в Эмс, на воды, Михаил Тариелович едва ли предполагал, что судьба так просто не отпустит его со службы. На Кавказе он достиг не то что всего — выше всяких ожиданий. Едва ли воображение полтора года назад способно было в сладких снах показать те награды, что осыплют генерала, в мыслях давно простившегося с армией. По завершении отпуска он предполагал вообще выйти в отставку — по штату Лорис-Меликов состоял при особе Кавказского наместника. Но реального дела для него в Тифлисе найти было мудреней, чем до войны. Не осталось на Кавказе должностей по его чину. Разве что наместника. Да едва ли Михаил Николаевич захочет оставлять ее.

Живи и радуйся. Он бы и радовался. Благо первый человек, встретившийся в Эмсе, — добрейший Александр Иванович Кошелев. Александр Иванович постарел, погрузнел, стал сентиментален и легковат на слезу что горечи, что умиления, но в остальном был бодр и полон либеральных мыслей и проектов. Но первый же вечер прошел в печали. Ведь Михаила-то Петровича Погодина они тогда, в мае 75-го, — такого крепкого, ясного и живого мыслью — проводили как бы на тот свет. И как-то весь разговор превратился в бесконечный мартиролог — Лорис-Меликов мечтал, попав после войны в Петербург, возобновить свое знакомство с Некрасовым, умершим под самый Новый год. Александр Иванович горько переживал смерть князя Черкасского во время подписания Сан-Стефанского мира. Князь подготовил конституцию для освобожденной Болгарии, и Александр Иванович принимал участие в ее разработке, надеясь, что царь и своему народу подарит подлинно демократическую свободу. Уж наш-то народ заслужил.

— А что князь Дондуков-Корсаков? — спросил вдруг Кошелев. — Вы ведь его знали. Сейчас очень многое в его руках.

— Александр Михайлович — человек, несомненно, умный. Но вот насчет гражданской отваги я вам прямого ответа не дам. Тут все зависит от обстоятельств. Прикажут — он самые прогрессивные установления переплюнет и такую республику учредит — весь мир, точнее весь демократический Запад, в изумление придет. А по другому приказу — тем же почерком

изобразит самую страшную деспотию и всех уверит, что он принес болгарам подлинную свободу. А что до заслуг нашего народа — так он и в Двенадцатом заслужил. И больше, чем получил в шестьдесят первом.

На прощание Александр Иванович, растроганный рассказами Лорис-Меликова о юных годах и встречах с Некрасовым, подарил ему томик недавно вышедших «Последних песен» поэта. В книжку были вклеены выписанные от руки стихотворения, не пропущенные цензурой, и среди них страница из «Отечественных записок», кажется, со стихотворением «Осень». Впрочем, это Михаил Тариелович обнаружил уже дома, с азартом впившись в стихи, многие из которых он знал. Но эта «Осень» с датой 7 ноября — на следующий день после падения к ногам Лорис-Меликова Карса...

Прежде — праздник деревенский,  
Нынче — осень голодна;  
Нет конца печали женской,  
Не до пива и вина.  
С воскресенья почтой бредит  
Православный наш народ,  
По субботам в город едет,  
Ходит, просит, узнает:  
Кто убит, кто ранен летом,  
Кто пропал, кого нашли?  
По каким-то лазаретам  
Уцелевших развезли?  
Так ли жутко! Свод небесный  
Темен в полдень, как в ночи;  
Не сидится в хате тесной,  
Не ложится на печи.  
Сыт, согрелся, слава Богу,  
Только спать бы! Нет, не спишь  
Так и тянет на дорогу,  
Ни за что не улежишь.  
И бойка ж у нас дорога!  
Так увечных возят много,  
Что за ними на бутре,  
Как проносятся вагоны,  
Человеческие стоны  
Ясно слышны на заре.

Вот и первая бессонница. Да, это точно «Отечественные записки» — их шрифт. И вроде даже читал их зимою, но стихотворение было без подписи, а на дату внимания не обратил. И поначалу стало ужасно обидно — вот как Николенька отозвался на великую мою победу. Нет, давно никакой не Николенька — первый русский поэт. Так ведь в каждой войне ка-

лечат и убивают людей — это ж не игра в оловянные солдатики. А зачем? За что? Тот же вольноопределяющийся Грушин, вдруг заговоривший в тех же «Отечественных записках», племянник мой Иван, Гейман, несчастный Бучкиев — не прозевай он тогда Хаджи-Мурата, дивизией бы командовал. И что мои обиды?

Где-то вдали загудел паровоз, тряхнул составом. Все громче и громче застучали по рельсам колеса. «Человеческие стоны ясно слышны на заре». Откуда в этой сытой Европе, в курортном ее углу, человеческие стоны? Здесь небось и умирать отвыкли. Но после Некрасова долго еще каждый звук из вокзала, особенно ночью, будет пробуждать стоны, предсмертные крики и шепот. Смертей и изуродованных тел Михаил Тариелович на своем воинском веку навидался — не дай Бог. Но во время войны ты как-то отделен от страданий уже настигнутого пулей или саблей азартом битвы, жаждою победить и той мыслью, что не сегодня, так завтра и тебя зацепит. Хотя именно его Бог промиловал за все 180 всякого рода сражений так, что даже царапины не получил, и сейчас за это жжет стыд. К тому же лишения и неудобства походной жизни даже командующего корпусом мало отличаются от лишений и неудобств поручика или штабс-капитана. Видимость равенства и отвага на время войны оставляют тебя равнодушным к чужой боли. Но вот война кончилась.

Война кончилась, и все лихие призывы, с которыми вел свой корпус на штурм Ардагана, Зивина, Карса, превратились в пустые, напыщенные слова. А Некрасов уже тогда знал цену. Мы с Гурчиным, подхлестнутые геройским ажиотажем Лазарева, составляли диспозицию, расставляли колонны, думали, как взять с налету Канлы, Хафиз и Карадаг, а поэт уже видел стонущие вагоны с кадеками из отрядов Фадеева, генерала Комарова и подполковника Меликова.

Опять поезд. Нет, это совершенно невыносимо. Отдыхать нужно где-нибудь подальше от железных дорог. Да нет, не спасет! Вдруг вспомнился Карс в декабре 1855 года, когда привели к нему на суд и расправу буйного казачьего старшину. И на вопрос, что ж ты пьешь как скотина, старшина ответил:

— Это война из меня выходит, ваше благородие.

Война выходит. Почему-то та, Крымская, если и выходила, то безболезненно. Может, потому, что забот в обустройстве Карса было полно, не до переживаний, и первые радости женитьбы, и молодость... А сейчас душит бессилие что-либо изменить, поправить, вернуть к жизни мертвых, отправленных

на тот свет по твоему приказу. Или — еще бездарнее, когда в конце ноября турки прислали откуда-то с юга целый полк редифа в помощь обороняющемуся Эрзеруму. И за три месяца один полудохлый турецкий полк опустошил Действующий корпус почти на треть. Вот где было бессилие! И сколько ни слал депеш в Тифлис и Петербург — пришлите врачей! — никакого толку. В ответ — сводки о раненых в Болгарии, там, дескать, и так некому лечить тысячи изувеченных. А у меня что ни день — двадцать трупов.

В бледном сумеречном рассвете увиделся Иван, Маленький Лорис. Сколько надежд было с ним связано! Сын двоюродного брата Егора, он пошел по стопам Михаила, минуя, правда, Лазаревский институт. И тоже в тридцать лет стал генералом и на войне себя так славно проявил. Храбрец и тоже, как сам Михаил Тариелович, от пуль заговорен. Хоть раз бы царапнуло! Великий князь Михаил Николаевич отослал императору представление на звание генерал-лейтенанта. Пули не взяли, так зараза зацепила. Вот в такой сумеречный предрассветный час Иван и скончался. А рядом умирал Шелковников, и этому тоже, кроме чашки воды с раздавленной клюквой, ничем не сумел помочь.

Солнце выкатилось внезапно и сразу. И ослепило на миг. Странно, конечно, но с ним и пришел спасительный сон, он успел только подумать, что надо бы встать задернуть гардины, открыл глаза, а на часах уже одиннадцать.

Долго, ох как долго выходила война в лето 1878 года. Днем Михаил Тариелович держался, казался всем весел и любезен, о минувшей кампании рассказывал всякого рода курьезы. Ночами же в страшные бессонницы обступали со всех сторон больные, увечные, мертвые. И вспоминались не победы, не, Карс, не Ардаган или Аладжинские высоты, а Зивин и Кизил-тапа. Вот когда пьяницам позавидуешь! Надраться, что ли, до положения риз? Взгляд падает на Нину — маленькая женщина с характером сильным и властным. Она тебе устроит «до положения риз»! После Крымской войны, когда свежеспеченный генерал-майор маялся без дела, без должности, был такой период, о котором вспоминаешь — и жар стыда окатывает с головы до ног. Не любил Михаил Тариелович вызывать в успокоенной памяти те дни, когда он пытался забыться в былом гусарстве, но получалось это как-то полупринужденно и не доставляло ни радости, ни забвения, а Нина встречала его не упреками, а презрением, и это мучило больше слов, уж лучше

бы громкий скандал с хлопаньем дверьми и битьем посуды. Нет, поджимала тонкие губки, смеривала взглядом и уходила к себе, закрывалась в своих покоях на сутки, двое, дожидаясь полного раскаяния и пустых поначалу обещаний.

Нет, не приведи Господь. Да и организм в пятьдесят три года не тот, что в тридцать два. Так что будьте мужественны, ваше сиятельство. Да, я же теперь «ваше сиятельство», и это так дико и непривычно звучит. Радость улетучилась быстро, но и привычки к новому титулу нет. И даже неловкость возникает, когда представляешься «граф Лорис-Меликов», будто свою визитную карточку по чьей-то подсказке читаешь. Звание генерал-адъютанта в 1865 году доставило больше гордости и детского удовольствия, когда подписывался на всякого рода казенных бумагах. Смешно вспоминать — целый год от меня сыпались приказы и распоряжения именно из удовольствия обозначить в завершение: «Генерал-адъютант Лорис-Меликов». Но ведь и сделано тогда было немало благодаря наивному моему фанфаронству.

А что толку? Стоило уехать из Владикавказа, все вернулось в прежний вид. Опять пошла напропалую торговля казенными землями, с горцами наши доблестные генералы возобновили грубую политику насильственного обрусения, за что и получили бунты во время войны. Россия все-таки удивительная страна. Все в ней держится на одном каком-нибудь энтузиазме. Пока энтузиаст при деле — дело идет. Стоит отвернуться — черт знает что. Петра Первого схоронить не успели, и опять Россия погрузилась в дикость, от всей цивилизации одни камзолы остались да бритые бороды. И так — до самой Екатерины. Да и в нынешнее царствование... Сколько надежд и волнений было в начале шестидесятых! Все только и бредили реформами. А выскочил дурак с пистолетом, напугал царя — и опять болото и дикость.

Александр Иванович весь в надеждах. Победоносная война страхнет спячку с императора, он подарит народу долгожданную конституцию. Наивный человек! Как бы не вышло, как при Александре Павловиче, — после побед сон особенно сладок. И тогда сперанских сменяют аракчеевы.

А в июне грянула беда. В Берлине начался конгресс европейских держав, который пересмотрел условия Сан-Стефанского договора. Страна-победительница под угрозой новой войны, на этот раз не с полудикими турками, а с Австро-Венгрией и Англией, была поставлена в положение проигравшей.

Ох эти газеты! Открывать их была мука мученическая — генерала жег позор за себя, за отечество, за доблестных солдат и офицеров, вынесших три Плевны, Шипку, Зивин, Баязет... Но каждое утро он с нетерпением ждал разносчика газет и впивался глазами в омерзительные новости. Австро-Венгрия проглотила Боснию и Герцеговину, Румыния — устье Дуная, турки отхватили назад Южную Болгарию и — что совсем для героя Карса и армянина непереносимо — Даяр и Баязет. Сколько армян спасли в тех краях от погромов, вернули в разграбленные жилища. Как теперь смотреть им в глаза, оставляя на злобную месть турок и курдов? И ведь ничего не поправишь!

— Александр Иванович, — говорил Лорис-Меликов Кошелеву, — поверьте старому вояке: добром это не кончится. Весь этот трактат — кулечек, внутри которого новая война тихо греется и зреет. И это, скажу я вам, такая война будет, что Шипка и Плевна раем покажутся!

— Я все же полагаю, — бодро отвечал Кошелев, — что мир порядочно устал и от нашей и от франко-прусской войн, и, даст Бог, мир воцарится надолго. На нашу с вами жизнь хватит.

— На нашу, может, и хватит. Да жизнь человечества несколько длиннее будет. А деткам нашим какво придется?

— Вот чтобы Россия вновь стала могучей и процветающей державой, нам и надо трудиться не покладая рук и выводить страну на уровень мировой цивилизации. Общая Земская Дума — это как раз тот институт, который единственный способен упорядочить финансовую систему, двинуть вперед разумными законами торговлю и промышленность. Поверьте мне: через десять лет разумного демократического правления в России Бисмарк сам запросит пересмотра этого трактата.

— Вашими б устами, душа моя, да мед пить.

И вот ведь что любопытно. Сидит в компании с курортным другом генерал, после войны пребывающий в бессрочном отпуске, и вроде как безответственно, поскольку его никто не спрашивает, за бокальчиком хорошего кахетинского вина рассуждает о судьбах мира, опираясь исключительно на свой опыт и здравый смысл. И как в воду смотрит. Подавится ведь Австро-Венгрия своею Боснией с Герцеговиною вместе. И туркам эту Румелию не удержать. А значит, вся эта жадная дележка кончится страшной войной.



Но умных людей при решении столь важных вопросов спрашивать не принято. И лица, уполномоченные правами представительства великих европейских государств, всю преданность мстительным радостям. У австрийского министра иностранных дел Андраши с Россией свои счеты: за участие в венгерской революции 1848 года он был приговорен к смертной казни. Ну вот пусть «жандарм Европы» и отдувается! Английский премьер Дизраэли в силу своего происхождения никогда не простит русскому самодержавию внутренней антисемитской политики. Он бы не то что Баязет — и Карс бы отобрал у вчерашних победителей. Князь Бисмарк вообще считает Россию вроде как своей провинцией, обязанной безоговорочно исполнять все его требования. И ее надо проучить!

В общем, полная виктория Европы над оконфузившейся Россией.

У нас что ни победа — Пиррова,  
А что ни пир — среди чумы.

И напрасно Железный канцлер потирает руки — своему отечеству он уготовал такой XX век, что сам Иероним Босх, воскресни на минутку году в 1943-м и загляни в Освенцим и на поле возле деревни Прохоровка, признал бы свои фантазии рождественскими открыточками. России тоже достанется. Но сегодня Лорис-Меликов не настолько погружен в ее будущее. Точно предвидя кошмары XX века, Михаил Тариелович ни малейшего представления не имеет о том, что с ним самим случится через полгода и уж тем более — через два.

### ЧУМА

К зиме курорты надоели, стала мучить ностальгия, захотелось домой, в Тифлис. Но сначала решили заехать в Петербург — навестить Тариела и Захария, обучающихся в Пажеском корпусе. Купленные напоследок газеты сообщали об эпидемии чумы на Волге, в результате чего Германия и Австро-Венгрия отказались покупать из России скот и раздумывают, не прекратить ли им закупку зерна и рыбы. Вослед за ними и другие страны помышляют об эмбарго на русские продовольственные товары. Очень этого нам не хватало после разорительной войны.

— Далась тебе эта чума, — сказала Нина. — Слава Богу, все уже решено. Приедем домой, навестим ребят, отпросишься в отставку — и заживем тихими старосветскими помещиками. Сам говорил, пора заниматься хозяйством.

— Да, да, ты права, займемся хозяйством.

При мысли о хозяйстве генерал поскуцнул. Он не представлял себе, с какого конца браться за дело, запущенное изначально. Царский подарок — пять тысяч десятин на плодородной кубанской земле — свалился в 1868 году явно не на те плечи. Любой другой на месте Лорис-Меликова давно бы миллионные прибыли имел, для генерала же это была головная боль и вечный попрек самому себе: имение — залог будущего процветания пятерых его детей, но сам он как хозяин совершенно беспомощен, ленив и непрактичен. Гляди, как бы этот источник процветания не разорил бы в пух.

В Петербурге Лорис-Меликовы остановились у старых друзей. Александр Аггеевич Абаза, давным-давно бросивший военную службу и достигший степеней известных в статских делах, был тайным советником, председателем Департамента государственной экономии и членом Государственного совета. Жил Александр Аггеевич в гражданском браке с Еленой Николаевной Нелидовой, хозяйкой большого дома на Большой Конюшенной. Лорис-Меликовым отвели маленькую квартирку, очень уютную, хоть и тесноватую, да ведь всего-то на несколько дней, а там и домой, в Тифлис.

По приезду генерал-адъютант Лорис-Меликов обязан был явиться в Зимний дворец для представления императору, что и было исполнено на другой день. Оказалось, в столицу съехался весь тифлисский бомонд. Кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич выдавал дочь свою Анастасию Михайловну за наследного принца Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца. Свадьба состоялась 12 января, и целая неделя — балы, балы, балы... В Зимнем дворце, в Михайловском, в Аничковом у цесаревича-наследника, в Мраморном у Константина Николаевича, а потом и у Владимира Александровича. Балы балами, а разговоры — об одной лишь чуме, расползающейся со станции Ветлянки Астраханской губернии по всему низовью Волги.

Тариел крутил ус — точнее, коротенькие волоски, пробившиеся над верхней губой, и снисходительно поглядывал на Захария, который с горящими глазенками рассказывал печаль-

ному отцу о проделках юнкеров Пажеского корпуса. Те же бои подушками в дортуаре, гусарики под нос спящему — за тридцать пять лет юношество ни единой новой забавы не придумало. Слава Богу, хоть «нумидийские эскадроны» забыли. И что прикажете делать отцу? Ругать? Будто сам не играл в эти игры. Правда, не горел восторгом, как Захарий. Нельзя, нельзя было отдавать сыновей в эту конюшню. Думал, Пажеский корпус — не то что Школа юнкеров. И впрямь не то — еще хуже. И еще меньше заботы об умственном развитии будущих гвардейских офицеров. Закрытые учебные заведения. Учебные заведения, закрытые от науки, от настоящего просвещения — вот что это такое.

Михаил Тариелович, слушая болтовню Захария, сохранял на лице добродушную улыбку — он никогда не выказывал недовольства строгостию лица, а просто сбивал подростковую спесь каким-нибудь едким вопросом или фразой, брошенной как бы невзначай. Сейчас вертелся на языке вопрос: «А что вы там читаете?» — который, тут и гадать нечего, вызовет скуку у обоих сыновей, но задать его Михаил Тариелович не успел. Явился фельдгегерь:

— Ваше сиятельство, вас требуют во дворец.

Странно, он зван уже во дворец, но к семи часам. Большой бал все по тому же поводу бракосочетания великой княжны Анастасии Михайловны с наследным принцем Мекленбург-Шверинским. А сейчас — три. И явиться немедленно. Что бы это значило?

А значило это вот что.

16 января Комитет министров заслушал доклад управляющего Министерством внутренних дел Макова о принятии решительных мер не только против распространения заразы, но и для полного ее искоренения посредством сожжения зараженных станиц и деревень. Эксперты — врачи Боткин, Здекауэр, Розов — вполне одобрили меры, предложенные Львом Саввичем, но Комитет счел необходимым послать на места эпидемии доверенное лицо от правительства с самыми обширными полномочиями. При обсуждении кандидатур названы были генерал-адъютанты Гурко, Лорис-Меликов и Трепов. Лорис-Меликов предложил военный министр Милютин. Он полагал, что для такого дела нужен генерал не только решительный, хорошо бы еще был при этом и умный.

На следующий день Милютин, Маков и шеф жандармов Дрентельн были вызваны во дворец для доклада о решении

Комитета министров и выбора лица, командируемого на низовья Волги. Государь высказался в пользу Трепова, человека крутого, смелого и не привыкшего останавливаться ни перед какими трудностями. Все это так, конечно, но вот именно крутостью и решительностью своею Федор-то Федорович и подмочил себе репутацию. После выстрела Веры Засулич и суда, ее оправдавшего, именем Трепова разве что детей пугать. А за погашением эпидемии будет следить Запад, как бы по-смешим не стать. В выражениях крайне осторожных военный министр осмелился напомнить об этих обстоятельствах. И рекомендовал попробовать на этом деликатном деле генерала Лорис-Меликова.

Тотчас же означенный генерал-адъютант граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов был призван пред светлые очи императора.

Царь Александр II был немногословен, строг и суров. Черты отцовской, николаевской, непреклонности проглядывали во всем его облике, глаза смотрели холодно и тоже по-отцовски отливали оловом. Лорис-Меликова Александр не знал и был огорчен, что его кандидатура так дружно была опротестована министрами.

— Известно ли вам, граф Михаил Тариелович, о чумной эпидемии, постигшей ряд наших губерний на низовье Волги?

— Да, ваше величество.

— А как бы вы отнеслись к тому, если б я командировал вас в эти края для борьбы с этой заразой?

— Я готов к исполнению высочайшей вашей воли. В конце войны эпидемия была моей основной заботой.

— Ну что ж, дай вам Бог удачи. А я подпишу указ о назначении вашем временным генерал-губернатором в Астраханской, Самарской и Саратовской губерниях, как только таковой будет подготовлен. Инструкции на сей счет Лев Саввич обещает разработать в своем министерстве к послезавтрашнему дню.

А вечером был в Зимнем большом бал, и граф Лорис-Меликов стал невольным его героем, потеснив своей персоною молодоженов. Его высочество великий князь Михаил Николаевич первым поспешил поздравить нового генерал-губернатора, почти наместника Нижней Волги, полномочиями сравнявшегося с ним самим. И как-то так выходило, что будто бы сам великий князь и рекомендовал Михаила Тариеловича на столь высокую и ответственную должность.

Радость его была понятна — новое назначение Лорис-Меликова избавляло Кавказского наместника от забот о герое Карса, граф теперь поступил в распоряжение императора, и Тифлис мог вздохнуть свободнее. Но зачем же врать? Лорису прекрасно была известна вся подоплека — после аудиенции у царя он добрых два часа провел с Милютиным и Маковым, погружаясь в обстоятельства нового своего дела. Но слаб наш фельдмаршал, хоть и член августейшей фамилии. Человек вовсе не жестокий, но глубоко ко всем и всему равнодушный, Михаил Николаевич больше всего боялся, чтобы о нем подумали не лестно, и пользовался малейшей возможностью показать свою доброту и сердечное расположение, и особенно рьяно тогда, когда ему это ничего не стоило.

Сама великая княгиня Ольга Федоровна прямо-таки излучала любезность и печаль по поводу вынужденного расставания с блистательным генералом, которого так теперь будет не хватать Кавказу. И в первую очередь, конечно, семейству наместника. Ах, как это, право, жестоко — любимая дочь выпорхнула из родительского гнезда, а теперь вот и вы покидаете нас, и так опустеет наш Тифлис...

А какой искренней дружбой проникся князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский! Вспомнил даже, как они вместе в палатке устроили пир по поводу взятия Гергебиля, как он еще тогда заметил отважного гвардейского офицера и предложил ему блестящую карьеру. И как он теперь счастлив повышением графа — отпрыск рода Рюриковичей не может не подчеркнуть нового титула, со времен всего лишь Петра I присваиваемого как бы выскочкам, — слегка даже завидует ему, но завистью, конечно, белой и благородной.

Все радовались за Михаила Тариеловича, поздравляли его, и никому почему-то в голову не пришло, что отправляется он не воеводою на кормление, а в местность, где бушует зараза, и запросто можно подхватить эту чертову чуму и умереть в муках. Да кто ж на пиру вспоминает о таких мелочах!

Казачья станица Ветлянка — большое богатое селение на правом берегу Волги. В станице 425 дворов, около полутора тысяч жителей. Улицы широкие, дворы чистые, усыпанные песком. На каждом дворе — баня. Едва ли не в каждом доме вырыты погреба, обширные и чистые, где хранятся пересыпанные речным песочком овощи. Для топлива употребляются дрова и кизяк. Воду для питья берут из Волги, хотя в станице

есть четыре колодца. Но вода в них со значительной примесью извести, и потому ею только поят скот. Питаются местные жители пищей простой и здоровой: мясо, по преимуществу баранина и свинина, ржаной и пшеничный хлеб, яйца, рыба, овощи. Молока здесь пьют мало — им расплачиваются с калмыками за уход за скотом. Казаки и крестьяне, обитающие в Ветлянке, занимаются рыболовством и хлебопашеством. Весною народ отправляется на рыбные промыслы, летом убирают урожай, зимой женщины прядут шерсть, из которой ткут сукно. Батраки в Ветлянке по преимуществу калмыки и калмычки.

В станице есть школа, но казачки, женщины почти сплошь неграмотные, детей отдают в нее с неохотою.

Своего врача ни в Ветлянке, ни в соседних селениях нет. Изредка приезжает сюда за пятьдесят верст земский доктор из ближайшего города Енотаевска.

Болезнь в Ветлянке появилась в первых числах октября 1878 года, когда из Турции вернулся воевавший в составе Кавказского корпуса 2-й казачий полк.

Начальство в России страшнее чумы. А посему местное чиновничество, узнав о беде, подчиняется первому и главному инстинкту: скрыть! Оно и понятно: раз у тебя чума, значит, ты и есть ее главный рассадник. И с тебя — главный спрос. Так что лучше промолчать, а там как Бог даст. Бог в таких случаях дает расползание заразы. Только 9 ноября стали официально доносить, что в станице появилась какая-то болезнь, от которой умирают люди. И только 11 декабря, когда чума уже косила людей десятками, было сделано распоряжение установить карантин.

В станице устроили три временные больницы. Одна расположена в школе, другая — в этапном доме, и под третью отдал безвозмездно большую избу купец Калачов. Но ухаживать за больными было некому. Здоровые боялись приблизиться к зараженным домам. Матери бросали прямо через окно заболевших детей, сыновья — родных отцов и братьев. Но некому было даже печку растопить и поднести воды исчащему от жажды, а точнее — от невыносимого жара в груди.

Даже трупы умерших на много дней оставались незахороненными.

Повсюду началась паника. Еще до объявления карантина ветлянцы бежали за Волгу. В селах и других станицах перед ними захлопывали двери. Начались массовые смерти от холода и голода. Чума тем временем распространялась по всему краю.

Всего в Ветлянке с октября по январь заболело 424 человека, только 65 из них выжило. В настоящее время болезнь вроде бы утихает.

Вот, собственно, все сведения об эпидемии, которые удалось собрать Лорис-Меликову в Петербурге, пока он готовился к своей нелегкой миссии. Доктор Сергей Петрович Боткин дал описание болезни. Начинается она с распухания желез, потом принимает формы воспаления легких.

— Сергей Петрович, миленький, — воскликнул генерал, — да у меня ж прошлой зимой под Эрзерумом и в Карсе по двадцать человек в день умирало от распухания желез!

— Что ж вы раньше-то не говорили?

— Еще как говорил! Мы десятки депеш слали в Петербург. Но никто не хотел верить, что это чума. Утверждали, будто это тиф.

— Да-с, — не без горечи заключил Боткин, — скорее всего это не индийская чума, а левантийская. Она и в самом деле похожа на некоторые формы тифа, так что ошибка врачей объяснима. Но гасить эпидемию надо было год назад и прямо на месте.

Так то было в Турции, и, хотя умирали русские солдаты и офицеры, беда казалась где-то далеко за горами, похоже, и на чуму в Астраханской губернии никто бы всерьез внимания не обратил, если бы Бисмарк не воспользовался нашей бедой, чтобы окружить Россию торговой блокадой. Сейчас уже вся Европа оградилась от нашей страны карантинным кордоном, даже Румыния выстроила его не только по Пруту, но и по Нижнему Дунаю, прервав всякое сообщения с войсками, оставшимися на Балканах.

В последних числах января Лорис-Меликов отбыл к исполнению возложенных на него высочайшею волею императора обязанностей. Семья осталась в Петербурге. Чтобы не очень обременять Елену Николаевну Нелидову, неподалеку, на Кирочной улице, снята была квартира, но все равно едва ли не все дни и Нина Ивановна, и старшие дочери пропадали у Конюшенного моста — сюда стекались все известия из низовьев Волги.

Впрочем, вести навстречу новому генерал-губернатору, наделенному особыми полномочиями и снабженному четырьмя миллионами рублей, шли утешительные: в самой Ветлянке болезнь прекратилась, новые ее очаги редки. И даже паника стала понемногу утихать, особенно после того, как по распоряжению

военного министра Милютина карантинное оцепление было усилено новыми войсками.

Резиденцией своей Лорис-Меликов назначил не Астрахань, а уездный Царицын, поскольку зараза пошла вверх по течению Волги. Здесь и обосновалась его громадная свита, состоящая из врачей, военных, чиновников Министерства внутренних дел и журналистов. Для надзора за тем, как справляется русское правительство с эпидемией, посольства иностранных государств отрядили своих врачей. Сюда же съехались и местные губернаторы, каждый со своей свитой. В первый же день по прибытии Лорис-Меликов открыл заседание особой комиссии для разработки чрезвычайных мер. Иностранных врачей Михаил Тариелович счел за разумное включить в ее состав. Сам он присутствовал на заседании недолго и отправился по местностям, зараженным чумою.

Грязь и бедность. Вот что бросалось в глаза во время невольного путешествия по низовьям Волги. Работа на рыбных промыслах была прекращена, опустели ватаги — как выяснилось, главные разносчики болезни. Перед чистой ларей, в которых солилась рыба, рассол, или, как его здесь называют, тузлук, разливался по ведрам и щедро продавался крестьянам по бросовой цене. Что там было в этом забродившем вонючем тузлуке — одному Богу известно.

Но бедный человек небрезглив. Соляной налог так высок, что самое соль, хоть и совсем рядом она добывается, мужику покупать не по карману, вот он и хватает этот самый тузлук, выпаривает его на печи, и ни дурной запах, ни зараза его не остановят. С бедствиями, причиненными этим разорительным соляным налогом, Лорис-Меликов столкнулся впервые. В Терской области до него доходили стоны крестьян, так ведь о чем только не стонет народ русский? Казаки, во всяком случае, были там зажиточны и как-то обходились. Здесь же пропасть крестьянской нищеты разверзлась прямо под ногами. По приказанию генерал-губернатора составлена была подробная докладная записка о соляном налоге, которой Лорис-Меликов намеревался дать ход немедленно по прибытии в Петербург. Увы, она встретит такое ожесточенное сопротивление министра финансов адмирала Грейга, что не скоро осуществится доброе намерение Михаила Тариеловича. Грейг начнет махать руками, доказывать, что казна пуста, а после турецкой войны и ежегодных неурожаев — особенно, и, дескать, соляной сбор —

единственный источник пополнения казны, последнее средство спасения отечества.

Тяжкое это дело — ездить в мирное время по станицам и оставлять за собою пожарища. Скупуплезно подсчитывался убыток, погорельцам выдавались из казенных сумм деньги на обустройство, одежду и хозяйственную утварь, но ведь ясно же, что добро, нажитое поколениями, никакими экстренными выплатами не восстановишь. К сожжению домов Лорис-Меликов старался прибегать как можно реже. Чиновник по особым поручениям Александр Аполлонович Скальковский, состоявший при нем и неотлучно сопровождавший генерал-губернатора во всех поездках по краю, поражался удивительной скупости генерала на казенные деньги. Свои же собственные тратил без счета, так что Александр Аполлонович взял на себя смелость управлять личными средствами своего начальника.

Одна все же отрада была в крутых санитарных мерах — зараженные области на глазах становились чище, приводились в порядок; обустривались, во избежание заразы, новые дороги. Для связи с Петербургом и внутри губерний в срочном порядке возвели новые телеграфные станции.

30 января Астраханский, Самарский и Саратовский генерал-губернатор отправил из Петропавловского промысла управляющему Министерством внутренних дел Макову телеграмму следующего содержания:

«При проезде для обозрения карантинных учреждений я остановился здесь на некоторое время, чтобы воспользоваться услугами вчера только открытой телеграфной станции, значение которой определяется столько же интересами торговли и промышленности, сколько удобствами ее для многих распоряжений в южной нагорной части губернии. В станице Ветлянке, а также в селениях: Старицком, Пришибинском, Никольском, Удачном и Михайловском больных нет. В селении Селитренном вчера снова оказалась эпидемически больная девочка, принадлежащая к семейству, где уже были больные. Эпидемия в селении продолжает локализоваться пределами известных, из моих предыдущих телеграмм, оцепленных домов. В дополнение к моей вчерашней телеграмме докладываю, что врач Погосский сообщает мне, что киргизы, умершие в кибитке, находящейся близ одного из хуторов села Селитренного, несомненно, являются жертвами существующей эпидемии. Кибитка дезинфицирована, перенесена на другое место и нахо-

дится в полном разобщении; за этим наблюдает особо устроенный для сего военный пост. Все вещи, бывшие в кибитке, а равно одежда и белье умерших и сомнительных сожжены в присутствии врача, который снабдил потерпевших новыми платьями и кошмами для постели, а также необходимою посудой. Так как настоящее положение эпидемии сосредотачивает внимание по преимуществу на селении Селитренном и его хуторах, а также на кочующих в этой местности, находящихся в общей карантинной черте киргизах, то соответственно с этим сделано мною особое распоряжение. Там теперь находятся два врача и командирован третий. По донесению двух врачей и местной полиции, больные в слободе Николаевской Царевского уезда, о которых было вчера мною вашему превосходительству донесено, ничего не имеют общего с ветлянской эпидемией. Мороз 8 градусов.

Генерал-адъютант  
*Лорис-Меликов».*

В Петербурге каждая телеграмма Астраханского генерал-губернатора ожидалась с волнением. Газетам никто толком не верил — корреспонденты увлекались не столько фактами, сколько собственной их интерпретацией. О том же, что делается нынче в столице и на что уповают от принятых им мер люди, чувствующие собственную ответственность за порядок в отечестве, Лорис-Меликову стал писать недавно с ним сдружившийся Петр Александрович Валуев, старший сын которого, гвардейский офицер, довольно беспутный и отважный малый, служил в минувшую войну под началом командующего корпусом и был при нем по особым поручениям. Когда летом 1878 года Лорис-Меликов в связи с поступлением Захария в Пажеский корпус приехал в Петербург, Петр Александрович нанес генералу визит с изъявлением сердечной благодарности. Валуев показался человеком ума тонкого и едкого, он был весьма опытен в делах государственных и светских, в нынешнее царствование разве что князь Горчаков дольше него пробыл на посту министра. Так что любезные письма Петра Александровича были Лорис-Меликову и интересны, и полезны.

«Многоуважаемый Граф, — писал Валуев 1 февраля 1879 года. — Дня три тому назад я писал к Вам в Астрахань, начав письмо с выражения мысли, что Вам может не неприятным быть получать по временам несколько строк от человека, который

здесь кое-что видит, к видимому относится довольно беспристрастно и Вам искренно предан. Но мое первое — весьма краткое послание долго будет Вас ожидать в Астрахани. Поэтому прошу позволить мне написать другое в Царицын.

Со времени Вашего отъезда здесь почва не изменилась; но некоторые направления и настроения обозначаются в более и более определенных чертах. Одни как будто желают, чтобы чума была окончательно констатирована, — в видах удовольствия победы над нею. Другие продолжают шуметь о ней и в черных красках рисовать будущность, чтобы мутить и волновать по возможности. Другие, подчиняясь тому зуду общественной деятельности, который у нас сильно развит по случаю отсутствия деятельности политической, стараются всячески выдвинуть себя на первый план, вместо Правительственной, по их мнению, слабой и неумелой власти.

Еще другие, в особенности печать, пользуются случаем, чтобы, по нашему любимому обычаю, обвинить кого только можно и в чем только можно. И начальство не предусмотрело, и капиталисты виноваты, эксплуатируя бедный люд, и санитарные условия куда плохи, — как будто это последнее обстоятельство ново и как будто на нашей неизмеримой территории, при бедных средствах и жизни на широкую ногу в делах иностранной политики, оно могло быть иначе. Почему Славянские комитеты не позаботились об Астраханских ватагах?

Вы, конечно, не изволите торопливо произнести окончательного слова; но это слово потому именно и будет решительным, что Вы его произнести не поторопитесь. Ваше мнение и принятые Вами меры положат конец господствующей теперь умственной неурядице и снимут наложенный на нас Европейский полузапрет. Я терпеливо, и спокойно, и уверенно ожидаю.

Во вторник вечером у Конюшенного моста Вашею телеграммою было произведено все то впечатление, которого Вы могли пожелать.

Повторяю, с моей стороны, выраженное уже Вам по телеграфу пожелание: да будет Бог Вам в помощь».

Случаи заболеваний встречались все реже. Чума на глазах испускала дух. Но почти весь февраль Лорис-Меликов, следуя мудрому совету Валуева, не отваживался снимать карантинные кордоны и особые посты, хотя телеграммы его в Петербург были все оптимистичнее. И столица как-то поуспокоилась, тот же Валуев в следующем письме от 9 февраля сообщал:

«Нервозность, с какою в известной сфере Россия спасалась от чумы, поуменьшилась. В кругу разноплеменных властей о чуме почти не говорят и довольствуются чтением телеграмм из Царицына и Астрахани. В публике бестолкового говора тоже поменьше». Через три дня о чуме забыли вообще. Еще бы не забыть! С тем же грифом «Конфиденциально» Валуев шлет письмо с вестью о новой беде, постигшей Россию. Ни Валуев, ни сам Лорис-Меликов не ведают, как скоро это происшествие переменит судьбу Лориса.

«Петербург. 12 февраля 1879 г.

Многоуважаемый Граф.

Продолжаю мои — на газетные, надеюсь, непохожие — корреспонденции.

Время течет и приносит недоброе.

Третьего дня получено известие, что Харьковский Губернатор, Князь Кропоткин, ранен, кажется, смертельно, выстрелом из револьвера, когда он в 11 час. вечера возвращался в карете с Институтского бала. Как и кем — неизвестно. Розыски идут пока безуспешно; но кроме известия, что они идут, ни одна из местных 4-х властей, Военной, Гражданской, Жандармской и Полицейской, не сообщила ни одного слова подробностей. Сам раненый, его кучер и т. д. должны же были сказать что-нибудь, кого видели, откуда и как выстрел и т. п. Но ни слова. Если до завтра что-нибудь узнаю, припишу.

Сегодня из Киева получено известие, что при двух произведенных обысках жандармские чины встречены залпами из револьверов. Один жандарм убит, другой ранен, третий и офицер контужены, но не ранены благодаря кольчугам. Арестовано 11 мужчин и 4 женщины.

Кроме того, в какой-то тюрьме, кажется Екатеринославской, сделано нападение на часового выскочившими из № арестантами. Его повалили, но караул прибежал на помощь и оружием восстановил порядок.

Из-за Балканов нет решительных известий; но Кн. Дондуков делал смотр Болгарским дружинам и их хвалит. Опаасаюсь похвал Князя Дондукова.

Между тем телеграф сообщил нам, что Вы оставляете Царицын и уезжаете в Астрахань. Следовательно, приближается время произнесения Ваших решительных слов и принятия более общих по краю мер.

Ставлю себе вопрос: как отнесется Правительство вообще, и Министерство Внутренних Дел в особенности, к окончательным результатам данного Вам ВЫСОЧАЙШЕЮ властью поручения? Ваше имя слишком громко, чтобы его сопоставить, просто-напросто, с Ветлянской эпидемией, почти угасшею до Вашего приезда. Будет ли выставлено на вид государственное, — а не медицинское значение Вашей поездки?.. Увидим. Знаю, что Вы Ваше дело сделаете и Ваше слово выскажете. Но что же далее?.. Неужели та внутренняя неурядица, которая оправдывала Ваш призыв в Ветлянку после Карса, пребудет несознанною и непризнанною?»

Чума, уходя, показала-таки язык напоследок. Да не где-нибудь, а в самом Санкт-Петербурге. Да не кому-нибудь, а самому Сергею Петровичу Боткину. 13 февраля в его клинику поступил дворник артиллерийского училища Прокофьев с признаками какой-то непонятной болезни. Сергей Петрович, еще живший ветлянской тревогой, поставил диагноз — чума, о чем было немедленно отправлено сообщение в «Правительственный вестник». Полиция тут же отправила под карантин всех близких Прокофьева, дом, где он жил, оцепили войска. Новость эта и мгновенно принятые меры вызвали переполох на успокоившейся было бирже. Забегали, заволновались иностранные дипломаты. На следующий же день был созван консилиум из самых авторитетных врачей Петербурга, который, внимательно осмотрев Прокофьева, установил, что никакая это не чума, а просто-напросто сифилис. Впрочем, до Лорис-Меликова это событие докатилось уже как газетный анекдот.

25 февраля международная комиссия признала, что левантская чума, которая свирепствовала в Ветлянке, прошла и меры предосторожности за границей излишни.

Новость эта, вычитанная из газет на третий день, обрадовала Нину Ивановну. Муж не баловал ее письмами, и о всех его передвижениях по «вверенному ему краю» приходилось узнавать исключительно из прессы, день ото дня все скуднее дававшей новости с Нижней Волги. Значит, скоро Мико вернется, а как там дальше, куда, на какое время — посмотрим. Видимо, придется переселяться в Астрахань, Нина Ивановна твердо решила всюду сопровождать мужа и одного больше ни по каким чрезвычайным обстоятельствам не отпускать. Однако ж вместо телеграммы о возвращении в «Голосе» промелькнула заметка, будто бы граф Лорис-Меликов болен. О том, что это простуда,

сказано не было. Да она б и не поверила — Мико ведь не на инфлюэнцу отправился с целой дивизией. К тому же он не из тех, кто блюдет завет жен и матерей «береги себя», и лезет в самые опасные места. А коварная чума может и после самых радужных реляций вцепиться в своего победителя. Тому уж сколько было подтверждений!

Нелидова развила бурную деятельность. Она отправилась прямо к министру Макову, добилась того, чтобы Лев Саввич сам по телеграфу разыскал в диких поволжских степях губернатора, справился о его здоровье, и успокоилась лишь тогда, когда с аппарата Бодо — чуда техники XIX столетия, новинки, только-только привезенной из Парижа, — выползла лента, возвещающая, что Михаил Тариелович всего-навсего подхватил легкий насморк, а паникеров-журналистов даже из лучших прогрессивных газет за такие шутки следует розгами драть, и нешадно.

Весь март прошел в хлопотах по ликвидации последствий карантина и возобновлении жизни в крае. Вновь заработали рыбные промыслы, соляные копи, а в городах — фабрики. Лишь 2 апреля Лорис-Меликов вернулся в Петербург.

Помимо доклада о принятых мерах Астраханский, Самарский и Саратовский губернатор привез и сдал в казну, отчитавшись до копейки за триста шестьдесят тысяч, все оставшиеся от четырех миллионов деньги, доверенные ему на борьбу с эпидемией.

Такая щепетильность в высших чиновничьих кругах России всегда почему-то воспринималась с большой подозрительностью. Что-то этот Лорис затеял. Какой-то за этим стоит расчет, дальний какой-то прицел. Ну не может же быть, чтоб нормальный человек получил на стихийное бедствие аж четыре миллиона, за три месяца потратил всего каких-то триста шестьдесят тысяч, а оставшиеся без малого три с половиной миллиона взял и отдал назад в казну! Стали вспоминать, что и в войну этот хитрец ни одного золотого рубля из рук не выпустил — все на пустых кредитках проворачивался. Как-то это все не по-нашенски.

Однако ж события в день приезда Лорис-Меликова были таковы, что притушили на время сомнения реалистических людей.



## ХАРЬКОВСКИЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

В Петербурге было не до него и не до вмиг позабытой ветлянской чумы.

Утром 2 апреля император Александр II вышел на обычную свою прогулку. Неподалеку от Певческого моста странный человек, с горящими, как в жару, глазами и весь какой-то распахнутый, окликнул царя. Александр Николаевич обернулся и увидел прямо наставленный на него пистолет. О дальнейшем лучше всего рассказывал здесь же случившийся царский камердинер Илья:

— А злодей-то целится, целится, а его императорское величество всемилостивейше уклоняются.

Злодей успел сделать четыре выстрела. Пуля, прострелившая пальто, прошла мимо, еще одна попала в парашет и рикошетом — по ноге, не пробив сапога. Две последние не достигли и такой цели. Террориста тут же скрутили прохожие. Царю какой-то кавалергард уступил свой экипаж, и Александр Николаевич благополучно вернулся в Зимний.

Через час во дворец съехались все министры, великие князья, придворные. Царь вызвал к себе шефа жандармов Дрентельна, военного министра Милютину, министра внутренних дел Макова и министра государственных имуществ статс-секретаря Валуева. Здесь же был наследник цесаревич Александр Александрович.

Император казался спокоен, покушение больше огорчило его, чем напугало.

— Что я им сделал? Я освободил крестьян, дал им земства, суды присяжных, в армии сократил срок службы и уравнил все сословия. Что им еще надо?

— Виселицы, папа, виселицы! — Наследник был энергичен и крут. — Ты их этими свободами разбаловал. Надо немедленно принимать самые суровые меры. Ввести по всей стране военное положение. Всякую подозрительную сволочь — под военный суд. И никаких присяжных!

— Осмелюсь напомнить вашему величеству, — сказал Валуев, — что я еще в тысяча восемьсот шестьдесят первом году предлагал ввести должность генерал-губернаторов, наделенных в борьбе с крамолой самыми широкими полномочиями. Тогда вы не сочли возможным принять эту меру. Но сегодня ситуация обострилась настолько, что она мне кажется своевременной.

— Да-с, он прав. — Цесаревич все горячился, лицо его в гневе было красно, и яростно сверкали глаза. — Во всех губерниях. Повсеместно. И чтоб через месяц все до единого заговорщики болтались на перекладине.

— Виселицами делу не поможешь. Но меры принимать надо. — Царь задумался на минуту и голосом твердым высказал господам министрам свое решение: — Вводить по всей империи военное положение считаю бессмысленным. Но в обеих столицах и в крупнейших городах следует назначить временных генерал-губернаторов и наделить их всеми правами главнокомандующих в период военного положения. Я прошу вас, Петр Александрович, — обратился император к Валуеву, — сегодня же собрать совещание на сей счет и выработать соответствующий указ Сенату.

— Я думаю, — как всегда бесстрастно и спокойно проговорил Милютин, — что на это совещание следует пригласить главного военного прокурора Философова. Как бы нам сгоряча не преступить законы, нами же принятые.

— Законы? Черт с ними, с законами, если они мешают правому делу! — резко и пылко оборвал медлительного министра раскипавшийся цесаревич. — В прошлом году эти ваши законники наворотили. Это подумать только — террористку оправдали! И вот вам благодарность — Мезенцова ухлопали, Кропоткина бедного ухлопали, сейчас какой-то мерзавец в папу стрелял! Доигрались! Долиберальничались!

— И все же, ваше высочество, прокурорский надзор не помешает, — спокойно, не меняя интонаций, гнул свое Дмитрий Алексеевич.

Император поддержал его:

— Да, военный прокурор в такого рода делах необходим. Даже в столь смутное время законность должна быть соблюдена. Нельзя поддаваться панике.

Вечером Дмитрий Алексеевич Милютин вернулся домой с распухшей от усталости головой после трехчасового довольно бесплодного заседания растерянных от наглости заговорщиков министров. Все же к заключению пришли и дали поручение министру юстиции Набокову и главному военному прокурору подготовить царский указ Правительствующему Сенату об учреждении временных военных генерал-губернаторов и в руководство им инструкцию. Дмитрий Алексеевич сомневался в эффективности столь спешных энергичных мер. Надо было

искать причины разрастающейся крамолы, а не пытаться искоренять следствия. Причину же старый генерал видел в том, что царю, напуганному первым, еще каракозовским, покушением, недоставало воли и упорства продолжить реформы. Дело, не доведенное до конца и прерванное задолго до ожидавшихся от него результатов, порождает смятение в умах и протест. Это было видно хотя бы по военной реформе, которую Милютин провел в 1873 году. Разразись война до нее или в процессе ее проведения, году в семьдесят четвертом, мы проиграли бы ее с большим позором, нежели Крымскую.

Размышления Дмитрия Алексеевича прервал камердинер, доложивший о приезде с визитом генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова.

Гостя своего Милютин нашел заметно похудевшим, невиданно для бледного Петербурга загорелым и бодрым. Михаил Тариелович не остыл от бешеной деятельности и стремительных объездов зараженного края. Он намеревался подать царю всеподданнейший доклад о прекращении эпидемии и после Пасхи вернуться в Астрахань для отдачи последних распоряжений — снятие карантина и роспуск войск.

— Боюсь, милейший Михаил Тариелович, вам будет не до Астрахани. Сейчас всем не до нее.

— Да уж, наслышан. Абаза говорит, его величество намерен ввести едва ли не повсеместно временных генерал-губернаторов.

— Не повсеместно, конечно, хотя наследник настаивал на этом, но в крупнейших городах, особенно зараженных социальными учениями. В Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе... Очень может быть, что и вас куда-нибудь пошлют.

— Не вижу в этом большого смысла. Разве что как временная мера, пока все не успокоится.

— В России нет ничего постоянного временных мер.

— Это-то и печально. Мы за все энергически схватываемся, потом вдруг пугаемся, вместо законов принимаем временные положения, а в итоге ни законов, ни порядка.

— Поверите ли, я только что размышлял об этом.

Усталость как рукой сняло. Милютин нашел в Лорис-Меликове умного, многое понимающего собеседника, что было в общем-то удивительно, хотя знакомы они были больше двадцати лет. Все-таки Лорис всю жизнь провел на Кавказе, вдали от общих государственных проблем, к тому же военный с молодых ногтей. Хотя Милютин и сам принадлежал к воинскому

братству, но превосходное университетское образование, профессорство в Академии Генерального штаба и, наконец, долгая жизнь на столь важном министерском посту волей-неволей расширяли панораму видения империи, он давно уже глядел на вещи не ведомственными, а вот именно государственными глазами. Лорис-Меликов отнюдь не смотрелся ни провинциалом, ни грубым армейским генералом. В суждениях был рассудочен и остроумен, явно начитан и наделен недюжинным здравым смыслом.

Грустно. Тут как на войне: любимого офицера посылаешь в самое жаркое место сражения, считай, на верную погибель. Дмитрий Алексеевич твердо решил для себя рекомендовать Лорис-Меликова на генерал-губернаторство в Харьков. В кресло, не остывшее от только что убитого князя Дмитрия Кропоткина.

Были еще два дня разного рода совещаний то в Зимнем дворце, то у Валуева, на которых стало видно, что император колеблется; однако наследник был упорен и настойчив, и Александр II принял-таки окончательное решение. Генерал-губернатором Петербурга назначили героя Плевны генерала Иосифа Владимировича Гурко. В Одессу направили Эдуарда Ивановича Тотлебена. Лорис-Меликов стал временным Харьковским генерал-губернатором и по совместительству командующим Харьковским военным округом. В последней должности он сменил генерала Минквица.

Как всякая мера, принимаемая в паническом ажиотаже, введение института временных генерал-губернаторов очень скоро показало свою несостоятельность. Царь фактически раздал свою центральную власть провинциям, и ему лишь оставалось уповать на разумность губернских правителей. Но доблестный воин, прославленный в боях с врагом внешним, редко бывает готов к повседневной гражданской службе. Здесь нужны совсем иные дарования.

Увы, ни генерал от кавалерии Гурко, ни генерал-инженер, герой еще Крымской войны Тотлебен этими качествами не обладали. Решительный на поле сражения Гурко, будучи наделен полицейстерскими функциями, растерялся и за целый год так и не сумел толком понять, что от него требуется. Тотлебен — педант в полном смысле этого слова, аккуратный и исполнительный, понял эти функции слишком буквально, и в Новороссийском крае стали хватать в кутузку и правого и виноватого, ссылая в Сибирь по малейшему подозрению. По-

мощник его генерал Панютин учинил полный полицейский произвол на всей обширной территории генерал-губернаторства.

Иначе складывались дела у Лорис-Меликова. Он единственный из троих обладал громадным опытом гражданского управления, нажитым в областях непростых, вечно готовых взорваться бунтами и поножовщиной. Правда, с крамолой бороться ему не доводилось, и отсутствие практики заменял здравый смысл, который подсказывал, что одними репрессиями революционного духа не победить, более того, каждый арест без серьезных на то оснований множит армию профессиональных революционеров.

Никого нельзя загонять в безвыходное положение, считал Лорис-Меликов. Он часто вспоминал фразу из Достоевского: «Надо, чтобы человеку было куда пойти». Не в социалистической идее беда, а в том, что мы сами швыряем в ее пасть десятки и сотни молодых людей, отрезая им путь к благонамеренной гражданской жизни. Что бы со мною самим случилось, если б не удалось тогда, после исключения из института восточных языков, попасть в Школу юнкеров? Попадись мне тогда яростный демагог с двумя неслыханными революционными фразами, уж, ясно как день, никому бы больше не поверил и так бы и пошел с разинутым от изумления и романтики ртом по ссылкам и тюрьмам. А в московском воздухе конца 30-х запросто можно было подхватить подобную заразу.

Часто приходил на ум народоволец Залепухин, с которым генерал познакомился прошлым летом в Эмсе. Эмигрант, бежавший из глухой вятской ссылки и умиравший здесь от чахотки. Знакомство их состоялось нечаянно, когда Михаил Тариелович после отъезда Кошелева сходил с ума от курортной скуки и тоски по русской речи. Неряшливый, вызывающе бедно одетый молодой человек с глазами, горевшими неистовой честностью, спросил у него дорогу.

Разговорились. Как водится, искали общих знакомых, хотя откуда они могли быть при такой разнице в положениях? Но что удивительно, нашелся-таки один. Залепухин почитал вольноопределяющегося Грушина вроде как своим воспитанником в деле революционной пропаганды.

Все-таки обаяние у этих немытых умников было. Обаяние не ума, но страсти, вспыхнувшей пожаром от всего-то навсего десятка слов. Из них и мысли-то дельной не составишь, но

вот же — и на смерть идти готовы, и грех смертный для них не грех, если ради всеобщего счастья и равенства.

— Да позвольте, Илларион Акимыч, какое между нами равенство, если я генерал, а вы разночинец?

— Люди по рождению должны быть равны!

— Мы и по рождению не равны. Я ведь не всю жизнь генерал, когда-то и корнетом был, где-то в ваших нынешних чинах. Только я военное дело твердо знаю, а потому и достиг высоких чинов. А вам и взвода не доверишь. А в медицине — тут меня хоть розгами каждый день стегай, ничего не понимал и не пойму.

— Это ничего не значит. При социализме все будут равными, мы отменим чины и звания, каждый будет трудиться по своему призванию.

И, мимо аргументов, опять к своему коньку — счастью всего человечества в свободе, равенстве и братстве. Мы уничтожим все классы и сословия.

— Тогда ж какая свобода, если вы уничтожить намерены? Вот мы с вами спорим, а вы, уважаемый Илларион Акимыч, сердитесь. И для вас всякий нереволюционер — враг.

— Совершенно верно, классовый враг.

— Так дай вам власть, вы свободу одним себе заберете. И врагов — к ногтю, в ту же Сибирь. И никаких им ни газет, ни журналов. Вы вот от царской цензуры стонете, а дай вам власть, сами такую учините — Бенкендорф от зависти в гробу завертится.

— С окончательной победой революции мы отменим и цензуру, и каторгу, и ссылку.

Залепухин, как и все догматики, слышал только себя одного, так что убеждать его в чем-либо было совершенно безнадежное дело. А ведь добрый, сердечный малый. Он был весьма сведущ в химии и, наверное, достиг бы чего-нибудь в этой области, но лет семь назад за участие в какой-то демонстрации протеста (Залепухин и не помнил, против чего они тогда протестовали, завлекло общей эмоциональной волною) его вышибли с третьего курса Казанского университета с волчьим билетом, так что путь назад, в науку был ему заказан. Тем более был заказан ему путь домой, в уездный Ардатов, где все гордились талантливым мальчиком, весь город возлагал надежды на сына священника из бедного прихода... Россия потеряла ученого или инженера; зато получила профессионального революционера.

Кто от этого выиграл?

С крамолрой можно бороться, лишая ее идеи привлекательности. Репрессии же необходимы в крайних случаях, когда фанатизм уже превратил вполне нормального человека в преступника, не останавливающегося ни перед чем.

Разговоры с революционером Залепухиным в первые минуты забавляли, но к их концу генерал постоянно чувствовал усталость, досаду и раздражение, хотя виду никогда не показывал. От этой доуки было одно надежное средство — чтение. Как-то раз, вернувшись с источника после такой изнурительной беседы, Михаил Тариелович достал из кипы вечных своих спутников в заграничных путешествиях старое тифлисское издание «Горя от ума».

Как всякий человек, не чуждый хоть и умеренных, но прогрессивных взглядов, Лорис-Меликов, не очень глубоко вдумываясь, а повинувшись лишь общепринятому мнению, полагал, что комедия Грибоедова высмеивает старую помещицье-чиновничью Москву, олицетворенную Фамусовым. Еще общественное мнение донесло пушкинское изречение: «О стихах я не говорю: половина — должны войти в пословицу». Предыдущие чтения этого шедевра, оставляя по себе исключительно музыкальное, как шопеновская баллада, наслаждение, не колебали общих истин, Бог весть когда им усвоенных. Нынче же он стал чувствовать от Чацкого такое же раздражение и досаду, как от разговоров с Залепухиным. Зато реплики Фамусова чрезвычайно веселили, иные он подчеркивал карандашом. Кончил читать, проглядел книгу еще раз...

Странное дело, карандаш отметил фразочки, столь часто цитируемые в живой речи, что и впрямь стали пословицами. Но не это удивительно. Удивительно, что из всех длинных и пылких монологов Чацкого всего-то и осталось — «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «А судьи кто?» да «Карету мне, карету!». Все же прочие *mot*<sup>1</sup> — полные юмора и здравого смысла — слетели с уст именно что Фамусова.

Чацкий, а уж тем более Залепухин напрочь лишены чувства юмора! Они живы и горды до чрезвычайности одним лишь протестом. Все равно против чего и кого. Вот причина — открыл внезапно Лорис-Меликов — мертвецкой скуки от всех их пылких обличений и заученных социалистических истин. Обличительного же темперамента в них столько, что больше

одной где-то краем уха услышанной мысли, облеченной вяркий лозунг, они и усвоить не могут.

Таков был настрой мыслей Лорис-Меликова, когда на его плечи пало генерал-губернаторство с широчайшими, но исключительно карательными полномочиями в одном из самых революционных городов России. Перед отъездом на новое место службы Михаил Тариелович счел необходимым посетить всех министров. С каждым имел беседу об обстановке в губернаторстве. Очень много дельных советов он получил от Петра Александровича Валуева. Вообще личное знакомство с этим человеком было ему чрезвычайно лестно и приятно и впрямь обещало перерасти в дружбу. Валуев всего на десять лет старше Лорис-Меликова, но чего он только не навиделся на своем веку! Женат он был первым браком на княжне Надежде Вяземской, дочери поэта, умершей родами старшего сына, названного в честь отца и знаменитого деда Петром. В молодости Петр Александрович общался с самим Пушкиным. Говаривали в гостиных, что неустойчивый и добродушный характер юного Валуева отразился в герое «Капитанской дочки» Петруше Гриневе, так что пословицу «Береги честь смолоду», помещенную в эпиграф к роману, в известной степени можно отнести к нему. Завета пушкинского Валуев не то чтобы не исполнил, но многолетняя жизнь в неустойчивом русском правительстве слегка потрачивает это свойство даже у самых стойких ревнителей чести. А с 1861 года Петр Александрович почти без перерыва министерствовал: сначала в ведомстве внутренних дел, а с 1872 по сию пору — государственных имуществ. И теперь в тех же гостиных поговаривали, что граф Лев Толстой в своем нашумевшем романе «Анна Каренина» изобразил Петра Александровича, рисуя образ мужа героини. Но самые злые и насмешливые указывали на Петра Александровича как персонажа из сатиры «Сон Попова» — помните, министр? — другого графа Толстого, покойного Алексея Константиновича.

В последний свой визит Лорис-Меликов высказал мысль, что был бы не прочь перевести с Кавказа офицером по особым поручениям Петра Валуева. Странная была реакция на это предложение. Петр Александрович стал как-то напряжен и сух, только и вымолвил: «Об этом мы поговорим позже».

Первое же письмо от Валуева, полученное в Харькове, было как раз на эту тему и очень опечалило Михаила Тариеловича. Он увидел меру страданий в частной жизни баловня судьбы, каковым предстал перед всеми Валуев, тщательнейшим об-

<sup>1</sup> Слово (фр.).

разом от чужих глаз скрывааемых. И предчувствие страданий своих собственных, на которые он сам же себя и обрек из пустого тщеславия, когда отдал обоих сыновей в Пажеский корпус. Вот оно, это письмо:

«Конфиденциально.

Петербург, 5 мая 1879 г.

Многоуважаемый Граф, Вы заявили так много дружелюбного ко мне участия, и Ваше сердце так ясно отражается в Ваших делах, что я обращаюсь к Вам с частною просьбою без застенчивости и без оговорок.

Вы были добры к моему сыну. Помогите спасти или попытаться спасти его теперь. Вы предлагали взять его теперь в свое распоряжение. Я уклонился от прямого ответа. Я на него не надеялся и не решался высказать того, что выскажу сегодня.

Считаю его *больным*. Нет умопомешательства, но есть припадки отсутствия воли и власти над собой, которые близко граничат с помешательством. Когда он занят пригодным для него делом, — он один. Когда не занят, — другой. В этом втором положении он невозможен и часто до очевидности бессознателен. *Двадцать лет* я страдал, и большею частью страдал молча. Он в таких случаях сорит деньгами, которые занимает или требует от меня, и, переставая писать, ограничивается телеграфными требованиями. В течение года он перебрал двадцать тысяч, которые я вынужден был отчасти занимать, а с июля месяца писал один только раз, — когда говорил, что не обидит казака, а обидит меня. Он в такие периоды кутит, его *объезжают* и пр. и пр. Я страдаю молча и покоряюсь, во-первых, видя в этом крест, который должен нести, во-вторых, чтобы не повредить второму сыну. Сказали бы, что я приношу старшего брата в жертву конногвардейскому мундиру меньшого. В то же самое время трудно отказывать меньшому, который долгов не делает и, несмотря на легкомыслие молодости, меня горем не губит в том, что ему нужно, потому что старший терзает. Трудно огорчать беспрестанно мою жену, которая болезненна и всегда с особою привязанностью относилась к старшему сыну и была бы глубоко огорчена предположением, что младшему *ее сыну* оказывается предпочтение. Таким образом, я в безвыходном, невыразимо тяжком положении. Нельзя набрасывать свое горе ежедневно на всю семью. Нельзя отцу объявлять сына помешанным; нельзя давать объявлять его бесчестным.

Моя просьба в следующем. Что-то в роде Закаспийской экспедиции, во всяком случае, совершается. Ген. Лазарев или кто другой туда отправляется. Прошу Вашего влияния к отправлению туда моего сына, и притом, если можно, без замедлений. Если оказались или окажутся какие-нибудь начеты, я их покрою, когда он будет вне возможности их увеличивать. Я, наконец, приперт к последнему простенку моей самозащиты. Если можно, Вы мне поможете, и я Вас заранее благодарю. Если нельзя, я все-таки Вам буду благодарен.

Про дела общие не пишу сегодня ничего. Я почти замучен, но работаю. Трудно, при внутренней, постоянной, постоянно скрываемой боли; но напрягаю силы, — и работаю.

Да хранит Вас Бог.

Душевно преданный

Валуев».

Движимый состраданием, Лорис-Меликов, забыв обиды, снесся по поводу валуевской просьбы с генералом Лазаревым, достиг его принципиального согласия взять к себе Павла Валуева, но тут вмешался рок. Иван Давидович внезапно умер от карбункула, а к его преемникам обратиться со столь деликатными предложениями, не навредив Валуеву, Михаил Тариевич не отважился.

Харьков неласково встретил нового своего начальника. Никакой торжественной церемонии, парада войск округа не было. Генерал Минквиц не удостоил преемника своего даже визита. Ничего, генерал-адъютант, помня восточную мудрость «Если гора не идет к Магомету...», первым нанес визит Минквицу. Но поведение бывшего командующего, хоть и отвратительно и неприлично в высшей степени, все же было объяснимо. Гораздо хуже складывались отношения с лицами, с которыми необходимо было сотрудничать.

Начальник Харьковского жандармского управления генерал-майор Дмитрий Михайлович Ковалинский был человек весьма преклонных лет, давно безразличный к делам службы. Он жил еще представлениями времен блаженной памяти Александра Христофоровича и удивительным образом умудрился проспять то время, когда крамола перестала пугаться начальства. Его краткие пробуждения к активной деятельности только вносили сумятицу в налаженную работу его же подчиненных. Ковалинский и слышать не желал о том, что неплохо было

бы освободить из тюрем арестантов, угодивших туда по чистой случайности, злему навету или просто по глупости полицейских чинов. Старый жандарм считал, что у нас просто так никого не сажают. Впрочем, генерал и сам порядочно устал от столь хлопотного места. Ему хотелось в какую-нибудь губернию потише, где крамольники не убивают губернаторов и высших жандармских чинов. Как раз возникла вакансия начальника управления в тихом и благополучном Екатеринославе, и Ковалинский предпочел отпроситься туда. Шеф жандармов Дрентельн, всего полгода занимавший эту должность, рад был губернаторскими руками отстранить от столь важного поста чужого ему человека и остался доволен сменой начальника управления в Харькове. Он вообще был доволен бурной и одновременно рассудительной деятельностью Лорис-Меликова, который очень быстро вник в сложности жандармской службы и испросил от начальства себе в подкрепление ровно столько, сколько оно могло дать — одного ротмистра и 24 унтер-офицера, которые и были командированы в Харьковское жандармское управление из сравнительно спокойной Ковенской губернии.

Управляющий Министерством внутренних дел Маков тоже был удовлетворен тем, как Харьковский генерал-губернатор стал наводить порядок в полицейской части. Во-первых, Лорис-Меликов испросил денег на укрепление в пределах губернаторства исполнительной полиции и потребовал увеличить на 40 человек число конных урядников в помощь станovým приставам. Но, увеличив содержание полицейским чинам, генерал-губернатор стал строго спрашивать с них и нещадно карал за всякую провинность: самый малый полицейский чин представляет для населения самое государство, и малейшая ошибка этой службы бросает тень на правительство. Очень разумная точка зрения.

Гораздо больше хлопот было у Лорис-Меликова с попечителем учебного округа тайным советником Жерве. Жерве был в Харькове глазами и ушами графа Дмитрия Андреевича Толстого, чувствовал за своей спиной поддержку всесильного министра народного просвещения и полагал для себя возможным не считаться ни с чем и, главное, ни с кем. С первых же дней пребывания в Харькове к генерал-губернатору потоком хлынули жалобы на спесивый и капризный характер попечителя учебного округа, его полное равнодушие к делу, сочетающееся с непомерным упрямством, и от ректоров университета и ве-

теринарного института, и от директоров гимназий и реальных училищ, и от родителей. Впрочем, и сам Дмитрий Андреевич при встрече с Лорис-Меликовым, когда тот перед отъездом из Петербурга объезжал с прощальными визитами министров, не мог скрыть этого потока жалоб на Жерве. Но все-таки граф Толстой выразил надежду, что генерал-губернатор найдет общий язык с попечителем учебного округа.

До чего все же сходны противоположности! Аккуратный, одетый с тщательным изыском тайный советник Петр Карлович Жерве ничем не мог напомнить прошлогоднего знакомого из Эмса народовольца Залепухина — вечно неряшливого и какого-то непромытого. Но стоило тайному советнику открыть рот и начать проповедовать — вылитый Залепухин. Хотя истины Жерве проповедовал диаметрально противоположные — реакционные. Та же страсть и та же вера слову больше, чем жизни. И решительно никакого дела до того, что слово никак не желает совмещаться с действительностью. Тем хуже для действительности.

В разговоре Петр Карлович слушал и слышал лишь себя одного, и в этом он тоже ничем не отличался от догматика революционной идеи. Но одно дело тешить себя беседой с догматиком на отдыхе, не скрывая некоторой насмешливости своей и не чувствуя над собою ни угрозы, ни ответственности... Другое — когда таковые беседы составляют твой служебный долг.

— Строгость, строгость и еще раз строгость, — внушал Жерве. — Вот-с, ваше высокопревосходительство, извольте ознакомиться, я подготовил докладную записку о мерах борьбы с крамолой во вверенном моему попечению учебном округе.

Записка эта предполагала полную отмену на территории округа Университетского устава 1863 года как уложения слишком либерального, ослабляющего государственный надзор над высшими учебными заведениями. Желательно было, по мысли Жерве, очистить университет от лиц недворянского происхождения, безжалостно изгонять из числа студентов каждого подозренного в неблагонадежности.

— Репрессии, вами предлагаемые, — мягко заметил Лорис-Меликов, — на мой взгляд, только увеличат число наших недоброжелателей.

— Нет-с, они покажут силу правительства, его непреклонную волю к охранению общественного порядка и спокойствия. Зло надобно пресекать в зародыше!

— Совершенно с вами согласен, Петр Карлович. Именно в зародыше. Потому считаю, что за поведение студентов должны отвечать не столько юноши, увлеченные модными социалистическими поветриями, сколько профессора, заискивающие перед их заблуждениями из жажды популярности, не обеспеченной успехами в науках.

— Профессор есть лицо, облеченное особым доверием правительства. Конечно, в их среде встречаются персоны, недостойные столь высокого звания, но они лишь исключение из общего правила. Нет-с, вся беда наша в ослаблении контроля и классического образования. Отсюда и преизбыток разночинцев в университете, и как итог — расползание крамолы.

Ни о каком ослаблении репрессий Жерве и слышать не хотел и угрожал, что пожалуется на таковой либерализм генерал-губернатора кому следует вплоть до самого императора.

Они разошлись, недовольные друг другом. И оба тотчас же вступили в переписку с министром народного просвещения. Жерве — в частную, а Лорис-Меликов — в официальную. Жерве ябедничал, но в ответ ничего, кроме сердечного сочувствия, получить не мог. Письма же Лорис-Меликова подлежали немедленной регистрации, на них ставился номер, из чего следовало, что по письмам этим министр вынужден принимать конкретные меры.

«Гриф: Временный Харьковский Генерал-Губернатор

Генерал-адъютант

Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.

К Господину Министру Народного Просвещения Его Сиятельству Графу Д. А. Толстому от 5 мая 1879 года за № 20.

*Совершенно конфиденциально.*

...Все доходящие до меня отзывы единогласно свидетельствуют, что г. Жерве ни в среде ученого персонала университета, ни между воспитующимися в ней юношеством не пользуется тем высоким уважением, какое должно быть присуще попечителю округа. Не имея влияния в среде профессоров, он не сумел приобрести его и между студентами. В результате является недоверие к нему со стороны тех и других. Не пользуясь, таким образом, авторитетом, он лишен возможности благотворно воздействовать как на учащихся, так и на учащихся, а это, в свою очередь, влечет за собою отсутствие нравственной связи между профессорами и студентами.

Между тем такая взаимная связь теперь необходимее, быть может, чем когда-либо. Вашему Сиятельству известно, каким нареканиям подвергается в настоящее время учащаяся молодежь. Не отвергая, что известная часть ее, особенно в последние годы, поведением своим, связями с людьми заведомо неблагонадежными, наконец, косвенным и даже непосредственным участием в преступных проявлениях политического свойства заслужила упاداющие на нее обвинения, я не могу и не считаю справедливым всю ответственность за это возлагать только на молодежь. Твердо убежден, что при лучшем составе университетских профессоров и при более строгом отношении их к своим обязанностям, не только научным, но и нравственным, многие из совершившихся прискорбных явлений вовсе не могли бы иметь места...

Сверх того, по доходящим до меня сведениям, некоторые из профессоров, не имея возможности приобрести уважения учащейся молодежи исключительно своими научными знаниями, служением одним интересам науки, всегда благотворно на нее действующим, ищут популярности в потворстве ее заблуждениям и в лести незрелым ее порывам. Такой образ действий, встречающийся, к прискорбию, и в среде здешнего ученого персонала, должен быть назван прямо преступным, ибо подобные преподаватели, уличить которых весьма трудно, вместо того, чтобы быть наставниками и руководителями юношества, вверяемого их попечению, их нравственной охране, являются косвенными и безнаказанными подстрекателями его к деяниям, ведущим к весьма печальным последствиям...

Поэтому я покорнейше прошу Ваше Сиятельство, в интересах дела, которого Вы являетесь естественным охранителем, и дабы облегчить и мне, как временному сотруднику Вашему, исполнение возложенного на меня *Монаршим* доверием поручения, благоволить безотлагательно отозвать г. Жерве от занимаемой им должности.

Прежние заслуги его мне неизвестны. Поэтому, не считая себя вправе касаться означенного предмета, предоставляю благосклонному усмотрению Вашему дальнейшее устройство его служебного положения...

Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности.

Граф Лорис-Меликов».



Граф Дмитрий Андреевич Толстой был взбешен. Письмо показалось ему до крайности дерзким и дьявольски хитрым. Из всех губернских попечителей учебных округов Жерве был самой надежной креатурой министра. Личная преданность, по мнению графа, с лихвой искупала все недостатки Жерве. А то обстоятельство, что весь Харьков ненавидел попечителя учебного округа... Что ж, Дмитрий Андреевич сам чувствовал к себе всеобщую ненависть и всех до единого министров, и ректоров университетов. Главное, царь высоко ставил министра народного просвещения, а нелюбовь к нему расплодившийся в последние годы в правительстве либералов только укрепляла Толстого в верности избранной им политики.

И вот ведь подлец этот Лорис. Он не стал делать тайны из своей переписки с министром народного просвещения. Весь Петербург, и слухом не слыхивавший о Жерве, теперь только о нем и говорит. И уже до императора дошли какие-то темные слухи о несчастном попечителе Харьковского округа. Валуев давеча позволил себе с лисьей своей иронией поинтересоваться судьбою Петра Карловича.

К раскрытию переписки с Толстым Лорис-Меликова понуждала вовсе не интрига с Жерве или Ковалинским. Он нуждался в подтверждении правильности принимаемых мер — все-таки Харьков и прилегающие к нему губернии — не Терской край, где он знал каждую казачью станицу и каждый чеченский аул.

В Петербурге же за деятельностью временных генерал-губернаторов следили с особым пристрастием. Увы, очень скоро обнаружилось, что введение этого института власти на местах оправдало себя в одном лишь Харькове. О чем еще 9 мая сообщил Лорис-Меликову Валуев:

«Многоуважаемый Граф, пишу сегодня, собственно, для того, чтобы Вам передать то впечатление, которое всеми Вашими действиями и сообщениями вызывается и производится в Министерстве Внутренних Дел. Вчера вечером Маков мне тотчас прислал полученные им копии с Ваших отношений и писем к Шефу жандармов и Министру Народного Просвещения, и Ваше письмо от 6-го. Ему нужно было (а это похвально) поделиться отрадным чувством. Нашелся один человек в Российском Государстве; но и за ним нужно было обратиться к Кавказу. Какое нравоучение! Даже в такую критическую минуту, — не то что Вы лучше других; это всегда могло бы быть объяснимо; но Вы один. Прочие совершенно не в счет! Одес-

ский самодурствует; здешний, — признаюсь, к некоторому моему изумлению, — не нашелся. Он как будто еще смотрится в зеркало, спрашивая себя: для чего я здесь, и что я, и как мне быть? Московский пока копирует, через неделю или две, что делается инде. Киевский, не отдохнувший от безрассудного свирепствования против поляков 1863 года, в 1879, по-видимому, только расправляет руки в другом направлении и засим себя спрашивает: как это все имена на «ов», или «ин», или «ев», пожалуй, на хохольское «чко», а не «цкий», или «ич», или «тык»? Из Харькова, напротив того, что ни звук, всё ладно. Признаюсь, что я с особым, совершенно непривычным чувством прочитал Ваши писания. Думаю, что не ускользнуло ни одного оттенка, от различия между признаваемыми Вами и неизвестными Вам прежними правами Ген. Ковалинского и г. Жерве, но внимание, — до чрезвычайно метких указаний по учебной части. Например, Ваш вывод из отсутствия мундира и привод к наружному безобразию, в виде «шика». До Вас никто этого не высказывал. Возвращаясь к моей мысли, что вторая часть Вашей задачи имеет еще большее значение, чем первая. Не временные неурядицы и опасности, а коренная неурядица и органические недуги требуют радикального лечения. Удастся ли? Бог весть. Но во всяком случае, в этом роковой для Государства и Государствующих вопрос. Если мы будем долее идти на социалистическом мужикофильстве, при кабаках, считая площадное ура за политический рычаг; если мы будем по-прежнему гостинодворствовать во внутренней политике Государства и затыкать окраины за пояс г. Карпова и забрасывать Европу шапкой г. Аксакова; если мы будем там давить поляка, а здесь кавказца, там забирать католический костел, а здесь запирают молельню весьма консервативных старообрядцев; если мы будем беречь сотни рублей, когда речь идет о производительном расходе, и бросать сотни тысяч на непроизводительные; если мы и впредь дадим волю раздражающим и разлагающим толкам печати и сами будем молчать по чувству китайского достоинства фарфоровых кукол г-жи Струве; если мы из Министров непременно будем творить членов Правительственного клуба, между собою ни на что не согласных, действующих каждый на свой лад и только съезжающихся на чернильные обеды по понедельникам и вторникам, и пр. и пр., то, конечно, ничего доброго и в будущем ожидать нельзя. Но самая возможность употребления слова «если» доказывает возможность двоякого ответа.

Извините, что так дал воли своим аналитическим соображениям. Минута исторической важности. Чем быть России, решится в 1879 и 1880 г. Дикость приемов, невежественность системы, грубость соображений, близорукость взгляда — вот чем мы больны.

После общего — частное. О нем только два слова. Еще раз душевно благодарю. Мою вчерашнюю телеграмму Вы извините весьма естественным отцовским чувством. Где много предосудительного, там желательно не осуждать выше меры. Болезненность идет из рода Кошелевых, к которому принадлежит моя бабка. Двое дядей и одна из моих теток умерли в помещательстве. Странная смесь хорошего и дурного меня часто наводила на эту мысль. Например, упорное молчание, когда есть чувство, что виноват и зарвался. Словно отчаянное погружение в еще более глубокий омут.

Еще раз благодарю.

Душевно преданный

Валуев».

Когда жертва неизбежна, русский чиновник пытается ее хотя бы отдалить во времени, полагаясь на великий Авось. Под сим девизом и составил граф Дмитрий Андреевич ответное послание.

«Гриф: Министр Народного Просвещения

Действительный Тайный Советник

Граф Дмитрий Андреевич Толстой.

К Временному Харьковскому Генерал-Губернатору Его Сиятельству Графу Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову от 15 мая 1879 года за № 185.

Секретно.

Вследствие письма Вашего Сиятельства от 5 сего Мая за № 20, в котором Вы изволили заявить о необходимости для пользы дела отозвать *безотлагательно* Тайного Советника Жерве от занимаемой им должности Попечителя Харьковского Учебного Округа, имею честь уведомить, что в виду возложенной на Вас Государем Императором ответственности за состояние вверенного Вашему управлению края, я вижу себя вынужденным согласиться на исполнение выраженного Вами положительного в этом отношении требования.

Вместе с тем, однако же, я не усматриваю ни возможности, ни необходимости к отозванию г. Жерве немедленно от занимаемого им поста, так как не могу считать его ни человеком политически неблагонадежным или неблагонамеренным, ни положительно вредным в отношении к управляемым им учебным заведениям... Во всяком же случае я считаю совершенно необходимым предварительно выждать окончания в учебных заведениях испытаний, кои непременно должны происходить под надзором Попечителя, который имеет по крайней мере возможность следить за ними и достаточную для сего опытность, между тем как то лицо, которому, в случае его немедленного удаления, пришлось бы его заместить, а именно Ректор Университета, еще менее может считаться подходящим в деле управления округом, уже по той причине, кроме многих других, что он сам занят испытаниями в Университете. Сверх сего Попечитель Жерве в настоящее время отправился для осмотра учебных заведений в Тамбовскую и Воронежскую губернии. По всем этим причинам я считаю нужным отложить первый приступ к отозванию его из Харькова по крайней мере до возвращения его в сей город...

Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

Граф Дмитрий Толстой».

Проволочка с отстранением толстовского любимца никак не устраивала Лорис-Меликова. Пока шла эта переписка генерал-губернатора с министром народного просвещения, во 2-й Харьковской классической гимназии разразился скандал. Ученик седьмого класса Аполлон Юсевич — умненький мальчик, начитавшийся скучных книг Чернышевского, а именно крамольного его романа «Что делать?», в экзаменационном сочинении отважился прославить Рахметова как истинного героя нашего времени, целиком устремленного в грядущее счастье всего человечества. И вот ведь стервец — ни одной грамматической ошибки на семь страниц этого опуса, разве что забыл закрыть запятою причастный оборот. И ждал за свою смелость высокой оценки. На беду умного мальчика, в гимназии с инспекторской проверкой нагрянул сам попечитель учебного округа, и сочинение попало ему на стол. Господин тайный советник Жерве, чванливый и сухой, из тех, про кого говорят, будто аршин проглотил, и, кажется, напрочь лишен-

ный всяческих человеческих чувств, топал ногами, брызгал слюной — Везувий в последний день Помпеи.

В тот же день Аполлон Юсевич особым приказом попечителя учебного округа был исключен из гимназии с волчьим билетом. В назидание всем учащимся гимназий и реальных училищ округа приказ был зачитан во всех учебных заведениях. Временному генерал-губернатору Жерве написал представление с просьбой привлечь к делу Аполлона Юсевича чины жандармского управления для расследования источника крамолы.

Когда Жерве подал свою бумагу Лорис-Меликову, пришла пора гневаться Михаилу Тариеловичу. На любезном лице генерала застыла едкая улыбка.

— А вам не кажется, уважаемый Петр Карлович, что исключать следовало не Аполлона Юсевича, а гимназическое начальство? Это с его и вашего попустительства стало возможным избрание столь сомнительной темы для сочинения на годичных испытаниях. Да, кстати, у меня есть для вас еще одна новость. Вот полюбуйте — донесение жандармского управления об учащемся реального училища Иосифе Гейере.

Этот самый Гейер, писал в своем донесении жандармский ротмистр Судейкин, бывал не раз замечен в окраинных пивных, трактирах и прочих заведениях, доступ в которые был категорически запрещен реалистам и гимназистам. Там Гейер, как было установлено жандармскими агентами, приобретал журнал «Земля и воля», прокламации тайных обществ, а дома, где мать его, вдова коллежского асессора, предоставляла без разрешения полицейской части кров для учеников гимназий из губернии, распространял крамольную пропаганду среди посетителей.

— Да-с, весьма прискорбный факт, — констатировал Жерве, ознакомившись с бумагой.

— Прискорбный тем более, что узнать о нем должен был бы не я, а покойный князь Кропоткин, и не от жандармских чинов, а от вашего превосходительства. Это вы обязаны следить за атмосферой в харьковских учебных заведениях и наказывать не пылкое и слегка безмозглое юношество, а его наставников. Что теперь толку с того, что мы выставим на улицу Юсевича и Гейера? Куда они пойдут?

Сим риторическим вопросом граф Лорис-Меликов закончил аудиенцию.

Весь Петербург судачит о борьбе нового губернатора с попечителем учебного округа, граф Толстой отовсюду ловил едкие улыбочки и лгал обиду.

Все же почетную должность сенатора Дмитрий Андреевич для Жерве ископтал. Просьба Харьковского генерал-губернатора была удовлетворена, но сам Михаил Тариелович получил в лице графа Дмитрия Толстого и Жерве лютых врагов. Как ни странно, вражда с всемогущим министром народного просвещения послужила во благо. В июле Харьковский генерал-губернатор был приглашен в Петербург на Особое совещание, учрежденное императором 12 апреля для исследования причин распространения разрушительных учений среди молодежи и изыскания мер для борьбы с этим злом под председательством Валуева. На заседаниях Особого совещания 17 и 19 июля обсуждались предложения Лорис-Меликова в области народного просвещения.

Командированный в Харьков с карательными функциями, Лорис-Меликов хоть и освободил тюрьмы от людей, попавших сюда случайно, отменил своей волею смертную казнь для осужденного к ней военным судом народовольца Ефремова и смягчил наказание другим подсудимым по этому же процессу, в деле борьбы с источником крамолы в учебных заведениях оказался под сильным влиянием доклада по сему вопросу Жерве. Предложение восстановить форму одежды для студентов было не единственным и не самым суровым. Харьковский генерал-губернатор у себя в университете разработал правила, которые намеревался распространить во всех высших учебных заведениях России, фактически уничтожавшие университетский Устав 1863 года, отменявшие выборное начало в назначении ректоров и соответственно упразднявшие университетскую автономию. Дабы не допускать в гимназии детей несостоятельных родителей, которые не сумеют до конца выучить своих чад и получают высокомерных недоучек, презирающих их же самих за отсталость, Лорис-Меликов предложил ликвидировать przygotowательные классы.

Предложения эти радикальностью своей превосходили программу самого Толстого, и на Особом совещании, к всеобщему удивлению, именно Дмитрий Андреевич восстал против них. Восстал из особой любви к Лорису. Годы спустя руками своего преемника Делянова он сам, к тому времени министр внутренних дел, примет все эти крутые меры. И студентов оденет в тужурки, и университетскую автономию отменит.

А вот Лорис-Меликов меньше чем через год станет активнейшим образом бороться против претворения им же предложенных мер в действительность. А когда ему укажут на явное несоответствие, поведает от того же Толстого услышанную историю первых дней на министерском посту Евграфа Петровича Ковалевского, бывшего до того попечителем Московского учебного округа.

Ему на подпись принесли три прошения.

На всех трех министр начертал: «Отказать!»

— Ваше высокопревосходительство, — осмелился спросить чиновник, подавший бумаги. — А вы не обратили внимание, кем подписаны эти прошения? Вашею же рукою-с.

— Обратил, милейший, обратил. Но тогда я был попечителем Московского округа и видел все с московской горки. А отсюда панорама шире и виднее дальше.

На этом все разговоры о мерах борьбы Харьковского временного генерал-губернатора с крамолой в сфере народного просвещения кончались.

Тогда же, в июле 1879 года, Михаил Тариелович вернулся из Петербурга, обласканный сочувствующими министрами и недовольный тем, что все его дельные предложения удалось заболтать, рассеять по душному воздуху зала для заседаний. Впрочем, граф недолго предавался мрачности и досаде. На другой день по приезде к нему явился неожиданный гость — почти забытый одноклассник из Школы гвардейских юнкеров князь Артемий Абамелек.

Этот самый Артемий Абамелек являл собою фигуру до чрезвычайности комическую. Маленького роста и с огромным армянским носом, за что и прозвище получил соответствующее — Нос, был он в высшей степени спесив и высокомерен. Выступал он важно, высоко задрал голову, и гляделся будущим генералом, хотя в отставку вышел, не дослужив и до майора. Был он знатного армянского рода, то есть из тех тифлисских дворян, которые попали в список, поданный царем Вахтангом Екатерине Великой, — список, составленный наспех и неполный. И Абамелеки, в отличие от Лорис-Меликовых, знатность которых подтверждена была после долгих хлопот лишь в 1832 году, сохранили таким образом свой княжеский титул. Глупое это обстоятельство до необыкновенных размеров раздуло чванливость Артемия, в особенности перед Лорисом, и хотя, кроме них двоих в Школе армян в ту пору не было, о каком-либо национальном братстве и думать не приходилось: Артемий за-

дирал свой грандиозный нос, а Михаил не упускал случая выставить Абамелека на всеобщее посмеище. Благо тому и повод был. Великий князь Михаил Павлович, посещая Школу, если в тот момент находился в прекрасном расположении духа, любил таскать Абамелека за нос, чем последний тоже немало гордился.

Услышав о странном сем визитере, Михаил Тариелович распорядился попросить гостя подождать. Выйти к Абамелеку можно и в домашнем халате — однокашничество позволяло обойтись и без церемоний. Так ведь это ж Нос! И хозяин дома решил переодеться.

Он явился пред гостем в полном мундире генерал-адъютанта, с Владимирской лентой через плечо и при всех орденках.

— Я рад, ваше сиятельство, что вы посетили меня в скромном моем уединении.

Абамелеку ничего не оставалось, как тоже титуловать хозяина сиятельством. Он был ослеплен. Вот уж никогда не думал, что Мишка *так* возвысится и *таким* образом собьет с него спесь. Он и тон-то верный не сразу нашел, пока Лорис сам не рассмеялся комедии, которую устроил гостю своим переодеванием, и не повел разговор в тоне дружеском и мемуарном. Вспоминались старые забавы, кутежи и курьезы на учениях.

Артемий оказался в Харькове проездом. Жил он под Одессой, где у него было обширное поместье, а сейчас ехал в Петербург жаловаться на генерал-губернатора. Едва он вспоминал Тотлебена, весь вспыхивал, краснел, а в речи вдруг обнаружился кавказский акцент, какого у него, родившегося в Петербурге, и намеком не было.

— Все говорят, ты самый умный губернатор. Поезжай к нам в Одессу. Я к царю еду, царя за тебя просить буду, умолять буду, чтоб тебя прислал. У нас такой дурак, такой дурак! Он с турками не навоевался, со мной воюет. Думает, что моя Раёвка — это поместье мое — Плевна. Роту жандармов прислал — всю мебель мне переломали, полы вскрывали, стены ободрали.

Князь Абамелек горячился, путался в словах, а история с ним вышла вот такая. Князь выдал дочь замуж за хорошего человека, тоже гвардейского офицера и тоже князя, Енгальчева. Раз такой человек хороший, Артемий не поспешил — выписал приданое из Парижа. На таможене ящики задержали, пришлось послать туда приказчика. Приказчик уговорил таможенников

отдать ему хозяйские ящики и имел глупость дать в Раёвку телеграмму: «Ура, наши ящики выпущены!»

— Так что ты думаешь? — шумел Артемий. — У нас есть тайна переписки? У нас нэт тайна переписки. Телеграмма отправлена мне? Мне! Так почему ж она в тот же день на столе у Тотлебена? А что понял из нее этот остолоп? Он решил, что в ящиках динамит! Я дома сижу, обед кушаю — и тут целая рота жандармов с обыском. Он бы мне полк прислал! Все переломали, все разорили! Динамит, понимаешь, искали. Это у меня, гвардейского гусара!

«Гвардейский гусар» никак не вязался с толстеньким плешивым господином, от гнева выпрыгивающим с кресла и топаящим коротенькими ножками. Лорис-Меликов успокаивал его как мог, но это требовало особых усилий — он до крови прикусил язык, удерживая kloкочущий в груди хохот. При всем старании оценить драматизм ситуации и увидеть ужас разгромленного дома комический облик Артемия застил собою все. И, ох, слаб человек, хоть и граф Российской империи и полный генерал. Было какое-то торжество — над глубоко внутрь загнанными отроческими обидами, которые терпел когда-то от Носа, над прославленным героем Севастополя и Плевны, явившим миру полную бездарность в делах гражданских, довольство своим разумным правлением в Харькове.

Еще в апреле, вскоре после принятия в Тырнове конституции, поднесенной болгарам руками старинного кавказского приятеля Лорис-Меликова князя Александра Дондукова-Корсакова, пять Земских собраний — Харьковское, Тверское, Полтавское, Черниговское и Самарское — направили императору Александру II адреса, в которых заявили о необходимости созвать Земский собор или Общую Земскую Думу. Харьковское земство изъявляло готовность бороться «за общественный порядок, собственность, семью и веру», но, писалось в адресе, «при существующем положении земские силы не имеют никакой организации». Заклучал это прошение царю-батюшке такой пассаж: «Всемиловейший Государь, дай Твоему верному народу то, что Ты дал болгарам».

В Петербурге поднялся переполох, при дворе сочли эти адреса за подрыв основ самодержавия. Министр внутренних дел Маков, издавна ненавидевший земства и немало приложивший руку к ограничению их прав временными — как водится в России, почитай, навсегда — правилами, тотчас же ра-

зослал предводителям дворянства и губернаторам циркуляр, категорически запрещающий распространение подобных адресов и предписывающий строго наказать их авторов. Циркуляр, несомненно, дурацкий и панический, отметил, получив его, Лорис-Меликов. Если ему следовать, то воевать придется не с безумцами революционерами, а вполне благонамеренными и законопослушными земскими деятелями.

Автором харьковского адреса был городской глава, отставной университетский профессор Егор Степанович Гордиенко — человек умный, здравомыслящий и смелый. Он отважился собрать делегацию земцев и встретиться с руководителями «Народной воли» и попытаться уговорить революционеров приостановить террор, чтобы дать правительству время на проведение реформ. Террористы, заявив, что правительство само беспощадными репрессиями вынудило их к террору, пообещали все же «посмотреть» и выдвинули свои требования: 1) устранить стеснения свободы слова; 2) гарантировать права личности против произвольных, незаконных и несоответственных поступков исполнительных властей; 3) призвать тем или иным способом население к участию в управлении. Увы, гарантий этих земцы дать не могли за отсутствием хоть каких-либо рычагов давления на власть, но аргументы Гордиенко, показавшего, что в Харькове произвола меньше, чем в любых других губерниях, хоть и вызвали иронические усмешки, но вроде как подействовали.

Встреча эта не стала тайной от Харьковского генерал-губернатора. Он сам вполне разделял умеренные взгляды Гордиенко, бывшие немногим радикальнее взглядов Кошелева и его собственных. Но циркуляр — приказ высшего начальства, он воплощал царствующее в правительстве мнение, и с этим надо считаться. Михаил Тариелович, призвав к себе Гордиенко, посоветовал ему на время поутихнуть с конституционными идеями, потерпеть до лучших времен, министру же сообщил, что сделал городскому голове строгое внушение. И ситуация в Харькове как-то сама собою поутихла, спустилась на тормозах.

Так тихо и спокойно, без особых эксцессов подошел к концу в губерниях, подвластных Харьковскому генерал-губернатору, 1879 год. А после Рождества пришла пора писать отчет, с которым Лорис-Меликова ждали в столице в начале февраля.

Всепоподаннейший отчет — жанр не из легких. В августе император соизволил одобрить доклад Эдуарда Ивановича Тотлебена, в котором оправдывались самые жестокие репрессии

по отношению к любому проявлению недовольства. И как ни пожимали плечами Валуев, Милютин и даже Маков, но Александру твердость и непреклонность Одесского генерал-губернатора пришлось тогда по душе — такой был у него настрой. И хлопоты бедного князя Абамелека не увенчались успехом — Артемия просто-напросто не подпустили к августейшей особе с жалобами на угодившего царю сатрапа.

Но время течет, заноса мягким, толким илом острые камни. Близилось двадцатипятилетие царствования Александра II, и из Петербурга просачивались какие-то смутные слухи о предполагавшихся новых либеральных акциях — чуть ли не конституции, которую император готов пожаловать русскому народу в день юбилея 19 февраля. Говорят, на днях назначается совещание по сему поводу в Мраморном дворце — у великого князя Константина Николаевича...

Слухи эти придали смелости Лорис-Меликову, и он рискнул в докладе своем не ограничиваться перечислением предпринятых им мер, по суровости своей далеко уступающих даже безвольному в полицейском деле генералу Гурко, но высказать свои предположения о том, что следует предпринимать генерал-губернаторам впредь, какими правами их следует наделить в будущем, дабы в скором времени от положения чрезвычайного перейти к законному правлению.

«Присвоение Генерал-Губернаторам исключительно лишь карательной власти, — писал Лорис-Меликов в отчете, — было бы недостаточно для выполнения всех лежащих на них обязанностей, в ряду которых преобладающее значение должно иметь не только преследование обнаруженного уже зла, но стремление своевременно предупредить его. Причины зла кроются в столь многих и разнообразных условиях общественной и экономической жизни, что высшему представителю власти в крае необходимо быть постоянно настороже и иметь возможность проявить свое влияние везде, где в нем встречается необходимость. Такая задача достижима только тогда, когда Генерал-Губернаторы приходят в соприкосновение с местными интересами в лице их представителей и, узнавая этим путем об их нуждах, в состоянии дать движение предпринятым ими законным ходатайствам и вообще оказывать им требуемую обстоятельностью поддержку.

Понимание в этом смысле обязанности Генерал-Губернатора устанавливает между ним и обществом ту неразрывную и затрагивающую насущные его потребности связь, которая

должна быть для Правительства гораздо ценнее одного страха, внушаемого правом карать».

Это надо уметь. Ни слова впрямую вроде бы не сказано, фактически же присланный в Харьков карать генерал-губернатор намекает, что не прочь учредить на месте своего рода конституцию, чтобы потом успешный опыт ее перенести на всю империю.

«При установлении указанного выше порядка, — добивает аргументом всякое сопротивление своей мысли Лорис-Меликов, — могла бы постепенно ослабевать необходимость суровых карательных мер, сила и значение которых велики только до тех пор, пока общество не успело с ними свыкнуться; *продолжительное же применение этих мер, не достигая положенного в основание их спасительного устрашения, перестает оказывать и ожидаемое от них полезное влияние* (курсив наш. — Авт.).

Авторитет власти поддерживается не только правами, присвоенными ей, но и образом действий ее представителей, а также приобретаемым ими в обществе влиянием; поэтому в вопросе о правах Губернаторов имеет в одинаковой мере значение и личный их состав. Между тем многие не вполне соответствуют своему назначению, и нет основания предполагать, чтобы при увеличении их прав улучшился контингент, из которого пополняется в настоящее время губернаторский персонал».

Памятуя о знаменитом маковском циркуляре по поводу земских адресов и прочих указаний из Петербурга, вносящих полную путаницу в делах, Харьковский генерал-губернатор счел за разумное заметить: «Правительственные мероприятия прежде выполнения желательно согласовывать с Генерал-Губернатором — высшим представителем власти в крае, не зависимом от местных передраг и недоразумений».

Лорис-Меликов, человек военный, прошел блистательную школу русского чиновничества у лукавейших царедворцев — Воронцова, Барятинского, великого князя Михаила Николаевича. С начальством на Руси следует делиться идеями и не спешить за авторским приоритетом. Пусть думает, что они ему самому пришли в голову. А посему отчет свой он завершил следующими словами: «Посвятив себя всецело на служение Вашему Величеству и Отечеству, я счел своею священной обязанностью всеподданнейше доложить с полной откровенностью выработавшиеся во мне путем опыта убеждения, дабы указания, которые Вашему Императорскому Величеству благо-

удовно будет преподавать, послужили руководством для дальнейшей моей деятельности».

2 февраля 1880 года Михаил Тариелович Лорис-Меликов вручил государю императору всеподданнейший доклад. Царь вникать в доклад в 60 листов не стал, а отдал его для прочтения Петру Александровичу Валуеву, незадолго перед Новым годом назначенному председателем Комитета министров и комиссии прошений вместо скончавшегося 20 декабря графа Павла Николаевича Игнатьева. Валуев оставил по этому поводу в дневнике своем за 3 февраля такую запись: «Читал также записку гр. Лорис-Меликова, хорошо написанную, несмотря на обычную риторику верноподданства об «обожаемом» монархе, и высказывающуюся за прочное создание генерал-губернаторств». Давно ли Валуев хвастался, что идея этого учреждения принадлежит ему самому? Так ведь тогда он был хоть и авторитетным, но всего лишь министром. Да и кто мог предположить год назад, что идея — одно, а исполнение и исполнители — совсем-совсем иное и благим идеям несоразмерное? Кроме Лориса, никто не справился со своей задачей.

Сам Лорис-Меликов намеревался прожить в Петербурге до конца торжеств в честь двадцатипятилетия царствования Александра II, а к началу марта вернуться в Харьков.

Человек предполагает, а Бог...

### БОМБА В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Это еще большой вопрос: Бог ли то был, Сатана ли?

Скорее всего, Сатана. Он принял облик веселого, растопного мастерового с быстрыми лукавыми глазами Степана Батышкова, поступившего по случаю ремонтных работ столяром в Зимний дворец. Мастера нахвалиться не могли молодым и резвым, чрезвычайно исполнительным рабочим. Все кипело в его умелых руках. Только вот очень странным иногда казалось — взгляд его бывал, когда задумается, то рассеянный и ничего вокруг себя не видящий, а то вдруг загорится такой испепеляющей злобой, что оторопь берет, но на мгновение, его тут же сменяет чуть заискивающая добрая улыбка. Но об этом вспомнят потом, когда поздно будет.

Зимний дворец жил своею жизнью. Съезжались гости к императору на праздник. Царь все думал, чем отметить славную годовщину своего властвования, мелькнула даже мысль не то

чтоб о конституции, но о каком-то движении в ее сторону. В начале января, уже в который раз, он потребовал от Валуева его докладную записку, поданную еще в апреле 1863 года, о преобразовании Государственного совета, в состав которого, наряду с назначаемыми членами — в основном действующими и отставными министрами, входили бы лица, избранные от губерний и крупнейших городов. Тогда из-за польского восстания мера эта показалась слишком революционной и была отложена до лучших времен. Свою записку на сей счет, гораздо более умеренную, в начале 1866 года подал великий князь Константин Николаевич — самый пылкий сторонник реформ в царствующем доме. Каракозов, промахнувшись в царя, прострелил предложение великого князя. Теперь же император и о нем вспомнил и после некоторых раздумий остановился, скорее, на великокняжеском варианте дарования новых свобод, о чем и поведал брату своему, предложив для начала обсудить ее на Особом совещании с министрами и наследником цесаревичем.

Ближайший сотрудник и помощник в Государственном совете, где великий князь Константин Николаевич председательствовал, государственный секретарь Егор Абрамович Перетц оставил в своем дневнике бесценную запись о благом порыве императора:

«13 января к великому князю Константину Николаевичу приехал Государь и сам заговорил о его записке 1867 (ошибка Перетца. — *Авт.*), написанной вчерне в Ореанде и доведенной до ума совместно с тогдашним государственным секретарем князем С. Н. Урусовым. Царь хочет даровать к своему двадцатипятилетию на престоле представительство народу.

15 января.

Вот эта записка:

«После происшествий, бывших в этом году в Рязанском и Санкт-Петербургском дворянских собраниях, Государь Император, входя в затруднительное положение дворянства, изволил Сам обратить внимание на вопрос о том: что можно для него сделать?»

Это указание привело меня к следующим мыслям.

В основе соображения по этому важному предмету необходимо положить некоторые существенные начала, которые должны служить, так сказать, афоризмами при дальнейшем развитии самих соображений.



1) Для России, в настоящее время и еще надолго, конституционное правление было бы гибелью, потому что оно немедленно обратилось в олигархию или анархию. Мы должны всеми силами поддержать Самодержавие.

2) Существующие сословные привилегии не должны быть нарушаемы или отнимаемы; такие меры вызвали бы раздражение; но, в видах уничтожения исключительности этих привилегий, — можно, на деле, их сглаживать чрез распространение на другие сословия.

3) При допущении известной степени либеральности в *формах*, составляющих наружную сторону какого-либо мероприятия, — не предстоит опасности, коль скоро *сущность* сохранена и удержана в надлежащей неприкосновенности.

4) Развитие зародышей, хранящихся в отечественном законодательстве, должно быть предпочтительно заимствованию иностранного.

Перехожу от этих общих начал к мыслям моим о положении дворянства.

Оно вообще недовольно; конституционные его стремления периодически возобновляются. Однако, по словам умных и сведущих дворян, — дворянство не желает серьезно конституции, потому что оно само сознает ее опасность, а конституционные его намеки служат не чем другим, как выражением его неудовольствия. И действительно, как ни разноречивы основания, прилагаемые в суждениях и речах дворянских и других собраний, — постоянно и настойчиво проводится в них одна мысль: «*До ГОСУДАРЯ правда не доходит*»; администрация и бюрократия нами завладели; они стоят непроходимую стеною между ГОСУДАРЕМ и Его Россиею; ГОСУДАРЬ окружен опричниками...» и т. п. Но везде повторяется та же мысль: «*До ГОСУДАРЯ правда не доходит!*» В этих собраниях, как мне кажется, обнаруживается то истинно серьезное желание, которое может и должно быть удовлетворено.

Но как исполнить это?

К достижению сего, по моему убеждению, представляется возможность без малейшего прикосновения к священным правам Самодержавия:

1) Наше законодательство дарует сословиям (дворянству уже около столетия) такое право, которое приобреталось за границей потоками крови, которое там считается первым и самым важным залогом политической свободы и которое у нас не довольно высоко ценится, а в иных случаях и забывается;

это — *le droit de petition*, право заявления своих нужд (IX т. зак. о сост., ст. 112).

2) Дворянство имеет право выбирать депутатов из кандидатов, представляемых каждым уездом на случай вызова их в Петербург Правительством для объяснения ходатайств дворянства (IX т. зак. о сост., ст. 113 и 114). Это право осталось у нас мертвою буквой.

Исходя из двух *существующих* прав дворянского сословия, я предложил бы воспользоваться ими для осуществления следующих предположений:

1) Обязать как дворянские собрания, уже имеющие это право, так и земские собрания, этого права еще не имеющие, избирать депутатов (двух или трех).

2) Правительство оставляет за собой право собирать их, когда и как найдет полезным.

3) Избранные лица могут быть созываемы в собрания как из всей России, или по полосам, или местностям, как это признано будет нужным.

4) Собрания состоят при Государственном Совете.

5) Собрания собственной инициативы не имеют, а занимаются только теми делами, которые им передает Правительство.

6) Собрания имеют только *совещательный*, а не решительный голос.

7) Из заявлений и просьб местных дворянских и земских собраний Правительство поручает обсуждению депутатских собраний только те, которые назначит по своему усмотрению.

8) Собрания не должны быть постоянными.

9) Заявления и просьбы дворянских собраний передаются в собрание дворянских депутатов; заявления и просьбы земских собраний — в собрание депутатов земских.

10) Председатели обоих депутатских собраний назначаются ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ из членов Государственного Совета.

11) В занятиях собраний участвуют Министры по принадлежности.

12) Собрания занимаются только приуготовительными работами для Государственного Совета, в который вносятся установленным порядком заключения собраний по рассмотренным в них вопросам.

13) При обсуждении этих дел в Государственном Совете могут быть призваны в заседания Совета некоторые из депу-

татов для представления нужных объяснений, но при разрешении дел они не присутствуют<sup>1</sup>.

14) Объяснения приглашенных депутатов записываются в журналы Государственного Совета.

15) Эти объяснения вносятся в мемории Государственного Совета, подносимые на ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждение, при которых представляются, сверх того, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и подлинные по рассмотренному делу журналы депутатских собраний.

Все эти предположения имеют целью: с одной стороны, удовлетворить действительно общему желанию, чтобы голос сословий прямо доходил до Престола; а с другой стороны — устранить именно поводы и предлоги к дальнейшему повторению превратного предположения, будто в настоящее время правде прегражден путь к ГОСУДАРЮ. В то же время эти меры, весьма либеральные по *форме*, должны успокоить многие высказывавшиеся в последнее время стремления, но *в сущности*, в них нет ничего опасного, так как, во-первых, депутаты будут призваны не в состав Государственного Совета, в виде приуготовительных комиссий; во-вторых, Председатели собраний будут назначаемы Самим ГОСУДАРЕМ; в-третьих, в собраниях будут присутствовать Министры; и, наконец, в-четвертых, при обсуждении дел голос собраний будет только *сообщительным* и в решительный обращаться не может».

Записку эту великий князь дал для прочтения на свежий взгляд 1880 года Перетцу и умнейшему человеку, всегдашнему советнику своему в самых сложных вопросах, государственному контролеру Дмитрию Мартыновичу Сольскому. Замечания обоих были единодушны, и Константин Николаевич с благодарностью учел их. Перетц записал о своих замечаниях в дневнике от 21 января:

«Главных два: во-первых, назначением депутатских собраний должно быть не только обсуждение ходатайств дворянства и земства; еще несравненно важнее предварительное обсуждение проектов новых законов, а об этом в правилах не упоминается; во-вторых, едва ли удобно иметь при Государственном Совете еще *два* собрания: одно дворянское, другое земское.

<sup>1</sup> На основании ст. 12 Учр. Гос. Сов., в Департаменты, по усмотрению их, могут быть приглашаемы к совещанию и лица посторонние, от коих, по свойству дела, можно ожидать полезных объяснений. (Примеч. великого князя Константина Николаевича.)

Дворянство есть теперь часть земства, а не равноправно, или правильнее — не равносильно ему. Поэтому мне казалось бы, что должно быть *одно* общее собрание. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ совершенно согласился с обоими этими замечаниями и сказал, улыбаясь: «Странное дело, почти буквально то же самое сказал мне Сольский. Еще страннее то, что, перечитывая на днях записку, я и сам, так сказать, предчувствовал эти замечания».

...Потом я представил Его Высочеству составленные мною таблицы дел, рассмотренных Общим Собранием Государственного Совета за последние десять лет. Оказывается, что ежегодно обсуждалось от 95 до 120 дел, из которых 30 или 60 могли бы с пользою подлежать обсуждению земства».

Совещание по поводу предложений 1863 и 1866 годов об учреждении института избранных представителей было назначено на 23 января в Мраморном дворце. Цесаревич прибыть в этот день не смог, просил отложить, но поскольку люди уже собрались, Константин Николаевич сделал его предварительным, «для спевки», как выразился его высочество.

Великий князь сразу же поставил вопрос, на какой записке остановиться: его или валуевской. Первым выступил Валуйев и предложил ввиду общих предпочтений, указав на князя Урусова, Дрентельна и Макова, от своего проекта отказаться, оставив за собой право в подходящий момент представить свой. «Ни на какие уступки я не пойду». Эти слова председателя Комитета министров Е. А. Перетц, процитировав в дневнике, употребляет часто, но она не мешает ему делать весьма существенные уступки».

«Валуев, — пишет дальше Перетц, — пышно закончил: «Я умел молчать в течение шестнадцати лет. Буду продолжать молчание столь же упорно и, быть может, доживу до того времени, когда глас мой будет услышан».

Главноуправляющий II Отделением собственной его императорского величества Канцелярии князь Сергей Николаевич Урусов — тот самый, что когда-то доводил до ума записку великого князя, сейчас при ее обсуждении высказался таким образом:

— Не будет ли издание этих предложений принято со стороны общества за дар или уступку, которые едва ли бы соответствовали достоинству правительства, особенно в настоящую пору? Не будут ли говорить, что правительство испугалось угрозы социально-революционной партии?

— Общество сначала обрадуется, — заметил Александр Романович Дрентельн, главноуправляющий III Отделением и шеф жандармов, — потом найдет, что недостаточно конституционно, и, подстрекаемое печатью, распространит недовольство.

Маков вообще предложил отложить этот вопрос до лучших времен.

— Мы, — сказал он, — еще находимся в положении крайне ненормальном. Бесчинства и преступления социалистов вызвали передачу дел политических военным судам и учреждением нескольких генерал-губернаторств с предоставлением генерал-губернаторам диктаторской власти. При таких обстоятельствах и ввиду крайностей, в которые вдаются некоторые генерал-губернаторы, можно смело сказать, что в иных частях империи не существует ни закона, ни правильно устроенного управления. Поэтому, как только позволят обстоятельства, нужно будет озаботиться сначала отменой чрезвычайных законов, а потом уже приступить к расширению прав, присвоенных обществам и сословиям.

Великий князь, весьма удрученный таким поворотом собрания и в предчувствии очередного провала его идеи на следующем заседании в присутствии наследника, вяло согласился, что, пожалуй, неудобно будет издавать закон 19 февраля. Несколько оживленнее согласился с Маковым о ненормальности нынешних наших обстоятельств и о необходимости прекратить неурядицу, созданную генерал-губернаторским произволом. Но это не должно, сказал Константин Николаевич, препятствовать заботам о возможно успешном рассмотрении законодательных дел.

Предчувствия не обманули великого князя. На совещании 25 января цесаревич с первых же слов бросился в атаку. Это самая настоящая конституция, парламент, кипятился он, а что такое парламент, я знаю. В Дании правительство постоянно жалуется, что из-за болтунов-депутатов совершенно невозможно работать. У нас будет еще хуже — выберут крикунов-адвокатов, они начнут болтать и будут только мешать правительству. Как сейчас земства, которые, кстати, из-за всеобщей апатии и кворума собрать не могут. В то же время генерал-губернаторы на местах творят Бог знает что.

Тут же Маков, а за ним и Валуев навалились на земства, на их бездействие, их вечное недовольство правительством. И неужели, едко спросил Валуев, выборные из Царевококшайска или Козьмодемьянска будут умнее наших министров? Потом

выступил князь Урусов с теми же аргументами... Не прошло и часа, как предложение великого князя Константина совещание блистательно похоронило.

После совещания Константин Николаевич спросил Перетца:

— А что вы скажете про сегодняшнее заседание?

— Я скажу, ваше высочество, что в усердии вторить цесаревичу Маков, вернувшись домой, распорядится, может быть, изготовлением проекта об упразднении всех выборных учреждений.

Великий князь расхохотался.

— А что скажете вы про Валуева? Не правда ли, он был прелестен со своим Царевококшайском и Козьмодемьянском?

— Я, ваше высочество, никогда не считал Валуева ни истинно государственным человеком, ни даже рыцарем чести и своих убеждений, а только придворным, но неприличие сегодняшней его речи превзошло всякую меру. Как мог он, автор конституционного проекта, несомненно более либерального, позволить себе отрицать всякую пользу участия представителей в обсуждении законодательных дел?! Неужели же он считает нас такими простаками, что мы не поймем его передержки?

Сам же Валуев спустя несколько дней, а именно 3 февраля, не без яду записал в своем дневнике:

«Каханов прислал неожиданные предположения министра финансов о манифесте насчет каких-то мелких денежных льгот по случаю двадцатипятилетия. Повелено обсудить дело в Комитете министров. После всех ожиданий такой манифест имел бы почти значение насмешки. А я сам? В борьбе с невозможным, но все-таки на общей сцене! Сойти с нее нет возможности, да даже нет и поводов».

«4 февраля. Государь прислал за мною утром. Он сам находит, что проектированный министром финансов манифест о мелких милостях на 19-е число неудобен. Кроме того, он поручил мне, по случаю съезда сюда генерал-губернаторов, устроить под моим председательством совещание из них и подлежащих министров для обеспечения большего единства в распоряжениях генерал-губернаторских властей в разных местностях».

Пока государь император мучительно выбирал, какими милостями осыпать своих подданных в день своего юбилея, принимал съезжающихся к празднику гостей и тех же генерал-губернаторов, мастерской Степан Батышков, усердием своим завоевавший полное доверие начальства и охраны из донских казаков, таскал во дворец какие-то сумки, на которые никто не обращал никакого внимания, хотя еще в ноябре был ар-

станов заговорщик некто Александр Квятковский, при котором обнаружили план Зимнего дворца.

Обед государю императору подавался поздно, но всегда в одно и то же время: ровно в шесть часов вечера. В тот день, 5 февраля 1880 года, обед был отложен — шестичасовым поездом прибыл на грядущие торжества старший брат императрицы Александр-Людвиг-Георг-Фридрих-Эмиль принц Гессен-Дармштадтский. В 6.15 он явился во дворец и был торжественно встречен российским императором в Фельдмаршальском зале. Ровно через пять минут раздался страшной силы взрыв. Газовое освещение в залах и коридорах дворца вмиг потухло. Вылетели и разбились стекла на всех трех этажах. Откуда-то снизу раздавались истошные крики раненых.

Бомба была заложена под караульное помещение, где в тот момент находились солдаты лейб-гвардейского Финляндского полка и казаки. 9 человек были убиты, 44 ранены. А над караульным помещением располагались как раз те две залы, где в отсутствие императрицы или во время ее болезни накрывается обеденный стол для царской семьи. В самой столовой треснула стена, обеденная посуда перебита вся вдребезги; в зале, где обыкновенно сидят после обеда, приподнялся пол.

Столяр Степан Батышков исчез. Спустя два года в Одессе был арестован убийца военного прокурора В. С. Стрельникова, назвавшийся Степановым. Через три дня, 22 марта 1882 года, этот самый Степанов был казнен. Лишь годы спустя выяснилось, что никакой он не Степанов и даже не Батышков, а член Исполнительного комитета «Народной воли» Степан Халтурин. В советское время его именем назовут город Орлов в Вятской губернии, идущую вдоль Зимнего дворца Миллионную улицу, напишут много книжек, в которых представлен будет революционер из рабочих разве что не святым — и ни слова о несчастных караульных солдатах, убитых и искалеченных его злодейской бомбой. Они-то в чем были виноваты?

Но 5 февраля 1880 года никому от этого знания не легче, едва ли б легче стало, даже если бы и в тот же день поймали убийцу караульных солдат.

Граф Дмитрий Алексеевич Милютин, тотчас же вызванный во дворец, оставил о царе такую запись в своем дневнике: «Государь вызвал меня в кабинет». Далее следует фраза зачеркнутая: «Он был спокоен и, как всегда бывало в подобных случаях, спокоен и грустен». Вместо нее написано: «Как и в других, прежде бывавших подобных случаях, он сохранил пол-

ное присутствие духа, видя в настоящем случае новое проявление Перста Божьего, спасающего его в пятый уже раз от злодейских покушений. Настоящий случай как-то особенно поразителен. Всякому приходит на мысль — где же можно искать спокойствия и безопасности, если в самом дворце царском злоумышленники могут подкладывать мины».

## В НУЖНОМ МЕСТЕ В НУЖНЫЙ ЧАС

События последующих дней подробно описаны в дневнике военного министра графа Д. А. Милютина.

«8 февраля. Пятница. Пользуясь свободным утром по пятницам, я и сегодня с 10 часов утра ездил по военно-учебным заведениям. В 1-м часу, когда я был в Юнкерском училище на Петербургской стороне, прискакал дежурный при мне фельдъегерь с известием, что Государь требует меня к 12 часам. Назначенный час уже прошел; я поспешил прямо во дворец, как был в сюртуке. Приехав туда, узнал, что Государь назначил совещание о мерах, какие нужно принять вследствие последнего злодейского покушения. В совещании участвовали, кроме Наследника Цесаревича, Валуев, Дрентельн, Маков, гр. Адлерберг и я. Государь, объяснив цель совещания и невозможность терпеть долее такое ненормальное положение в самой столице, предложил на обсуждение предположения, возбужденные некоторыми лицами (кто эти лица — не знаю; догадываюсь, что должен быть Трепов, а может быть, и гр. Адлерберг), а именно: 1) нужно ли сохранить в Петербурге должность временного генерал-губернатора, учрежденную в прошлом году в видах усиления местной власти, но, к сожалению, не оправдавшую ожиданий, и 2) не следует ли учредить особую следственную комиссию или принять другие чрезвычайные (экстралегальные — как выразился Государь) меры, по случаю последнего злодейства. На эти вопросы высказались различно: Дрентельн и Маков — в пользу упразднения генерал-губернаторства, но против следственной комиссии; кроме того, Маков говорил о каких-то мерах строгости, не определяя, каких именно; Валуев — очень длинно и с обычною своею фразеологиею говорил в защиту и генерал-губернатора, и градоначальника, и полиции; с пафосом призывал на помощь все «общественные силы» и предлагал подобные отвлеченные, неуловимые меры; гр. Адлерберг что-то отрывочно говорил против формальнос-

тей, против стеснительности существующих законов и судебного порядка, в особенности настаивал на том, чтобы арестованным по политическим преступлениям на допросах не дозволять отмалчиваться, а *заставлять* их высказываться; Государь прервал его, спросив с неудовольствием: каким же образом заставлять? Разве пыткой? Мне говорили, что слово — пытка — было действительно не только на уме некоторых господ, но даже на языке; и кто же первый имел смелость произнести это страшное слово? — Принц Петр Ольденбургский!! Наследник с своей стороны настаивал на учреждении следственной комиссии, ссылаясь на пример бывшей комиссии под председательством гр. Муравьева (по делу Каракозова. — *Авт.*), и явно высказывал недоверие свое к III Отделению. Я опровергал пользу следственной комиссии и вообще бесполезность всяких экстралегальных мер, которые не ведут к желанной цели, как достаточно убеждает опыт. Вместе с тем объяснял свое мнение о неудобстве в столичном управлении двух инстанций — генерал-губернатора и градоначальника и пришел к тому заключению, что самая слабая наша сторона заключается в низших органах полиции, в исполнителях и ближайшем надзоре; что не следует жалеть денег и поощрений, чтобы иметь надежных агентов тайной и явной полиции.

Привожу только сущность говоренного в этом совещании, но касались еще многого: и разрозненности полицейских властей, и строгого обыска *всех* живущих в столице, и ответственности хозяев за квартирантов и проч. и проч. Трудно поверить, до каких нелепостей доходят люди, когда хотят во что бы то ни стало выказать свое усердие и государственный взгляд, не имея в голове никакой ясной мысли. Государь заключил совещание, приказав нам опять собраться и потолковать между собой, а пока пригласил в кабинет генералов Гурко и Зурова (Петербургский градоначальник. — *Авт.*), чтобы прочесть при них акт произведенного дознания о происшествии 5 февраля, с показаниями экспертов относительно взрыва. Тут опять говорилось о разных подробностях, о личностях, живущих в подвалах и нижнем этаже дворца, об исчезнувшем столяре и т. д. Государь показывал нам найденные при арестовании некоторых личностей кроки расположения Зимнего дворца. О том же, что главная вина случившейся катастрофы должна пасть на дворцовое начальство, о беспорядке во дворце, о беспечности министра двора, конечно, не могло быть и речи в присутствии самого гр. Адлерберга — друга царского.

Расходясь после совещания, мы сговорились опять сойтись завтра в помещении Комитета министров».

Граф Милютин, может, сам того и не ведая, вскрыл механизм человеческой жестокости. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский был едва ли не единственным политическим деятелем в «железном, поистине жестоким» веке, который всерьез заговорил о всеобщем и полном разоружении, отчего и был посмешищем при императорском дворе. Но халтуринский взрыв так напугал этого доброго и простодушного человека, что именно из его уст вырвалось страшное слово — пытка. И на совещании к ее применению вел дело добрейший человек, хоть и пустоватый, — граф Александр Владимирович Адлерберг. Его-то страх еще подлее — кто, как не министр двора, должен отвечать за порядок в резиденциях императора? А тут при расследовании вскрылась такая интересная подробность: на чердаке Зимнего дворца обнаружили живую корову! Какой-то поваренок содержал ее там. Оно конечно, Санкт-Петербург город тесный, где найдешь лучшее место для скотинушки?

Итак, экстренное совещание у государя, как и прочие подобные в предыдущие годы, кончилось ничем. Министры разъехались, а во дворец прибыл назначенный на дежурство генерал-адъютант Лорис-Меликов. Дежурство теперь обставлялось с особою строгостью. Генерал обошел все караульные посты, прежде чем войти к императору с докладом, что все спокойно, тревожиться не о чем.

Перед царским кабинетом его остановил наследник. Цесаревич не стал после совещания возвращаться к себе, в Аничков дворец. Он был перевозбужден и крайне недоволен исходом заседания, которое так ни к чему и не привело.

— Михаил Тариелович, можно вас на два слова?

— Всегда к вашим услугам, ваше высочество.

— Мне хотелось бы знать ваше мнение о нынешнем положении. Вам как-то удалось утихомирить этих анархистов в Харьковской губернии. Она ведь считалась рассадником крамолы. Мы обсуждали всякие меры, вплоть до пыток, да так ни к чему и не пришли.

— Я, ваше высочество, не полагался бы на одни лишь карательные меры. Мы к ним прибегаем вот уж пятнадцать лет. И на место одиночки Каракозова получили целую организацию заговорщиков. Здесь нужны другие меры, точнее, нужна целая система мер воздействия не на одних только заговорщиков, а на все общество. Оно многим у нас недовольно и, скорее, сочувствует больше революционерам, нежели правительству.

Увлечшись, Михаил Тариелович прочел цесаревичу целую лекцию о том, каким он представляет себе дальнейшую деятельность правительства, как и все умные люди, в разговоре увеселившись на своего конька, вовсе и не предполагая, что из их слова что-нибудь последует. Правда, был один странный момент в разговоре. Наследник ни с того ни с сего спросил, кого бы Лорис-Меликов мог рекомендовать на свое место. Тот назвал князя Александра Дондукова-Корсакова, назвал сразу, не задумываясь, — Дондуков, отношения с которым слегка подували, приятно удивил болгарской конституцией. И только потом задумался, к чему был сей вопрос, заданный явно не к месту. И второе. Александр Александрович как-то очень уж пылко благодарил графа Лорис-Меликова за столь интересную и содержательную беседу. На том и расстались.

В субботу 9 февраля император созвал к полудню всех министров, кроме военного, бывших на вчерашнем совещании. Пригласил и Лорис-Меликова как дежурного генерал-адъютанта.

Сообщение государя всех как громом поразило.

Генерал-губернаторство в Санкт-Петербурге упраздняется. Учреждается Верховная распорядительная комиссия. Ее начальником назначается генерал-адъютант граф Лорис-Меликов. III Отделение и корпус жандармов отныне подчиняются начальнику Верховной распорядительной комиссии. Временным Харьковским генерал-губернатором на его место назначен генерал-адъютант князь Дондуков-Корсаков.

Вот до чего могут довести ночные беседы с наследником!

Из оцепенения и растерянности Лорис-Меликова вывел густой, величественный бас Петра Александровича Валуева.

— Ваше величество, еще вчера я выражал свое категорическое мнение против такой чрезвычайной меры, но теперь, узнав, что выбор вашего величества выпадает на такое лицо, как граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов, я вполне сочувствую такому решению.

И начал расписывать ум, решительность и недюжинный здравый смысл Лорис-Меликова, помянув и Карс, и Ветлянку, и единственное оправдавшее себя генерал-губернаторство в Харькове, откуда Михаил Тариелович привез очень толково и дельно составленный всеподданнейший доклад, выводы из которого следовало бы распространить по всей империи.

Валуев потому противился созданию некой верховной комиссии, что полагал ее автором генерала Трепова. Соответственно, и возглавил бы ее Федор Федорович и учинил бы по

всей России такой полицейский произвол — куда там Тотлебену с его Панютиным! А тут Петр Александрович вздохнул с облегчением, и дневник его за ближайшие дни хоть и сдержанно, не так, как в письмах прошлого года, все-таки выражает большие надежды в связи с этим назначением.

Председателю Комитета министров и было поручено изготавить императорский Указ Правительствующему Сенату по сему поводу. 12 февраля 1880 года указ был подписан, а спустя три дня опубликован в «Правительственном вестнике».

## ДИКТАТУРА СЕРДЦА И МЫСЛИ

### «УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

*В твердом решении положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок, Мы признали за благо:*

1. Учредить в Санкт-Петербурге Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия.

2. Верховной распорядительной комиссии состоять из Главного начальника оной и назначенных для содействия ему, по непосредственному его усмотрению, членов комиссии.

3. Главным начальником Верховной распорядительной комиссии быть временному Харьковскому генерал-губернатору, Нашему генерал-адъютанту, члену Государственного Совета, генералу от кавалерии графу Лорис-Меликову, с оставлением членом Государственного Совета и в звании Нашего генерал-адъютанта.

4. Членов комиссии назначать по повелениям Нашим, испрашиваемым Главным начальником комиссии, которому предоставить, сверх того, право призывать в комиссию всех лиц, присутствие коих будет признано полезным.

5. В видах объединения действий всех властей по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, предоставить Главному начальнику Верховной распорядительной комиссии по всем делам, относящимся к такому охранению:

а) Права Главноначальствующего в Санкт-Петербурге и его окрестностях, с непосредственным подчинением ему санкт-петербургского градоначальника.

б) Прямое ведение и направление следственных дел по государственным преступлениям в Санкт-Петербурге и Санкт-петербургском военном округе — и

в) Верховное направление упомянутых в предыдущем пункте дел по всем другим местностям Российской Империи.

6. Все требования Главного начальника Верховной распорядительной комиссии по делам об охране государственного порядка и общественного спокойствия подлежат немедленному исполнению как местными начальствами, генерал-губернаторами, губернаторами и градоначальниками, так и со стороны всех ведомств, не исключая и военного.

7. Все ведомства обязаны оказывать начальнику Верховной распорядительной комиссии полное содействие.

8. Главному начальнику Верховной распорядительной комиссии предоставлять испрашивать у Нас непосредственно, когда признает сие нужным, Наши повеления и указания.

9. Независимо от сего предоставить Главному начальнику Верховной распорядительной комиссии делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми для охранения государственного порядка и общественного спокойствия как в Санкт-Петербурге, так и в других местностях Империи, причем от усмотрения его зависит определять меры взыскания за неисполнение или несоблюдение сих распоряжений и мер, а также порядок наложения сих взысканий.

10. Распоряжения Главного начальника Верховной распорядительной комиссии и принимаемые им меры должны подлежать безусловному выполнению всеми и каждым и могут быть отменены только им самим или особым Высочайшим повелением, и

11. С учреждением, в силу именного указа Нашего, Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, учрежденную таковым же указом от 5 апреля 1879 года должность временного Санкт-петербургского генерал-губернатора упразднить.

Правительствующий Сенат, к исполнению сего, не оставит сделать соответствующее распоряжение.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:

АЛЕКСАНДР.

В Санкт-Петербурге.  
12 февраля 1880 года».

Новый царский указ, писанный в строгих, безоговорочных тонах и, что на первый взгляд жутковато, предоставивший никому в столице толком не известному генералу фактически диктаторские права, никого успокоить не мог. Ни даже удивить. По городу все эти дни ходили слухи один мрачнее другого, будто бомбисты готовят хороший фейерверк предстоящему юбилею тирана на престоле, кто-то видел какие-то на сей счет грозные прокламации, а в иных домах боялись массовых поджогов и грабежей уличной толпы, науськанной революционерами. Люди предусмотрительные укладывали чемоданы и гадали, куда ехать: за границу дорого, а в деревне еще неизвестно, как тебя свои же крестьяне встретят...

А кто это такой граф Лорис-Меликов? Ну да, освободитель турецких армян, герой Карса. Да знаем мы этих освободителей. Вон Гурко Иосиф свет Владимирович на что герой — так под его же носом царский дворец подорвали. А что из Одессы про Тотлебена пишут — не надо нам таких освободителей! Чем еще этот Лорис-Меликов знаменит? Ветлянскую чуму победил? Да, говорят, она и без него утихла. Правда, деньги, на нее отпущенные, не себе хапнул, а в казну вернул. Может, при нем воровать меньше будут. Что еще — Харьков? Харьков далеко. Правда, оттуда никаких известий не слышно. После убийства князя Кропоткина вроде там все поутихло.

Но вот что удивительно. В том же «Правительственном вестнике», на той же странице, напечатан прелюбопытнейший документ новоназначенного сатрапа. Странно читать такое произведение человека, получившего неограниченную карательную власть не в одном только Петербурге, а на всем пространстве империи.

#### «К ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ

Ряд неслыханных злодейских попыток к потрясению общественного строя Государства и к покушению на Священную Особу Государя Императора в то время, когда все сословия готовятся торжествовать двадцатипятилетнее, плодотворное внутри и славное извне, царствование великодушнейшего из Монархов, вызвал не только негодование русского народа, но и отвращение всей Европы.



Правительство не раз уже обращалось к обществу с призывом сомкнуть свои силы в борьбе с преступными проявлениями, разрушающими основные начала гражданского порядка, без которого немыслимо развитие никакого благоустроенного государства. Ныне оно вынуждено прибегнуть к более решительным мерам, для подавления зла, принимающего опасные для общественного спокойствия размеры.

Державною волею Государя на меня выпала тяжкая задача стать во главе неизбежных мероприятий, вызываемых настоящим положением.

Уповаю на Всевышнего, твердо веруя в непоколебимость государственного строя России, неоднократно переживавшей еще более тяжкие години, убежденный продолжительным служением Царю и Отечеству в здравомыслии и нравственной крепости русского народа, я с благоговением принимаю этот новый знак Монаршего доверия к моим слабым силам.

Сознаю всю сложность предстоящей мне деятельности и не скрываю от себя лежащей на мне ответственности. Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, могу обещать лишь одно — приложить все старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни пред какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой — успокоить и оградить законные интересы благомыслящей его части.

Убежден, что встречу поддержку всех честных людей, преданных Государю и искренне любящих свою родину, подвергшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям. На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества.

В этом уповании прежде всего обращаюсь к жителям столицы, ближайшим свидетелям беспримерных злодеяний, с настоятельною просьбою спокойно и с достоинством отнестись к будущему и не смущаться злонамеренными или легкомысленными внушениями, толками и слухами.

В разумном и твердом отношении населения к настоящему тягостному положению вижу прочный залог успеха в достижении цели, равно для всех дорогой: восстановления потрясенного порядка и возвращения Отечества на путь дальнейшего

мирного преуспевания, указанного благими предначертаниями Августейшего его вождя.

Генерал-адъютант *М. Лорис-Меликов*.

14 февраля 1880 года.

Санкт-Петербург.

Указа, подобного учреждению Верховной распорядительной комиссии, ждали, и ждали не без трепета душевного. А ну придет какой помпадур и станет железной рукою порядок в империи учреждать. Но никто не ожидал от нового начальника столь душевного воззвания. Петербургская газета «Голос» так впрямую и высказалась: «Чем-то новым, успокоительным, для нас необычным веет от приведенных выше слов. Вместо «обязательного постановления» — вовсе уже необязательное для такой власти, как вверенная гр. Лорис-Меликову, воззвание «К жителям столицы». Скептические «Отечественные записки» Салтыкова-Щедрина и Елисеева с благосклонностью, весьма удивительной для этого журнала, отнеслись к первым шагам начальника комиссии. Кто-то из журналистов пустил в народ формулу «диктатура сердца и мысли». «Мысль» с этой формулой как-то не ужилась и пропала, забытая, — не любят на Руси умников. Но «диктатура сердца» осталась, хотя очень часто жила в опасном соседстве с иронией.

Губернаторы, которых Лорис-Меликов собрал на следующий день, отнеслись к этому обращению с большим недоверием. Они хорошо поняли начальника Верховной распорядительной комиссии, когда тот говорил о взаимодействии губернаторов и генерал-губернаторов с жандармским корпусом, но когда на вопрос, как нам теперь поступать, Лорис-Меликов посоветовал, что было бы лучше всего, если б в губернии о губернаторе много не говорили и как бы не замечали его присутствия, были страшно возмущены. Как это так, чтобы я, губернатор, был безвестен в собственном воеводстве!

Еще не родился, еще утробное заключение до 1 октября нынешнего 1880 года отбывает одесский мальчик, и папа его аптечный провизор Гликберг не ведает, что разродится его нежно любимая супруга поэтом Сашей Черным, который сформулирует давно существующее положение:

Губернатор едет к тете.  
Нежны кремовые брюки.  
Пристяжная на отлете  
Вытанцовывает шутики.

Это ж событие! Весь город трепетать должен, а нас призывают сидеть ниже травы. И это его обращение — либерализм какой-то!

Однако ж самыми пристрастными и внимательными читателями обращения Лорис-Меликова были нелегальные жители столицы — те самые злоумышленники, которые вот уж который год охотились за императором. Ни единому слову нового диктатора они, разумеется, не поверили. Слова же Лорис-Меликова о восстановлении потрясенного порядка вызвали приступ неудержимого хохота у Софьи Львовны. А расшевелить эту даму, дочь спесивого генерала Перовского, дело мудреное. Она и Щедрина читает без тени улыбки.

Все же на заседании Исполнительного комитета «Народной воли» решили не торопиться и отложить казнь тирана и его приспешников. Во-первых, полиция сейчас вся поднята на ноги, и любой поспешный шаг может просто-напросто провалить всю организацию. А во-вторых, надо посмотреть, что удумает этот начальник Верховной распорядительной комиссии. В Харькове он отменил смертную казнь трем революционерам, многие товарищи при его генерал-губернаторстве были выпущены из тюрьмы, хотя оставшимся в застенках пришлось покруче, чем раньше. Постановили, не предпринимая никаких активных действий, всячески разоблачать лживые посулы хитрого царедворца. «Лисий хвост и волчья пасть» — так о нем выразился Николай Михайловский на заседании и тут же занес в записную книжечку — не забыть, использовать в первой же по сему поводу статье.

На том было и разошлись, но неожиданно-негаданно явился недавно вступивший в «Народную волю» и дотоле выполнявший лишь единичные поручения партии Ипполит Млодецкий. Весь какой-то растерзанный, взъерошенный, шарф сбился на сторону, и конец его волочится по полу, пальто расстегнуто, глаза горят больным горячечным блеском.

— Откуда ты, друг мой? — вскинул удивленно брови Лев Тихомиров. Ему было известно, что Ипполита еще в начале января взяли в полицию и 12 числа выслали из Петербурга. Будущий редактор «Московских ведомостей» сам рекомендовал осенью Млодецкого в партию и чувствовал немалую ответственность перед товарищами. А вдруг провокатор?

На провокатора Ипполит никак не был похож — скорее, сумасшедший. Из путаных, бессвязных объяснений его осталось в памяти, что он целую неделю ночевал в Минске в по-

лицейском участке и украл там револьвер, что у него внезапно в Слуцке умер отец, а Ковенский губернатор, генерал Альбединский, дал Ипполиту денег на похороны и дорогу. И вот теперь настал час расплаты. Ипполит тряс перед товарищами мятым экземпляром «Правительственного вестника», выкрикивал:

— Знаю я эти неизбежные меры! Пусть прольется кровь сатрапа! Я сам...

Строгий голос Желябова осадил Млодецкого на полуслове:

— И не посмеете. Исполком партии решил на время воздержаться от применения террора. Извольте подчиняться.

— Ах так?! Я думал, я вступил в подлинно революционную партию. А тут, я вижу, трусы и обыватели! Мне не нужна такая партия! Буду действовать самостоятельно!

Ошеломив товарищей истошным криком, Ипполит исчез так же стремительно, как и появился.

Ипполит Млодецкий был из тех пылких умом и сообразительностью мальчиков, на которых с детства возлагаются большие надежды. Не только родной отец — весь многочисленный семейный клан любит умненьким ребенком и всю свою нищую жизнь кладет на то, чтоб из него вырос уважаемый в обществе человек — профессор умных наук, как выразился портной мастер дядя Шлема. В гимназии класса до пятого Ипполит, гордость целой улицы, был в первых учениках. А в шестом случилось то, что часто случается с юношами, избалованными всеобщими надеждами. Темперамент в развитии побежал впереди ума, и отрицание всего и вся, от Бога до гимназических учителей, — лакомая пища неоформившейся и чрезмерно уверовавшей в себя личности — взяло его в плен. Он даже в православную веру окрестился как бы в знак протеста и порвал со Слуцким еврейским мещанским обществом со скандалом. Гимназию он еле дотянул до аттестата, ринулся в Петербург, но на первом же экзамене в университет срезался и счел свою неудачу за происки реакционных профессоров.

Жить ему в Петербурге было решительно не на что, пока новый его знакомый Лев Тихомиров не пристроил давать уроки больному сыну художника Сверчкова в Царском Селе. Там он тоже рисовался умом и протестом, но художник был человек мудрый и только посмеивался. Николай Егорович недавно закончил небольшой этюд, которым очень гордился, но показывал редко. Ипполит едва ли бы увидел его, но как-то после урока, он еще не успел уйти в свою комнатку, приехал важный

господин, отставной министр финансов Рейтерн. Он уже где-то уловил слушок о сверчковском этюдики и вознамерился лицезреть.

На старого царского сановника Ипполит, которому не исполнилось и девятнадцати лет, смотрел с нескрываемым презрением. До того, что Рейтерн — уже отставной сановник и если не в опале, так уж в немилости царской точно, ему дела не было. Все хороши, раз служили тирану.

Впрочем, Рейтерн решительно никакого внимания на позу домашнего учителя не обратил. Его увлекла мысль, — прочитанная с этюда. А уж как забила живая мысль, нужна аудитория, все равно какая.

— Вот видите, молодой человек, — заговорил министр, молодого человека как бы и не видя, — в этой картине — судьба всей России. Тройка мчится во весь опор, ямщик, как водится, пьян, а мост, через который она несется, прогнил на середине — и вот-вот гибель всем: и тройке, и седокам. Но посмотрите на коренника — он увидел беду и упирается всеми силами, невольно и пристяжные берут в сторону... И проскочили! Проскочили! Я так после третьего штурма Плевны переживал — всё, думаю, сгубила нас эта проклятая война, — так проскочили же!

На что молодой человек процедил сквозь зубы:

— Посмотрим-посмотрим...

Под Новый год ученик Ипполита умер, и Млодецкий скитался по ночлежкам, не имея никакого заработка. Революционеры подкармливали его, благо за дело — распространение прокламаций — он взялся охотно и проявил немало в этом отваги и дерзости. Слава Богу, взяли его без листовок, которые он только что расклеил все до последней на Петербургской стороне, и все обошлось одною лишь высылкой в Минск.

## НОЧНОЙ ГОСТЬ

Казнь презренному царскому прислужнику Ипполит Млодецкий назначил на 19 февраля. «Я им покажу юбилей великодушнейшего царствования!» — и мысль эта согревала простуженного на оттепельных петербургских ветрах героя-одиночку. Но не учел Ипполит, что в праздник полиция работала особо рьяно, а «сатрап» весь день был неотлучно при особе монарха. К себе на Морскую Лорис-Меликов вернулся далеко за полночь, когда стороживший на своем посту Млодецкий

закоченел и подворотню, откуда все прекрасно просматривалось и простреливалось, пришлось покинуть.

Решительная минута, к которой готовишься, кажется, всю девятнадцатилетнюю жизнь, настигает врасплох и застает вовсе неготовым.

Назавтра Млодецкий явился к предназначенному месту казни ненавистного сатрапа в два часа дня. Он еще осматривался, думал, где удобнее укрыться, как вдруг подъехали сани, из них вышел бравый генерал и бодрым, решительным шагом направился к подъезду. Тут уж не до раздумий. Ипполит одним скачком настиг диктатора и выстрелил из пистолета. Прямо в грудь. Как ему показалось.

Но генерал почему-то не упал, смертельно раненный, а отвесил убийце своему оплеуху, и тот отлетел прямо в охапку подбежавшему конвойному казаку. Тут же и другие казаки помогли товарищу, скрутили Ипполита, повязали и сдали полицейским, которые увезли молодого злодея прямо в Петропавловскую крепость.

Лорис-Меликов, желавший только отдохнуть после долгого и скучного заседания у Валуева, вчера пожалованного графским достоинством и оттого особенно важного и до смешного спесивого, вынужден был переменить планы. Он поцеловал Нину Ивановну, дочерям, Маше и Сонечке, велел ехать в церковь и поставить свечку за свое чудесное спасение и, не переодеваясь, в простреленной шинели, направился во дворец самолучно доложить императору о происшествии, пока оно не обросло несусветными легендами.

Дорогой он вспоминал этот курьез — иначе бывалый кавказец и не воспринимал покушение на свою особу — и дивился собственной быстрой реакции. Револьвер-то и впрямь был наставлен в грудь, а быстрым движением своим генерал сбил преступника с цели. Да какой он преступник? Уж больно глаза у него какие-то нездоровые. Просто неврастеник.

Во дворце уже все знали, и легенды сплелись. Уже какая-то из придворных дам «своими глазами» видела Михаила Тариевича расprostертым в луже крови. А Лорис-Меликов был бодр, весел и тонко ироничен.

Царь такого настроения не разделял. Был он взволнован и — вот странность! — не скрывал того, что напуган. А ведь когда громыхнуло в его собственной столовой, Александр Николаевич казался единственным во дворце, не потерявшим присутствия духа. Когда остались наедине, Лорис-Меликов с той

же насмешкою над случившимся высказался в том смысле, что раз покушение не удалось, преступника — человека явно нездорового — следует сослать лет на двадцать в Якутию. Да и двадцати, пожалуй, многовато.

Император не принял легкого тона:

— Только смертная казнь негодяю!

Вот тебе и «великодушнейший из монархов»! Лорис-Меликов попробовал дать понять, что как начальник Верховной распорядительной комиссии он ответствен за общественное спокойствие и состояние умов верноподданных и начинать свою столь заметную деятельность с казни ему бы не хотелось. Сила государства не в возмездии, а, напротив того, в великодушии. К тому же мечта таких мальчишек — красиво, с пышным лозунгом на устах умереть, нельзя доставлять им такого удовольствия. Нет, царь остался непреклонен.

Люди, некрепкие духом и волею, отдав власть в чужие руки, в какой-то момент как бы встают на последний рубеж и приходят в упрямое ожесточение. И тут их ничем не собьешь. Это еще Алексей Толстой в «Царе Федоре» весьма тонко подметил. «Я царь или не царь!» — был у него такой монолог. И даже Годунов мигом отступил.

Попытки вернуться к этой теме на следующий день успеха не имели. Военный суд, скорый и правый, приговорил Ипполита Млодецкого к смертной казни. Да еще и публичной, на Семеновском плацу. Александр II подтвердил приговор вечером того же дня.

С тяжелым сердцем Лорис-Меликов вернулся домой. Как назло, графа одолела бессонница, мрачные мысли навалились: по силам ли гуж, за который схватился в ажиотаже, все государство, гнилое и нищее, великое и бессильное, теперь живет смутными надеждами и ожиданиями и смотрит на него одного. Не на царя, не на Комитет министров или Правительствующий Сенат, а вот именно на него, стареющего генерала со слабыми легкими, мужа этой доброй женщины — Нины Ивановны, отца пятерых детей. Надо о них думать, об их будущем, а я схватился империей управлять...

Где-то под утро, когда предрассветный полумрак обозначил предметы в комнате, он стал вроде забываться, но раздался громкий неистовый стук у парадной двери, голоса. Генерал встряхнул дрему, поднялся.

— Пустите! Пустите меня к его сиятельству! Срочно! Неотложное дело! Жизнь решается! Или смерть!

Внизу какой-то сумасброд то кричал на швейцара, то рыдал натуральными слезами и умолял неприступного стража пустить его к графу.

— Не положено. Его сиятельство почивают, — твердил швейцар и наступал на ночного внезапного гостя. Но тот вцепился в ручку двери, и надо было звать слуг на помощь, чтобы хоть оторвали безумца и вытолкали, наконец, на улицу.

Михаил Тариелович вышел на лестницу.

Увидев его, посетитель оттолкнул швейцара и в мгновение ока оказался на площадке бельэтажа. От него разило водкой, но волнение было столь велико, что водка — это видно было по всему — не взяла.

— Да успокойтесь вы, наконец. Представьтесь хотя бы.

— Я Гаршин. Писатель.

— Всеволод Гаршин? «Четыре дня»?

— Да, это я написал «Четыре дня». А вы откуда знаете? Впрочем, простите, нелепый вопрос. Я к вам по срочному делу, граф. Завтра предстоит казнь молодого человека. Я его не знаю, ни разу не видел, но умоляю вас, граф, спасите его! От вас одного зависит, казнить или помиловать, я слышал, вы добрый, вы достойный человек — умоляю, спасите этого юношу!

— Да, да, только потише, вы детей разбудите. Пойдемте ко мне в кабинет.

Знаменитый писатель оказался молодым человеком лет двадцати пяти. Был он явно нездоров, будто в какой-то нервной лихорадке. Совсем не похожий, напомнил он генералу вольноопределяющегося Грушина под Аладжей. Генерал только потом понял причину: читая «Четыре дня», а потом и совсем не военных «Художников», он явственно слышал голос Грушина. Опять же созвучие фамилий пугало одного с другим. Нет, все-таки в интонациях что-то общее есть. Определенно есть.

Оказавшись в кабинете, Гаршин сбавил тон, но не сбавил волнения, оно трепетало в каждом слове. Он вынул письмо, написанное пером стремительным и опрометчивым, свидетельством чему были не только прорывы бумаги и кляксы, но изобилие слов, жирно и нервно подчеркнутых. В письме было почти то же, что и в отрывистой, сбивчивой речи ночного гостя. Те же аргументы — Лорис прекрасно знал их, только вчера все до единого изложил царю. Вот разве что это: «Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, — положите начало казни *идеи*, его пославшей на смерть и убий-

ство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер...» Казнь идеи — гениальная мысль.

Но как мучительно ее слышать сейчас, в эту минуту, когда казнь Млодецкого уже предрешена, ее не отменишь, и эту замечательную мысль Гаршина Александру не внушишь — не в том он нынче настроен, не поймет, не услышит, а тут еще надо как-то оградить царя, его честь. Мало ли что он наговорит своим друзьям, выйдя от меня. И опять покатится по всему Петербургу об императоре — тиран, деспот...

— Всеволод Михайлович, дорогой вы мой, вы преувеличиваете мои возможности. Я не могу, не имею полномочий вмешиваться в решение военного суда.

— Но вы можете прийти к царю. Покажите ему мое письмо. Уговорите его. Не убивайте человеческую жизнь! И царю не дозволяйте!

— Как я могу не позволить царю?

Насмешку он, что ли, услышал в этом вопросе, но взгляды Гаршина стал безумен, он осмотрел свои руки, выставил пальцы вперед и, как-то недобро усмехнувшись, быстро-быстро заговорил:

— Граф, а что вы скажете, если я брошусь на вас и оцарапаю. У меня под каждым ногтем пузырек смертельного яда. Малейший укол — и вы мертвы.

Смешно, конечно, но и жалко, хоть плачь. Болезнь. Это болезнь! Чем ее перебьешь? А вот. Генерал выпрямился и на миг показался будто не в теплом стеганом халате, а при полном мундире.

— Гаршин, вы были солдатом, а я и теперь, по воле государя нашего, солдат на посту. Как же вам пришлось в голову пугать меня смертью? Сколько раз мы смотрели ей в глаза. Я помню, я читал. Вы тоже не боялись ее. Неужели вы можете думать, что и я испугаюсь?

Гаршин пристыдился, слова генерала смутили его. Но Лорис-Меликов сменил тон: теперь надо увещевать, обещать, успокаивать. Он заверил писателя, что попробует еще раз поговорить с царем, может, и письмо гаршинское покажет...

Гаршин ушел умиротворенный.

А царь и утром был непреклонен, он так и не подписал помилования молодому преступнику. В 11 часов утра на Семеновском плацу Млодецкий, как и предсказывал Лорис-Ме-

ликов, принял смерть в самой героической форме. Оттолкнул священника с крестом для последнего целования, выкрикнул в толпу что-то вдохновенное и смазал пугающее народ впечатление казни. Лишь два человека в огромной многотысячной толпе чувствовали ту глубокую и острую боль, которой Бог не удостоил даже самого казненного. Это были Всеволод Гаршин и Федор Михайлович Достоевский.

Достоевский во все глаза смотрел на приговоренного, пытаясь понять, что чувствует этот человек в свой последний миг. Ипполит казался спокоен и к смерти как будто безразличен. Смерть на миру красна, и поведение его мало отличалось от поведения петрашевцев в 1849 году. Вот ведь совпадение — Федор-то Михайлович тоже стоял на том же самом месте именно 22 числа, только был не февраль, а декабрь, и так же легкий морозец пощипывал щеки, и день был ясный. И сейчас, подвластный магии чисел, Достоевский ждал, что вот-вот примчится к виселице фельдъегерь и объявит монаршью добрую волю. И толпа, с довольно злорадным, судя по репликам, любопытством ожидающая казни злодею, тут же проникнется умилением, может, кто и заплачет...

Не дождался.

Генерал-адъютант Дрентельн, проворонивший Млодецкого, всею мощью вверенного ему III Отделения навалился на несчастного Всеволода Гаршина. Стали выяснять его политические пристрастия, связи с заговорщиками, установили слежку... 25 февраля Гаршин отправил Лорис-Меликову весьма едкое послание с благодарностью за заботы о себе, которое чрезвычайно расстроило Михаила Тариеловича и ускорило развязку для шефа жандармов.

Отныне у Лорис-Меликова имя Гаршина, встреченное на страницах газет или журналов, вызывало жгучий стыд, но неотвратимо влекло к себе, и, одолевая жжение, казня себя тайным позором, он вчитывался в каждый гаршинский рассказ, мучаясь им до последней строки. В марте 1888 года, прочитав некролог о страшной гибели этого человека, он чувствовал и свою в том вину. Ведь первый-то приступ смертельной душевной болезни был в ту ночь. А признав свое бессилие, он только усугубил психоз несчастного писателя.

Был в этой истории еще один урок для начальника Верховной распорядительной комиссии. Больной Гаршин осмелился высказать ему то, что в России чувствовали многие, но помалкивали. Все эти соловьевы и млодецкие бегали с пис-

толетами очертя пустые свои головы, а общественное мнение было не за царя, не за правительство, а за них. И что нужно делать, чтобы общественное мнение переломить в противоположную сторону? Вот вопрос. Дня через три после казни Млодецкого у Лорис-Меликова был редактор «Нового времени» Суворин. Покушение на Лориса еще не сошло с уст, и в конце разговора Алексей Сергеевич рассказал, как аккуратно 20 февраля, может быть, даже в тот самый час, когда Млодецкий подстерег Михаила Тариеловича со своим револьвером, был он в гостях у Достоевского.

Федор Михайлович был красен лицом, дышал тяжело, как бы через силу. Он только-только пришел в себя после припадка.

— Подумать только, в какое время мы живем, — сказал он Суворину. — Я все думаю о том взрыве в Зимнем дворце. Вот представьте себе, Алексей Сергеевич, вы где-нибудь на Невском остановились у витрины, а там стоят два господина, о чем-то тихо беседуют, а потом не выдерживают напора чувств и с полупшепота переходят на речь громкую, такую, что вам слышно. И вы вдруг узнаете, что эти господа — заговорщики и один другому рассказывает, как он заложил мину в Зимнем дворце. Так вот, Алексей Сергеевич, вы, услышав такое, побежите в полицейский участок доносить на этих господ?

— Н-нет, пожалуй...

— Вот и я не побегу. И в этом-то наше несчастье и есть. Мы боимся прослыть доносчиками. Это страшнее, чем предотвратить преступление, гибель людей. Мы боимся друг друга, боимся общественного мнения и сами потворствуем убийцам. А потому лжем, прячем глаза... Страшно, страшно, Алексей Сергеевич! В проклятое время мы живем.

Выслушав этот рассказ, Лорис-Меликов не нашелся с ответом, но потом много раз возвращался к нему мыслью своей. Он вдруг понял, что и сам — полный генерал, георгиевский кавалер, слуга престола и отечества — во всяком случае до назначения в Харьков уж точно — не донес бы, случись и ему подслушать заговорщиков на Невском. Да так оно и было. Не сдал же тогда полиции беглого ссыльного народовольца Залепухина. Не донес, ибо это *непорядочно*. Честные, порядочные люди так не поступают. Вот уж действительно проклятое время — все понятия извращены. Снять проклятье со времени своего — вот задача и его, и, может быть, самого императора. Достанет ли сил?

Разгневанный вмешательством жандармов в судьбу Гаршина, Лорис-Меликов поторопился с всеподданнейшим докладом о немедленном объединении под началом Верховной распорядительной комиссии всех властей, включая и тайную полицию, ибо разрозненные действия правительственных органов правопорядка являются главной причиной постоянных неудач власти в борьбе с революционным движением. 26 февраля доклад был всемилостивейше одобрен, а уже в Касьянов день Дрентельн был уволен со своего поста. Нельзя сказать, что тайной полиции с отстранением Дрентельна так уж повезло. Введать ею поручили, по настоянию наследника, свиты генерал-майору Черевину, «известному своей склонностью к веселой жизни», как выразился о нем Милютин. До того Петр Александрович возглавлял Собственный Его Императорского Величества конвой — и должность эта была пределом его умственных возможностей. Вместо того чтобы искать шуровавших прямо под его носом в самом Санкт-Петербурге членов Исполнительного комитета «Народной воли», уже 6 апреля 1880 года новый жандармский командир разослал по губерниям секретный циркуляр, во исполнение которого все силы жандармского корпуса в столице и на местах бросались на борьбу с происками «всемирного еврейского Кагала». Тут уж не до русского крестьянина родом Андрея Желябова и тем более — генеральской дочки Софьи Перовской.

Наследник же настоял и на устройстве в III Отделение полковника Николая Баранова. Полковником Баранов стал совсем недавно. До того он был капитаном 1-го ранга, и во время войны во всех газетах расписывали подвиг командира пароходов «Веста» и «Россия», за каковые он стал кавалером «Георгия» 4-й степени. Но в июле 1878 года капитан-лейтенант Рождественский, старший офицер тех же пароходов, разоблачил хвастливые реляции своего начальника. Начались судебные разбирательства, доказавшие, что Рождественский был прав, и Баранову пришлось оставить морскую службу. Но без поддержки он не остался. Этот капитан сумел войти в особое доверие к Победоносцеву, а через него и к цесаревичу, пользуясь большим расположением одного к дяде своему — командующему русским флотом генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу.

В деле Баранов оказался человеком пустейшим. Он затеял организовать в Париже жандармскую агентурную сеть для революционеров-эмигрантов, для чего выехал в командировку в Париж. Никаких успехов не достиг, и, когда вернулся, Лорис-Меликов рад был сбавить его на освободившееся место Ковенского губернатора с повышением, естественно, в звании.

С первых же дней своей диктатуры Лорис-Меликову пришлось пережить глубочайшее разочарование. Памятуя об искренних и блистательно-умных письмах Валуева, он ожидал поддержки в первую очередь от Петра Александровича. Не тут-то было. При ближайшем рассмотрении Валуев оказался и мельче, и эгоистичнее, скорее — эгоцентричнее. Председатель Комитета министров был непомерно влюблен в самого себя, людей умных, энергичных и самостоятельных побаивался и потому опекал мелких льстецов и безоговорочных, бездумных исполнителей вроде Макова. Он и вообразить не мог вблизи от императора человека хотя бы равного самому себе и, едва таковой появлялся, затаивал к нему глубочайшую ненависть.

Должность Валуева только называлась почетною. Предшественник его, покойный граф Павел Николаевич Игнатьев, и не стремился распространять свое влияние на империю и был доволен своей малой, сугубо технической ролью в правительстве. Петр же Александрович справедливо полагал, что не место красит человека и что он-то как раз и заслужил власть и положение настоящего премьер-министра. Пожалование в графское достоинство Валуев счел достаточным залогом к достижению своей цели.

Явился Лорис-Меликов и спутал все карты.

Составляя указ, Валуев предполагал, что Верховная комиссия так и останется по смыслу своему «следственной», по определению наследника накануне учреждения. Он попытался ограничить власть ее председателя исключительно полицейским кругом обязанностей. Но не место ведь красит человека. Лорис-Меликов, который вполне устраивал Валуева в качестве умнейшего из губернаторов, вовсе не укладывался в столичные расчеты Петра Александровича. Он весьма широко понял свои обязанности (о чем, кстати, Валуев мог догадаться сам из отчета Харьковского генерал-губернатора) и действовал, исходя из своего понимания. Делами сугубо полицейскими, борьбой с крамолой Лорис-Меликов занимался «постольку поскольку», он ясно сознавал, что социалистов репрессиями

не задушишь — они все, как один, романтики и ради красного словца, кинутого в народ с помоста палача, жизнь отдадут не глядя. Надо, считал Лорис, выбивать из-под них почву, то есть установить причины, почему освобожденный крестьянин нищает, куда, в какую сторону дальше двигать реформы... Петр Александрович и ахнуть не успел, а первым министром в государстве стал Михаил Тариелович. И уже с конца февраля ни единого доброго слова в дневнике Валуева в адрес «ближнего боярина» не найдется.

Граф Дмитрий Андреевич Толстой, министр народного просвещения и обер-прокурор Священного Синода, и не скрывал своего недовольства возвышением Лорис-Меликова. Диктатор сердца отвечал ему тем же и с первых дней начал вести борьбу за смещение Толстого с его постов. Нельзя было и думать о привлечении на свою сторону общественного мнения, пока столь важную в государстве должность занимает человек, с именем которого связано удушение реформ 60-х годов. Как ни странно, наследник поддался уговорам и легко согласился с невозможностью терпеть графа Толстого в правительстве, тем более что для учителя его Константина Петровича Победоносцева открывалось давно им лелеемое поле деятельности в Синоде, где он намеревался навести, наконец, должный порядок. Но император долго не поддавался уговорам — он привык полагаться на Дмитрия Андреевича, а отказываться от давних своих привычек не любил. Все же вдвоем с цесаревичем к Пасхе они одолели всесильного Толстого. И в Петербурге остроумцы христосовались в Светлое Воскресенье со словами:

— Толстой смещен!

— Воистину смещен!

Встал вопрос о замене. Тут-то и сказалось одиночество Лорис-Меликова в Петербурге. У него не было своей кандидатуры на пост министра, народного просвещения. Император сам предложил ему на выбор двух лиц — товарища министра директора Публичной библиотеки Ивана Давидовича Делянова и попечителя Дерптского учебного округа Андрея Александровича Сабурова.

— Ваше величество, — сказал тогда Лорис-Меликов, — я очень чту заслуги Ивана Давидовича, но не обвинят ли нас потом в армянском засилии?

— Да, пожалуй, ты прав. Пусть будет Сабуров.

Сабурова Лорис-Меликов не знал вовсе. Зато слишком хорошо знал Делянова. В Лазаревском институте отличника и



ученика беспримерно примерного поведения ставил в укор шалунам долгие годы после того, как Ванечки и след простыл в Армянском переулке. В министерстве Толстого он занимал крайне радикальные правые позиции и был, пожалуй, реакционнее самого министра. Много позже при одном лишь упоминании Лорис-Меликова этот его соплеменник будет вскипать гневом и вскрикивать: «Лорис, этот лукавый армяшка!»

Сабуров оказался человеком очень неглупым, добрым, мягким, даже излишне мягким. Он все правильно понимал, и беседы с ним с глазу на глаз доставляли немало удовольствия. Увы, этого мало для члена правительства Российской империи. Своей программы преобразования системы народного просвещения у него не было, должность министра свалилась на него с небес совершенно неожиданно — он решительно не был готов к такому испытанию.

Впрочем, больше, чем на министров, Лорис-Меликов полагался на общественное мнение. Его он считал основным двигателем внутренней политики. И внешней тоже. В войну с турками Россию ввергли московские газеты, Катков с Аксаковым. Катков и ныне пользовался громадным влиянием, особенно в Аничковом дворце. И, как писали авторы адреса от московского земства, у нас лишь две крайности пользуются свободой слова — «Московские ведомости» и подпольные издания «Народной воли». Едва успев уволить графа Толстого, Лорис-Меликов сменил начальника Главного управления печати и добился назначения на этот пост губернатора Рязани Николая Саввича Абазу, племянника старого своего друга Александра Аггеевича. Очень скоро редакторы газет и журналов почувствовали на себе столь важную перемену: дышать стало легче.

В один прекрасный майский день Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин получил приглашение отобедать у его сиятельства графа Лорис-Меликова. Писатель был немало озадачен таким поворотом, но причин отказаться от такой чести не видел, да и любопытно.

Хозяин волновался, кажется, больше, чем гость. В общении с Щедриным это и немудрено. Он умел напускать на себя вид настолько суровый и неприступный, молчать столь тягостно, что перед ним стушевывались самые значительные особы. Да что особы! Властитель дум вольный поэт Семен Надсон, встретившись однажды на курорте с Щедриным, почувствовал себя рядом с великим сатириком каким-то жалким коллежским ре-

гистратором, станционным смотрителем, впопыхах подавшим холодные щи проезжему генералу. И в письмах общим друзьям все беспокоился, а не гневается ли на меня по-прежнему Михаил Евграфович. Хотя Михаил Евграфович при той встрече всего-навсего хранил величавое молчание.

Михаил Тариелович в отношениях с сановными лицами был тертый калач еще смолоду. Поди выдержи сдержанный гнев князя Воронцова! Да и Барятинский мог так посмотреть, что у старого, заслуженного воина душа в пятки уйдет. А тут и он как-то подстушеввался. Он, конечно, сказал, что является давним поклонником таланта Михаила Евграфовича и рад был бы заслужить уважение столь значительного русского писателя.

«Манилов! Вылитый Манилов! — вынес приговор сатирик. — Эк сколько патоки! Сейчас начнет о свободах распространяться. Знаем мы эти свободы из рук приближенных к священной особе». Вслух же, естественно, ничего не сказал, кроме угрюмой любезности.

Но Михаил Тариелович не стал распространяться о свободах. О делах он вообще решил пока не говорить, и был прав. Оба они вошли в тот возраст, когда, независимо от чинов и славы, донимают разного рода недомогания, а черные круги под глазами у гостя не оставляли никаких сомнений в том, что «сердце» певцу народного гнева ближе в прямом, нежели переносном смысле.

Во всяком случае, когда, расспросив Салтыкова о житье-бытье в вятской ссылке, Лорис-Меликов шутя поинтересовался, что б стало с ним, если б вдруг снова Михаила Евграфовича сослали, тот отвечал:

— В тысяча восемьсот сорок восьмом году, ваше сиятельство, мое тело было доставлено в Вятку в целости, ну, а теперь, пожалуй, привезут лишь разрозненные части ононого. А впрочем, я и теперь готов к подобному повороту. Вот только бы члены в дороге не растерять.

— На этот счет не беспокойтесь. Пока я здесь, с вами ничего не случится.

И как-то с недомоганий разговор плавно перетек к тем временам, когда они не донимали настолько, чтоб думать о них. Михаил Тариелович стал рассказывать о Крымской войне, о недавно минувшей и больше о солдатах, нежели о полководцах. И через полчаса разговора скепсис гостя куда-то улетучился. Ему было интересно знать, как на глазах у генерала переменялась армия после милютинских реформ. Помолодела

и стала ближе к земле. В николаевские времена рекрута отрывали от нее навсегда. А это заметно сказывалось на духе русских войск. Оставаясь храбрыми, солдаты теперь не гибли по-пустому. Соответственно, и офицеры имели теперь дело не с пушечным мясом, а с людьми, которых надо беречь — их дома ждут.

В разговоре скепсис Щедрина рассеялся сам собою, он и не заметил, как отменил свой приговор. Нет, не Манилов! Он знает солдата, а значит, знает и народ.

Михаил Евграфович, сам действительный статский советник, бывший вице-губернатор и калач в общении с важными лицами тертый, впервые в жизни проникся искренним уважением к высшему государственному чиновнику.

Уже через месяц он писал А. Н. Островскому: «По цензуре стало теперь легче, да и вообще полегчало. Лорис-Меликов показал мудрость истинного змия библейского: представьте себе, ничего об нем не слышать, и мы начинаем даже мнить себя в безопасности. Тогда как в прошлом году без ужаса нельзя было подумать о наступлении ночи».

Хоть и сказано было в четвертом пункте указа об учреждении Верховной распорядительной комиссии, что члены ее назначаются императором по личному усмотрению начальника, в выборе лиц для этой работы Лорис-Меликов был несвободен. Перед всеми русскими временщиками, внезапно царской волею выдернутыми на самую вершину власти, у Лорис-Меликова было то преимущество, что он решительно ничем не был связан со столичной бюрократией, способной тонкими ниточками мелких интриг, собственных, отнюдь не государственных интересов, запутать любое здоровое дело. Но и опереться ему было не на кого. Не из Терской же области титулярных советников призывать! И Харьков был пуст. Не нашлось там человека с достаточно широким кругозором. В Петербург он привез оттуда одного лишь чиновника по особым поручениям, верного своего спутника с ветлянской чумы Скальковского.

По настоянию цесаревича в состав Верховной распорядительной комиссии вошли Черевин и Константин Петрович Победоносцев — один из умнейших и учейших людей того времени. Но странный был ум этого человека. Революционный. Разрушительный. В любой предполагавшейся мере он мгновенно проникал оборотную сторону и тут же предрекал от нее неизбежную гибель несчастной России; он не признавал никакого ни общественного, ни правительственного движения.

По его, Россию надо бы крепко подморозить, чтоб ледяные ветры репрессий выдули всякую либеральную дурь из русских голов. Он был учителем наследника престола, и тот еще с малолетства привык верить каждому его слову. Собственно, и учреждение комиссии произошло не без участия Победоносцева, что и было отмечено в дневнике догадливым Милютиним еще 10 февраля:

«Гр. Лорис-Меликов понял свою новую роль не в значении председателя следственной комиссии, а в смысле диктатора, которому как бы подчиняются все власти, все министры. Оказывается, что в таком именно смысле проповедовали «Московские ведомости» несколько дней тому назад; а известно, что «Московские ведомости» имеют влияние в Аничковом дворце и что многие из передовых статей московской газеты доставляются Победоносцевым — нимфой Эгерией Аничкова дворца. Вот и ключ загадки.

Лорис-Меликов, как человек умный и гибкий, знающий, в каком смысле с кем говорить, выражался с негодованием о разных крутых, драконовских мерах, которые уже навязывают ему с разных сторон. Думаю, что он и в самом деле не будет прибегать к подобным мерам, обличающим только тех, которые испугались и потеряли голову».

Нетрудно догадаться, что на драконовских мерах и настаивали Катков, редактор «Московских ведомостей», Победоносцев, Черевин и, разумеется, сам великий князь Александр Александрович. В таком направлении мыслил и отряженный в Комиссию Маковым его управляющий канцелярией Перфильев. У председателя же Комиссии были совершенно иные виды. В первую очередь он поставил задачу пересмотреть все дела по политическим преступлениям, в изобилии образовавшиеся в результате применения чрезвычайных законов 1878 и 1879 годов. Проверить списки приговоренных к высылке из столицы и других крупных городов европейской части России. Харьковский опыт подсказывал, что по меньшей мере две трети содержатся в тюрьмах и отправлены в ссылку напрасно.

Впрочем, с Константином Петровичем Лорис-Меликов держал себя крайне осмотрительно, и первые месяцы удавалось даже оставаться с ним весьма в хороших отношениях. Но Комиссия, составленная наспех из людей, разнонаправленных по образу мыслей, была обречена на такие же пустые и ни к чему не приводящие заседания, как в прошлом году Особое совещание Валуева. Она и собралась всего четыре раза и не

приняла никаких окончательных решений, одобрив лишь повседневную работу своих членов.

Повседневная работа Верховной распорядительной комиссии завершилась тем, что из тюрем и ссылок были освобождены сотни людей. Когда стали проверять списки лиц, предназначенных к немедленной ссылке, за головы хватились. Списков было три, и все они друг с другом не совпадали. Против иных фамилий из списка столичного градоначальника Зурова начальник жандармского управления оставил отметку: «Вполне добросовестный подданный». Зуров ставил точно такие же отметки в жандармских проскрипциях. Генерал Гурко имел свой список неблагонадежных, решительно не сходящийся с реестрами Зурова и Дрентельна, хотя у Зурова встречались такие ремарки: «В особое одолжение губернатору».

Гроза всей Российской империи, оплот самодержавия, III Отделение собственной его императорского величества Канцелярии, когда работу его стал ревизовать член Верховной распорядительной комиссии сенатор Шамшин, явило собою полную мерзость запустения. Дела терялись и обнаруживались в самых неожиданных местах — то завалившиеся за шкафом, то дома у какого-нибудь усердно-забывчивого столоначальника. Старый чиновник, Иван Иванович диву дался, как легко у нас можно схлопотать административную ссылку. Достаточно вызвать подозрение у дворника собственного дома или какого-нибудь злобного полицейского писаря. На основании безграмотных доносов ломалась судьба.

«Жилец Петр Трофимов, — читал Иван Иванович одно из таких дворничьих донесений, — ведет себя подозрительно. К нему сходятся всякие личности, а спрашивают то студента Трофимова, то часовщика, а то токаря. Водку не пьет даже по праздникам. Читает книжки».

Подозрительный Трофимов вот уже три недели содержался в участке. Шамшин приказал немедленно провести дознание. Оказалось, что подозрительный студент Петр Трофимов по недостатку средств занимается починкой часов, а также работает на токарном станке. Книги же, изъятые при обыске, представляли собою лишь учебники и популярные брошюры по ремеслу.

Шамшину пришлось вызывать из вилкойской ссылки чиновника Александра Иванова, отправленного туда вместо пропагандиста Иванова же, но Аркадия. Тогда как Аркадий, воспользовавшись жандармской оплошностью, исчез и пописы-

вает статейки в революционной газете «Общее дело», издающейся в Женеве. Наверное, и живет теперь в тех благословенных краях. Вместо некоего Власова в костромскую глушь загнали Власьева. Но и Власова, как понял, вникнув в дело, Иван Иванович, не за что было подвергать административной ссылке. Розыски Ивана Ивановича повергли жандармских чиновников в немалое смущение и неудовольствие. «Органы не ошибаются». На Руси эта истина верна еще со времен тайных и разбойных приказов. И очень не любят, когда люди, к сыску не причастные, суют нос в их дела. Но тут уж против Лориса не попрешь.

Зато в чем обнаружил Шамшин идеальный порядок, так это в слежке за высшими государственными чиновниками. Тут и агентура щедро оплачивалась, и всякое лыко прилежно вписывалось в строку. Только оброни словечко — а оно вот где, поймано и записано в досье вашего высокопревосходительства. В своих еженедельных докладах императору шеф жандармов пересказывал все сведения о каждом министре, гофмейстере двора, губернаторе — любом сколько-нибудь значимом лице империи: кто нынче его любовница, какой анекдотец господин тайный советник рассказал на званом ужине у Валуевых, в какую смешную историю влип директор департамента, явившись к министру: стал подавать бумаги на подпись, а у него пуговка оторвалась, и несчастный не нашел ничего лучшего, как попытаться ее поймать... Любил царь-батюшка такие истории.

Но Лорис-Меликова эта сторона жандармского усердия вывела из себя. Он, конечно, подозревал, что жизнь российских генералов этому ведомству интереснее, чем поиски неуловимых революционеров, за годы гонений прекрасно обучившихся искусству конспирации, но ему и в голову не приходило, что сыск собственно в правительственных кругах поставлен на такую широкую ногу и не даст никаких сбоев: имена агентов неизвестны даже самому шефу жандармов, а оплачиваются их услуги куда как выше несчастного филера, приставленного к подозреваемому в терроризме. Так ловко поставил дело в свое время еще граф Петр Шувалов.

Доклад сенатора Шамшина об итогах ревизии III Отделения был готов к исходу июля. К этому времени Верховная распорядительная комиссия, по мнению ее начальника, уже исчерпала себя. Позиции самого Лорис-Меликова за минувшие месяцы достаточно окрепли — император доверял ему больше, чем когда-то любимейшему другу своему, покойному Якову Ивановичу Ростовцову, с которым в свое время провел Кре-

стьянскую реформу, о чем сам говаривал ему неоднократно. Пришла пора действовать широко. И быстро. Как ни велика твоя власть, но ты временщик. Выскочит из-за угла какой-нибудь дурак с пистолетом — вот и все!

Пришла пора претворять в жизнь мечтательные разговоры о парламентаризме в России, которым когда-то давно, еще до войны, предавался в Эмсе с Кошелевым и Погодиным. Ни о какой конституции император, конечно, и слышать не хотел. Еще меньше слушать разговоры о малейшем послаблении в этом вопросе был намерен его высочество наследник. Результаты январских совещаний в Мраморном дворце были Лорису хорошо известны. И тут уж никого не переломишь. Но если действовать осторожно, вкрадчиво, кое-чего добиться можно.

Когда русский император Александр Николаевич был наследником, он мало чем отличался от обыкновенного гвардейского офицера, правда, блестящего: хорошо образованного и прекрасно вымуштрованного. Красавец, дамский угодник, в меру — насколько это было возможно при строгом его папе — шалопай. Образование он получил и впрямь великолепное: при таких учителях, как Василий Андреевич Жуковский и Карл Карлович Мердер, это и немудрено. Правда, от отца и дяди Михаила Павловича унаследовал он любовь к военным развлечениям — смотрам, парадам, разводам караула и прочим радостям, трудно совместимым с истинным просвещением. Но в этом виделся — и не только ему — блеск императорской власти, и люди, отдаленные от престола, иначе, как на боевом коне перед марширующими войсками, русского царя и не представляли. Таким и запомнил его Лорис-Меликов еще со времен Школы гвардейских юнкеров, таким и наблюдал его в тот приезд на Кавказ, когда наследник устремился в погоню за чеченцами. Тогда трудно было угадать в нем реформатора — освободителя крестьян и преобразователя судебной системы, породившего в русском обществе столько энтузиазма и надежд. Да он и сам никогда всерьез о том и не задумывался. Но отец умер внезапно и оставил ему тяжелое наследство. Пришлось властвовать. А власть — это работа. Тяжкий, не для каждого благодарный труд. Александр был в расцвете сил и за дело принялся с азартом.

Но в ту прекрасную пору Лорис-Меликов, хоть и генерал, а с августа 1865 года даже его величества генерал-адъютант, был весьма далек от августейшей особы, в столице бывал крайне

редко и даже вблизи чувствовал, как и любой верноподданный, неодолимую дистанцию между собою, простым смертным, и священной особой государя императора. Волею монарха направленный на подавление чумы в низовья Волги, а потом крамолы — в Харьков, Михаил Тариелович весьма заметно ощущал эту дистанцию. Хотя уже и до него доходили разного рода слухи, подбедаяющие ржавчиной стальной столп императорского авторитета.

Странное дело, к 1880 году царь, так много сделавший для отечества в первые годы своей власти, породил вокруг себя едва ли не больше, чем кто бы то ни было на русском престоле, недовольных. Еще не вымерли крепостники, не простившие ему преобразований первых лет. Либералы пережили глубочайшее разочарование, когда то по одному, то по другому «временному» циркуляру урезались права земств, из ведения суда присяжных изымались политические дела, ужесточалась цензура. Уж на что умеренный человек сенатор Александр Александрович Половцов, по привязанностям своим бывший ближе к Аничкову дворцу, нежели к Зимнему и уж тем более «красному» Мраморному, писал в своем дневнике 6 ноября 1879 года: «Слабая, материальная, равнодушная натура Императора Александра II окончательно повредилась 25-летним безответственным самодержавием. Первые искры воодушевления, выразившиеся в начале царствования приложением подписи к реформам, сделанным группою людей посредственных, но подчинявшихся духу времени, первые эти искры давно погасли, их сменили разочарования, ненависть, злоба, раздражения, подозрительность, плотоугодие и полная смешанность понятий о том, что достойно похвалы, поддержки или преследования. Такое настроение не могло не отодвинуть всякого порядочного человека, заместив его или хитрым себялюбцем, или равнодушною посредственностью». Увы, так думали многие благомыслящие и преданные престолу люди.

Люди же неблагомыслящие, нетерпеливые социалисты устроили за добрейшим из царей самую настоящую охоту. И если выстрел Каракозова в 1866 году был делом доведенного чтением нелегальных брошюр до истерии одиночки, сейчас против Александра II действовала целая партия — прекрасно организованная, умело и надежно законспирированная и даже, как подозревал Лорис-Меликов, имевшая своих агентов в самом III Отделении.

В ближайшем окружении императора недовольных было тоже достаточно. Ему не могли простить многолетней связи с княжной Екатериной Долгорукой. Слишком далеко она зашла. На связь эту поначалу смотрели снисходительно, мало ли любовниц бывало и у Николая Павловича, и уж тем более у его красавца сына. Но эта его последняя любовь как-то слишком уж затянулась. Уже дети пошли. Присутствие рядом с царем Долгорукой стало давать себя знать в государственных делах. При обсуждении вопроса о концессии на строительство железных дорог император встал на защиту лиц, приближенных к княжне Долгорукой, и разразился скандал, когда товарищ министра путей сообщения пожертвовал карьерой, чтобы не дать примазаться к выгодному делу проходивцам, обаявшим царскую любовницу. И сам Петр Шувалов, всесильный шеф III Отделения, настолько всесильный, что получил прозвище Петр IV от злых и острых языков, попал в опалу, когда осмелился выразить царю неодобрение по сему поводу. Впрочем, пока императрица Мария Александровна была здорова и полна сил, к связи этой при дворе притерпелись, и лишь иные из фрейлин смотрели на фаворитку с ревливой завистью, тайно вздыхая, что не им улыбнулось такое счастье. Но в последние годы, когда у царицы обнаружилась смертельная болезнь и силы ее таяли день ото дня, сожительство Александра с Долгорукой превзошло все пределы приличия. Вернувшись с турецкой войны, император, к всеобщему негодованию, поселил княжну Екатерину Михайловну в Зимнем дворце. Была оскорблена императрица, были оскорблены великие князья, законнорожденные дети Александра Второго.

Все тот же Половцов, обитатель Царского Села, посвященный во многие тайны царской резиденции, в августе 1879 года записал в дневнике: «На другой день после отъезда Цесаревны в Копенгаген смотритель Александровского дворца пришел доложить управляющему Царского Села, что Государь Император изволил осматривать дворец и в особенности садовый павильон с игрушками детей Цесаревича, изволил осматривать все это с кн. Долгорукою и семейством. Любопытно знать, что у этого человека делается в голове, когда он ведет детей своей любовницы играть игрушками своих внучат!»

Так что когда граф Лорис-Меликов волею судьбы оказался во главе Верховной распорядительной комиссии, Александр Николаевич еще менее, чем в свои молодые великокняжеские годы, походил на властителя, способного произвести гранди-

озные реформы. Но и на тирана, каковым его изображали в своих листках народовольцы, он уж никак не был похож. Еще в пору отрочества предугадал его несчастья воспитатель будущего императора Карл Карлович Мердер. В одном из докладов заботливому отцу он писал: «Великий князь, от природы готовый на все хорошее, одаренный щедрою рукою природы всеми способностями здравого ума, борется теперь со склонностью, до сих пор его одолевавшею, которая при встрече малейшей трудности, малейшего препятствия приводила его в некоторый род усыпления и бездействия». Увы, борьба со склонностью этой так и не увенчалась успехом. Лорис-Меликов застал у власти царя и на самом деле способного, умного, доброго, но сильно траченного усталостью и русской, обломовской ленью. Михаил Тариелович дал императору весьма точную характеристику. Разговорившись как-то с Половцовым о личности государя, он выразился следующим образом:

— У этого человека наблюдательность неимоверная; он видит и слышит все, что делается в соседней комнате. Прочитав бумагу, он заметит всякую запятую, но не отдает себя на то, чтобы духовно овладеть сущностью.

Нельзя сказать, чтобы император не понимал своего нынешнего тягостного положения. Человек ума проницательного, а в иные моменты и в самом деле подлинный монарх, ответственный за благополучие своего отечества и подданных, он смертельно устал от ответственности и мечтал жить жизнью частного человека. Он понимал, что реформы надо продолжать, что нельзя было бросать их на полпути, испугавшись дурацкого выстрела героя-одиночки. То одного, то другого... Постоянная опасность вырабатывает привычку. И после взрыва в Зимнем дворце он вообще перестал бояться покушений. И даже готов был на какое-то продолжение дела, начатого в первые годы царствования. Но только чтобы не самому тащить на себе груз ответственности, а вот пришел бы энергичный, умный деятель и взял бы все это на себя. А самого бы императора оставили в покое.

В Лорис-Меликове он угадал именно такого деятеля. Сам прекрасно понимал, как тяжело придется покорителю Карса: перед ним не армия прогнившей Оттоманской империи, а заснувшая полупьяным сном великая крестьянская Россия. И вокруг особы императора не великие реформаторы, а ленивые и равнодушные чиновники, отнюдь не безупречные в видах ко-рысти. Наследник скорее склонен свернуть шею реформам,

нежели развивать их. Но Лорис как-то сумел поладить с цесаревичем, и Александр не без любопытства посматривал на развитие событий.

Присутствие Долгорукой в Зимнем дворце в первые месяцы диктаторства Лорис-Меликова ощущалось слабо. Это была тогда лишь тема бесконечных великосветских пересудов о безнравственности императора, нетерпеливо ожидающего смерти хоть и опостылевшей, но законной супруги. Разговоры он, конечно, выслушивал, но от каких-либо комментариев на сей счет благоразумно воздерживался. И был весьма доволен тем обстоятельством, что император не торопится представлять его своей фаворитке.

22 мая государыня императрица тихо угасла в своей спальне. В стране, как водится, установили траур. Константин Петрович Победоносцев, углядевший где-то праздничные балаганы, написал по сему поводу гневное письмо Лорис-Меликову с требованием немедленно убрать с глаз долой оскорбляющие верноподданнические чувства благочестивых христиан дьявольские соблазны. В трауре, особых тягот от него не ощущая, и жила империя как до 6 июля, так и после.

Но 6 июля произошло событие, которое прекрасно запомнил адъютант великого князя Николая Николаевича Василий Вонлярлярский. «6 июля, — писал он долгие годы спустя, скрашивая мемуарами старческую эмигрантскую тоску, — я был дежурным и должен был ехать к Государю с докладом о ходе маневра. По случаю кончины Императрицы, мы носили еще полный траур: кроме повязки на рукаве, аксельбант и погоны были обшиты крепом. Приехав в Царское Село вечером во дворец, я был встречен камердинером Государя, который посоветовал мне немедленно снять траур, так как это может опечалить Его Величество в такой радостный для него день. Оказалось, что в этот день, 6 июля, в 3 часа дня совершилось бракосочетание Государя с княжной Долгорукой». Траур Вонлярлярский, конечно, спорол, но в спешке повредил аксельбант и не знал теперь, как показаться царю. Император, всегда приметливый, на этот раз даже не увидел нарушения, в форме — так был взволнован.

Бракосочетание прошло тайно в малой церкви Екатерининского дворца. Свидетелями были генерал-адъютанты граф Адлерберг, министр двора, старый друг императора, граф Эдуард Баранов и комендант императорской главной квартиры Александр Рылеев.

Лорис-Меликов узнал об этом лишь на следующий день. Он прибыл в Царское Село с докладом. Император привел его в Янтарную комнату и оставил одного. Через несколько минут вернулся вместе с княжной Долгорукой. Только теперь она уж была княгиня Юрьевская.

— Вот моя жена, — сказал Александр Николаевич. — Отныне вверяю вам, граф, ее вашему особому попечению. Поклонитесь мне, что будете оберегать ее и после моей смерти.

Голос государя был торжествен, проникновен и взволнован. Минута настала тягостная. Лорис-Меликов хоть и ожидал такого поворота событий, но не был готов к нему, он все-таки надеялся, что у государя хватит благоразумия дожидаться окончания траура. Конечно же он заверил и царя, и Екатерину Михайловну, что и ей будет служить так же верно, как служит самому императору. Но забот ему новое положение дел прибавило. Отношение цесаревича к мачехе ему было ох как хорошо известно! А сейчас как раз наступила пора действовать быстро и решительно.

Ревнивый Валуев, почувствовав новые веяния, вдруг переменял свое отношение к печати и стал потихоньку готовить закон, расширяющий ее свободу, и добился от царя созыва комиссии по этому вопросу под своим, разумеется, председательством. Комиссии на Руси создаются не для того, чтобы разрешить дело, а напротив — чтоб замотать. Его верный клеврет, ненавистник земств Маков, не далее как в прошлом году предложивший дать право губернаторам не утверждать по своему усмотрению выборных гласных ввиду их неблагонадежности, начал вдруг разъезжать по губерниям и откровенно заигрывать с земствами, обещая им отменить свой же закон. Любезному другу Валуеву веры уже не было, и все его действия в либеральном духе означали всего лишь попытку перехватить инициативу. Да так оно и было. Много месяцев спустя стало известно, что столь внезапное пробуждение Валуева имело причину простейшую: Маков, перлюстрировавший переписку Лорис-Меликова и Николая Абазы, доложил председателю Комитета министров о планах начальника Верховной распорядительной комиссии.

26 июля 1880 года Лорис-Меликов подал царю всеподданнейший доклад о ликвидации Верховной распорядительной комиссии. Пришло время возвращаться от мер чрезвычайных к законному порядку, так он объяснял свои намерения. И в самом деле, как-то потише стало в отечестве. После Млодецкого

уже никто не рисковал выскакивать из-за угла с пистолетом. Да и от него в своей листовке Исполнительный комитет «Народной воли», отдав должное героизму, отказался, объявив покушение на Лорис-Меликова личной инициативой несчастного Ипполита. Революционеры явно чего-то выжидали. Чего? Да, в общем-то, все равно, главное — сейчас тихо и можно хоть что-то успеть. А посему вместе с Верховной распорядительной комиссией шеф жандармов Лорис-Меликов предлагал ликвидировать всем ненавистное III Отделение, объединив все карательные силы в Департаменте полиции, учреждаемом в Министерстве внутренних дел. Само собой разумеется, что в новых обстоятельствах министерство это должен теперь возглавить сам Михаил Тариелович, сохранив за собою должность шефа жандармов. А чтобы Макову было не обидно, выделить для него Департамент почт и телеграфов в отдельное министерство, оставив при нем его годовое жалованье.

Правда, последнее решение было весьма рискованным. В руках министра почт и телеграфов была перлюстрация писем. Ежедневно к 11 часам утра Маков с особым же портфельчиком являлся к царю, отпирал его особым секретным ключиком и вываливал на стол тщательно переписанные копии частных корреспонденций. А у Александра Второго была эта слабость — в чужие письма заглядывать. Даже наследника не миновал тайный надзор почтового ведомства, и ему не раз влетало от отца за проделки, о которых тот мог узнать исключительно из переписки великого князя.

Для сообразительного министра тут был большой простор для интриг и блистательных побед в подковерной борьбе. Известен случай с жандармским генералом Селиверстовым, которого покойный Мезенцов прочил в свои товарищи, но император в последний момент вдруг отказался подписывать указ и предъявил шефу жандармов копию из частного письма Селиверстова. Мезенцов недолго недоумевал и очень скоро выяснил, что письмо это, в котором Селиверстов возмущался охватившими Петербург слухами, дошло до императора в отрывках: слухи выписали, а возмущение генерала по этому поводу — нет. С Селиверстовым дело уладилось, а сколько карьер загублено втайне?

Но иного способа управиться с Львом Саввичем Маковым пока не было. Тот первым из министров сумел втереться в доверие княгини Юрьевской, за него уже было замолвлено перед царем словечко, так что придется подождать и потерпеть.

Делом безотлагательным в Кабинете министров были перемены в ведомствах путей сообщения и финансовом. Возглавляли их почему-то адмиралы. Министерством путей сообщения управлял основатель порта во Владивостоке Константин Николаевич Посьет. Флотоводец он был, говорят, замечательный, хотя и умудрился однажды в открытом море протаранить в бок иностранное судно; что же до строительства и содержания в порядке железных дорог, то здесь у него не очень ладилось. Милютин как-то записал о нем в дневнике: «Адмирал Посьет отличается замечательною неумелостью в делах; ни одно представление его в Комитет министров и в Государственный Совет не проходит благополучно: или сильно переиначивается, или вовсе опрокидывается». Для наведения порядка была даже образована Высшая комиссия по железнодорожному делу во главе с графом Барановым. На первом же совещании по программе работ этой комиссии вспыхнул конфликт, Посьет не подписал журнала совещания, а царь утвердил журнал, и всем казалось, вот-вот падет бестолковый министр. Ничего подобного. Непотопляемый адмирал проглотил обиду и пересидел всех министров тогдашнего правительства аж до 1888 года, когда сам попросился в отставку по причине глубокой старости.

О Посьете у Лорис-Меликова состоялся интересный разговор с Сергеем Витте, братом того самого героя турецкой войны, которому царь отдал свой орден Георгия. Молодой управляющий Юго-Западными железными дорогами прислал проект устава железных дорог в России, наделавший много шума в столице. Предполагалось урезать права министра, учредив совет по железнодорожным делам. Посьет был в ярости. Он рвал и метал. Дошел даже до царя. Лорис-Меликову устав этот показался весьма дельным, и он вызвал Витте из Киева телеграммой. Узнав, что герою этот Витте приходится родным братом, а генералу Фадееву — племянником, Лорис тут же перешел с гостем на «ты».

— А скажи, пожалуйста, душа моя, ты составил устав?

— Да, я.

— Да, знаю, кто ж другой. Ведь Баранов, почтенный человек, не мог же составить так; Анненков — тоже не мог. Да мне и сказали, что все это ты написал. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот этот устав — против устава, в сущности, никто не возражает, а возражают против совета по железнодорожным делам, — скажи мне по совести, нужно, чтобы этот совет прошел, или не нужно? Вот министр Посьет рвет и мечет против



этого совета, а почтенный Баранов настаивает на его необходимости. Вот ты мне по совести и скажи: нужно проводить совет, как ты думаешь?

— Видите, граф, с одной стороны, если министр путей сообщения порядочный человек, если он знает свое дело, то, конечно, совета не нужно, потому что это тормоз для министра, а с другой стороны — я вот с тех пор, как существуют у нас железные дороги, не видел и не помню ни одного министра путей сообщения, который бы знал дело и действительно был бы авторитетен. При таких условиях, конечно, лучше управлять коллегией, то есть советом по железнодорожным делам, нежели министром.

— А ты бы мог указать на кого-нибудь как на министра путей сообщения?

Витте назвал фон Дервиза, но так как не рассчитывал, что Лорис-Меликов смог бы провести фон Дервиза в министры, все продолжал настаивать на том, чтобы граф провел устав непременно с советом и настойчивостью своей привел его в некоторое раздражение.

— Что ты, душа моя, все об одном и том же толкуешь! Проведи да проводи... Тебе хорошо говорить, думаешь, сделать так легко, как сказать? Не так все просто. Я тебе вот что расскажу. Когда я был совсем молодым офицером гусарского полка, на нас, корнетов и поручиков, большое влияние имели фельдфебели и унтер-офицеры, потому что без них молодой офицер ничего не может поделаться, иначе на гауптвахте всласть насидишься. И вот как-то раз один фельдфебель из моего эскадрона выдавал дочку замуж и пригласил на свадьбу нас, офицеров. Сначала была свадьба, потом обед, а после обеда бал. Начался бал полькой — так себе шла... потом кадрили, а затем мазурка... Вот мазурку никто не умел танцевать. Кавалеры стоят, как мумии. Тогда фельдфебель говорит: «Я, говорит, этих писарей (а большинство кавалеров были писаря) сейчас выучу». Позвал писарей и говорит: «Дамы, чтобы танцевать мазурку, должны бегать, а вы, — говорит, — чтобы танцевать мазурку, должны делать так: ногами делайте что хотите, а в голове так держите, тогда и выйдет мазурка». Так вот, ты мне говоришь: сделай да сделай, проводи да проводи, ты болтаешь, а мне надо в голове так держать, а то, пожалуй, меня государь выгонит.

Устав, предложенный Витте, был принят, но совет прошел в виде весьма урезанном, он далеко не так ограничивал власть министра, как предполагалось автором проекта.

После Рейтерна министром финансов был назначен почему-то не экономист, а наследственный, вот уже в третьем поколении, адмирал Самуил Алексеевич Грейг, человек в таких делах мало сведущий, но самомнения и упрямства непомерного. Уже два года, как кончилась война, а он все продолжал печатать пустые, ничем не обеспеченные кредитки. Зато, как отметил все тот же Милютин, «Грейг не мог пропустить случая, чтобы своими мудрствованиями, высказанными обычным докторальным тоном, напустить тумана в деле совершенно простом и ясном». За это, наверно, и был в особой чести у императора. Ни об отмене разорительного соляного налога, ни тем паче подушной подати, непосильной для крестьян, при таком министре и речи заводить нечего. Было бы прекрасно, если бы министром финансов стал Абаза, но пока об этом рановато заводить разговор.

Зато летом, перед отбытием Грейга в отпуск, Лорис-Меликов добился назначения товарищем министра грамотнейшего экономиста, известного императору еще со времен крестьянской реформы по редакционной подготовительной комиссии, профессора Киевского университета Николая Христиановича Бунге. Грейг хотел видеть своим товарищем некоего Мицкевича, разыгрывавшего при нем роль дворецкого или камердинера, как говаривали злые языки в Петербурге. Языки еще более злые утверждали, будто Мицкевич исполняет обе эти должности. Но государь ответил Грейгу, что в его министерстве есть чиновники постарше Мицкевича. Кандидатура бесцветного директора кредитной канцелярии Цимсена тоже не подошла, поскольку его никто не знает. Император сам, по предварительной договоренности с Лорисом, назвал Николая Христиановича. И министерство фактически оказалось на два месяца под управлением Бунге.

## ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ

6 августа 1880 года императорским указом Верховная распорядительная комиссия ликвидировалась. Вместе с нею в мир иной отошло и III Отделение собственной его императорского величества Канцелярии.

В архиве М. Т. Лорис-Меликова сохранилось письмо с его пометкою: «А. А. Абаза пишет мне по поводу упразднения III Отделения». Поскольку не один Александр Аггеевич думал таким образом, а многие мыслящие люди в России, интересно привести этот документ:

«Вчера прочел я в «Прав. Вест.» все перемены. Слава Богу! Слава Государю, слава Вам, мой дорогой Граф Михаил Тариелович!

Я перекрестился и вздохнул свободнее! Тяжело было жить русскому человеку из-за нескольких сот негодяев! Вы возвратили нам того великодушного Царя, которому Россия обязана своим обновлением! Великий стыд и тяжкая ответственность перед отечеством падет на тех советчиков Государя, которые довели общее недовольство до крайних пределов! Но Бог Россию любит; она оживает; она уже сознает, что к ней относятся не враждебно — что Лорис примирил с ней великодушнейшего из Монархов — и благодарная Россия внесла уже имя Лориса на одну из светлых страниц своей Истории!

Мысли мои Вам давно известны; но под глубоким впечатлением совершившегося я должен был написать Вам несколько слов.

Да сохранит Вас Господь!»

Добровольный отказ Лорис-Меликова от диктаторских полномочий и звания вице-императора, которым его окрестили западные журналисты, удивил многих. В глазах простодушного цесаревича это был сильный и благородный поступок. «Не всякий бы на месте Лорис-Меликова, — говорил он в те дни, — решился отказаться от принадлежавшей ему исключительной власти и вступить в общее число равноправных министров». Почти теми же словами говорил о новом положении дел и Черевин, но то-то и оно, что «почти». Имевший с ним беседу по этому поводу Половцов записал в своем дневнике: «Черевин очень недоволен новыми мерами, при осуществлении коих он из всесильного начальника III Отделения попадает в простые товарищи министра внутренних дел, на равных с Кахановым. По мнению Черевина, все это есть уступка, очень опасная, как всякая уступка; к тому же все сделано слепча, необдуманно и приведет к великим затруднениям... Со стороны Лорис-Меликова очень безрассудно самого себя из всесильного вожака обращать в рядового министра, власть коего будет парализована

властью других, ему равных министров». Раздражение Черевина понятно. Еще более раздражены были чины III Отделения, подлежащие сокращению, а в особенности тем, что, не доверяя жандармским генералам, директором Департамента полиции Лорис-Меликов назначил варяга — барона Велио, до того бывшего директором Департамента почт и телеграфов, а вице-директором — Юзефовича, который никогда раньше никакого отношения не то что к жандармерии, но и к полиции не имел. И это будет еще иметь свои последствия.

Но Михаил Тариелович был не так прост. Он и не думал отказываться от власти — и обременительной, и сладостной. Он просто-напросто сдал внешние ее атрибуты. За ним так и остались ежедневные, другим министрам недоступные, свидания с императором: утром за докладом, вечером — за игрою в вист по маленькой. Во всех делах за ним так и осталось не то чтобы последнее (оно всегда за царем), но решающее предпоследнее слово. Такт в голове Михаил Тариелович держал. В новой своей должности он немедленно приступил к действию.

Средства, образовавшиеся за счет ликвидации III Отделения, Лорис-Меликов направил на содержание губернаторов. Удивительное дело — представители верховной власти в провинции получали весьма скромное жалованье. А ведь слаб человек, хоть и губернатор, даже генерал-губернатор. Иные воспринимали свое назначение на губернаторство, как при блаженной памяти Алексея Михайловиче воеводство — не столько на управление краем, сколько на кормление. До Петербурга доходили слухи о том, что очень уж на руку нечист губернатор Казани Скарятин, говорили о распродаже частным лицам из высших чиновничьих кругов по смехотворным ценам казенных земель при Оренбургском генерал-губернаторе Крыжановском... Так что рано, рано радовались господа губернаторы. Лорис-Меликов решил приступить к сенаторским ревизиям.

Дело это на Руси не новое. Очень ревизиями увлекался Николай Первый. Посланные им сенаторы как смерч пронеслись по губерниям, сметая уличенных во взяточничестве и казнокрадстве начальников. Смерч уносился, все успокаивалось и оставалось по-прежнему. Да ведь и начальство провинциальное не лыком шито: не каждого и уличишь.

Ревизии, затеянные Лорис-Меликовым, были совсем иного рода. Он задал целую программу исследования положения дел на местах по всем важнейшим вопросам государственного управления и народной жизни. Из числа сенаторов были избраны

самые дельные, самые толковые люди. Двое из них — Иван Иванович Шамшин и Михаил Евграфович Ковалевский прекрасно проявили себя в работе Верховной распорядительной комиссии. Государственный секретарь, помощник великого князя Константина Николаевича в Государственном совете Егор Абрамович Перетц в дневнике своем за 15 декабря 1880 года рассказал такой эпизод. Ковалевского решили назначить членом Государственного совета и, прежде чем представлять его государю, сочли необходимым договориться с министром внутренних дел.

«Когда Лорис услышал, что Ковалевского предполагается назначить членом Государственного Совета, он вскочил со своего кресла и бросился меня обнимать.

— Ну, спасибо вам, — сказал он. — Как я рад за Михаила Евграфовича. Вот будет настоящий член Государственного Совета! Прелесть, а не человек. Да вы его хорошенько еще не знаете. Я изучил его близко в Верховной распорядительной комиссии. Когда все другие поддакивают или молчат, он преспокойно запустит руку в карман и говорит: «А я с вами не согласен. Нужно сделать совсем не то, что вы предлагаете, а вот что». И окажется потом, что он прав. Побольше бы таких людей! Я хотел просить Государя о назначении его генерал-губернатором. Хоть он и невоспитанный, да не беда. Ведь был же Сперанский генерал-губернатором Сибири. Теперь я отказываюсь от своей мысли. Он будет нужен в Государственном Совете.

Слушая эти восторженные речи, я очень рад был за Лориса. С Ковалевским он не имел никаких связей; следовательно, ценил и любил его исключительно как умного, честного и прямого деятеля».

Кроме них назначались на ревизию Сергей Андреевич Мордвинов и Александр Александрович Половцов, старинный друг Ковалевского, им, скорее всего, и рекомендованный на столь ответственное задание. Сенатор этот обладал цепким здравым умом, прекрасно разбирался в людях и до тонкостей знал бюрократическую службу. Удивительно глубоки его характеристики товарищей по ревизии.

«Ковалевский — мой тридцатилетний приятель, и потому я не сумею быть беспристрастным. Трудно видеть человека с характером более честным, бескорыстным, готовым на самопожертвование. Отличительная черта его ума есть торжество здравого смысла, не пренебрегающего теориею, но и не упус-

кающего из виду несовершенство человеческой природы. К. необыкновенно прост в обхождении, высказывает свою мысль несколько сплеча, как бы грубо, но все в нем проникнуто добрым человеческим чувством. К этому прибавить надо большую судебную и служебную опытность, знание многочисленного персонала и умение его оценивать. Слабая его сторона, быть может, заключается в чрезмерной снисходительности, близкой к слабохарактерности с точки зрения преследования зла; прибавлю еще — недостаток великосветскости, что, конечно, не так существенно.

Мордвинова я знаю менее других. Он представляется мне безукоризненно честным, правдивым и здравомыслящим человеком. В нем есть какая-то скептическая сторона, что-то вроде насмешливости и недоверчивости, довольно понятной, впрочем, в человеке пожилом. Его опытность как много служившего в провинции также весьма существенный задаток для настоящего поручения.

Шамшин — человек замечательно умный, проницательный, с примесью русской бюрократической хитрости, несмотря на то, его чувства весьма цельны и прочны, как я имел случай убедиться в том отдельными эпизодами его жизни. В нем много воли, и это качество нажило ему много врагов. Лорис-Меликову он сделался известен по Комиссии, где работал очень усердно и успешно, хотя выступал иногда в прениях не очень удачно. Выбор его делает честь незабвенности Лорис-Меликова».

Половцов направлялся в Киевскую и Черниговскую губернии, Мордвинов — в Воронежскую и Тамбовскую, Шамшин — в Саратовскую и Самарскую, а Ковалевскому для ревизования предназначалась сначала одна лишь Казанская, а позже добавились Оренбургская и Уфимская губернии, поскольку до Петербурга стали доходить сведения о вопиющих расхищениях башкирских казенных земель.

17 августа, перед отъездом в Ливадию, император принял у себя ревизирующих сенаторов. Там же роздана была утвержденная им инструкция с вопросами, которые следовало выяснить на местах. Это была целая программа, из которой можно увидеть, что Лорис-Меликов был всерьез намерен возобновить реформаторскую деятельность правительства. В первую очередь это касалось окончательного освобождения крестьян: списание долгов по выкупным платежам, замена подушного налога поодиночным, государственное направление стихийного переселения крестьян в Западную Сибирь и на Дальний Восток. То,

что спустя десятилетия, после кровавого Пятого года, начнет делать Столыпин, затевалось еще тогда — без пожаров и грабежей господских имений, стачек и восстаний и знаменитых «столыпинских галстуков».

У него были далеко идущие планы в отношении жандармского корпуса. Наставляя ревизоров, он предложил им подумать об обращении жандармских офицеров в губернские полицмейстеры. Жандармский корпус, говорил он, обходится очень дорого, в нем диспропорция солдат и офицеров такова, что на 30 солдат приходится один офицер, тогда как в армейском строю насчитывают одного офицера на 100 солдат. Государь же привык к жандармам и уничтожить их не согласится. Отчего ж не подчинить штаб-офицера губернатору, а из рядовых сделать начальников урядникам, которые теперь без надзора и в народе называются курятниками; между тем о жандармах никто никогда не говорит, что они взяточники. Не мытьем, так катаньем Лорис-Меликов собирался-таки ликвидировать жандармерию в России, несмотря на царскую к ней привычку.

Хотя и высказал Михаил Тариелович сенаторам осторожное соображение, что не относится к числу сторонников Общей Земской Думы, что конституция в России — дело детей и внуков, а нам надо лишь подготавливать им почву, но уже тогда он задумал на основании результатов ревизии созвать в столицу представителей земств и городов для законодательных предложений, касающихся местного управления.

Как уже говорилось, 17 августа Лорис-Меликов вместе с государем императором отбыл в Ливадию. Еще накануне по его настоянию решено было, что, поскольку даже среди приближенных очень немногие посвящены в тайну царского брака, лучше было бы княгине Юрьевской ехать в Ливадию другим поездом. Так ведь известное дело: ночная кукушка дневную перекукует. Поскольку слухи о готовящихся покушениях не унимались, а перед железнодорожным путешествием царя возобновились с новой силой, княгиня, как заметил Милютин, «не упустила случая, чтобы выказать свое самоотвержение и приверженность: как ей оставить хоть на один день любимого человека, когда ему угрожает опасность! вот удобный случай, чтобы вступить во все права законной супруги и занять те самые отделения царского поезда, в которых с небольшим за год пред тем ездила покойная императрица».

Для Лорис-Меликова столь очевидное влияние новой жены на императора означало, что теперь, помимо наследника, при-

ходится учитывать и ее интересы, всячески ухаживать за княгиней Юрьевской и пытаться с ее помощью проводить свою собственную политическую линию. Доверие Юрьевской к первому министру — палка о двух концах. Ни для кого не секрет, что великий князь Александр Александрович терпеть не может свою мачеху, боится — и не без оснований — ее неперменного стремления стать императрицей. Но царствовал пока не Александр Александрович, а Александр Николаевич. И жить надо с ним. А там — как Бог даст. Во всяком случае, сейчас, не без помощи Юрьевской, удалось уговорить императора расстаться с Грейгом и в октябре, когда у него истечет срок отпуска, отправить в отставку с благодарственным рескриптом. В министры же назначить Александра Абазу.

Из Ливадии Лорис-Меликов вернулся не с пустыми руками. 30 августа, в день тезоименитства императора, за особые заслуги перед отечеством бывший начальник Верховной распорядительной комиссии был удостоен высшего ордена Российской империи — ордена Андрея Первозванного при милостивом рескрипте, в котором царь так выразился о достоинствах нового андреевского кавалера: «Настойчиво и разумно следуя в течение шести месяцев указанным Мною путем к умиротворению и спокойствию общества, взволнованного дерзостью злоумышленников, вы достигли таких успешных результатов, что оказалось возможным если не вовсе отменить, то значительно смягчить действие принятых временно чрезвычайных мер, и ныне Россия может вновь спокойно вступить на путь мирного развития».

Когда на графа Лорис-Меликова торжественно возлагали золотую цепь, оборвалось звено, и цепь распалась. К чему бы это? Впрочем, Михаил Тариелович, чуждый всяких суеверий, рассказывал об этом случае как о курьезе. А потом перестал рассказывать: в ответ ему однажды граф Адлерберг поведал о том, как во время коронации Александра II в душном Успенском соборе упал в обморок старый фельдмаршал князь Горчаков. И выронил на пол державу, которую, по церемониалу, нес в руках.

Вернувшись в начале сентября в Петербург, Лорис-Меликов с головой окунулся в работу над сенаторскими ревизиями. Он торопился. Он чувствовал, что век его у власти краток и надо успеть сделать хоть один шаг вперед и чтоб шаг этот был не обратим.

Наконец, сенаторы разъехались. Миссия им выпала непостоянная, и двое из них — Половцов и Ковалевский — встретились с особыми трудностями. Слухи о расхищении казенных башкирских земель, заставившие расширить географию ревизии Ковалевского, и на десятую долю не охватывали того грандиозного масштаба казнокрадства, которое предстало изумленному взору Михаила Евграфовича. Его проверка завершилась уже в следующее царствование тем же образом, что сенаторские ревизии времен Николая Павловича: отставки, следствие и суд.

Половцову тоже пришлось несладко. При назначении в Киев Лорис-Меликов спросил его:

— Александр Александрович, а вы Черткова не боитесь?

— Вы же не боялись брать Карс, — ответил сенатор.

Генерал-адъютант Михаил Иванович Чертков, только прослышав о ревизии, тотчас же явился в Петербург, сперва к наследнику, потом к императору сначала с требованием, потом уж с просьбою не посылать в его губернию ревизоров. Придирался даже к тому, что тайный советник Половцов не может инспектировать полного генерала.

Явился и к Половцову — спесивый, надутый, привыкший слушать одного лишь себя. Сенатор — человек от природы недюжинного ума, незаурядно образованный и к тому же вышколенный правилами светского этикета — принял генерала с великим искусством придворной дипломатии, погасил его страсти, доказав, что эта ревизия имеет целью не преследование проштрафившихся губернаторов, а исследование всех местных нужд, в доказательство чего предъявил ему инструкцию, и Чертков вроде бы успокоился, уехал назад умиротворенный... Но едва началась ревизия, стал повсеместно ставить палки в колеса. Михаил Иванович не без оснований боялся ревизии: имение под Киевом он приобрел у одного богатого еврея не очень уж законным способом и ждал, что Половцов рано или поздно доберется до него.

В конце концов спесивый генерал, как в свое время Карс под ударами Лорис-Меликова, пал, не выдержав борьбы с сенатором. В декабре он подал в отставку, и на его место был назначен бывший начальник III Отделения генерал-адъютант Дрентельн. Познакомившись с ним, Половцов спросил одного из своих помощников, каков ему показался новый генерал-губернатор. «Кусок мяса!» — ответил тот. И с великим прискорбием сенатор вынужден был согласиться с такой характе-

ристической. Увы, это был единственный результат тщательнейшей ревизии Половцова, перечень документов которой насчитывает около двух тысяч.

Но будущее нам неведомо, а сейчас у министра внутренних дел все складывается как нельзя лучше. С приходом Абазы в Министерство финансов удалось добиться отмены налога на соль. Катковские «Московские ведомости» подняли гвалт, что этой мерой из казны изъяты тринадцать миллионов дохода, что финансовой системе придет неминуемый крах и все такое прочее в этом роде. Злой Валуев перешептывался по гостиным с усмешечкой, что Лорис с Абазою столь дешево покупают себе популярность. О том, что Абаза одновременно поднял таможенные пошлины и тем самым не только восполнил убыток, но и укрепил собственных промышленников, как-то по-малкивали.

А какой вой подняли наши патриотические газеты, когда Абаза затеял прекратить печатанье пустых кредиток! И вот ведь что интересно. Во время турецкой войны тогдашнему министру финансов Рейтерну пришлось скрепя сердце прибегнуть к эмиссии. Тогда Катков был категорически против такой меры, подрывающей денежную систему государства. И хотя эмиссию и ее неизбежное следствие — инфляцию остановить не удалось, ненавистный патриотам Рейтерн ушел в отставку. Что же сейчас случилось с Михаилом Никифоровичем? С какой стати он стал сейчас-то заступаться за бедных и сирых? Увы, все объясняется просто. Инфляция — прекрасный строительный материал для возведения финансовых пирамид, коими грешили китайгородские банкиры, близкие к «Московским ведомостям» и их редактору. И ведь добились своего — на добрых полтора десятка лет, до министерства Витте, тормознули оздоровление финансов.

Экономическое положение России к концу 1880 года было удручающим. Мало того что страна так и не оправилась от разорительной восточной войны, в южных губерниях, особенно в Поволжье, разразился неурожай. Взлетели цены на хлеб. И тут впервые за все время своего диктаторства Лорис-Меликов употребил власть.

Он пригласил к себе крупнейших хлеботорговцев и стал уговаривать их спустить цены.

— Ваше сиятельство, никак нельзя-с, — выступил почтенный купец Духинов. — Мы бы рады-с, так ведь не законом цены устанавливаются. Сами знаете, неурожай-с. Нам-то мука

самим недешево достается. И так, можно сказать, в убыток торгуем.

Как устанавливаются цены, Михаил Тариелович и без купцов знал прекрасно. И в другое бы время только приветствовал их свободу. Но фабричные окраины в столице закипали, подогреты прокламациями революционеров, того гляди, стачки начнутся. Но аргументы эти на торговцев не подействовали. И он прекратил экономическую дискуссию следующим образом:

— Господа, до сей минуты я говорил с вами как министр внутренних дел, обязанный заботиться о народном продовольствии. Но раз вы не хотите внять моим разумным доводам в таком качестве, прошу не забывать, что на меня также перешли обязанности шефа жандармов. Состоят они в том, чтобы любыми средствами предупреждать народные волнения. А таковые при ваших ценах на хлеб неизбежны. Так вот, как шеф жандармов объявляю вам, что если в течение двадцати четырех часов цены на хлеб не будут снижены, все вы будете высланы из столицы в административном порядке.

Казалось, Лорис-Меликов крепко держит в голове такт, умело лавируя между княгиней Юрьевской и наследником престола, обходя, с одной стороны, Валуева, с другой — Победоносцева, и упорно гнет свою линию. «Народная воля» вроде как поутихла и напоминает о себе лишь нелегальными своими изданиями, зовущими спящую Русь к топору. Но дыхание ее чувствуется всею кожей, от этого неуютно, но терпимо.

В конце октября в военно-окружном суде Петербурга состоялся «Процесс шестнадцати», который вынес пять смертных приговоров членам «Народной воли». Три из них подлежали отмене. Один, несомненно, Окладскому, предавшему своих товарищей. Два — Квятковскому и Преснякову — были под вопросом.

Здесь-то и совершил роковую ошибку Лорис-Меликов. Второй раз в своей генеральской судьбе. Обе обернулись катастрофой, тем более обидной, что он каждый раз предполагал последствия. Но, вопреки собственному здравому смыслу, поддавался общему настрою. Первый раз это было на военном совете 12 июня 1877 года под Звином, когда уступил большинству, второй — теперь.

В архиве Лорис-Меликова хранится документ с его собственным комментарием. Это копия его телеграммы в Ливадию товарищу министра внутренних дел Черевину от 31 октября 1880 года.

«Ливадия. Генералу Черевину.

Военно-окружной суд, приговором 31 сего октября определил: Квятковского, Ширяева, Тихонова, Окладского и Преснякова подвергнуть смертной казни чрез повешение, остальных же 11 подсудимых сослать в каторжные работы на более или менее продолжительные сроки.

Прошу доложить Его Величеству, что исполнение в столице приговора суда, одновременно над всеми осужденными к смертной казни, произвело бы крайне тяжелое впечатление среди господствующего в огромном большинстве общества благоприятного политического настроения. Еще менее возможно было бы распределить осужденных, для исполнения смертной казни, по местам свершения ими преступления, т. е. в Александровске, Харькове, Москве и Петербурге, расположенным по пути предстоящего возвращения Государя Императора в столицу. Поэтому возможно было бы ограничиться применением ее к Квятковскому и Преснякову; к первому потому, что, приговором суда, он, сверх обвинения его в взводимых на него преступлениях, признан виновным в соучастии во взрыве Зимнего Дворца, при котором убито 11 и ранено 56 лиц, исполнявших долг службы; ко второму же потому, что, хоть по обстоятельствам дела он оказывается менее виновным в взводимых на него преступлениях, но, после свершения сих преступлений в минувшем году, он в текущем году совершил новое преступление, лишив, при его задержании, жизни лицо, также исполнявшее свой долг.

Считаю, однако, обязанностью заявить, что временно Командующий войсками Петербургского Военного Округа Генерал-Адъютант Костанда, при свидании со мной вчерашнего числа, передал мне убеждение свое, почерпнутое из доходящих до него сведений, что в обществе ожидается смягчение приговора дарованием жизни всем осужденным к смертной казни и что милосердие Его Величества благотворно отзовется на большинстве населения. В этих видах Генерал Костанда предполагает, утвердив в законный срок приговор суда во всем его объеме, повергнуть сущность его телеграммой на милосердное воззрение Государя Императора. Барон Велю, непрерывно присутствовавший, по предложению моему, в заседаниях суда и имевший случай неоднократно выслушивать мнение почетных лиц, находившихся в суде, заявляет также о существующих в обществе ожиданиях относительно смягчения приговора и благоприятных последствий этой меры.

Не могу скрыть, что заявления эти ставят меня в затруднения, высказанные с надлежаще определенностью. Как человек и как государственный деятель я готов был бы присоединиться к мнению большинства, основательно ожидающего смягчения участи осужденных, — тем более, что это соответствовало бы обнаруживающимся признакам общественного успокоения и в политическом отношении, но, с другой стороны, не могу не принимать в соображение неизбежных нареканий за смягчение приговора, хотя бы они исходили от незначительного меньшинства. Затруднения мои усугубляются тем соображением, что в случае какого-либо нового преступного проявления, будет ли совершена ныне казнь или нет, нарекания за него неминуемо падут на меня, хотя решительное предотвращение или устранение его возможности вне моих сил. В таком положении только мудрая опытность Государя может указать решение, наиболее соответствующее настоящим обстоятельствам».

Под текстом телеграммы рукою Лорис-Меликова приписано:

«Телеграмма эта была отправлена мною 31-го Октября утром из Петербурга в Ливадию на имя Товарища Министра Внутр. Дел Генерала Черевина для всеподданнейшего доклада. В Ливадии находился в то время и Наследник Цесаревич, от которого Ген.-Адъют. Костанда получил того же 31-го Октября вечером приказание шифрованную телеграммою, чтобы, по утверждении приговора суда, он представил таковой Государю Императору, не возбуждая ходатайства о помиловании. Из Ливадии последовало затем Высочайшее повеление о замене, трем осужденным к смертной казни, каторжною работою; Квятковский же и Пресняков были казнены.

ЛВ Настоящая копия написана собственноручно бароном Велио, которого, при оставлении мною Министерства, я просил снять копию для хранения в моих бумагах.

Правительство бывает иногда поставлено в необходимость прибегать к смертной казни; но в данном случае оно, по моему, совершило ошибку; преступления Квятковским и Пресняковым были совершены задолго до казни, а потому наказание это, несколько не удовлетворив пожеланиям масс, ободрило только и ожесточило террористов. Желябов в показаниях своих не скрывал этого чувства».

Страх рыцаря перед упреком сгубил и рыцаря, и короля. В политике нельзя без компромисса, не получается. Но то-то и оно, что компромиссу нужно знать особую меру — уступать можно до определенной черты. Лорис-Меликову категорически нельзя было ограничиваться телеграммой. И кому? Черевину! Человеку, который карьеру сделал на слабости наследника к спиртному, пустейшему из русских генералов. Уж кому как не Лорису было знать за полгода сотрудничества направление ума — точнее, эмоций, умом Петр Александрович не блистал никогда — своего заместителя по жандармской части. И злобное влияние его на цесаревича, и без того склонного к простейшим решениям трудных проблем — беспощадным репрессиям. Догадаться о последствиях казни Квятковского и Преснякова Черевин, конечно, не мог. Но таким людям взамен ума Бог дает интуицию. Черевин после ликвидации Верховной распорядительной комиссии очень невзлюбил своего начальника, а государя императора терпеть не мог.

Где-то через полгода после трагедии 1 марта известному издателю Лонгину Федоровичу Пантелееву случилось ехать первым классом из Москвы в Вологду. Вагон был пуст, только в дальнем купе, слышно было, пьянствовал в одиночестве какой-то генерал. Где-то к полуночи явился к Пантелееву адъютант и от имени генерала пригласил к нему.

Попутчик издателя был уже в изрядном градусе.

— Генерал-адъютант Петр Черевин, — представился он. — А вы, часом, не родственник генералу Пантелееву?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство, просто одноклассник.

— Все равно. Позвольте предложить вам стакан вина.

Предвидя обиды грозного соседа, Пантелеев счел благоразумным принять приглашение.

На втором стакане ни с того ни с сего Черевин высказался:

— Совсем из ума выжил Александр Второй. Хорошо, что вовремя остановили.

— Что значит остановили? — спросил изумленный Лонгин Федорович.

— Ну да... Давно было пора унять его, и хорошо, что с ним покончили, а то бы он Бог знает что наделал.

Последняя сентенция окончательно лишила сил жандармского генерала, он повалился на бок, и лишь густой храп раздавался в ответ на любую попытку завершить ночной разговор.



Складывается подозрение, что убийство Александра II было совершено по заказу обиженных Лорисом жандармов, как в 1911 году Столыпина. Едва ли это так. Практика взаимных провокаций революционеров и тайной полиции еще не достигла такого совершенства, как в XX веке. Предателям Дегаеву и Окладскому далеко до Азефа и даже Романа Малиновского, а Клеточников — агент Исполнительного комитета «Народной воли» в III Отделении, а затем в Департаменте полиции — уже был под большим подозрением и в январе 1881 года разоблачен окончательно. Но то, что Черевин чувствовал неизбежные за казнь народовольцев последствия и подталкивал к ним, несомненно. Эх, не удержал-таки Михаил Тариелович такта!

Время летело к развязке. Лорис-Меликов чувствовал это и торопил сенаторов с ревизией, чтобы скорее привести в действие свою мысль о призвании в столицу выборных от земств и городов для разработки законов о местных нуждах. Сам же через княгиню Юрьевскую, которой страстно хотелось стать законной императрицей, подыгрывая ее тщеславию, уже к исходу января добился благосклонности императора к своей идее. Больше того, он сумел склонить на свою сторону цесаревича, с великим подозрением относящегося ко всякому либерализму. Правда, великий князь Александр попросил показать проект Победоносцеву. Ну уж дудки! Как захлопает в панике крыльшками Константин Петрович, как начнет пугать воспитанника своего призраками коммунизма, бродящими по проклятой Европе, гибелью России, известно заведомо. Нет уж, пусть из «Правительственного вестника» узнает.

Надо было спешить. Революционеры, как прекрасно отдавал себе в этом отчет министр внутренних дел, не спустят правительству казни двух своих товарищей. И очень может быть, опередят его планы. Во всяком случае, в декабре он как-то обронил Перетцу: «Раздайся снова какой-нибудь злополучный выстрел, и я пропал, а со мной пропала и система моя». С другой стороны, балансирование между Юрьевской и наследником, как и всякое балансирование в подобных ситуациях, добром кончиться не могло. К исходу осени он утратил расположение к себе цесаревича. Тот все внимательнее стал прислушиваться к Победоносцеву и Каткову, которые, уловив новое настроение великого князя, внушали ему, что от «лукавого азиатца» для России одно зло. Первый министр чувствовал

себя как орех в щипцах: вот-вот сойдутся силы радикалов справа и слева. Дьяволу, надзирающему за течением государственных дел в России, осталось только выбрать момент и сжать щипцы.

## КОНСТИТУЦИЯ

Русский император Александр II думал.

Взгляд его, устремленный к якорям у ворот Адмиралтейства, опущенным петербургским оттепельным инеем, был недвижим и не различал ни якорей, ни ворот, ни матросов на часах. Царь думал.

Опять, опять его загнали в угол, как 26 лет назад, в 1855 году, родной папенька своей внезапной смертью посреди проигранной войны. Надо было что-то делать, но во всей империи никто не знал, что именно. Войну с грехом пополам кончили, но как трудно, как тяжело шли реформы! Но тогда была молодость, был азарт... Пока не взбунтовались поляки и не выскочил из-за угла Каракозов. Они и сейчас высказывают, нигилисты проклятые...

Лорис-Меликов при последнем докладе объявил, что открылось имя недавно арестованного крамольника — Андрей Желябов. Это один из главарей «Народной воли». Торжества при этом министр внутренних дел не выказал, напротив, был тревожен и обеспокоен. Советовал никуда в ближайшие дни не выезжать из дворца, пока не будут разысканы остальные. Что за чушь? Я, император, не волен ездить по собственной столице! Господи, что им надо? И когда все это кончится? Целых пятнадцать лет ни дня покою! Если верить Лорису, снова они что-то затевают. Но хватит! Хватит! Или бояться, или править страной.

Легко сказать — править страной. В 62 года это не так просто. Мудрости прибавилось, а силы истекают. И что будет с Россией, если что случится со мною? Ах, Коля, Коля, что ж тебя так рано Господь прибрал? Ты был добр, неглуп... То обстоятельство, что наследник Николай рос балбесом и доставлял отцу немало горьких минут, за давностью лет как-то забылось. Наши любимые покойники по мере временного от них отдаления становятся краше и умнее. Саша властолюбив, упорен, но как он малообразован и ограничен для царской власти! Вот где была ошибка — и его надо было воспитывать, готовить к престолу так же, как и старшего, тех же учителей

ему нанимать... А не дядю Костю Победоносцева с его отсталыми взглядами. Хватит ли у наследника ума и характера держать при себе сильных мыслью и волею министров, сильнее его самого? У меня не всегда хватало. И кому Саша отдаст престол? Об этом тоже надо думать, как бы долго он ни процарствовал. Его сын еще мал, конечно, но уже ведь видно, как он ленив и нерешителен, трусоват и, кажется, склонен ко лжи. Саша держит его в страхе и этим думает исчерпать воспитание сына. Раба он так воспитает, а не самодержца. А царствовать в России может только свободный и отважный человек, как Петр или бабка Екатерина.

Да, свободный. И взгляд царя снова уперся в бумагу на столе, проект сообщения в «Правительственном вестнике» об учреждении законодательной Комиссии с участием выборных представителей от земств. Не конституция, конечно, и совсем не то, что предлагали по очереди то Валуев, то братец Константин, но все-таки... Но все-таки русский император хоть в малой, почти неприметной доле, а властью делится. И числа пятого марта страна начнет новую жизнь. Лорис обещает этой мерой выбить козыри из рук социалистов. Что ж, может, он и прав. А невесомая ручка со стальным перышком камнем держит царскую длань, и надо собирать силы и мужество, чтобы начертать всего-то два слова: «Одобряю. Александр».

В такие минуты рука, ищущая опоры, проваливается в пустоту.

Царь — один. «Один в вышине», — Пушкин, кажется, сказал. Хоть и по другому поводу, а как точно. Во всей империи нет человека, способного разделить ответственность. Министры только с виду всемогущи. Лорис недавно сострил за обедом: «Прокаженный царской милостью». И ведь прав. Стоит отвернуться — целая свора завистников зубами вцепится в фаворита. От того же Лориса и хвоста лисьего не останется. И зубы из волчьей пасти вышибут. Милость моя и впрямь что проказа. Как ловко покойный Сашка Барятинский интриговал против Милютина, которого сам же выдвинул в военные министры! А не заверши мы тогда армейской реформы — и турецкую войну проиграли б, как папенька Крымскую.

Да, как ни жалко делиться властью, а делиться надо. И Катишь нынче говорила, что общественному мнению перед ее коронацией надо дать царский подарок. Вот пусть эти комиссии и будут ему подарком. Царь тяжело вздохнул, но визу поставил. И все же, все же... Пусть Комитет министров еще

разок соберется. Где-нибудь во вторник. Это у нас четвертое? Да, 4 марта. И быть по сему.

Лорис выказал легкое разочарование оттяжкой решения. Он уже видел ярость Победоносцева, который начнет давить на цесаревича и выдерет из осторожного правительственного сообщения существенную часть. Во всяком случае, попытается. Обер-прокурору Священного Синода уже мерещатся якобинские Генеральные штаты, штурм Зимнего и Петропавловской крепости восставшими санкюлотами с Охты. Этими видениями он пугает Александра Александровича, и безуспешно. Так что министру внутренних дел предстоят пустые и жаркие дебаты, а для России сейчас каждый день дорог, и так уже пятнадцать лет потеряно. Царь неудержимо стареет и делается все более усталым и равнодушным к государственным делам. А надо успеть завершить освобождение крестьян, облегчив им выкуп, надо разрушить тяготы общины и круговой поруки, расселить нищие губернии по плодотворным окраинам империи... Нет-нет, медлить нельзя, никак нельзя — того гляди, социалисты бунт затеют или, наоборот, московская свора перехватит власть, и тогда пиши пропало.

Лорис-Меликов, еще раз посоветовав императору воздержаться от поездок по городу, во всяком случае — по Малой Садовой, где недавно открыли подозрительную квартиру, обыскали, правда, безуспешно, — отбыл, а царь, в очередной раз пропустив совет мимо ушей, приказал закладывать. Он не хотел лишать себя удовольствия поучаствовать в разводе караула.

## КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

— Кисаин Петрович! Кисаин Петрович! Ужас-то какой! Царя убили!

— Побойся Бога, Марфа! Что ты несешь?

— Кисаин Петрович, батюшка! Истинно говорю, истинно, злодеи бонбой царя убили, у Екатерининского канала!

— Карету! Быстро!

«Так я и знал, так я и знал, — бормотал Константин Петрович, надевая галоши, шубу, топчась во дворе, пока медлительный кучер готовил карету. — Так я и знал! И все это — покоритель Карса, все его фокусы! Я ведь предупреждал!»

Царя, конечно, жалко, но в этот скорбный для православной России час обер-прокурор Священного Синода чувствовал

больше торжество, нежели скорбь. Он упивался своей правотой, точностью своих предсказаний, ни разу, впрочем, вслух не произнесенных. Теперь этот лукавец повержен, повержен рукой тех самых интеллигентов, которых так старался ублажить. Ублажил, ничего не скажешь!

Народ метался по улицам между местом злодеяния и Зимним дворцом. Кровь на берегу Екатерининского канала уже засыпали опилками, лишь развороченная изгородь напоминала о происшедшем. Константин Петрович сошел с кареты, осмотрел страшное место, запоздалый ужас вполз куда-то под самое горло. Торопливо перекрестился, бойко впрыгнул в карету, махнул кучеру следовать дальше, к Зимнему дворцу.

Площадь перед ним полна была плачущего и празднично-бобытствующего народа. Когда поднимался по ступеням, вышел наследник с глазами, полными слез.

— Папа скончался, — сказал он тихо.

Скорбный лицом, Константин Петрович подошел к ученику своему, слова уж были заготовлены, но не понадобились, Александр обнял его, повел с собою.

Умер император в маленьком кабинете, и теперь над ним рыдала Юрьевская, «погубительница», чуть не вырывалось у Константина Петровича. Здесь же стояли смертельно бледные Лорис-Меликов, Валуев, Адлерберг, Рылеев. Дни их у трона сочтены, хотя хитрый Лорис уже получил от нового императора отказ в просьбе об отставке. Ничего, попросит еще. А с министром двора и Рылеевым наследник справится сам, без помощи Победоносцева. Новый царь не простит им Юрьевской.

Победоносцев сумрачно вздыхал, молился, якобы украдкой, тихими шагами ходил из покоев в покои, наконец, дождался приглашения в Аничков дворец на завтра, к одиннадцати утра, и покинул Зимний.

Утром в Аничковом Победоносцева встретил уже не убитый горем сын, а новый император. Что-то дедовское, от Николая Павловича, было в его облике — взгляд суров, решителен и беспощаден. Аудиенция была кратка. Александр III дал на прочтение проект правительственного сообщения о подготовительных законодательных комиссиях, который покойный отец, прежде чем печатать, предположил обсудить в Комитете министров 4 марта. Ну, конечно, не до того сейчас, денька три-четыре подождем, надо подготовиться. Дал и проект указа, уже одобренный покойным императором, готовый поступить в Правительствующий Сенат. Тот самый, с которым два месяца

назад наследник попросил ознакомить Победоносцева, но лукавый Лорис дело это замотал, дожидаясь момента, когда что-нибудь не то что предпринять — возразить поздно будет. Но о Лорисе сегодня речи не шло, император торопился в Зимний дворец, и они расстались.

Всякий деятель, ставя перед собою цель и устремляясь к ней очертя голову, — думал Константин Петрович, сидя над бумагами, полученными из Аничкова, — видит только призраки достигнутого счастья и благоденствия. А не дай Бог, дорвется такой деятель до своей цели — призраки-то и рассеются, посох путника обратится в дубину, и шлепнет она энтузиаста по лбу, как всякая палка вторым своим концом. Люди слепы и податливы на соблазнительную ложь. Свободы им подавай! Ишь чего захотели — это в нашей-то ленивой стране, за тысячу лет обжившей рабство, как теплую перину. Ну получишь свободу — а что ты с ней делать будешь?

Интеллигенты всю свободу употребят в пустую и злобную болтовню — все вывалят своими погаными языками, о чем раньше и подумать бы не посмели. Они ж, хоть и просвещенные, те же рабы, отпусти узду — распояшутся, как гимназисты на перемене, легкомыслие и бесчинство, вот и вся их свобода. А народ оторвут от сохи, взбаламутят — пугачевщина раем покажется.

Мудрый был человек обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Россию знал, понимал, чувствовал каждым нервом и любил бы, если б не боялся. Он боялся покорного и хитрого мужика и не верил ему, наверняка зная, что у того динамит за пазухой. Он ведь встретил пару раз мастерового Батышкова (если он и в самом деле Батышков) — бойкого, услужливого добра молодца с глазами ясными, доверчивыми, когда смотрит в лицо, а повернешься спиной — и будто иглой насквозь прошел. Хотел тогда Адлербергу сказать, чтоб гнал этого столяра из Зимнего, да как докажешь свои подозрения?.. Он боялся немытых недоучек-социалистов с фанатическим блеском полусумасшедших глаз и одержимых не мыслью даже, а лозунгом, фразой, исправляющей должность мысли. Он боялся либералов, беспечно подпиливающих ножку у царского трона. И добро бы пилою, а то ведь острым своим языком. Они ж как пустятся в рассуждения — родную мать не пощадят: речь, видите ли, красивая получилась. Реакционеров он тоже боялся — эти своим бестолковым усердием, непрохо-

димой тупостью и неистребимым хищничеством утащат за собою Россию в пропасть.

А пропасть неминуема. Россия еще нахлебается кровушки, еще погрееется в пожарах такой революции, какая никакому Марату не снилась. Хорошо Некрасову — смылся на тот свет, а нам, оставшимся, как бы не довелось лет эдак через десять — двадцать пожить в «эту пору прекрасную». Царь безволен и слаб, и хитрый азиатец Лорис-Меликов вертел им, как душа пожелает. Вот и довертелся! Ишь, и указ уже приготовил, нечто вроде Генеральных штатов с приглашением земских намерен учинить. Законодатели! Да они любой закон в говорильне утопят. Мужик понадеется на своих выборных, а как увидит, что проку от них нет, за вилы-топоры схватится. Слепцы! Как они ближайших последствий не видят! Воистину сказано: «Слепые поводыри слепых». Лорис думает, что в этой мути и суматохе удержит власть и будет смотреться эдаким благодетелем царя и отечества. А как не удержит? Да пусть даже и удержит — он что, вечный? А то мы не знаем, как ночами его кашель терзает. Весь Петербург только об этом и говорит. И что будет, ежели посреди своей «диктатуры сердца и ума» помрет? Развал и анархия. Те же вилы и те же топоры.

Константин Петрович не доверял никому, в каждом прощупывал ложь, корысть и дурные мысли. Но именно поэтому ошибался в людях. Правды он не видел ни в ком, и никогда не мог поверить, что Лорис-Меликов озабочен будущим России больше, чем собственными успехами. Про Лориса давно было известно, что взятки он не берет. Еще когда Терской областью управлял, немало, говорят, побед одержал над казнокрадами и расхитителями земель. Вот потому-то ему и нет веры! Честность и неподкупность как особую роскошь Константин Петрович признавал только за собой. Раз не ворует, значит, что-то он там себе думает. А раз «что-то он там себе думает», то вдвойне опасен. Неворующего чиновника не на чем прихватить, а значит, и узды на него нет. Для государства же нет страшнее необузданного деятеля. Но приходится смиряться, нынче этот хитрый армянин сильнее, такой власти даже у Бирона при Анне Иоанновне не было, а ему все мало. Такой заведет Россию в анархию, а дальше хоть трава не расти. Ему, видите ли, мнение курсисток дороже порядка. А ведь за порядком следить и приставлен! Это тебе не турецкий Карс за двадцать копеек ассигнациями брать.

Константин Петрович был как в лихорадке. Действовать, действовать! Настало время не разговоры разговаривать, а действовать быстро и решительно. Спасать Россию. От либералов, от болтунов, интеллигентов и революционеров. Но главный-то болтун вона где — на самой вершине власти. Ничего, доберемся и до вершины!

## НОВЫЙ ЦАРЬ

Утром 1 марта 1881 года великий князь Александр поднялся с постели наследником цесаревичем и в соответствии с привычным званием своим планировал день. К обеду ожидал он Иллариона Воронцова-Дашкова с супругою, но лакеи только начали накрывать столы, примчался фельдъегерь из Зимнего: беда! Отец ранен бомбою...

Он еще застал отца живым, то есть дышащим, сознание у раненого отсутствовало, только и успел причаститься, а дальше был бред, сыновей уже не узнавал. Вид его ран был страшен, взрывом оторвало ноги — такого Александр не помнил с войны, когда на его глазах разнесло поручика Сидорова, и эта картина преследовала потом великого князя долгие месяцы после заключения мира и сделала его, человека отважного и решительного, врагом войны на всю жизнь. Еще утром, раздраженный против отца какой-то мелочью (а перед лицом смерти все — мелочь), он вдруг почувствовал, как любил папу, где-то в груди все рвалось, он физически ощущал эти разрывы.

Кончилась жизнь. И не одного только императора — его, наследника, тоже. Не стало великого князя Александра Александровича. Есть император всероссийский Александр III. И все пространство от Балтийского побережья до неведомой дикой Чукотки вдруг свалилось на его плечи. Этого часа он ждал, и ждал давно, и знал, что у него, в его царствование, все будет иначе, он возьмет власть твердой рукою, и никакая крамола пикнуть не посмеет, и порядок, покой установятся, как при деде покойном Николае I, народ полюбит его — истинно русского царя, крепкого и сильного, который поведет Россию к процветанию и заставит уважать ее все государства. Но час этот обрушился внезапно, не дав и секунды опомниться, хоть что-то обдумать, начать новые меры, о которых столько было говорено в великокняжеском Аничковом дворце с ближайшими советниками — Победоносцевым, Катковым, Островским...

Не успел предаться обыкновенному человеческому горю — и ты уже ни себе самому, ни горю своему не принадлежишь. Любое твое слово — не праздный совет, который можно и не исполнить, а беспрекословный приказ. И ты, отдавая его, отец говаривал, должен помнить: в столице ногти стригут, а на Камчатке головы рубят — таково уж наше русское усердие. Министр внутренних дел, всегда бодрый, молодецки бравый — покори-тель Карса, ветлянской чумы и революционной смуты, — вид имел потерянный, смуглое лицо его было бледно, резко обозначились армянские черты, глаза угасли в мировой отчаянной скорби, и во всем облике главенствовал теперь невероятных для русского глаза размеров унылый нос, сгорбившийся под тяжестью ужасных событий нынешнего дня. Лорис-Меликов подал Александру две бумаги: наскоро составленный манифест о его воцарении, начинавшийся со слов «Свершилась Божья воля», которые потом немало насмешек обрушат на его голову, и прошение об отставке, поскольку первая вина в случившемся падает на министра внутренних дел, для того и поставленного, чтобы жизнь самодержца русского была в полной безопасности, чтобы ничто не угрожало покою империи. Манифест Александр подписал, а прошение порвал:

— Я тебе верю. Твоей вины тут нет. Ты же предупреждал и папу и меня еще вчера вечером и сегодня. Нет-нет, об отставке и речи быть не может. Ты мне нужен.

В эту минуту Александр искренне верил, что без умного и честного министра внутренних дел ни ему самому, ни Российской империи никак не обойтись, а что его люто ненавидят и ни на грош ему не верят дядя Костя, Катков, а за ним и прочие московские патриоты — это не столь важно: перед лицом всеобщей опасности разные силы объединятся и будут верой и правдой служить новому царю и тысячелетнему отечеству.

Ко всему прочему, в руках у Лориса все нити заговора, уже арестован главный злодей — некто Желябов, схвачены сегодняшние бомбисты, но вся крамола, конечно, не подавлена, и теперь надо ожидать покушений на самого Александра III.

Это он и сказал на следующий день Победоносцеву, когда тот прибыл в Аничков дворец и стал развивать свои любимые мысли о спасении отечества от смуты, для чего в первую очередь надобно избавиться от хитрого армянина и фокусника Лорис-Меликова, его советчиков Абазы и Милютина и оградить Рос-

сию от тлетворного влияния Мраморного дворца — резиденции великого князя Константина Николаевича.

— Оттуда, оттуда распространяется ложь великая, зловередный дух конституции по западному образцу, а Россия должна своим умом жить, ее путь — особый.

Мысль эту об особом пути, особом предназначении России Александр III разделял вполне — эта мысль, скорее, сильное чувство очень легко привилось в его ленивом, лишь слегка, вполсилы обремененном просвещением сознании. Александр в своем интеллектуальном развитии остановился на ощущении подростка, вдруг понявшего причастность великому народу, со всех сторон окруженному тайными и явными недоброжелателями, ожидающему от царя твердой руки и непреклонной воли. Для генерала, каковым с детских лет готовили второго царского сына, этого было бы вполне достаточно, но в 1865 году девятнадцатилетний Александр после скоропостижной смерти старшего брата Николая в одночасье стал наследником престола — будущим главой многонационального государства, и следовало бы для управления такой машиной да еще в пору великих реформ учиться всему заново. Учиться же Александр не желал.

Отца, прошедший курс наук под руководством самого Василия Андреевича Жуковского, едва ли мог служить образцом. Все это западное гуманистическое образование, как верно надумил наследника Константин Петрович Победоносцев — несомненно умнейший и достойнейший человек в отечестве, — только развалило стройную систему самодержавия, оставленную потомкам великим дедом — истинным русским царем Николаем Первым, распустило повсеместно крамолу и смуту, а страну надо держать крепко, в строгости и благочестии. Да-с, в строгости и благочестии.

Вот и держи, и не когда-нибудь, а сейчас, сегодня — ты уже вторые сутки монарх, са-мо-держец!

— Не время, Константин Петрович, людьми разбрасывать-ся, надо всем вместе идти вперед и исполнить волю отца моего.

Мысли Александра путались, куда делась решимость его, не раз выказанная при том же Константине Петровиче, — вмиг покончить с этим гнилым, разлагающим либерализмом, водворить повсеместно порядок, каков был при дедушке Николае, усмирить бунтовщиков и пропагаторов, окоротить казнокрадов и мздоимцев и вести империю к процветанию и спокойствию, не озираясь ни на какое «общественное мнение».

Однако ж Победоносцев, увидев пропасть, разверзшуюся под ногами нового царя, объяснением не удовлетворился и прислал одно за другим два наставления бывшему воспитаннику своему. В первом, находясь под впечатлением от слез своих лакеев и кухарок по убиенному царю, Константин Петрович советовал учредить для простого богомольного народа на месте гибели императора на берегу канала часовню. Константин Петрович не был бы Константином Петровичем, если б к сентиментальным мольбам не прибавил злой, яростной желчи: «Пусть шумит вокруг проклятая петербургская интеллигенция со всеми ее безумными звонцами; тут будет святая тишина для русского сердца». А в вечернем, всего час спустя, письме указал и адрес «проклятой».

«Ваше Императорское Величество! — писал старый и надежный слуга престола. — Не могу успокоиться от страшного потрясения. Думая об Вас в эти минуты, на кровавом пороге, через который Богу угодно провесть Вас в новую судьбу Вашу, вся душа моя трепещет за Вас — страхом неведомого, грядущего на Вас и на Россию, страхом великого, несказанного бремени, которое на Вас ложится. Любя Вас как человека, хотелось бы, как человека, спасти Вас от тяготы в привольную жизнь; но на это нет силы человеческой, ибо так *благоволил Бог*. Его была Святая воля, чтобы Вы для этой судьбы родились на свет, и чтобы брат Ваш возлюбленный, отходя к Нему, указал Вам на земле свое место. Народ верит в эту волю Божию и по Его велению возлагает надежду свою на Вас и крепкую власть, Богом врученную Вам. Да благословит Бог! Да ободрит Вас молитва народная, а вера народная да даст Вам силу и разум править крепкой рукой и твердой волей.

Простите, Ваше Величество, что не могу утерпеть и в эти скорбные часы подхожу к Вам с своим словом: ради Бога, в эти первые дни царствования, которые будут иметь для Вас решительное значение, не упускайте случая заявить свою решительную волю, прямо от Вас исходящую, чтобы все слышали и знали: «Я так хочу, или я не хочу и не допущу».

Гнетет меня забота о Вашей безопасности. Никакая предосторожность не лишняя в эти минуты. Не я один тревожусь: эту тревогу разделяют все простые русские люди. Сегодня было у меня несколько простых людей, которые все говорят со страхом и ужасом о Мраморном дворце. Мысль эта вкоренилась в народе.

Смею еще напомнить Вашему Величеству о Баранове. Это человек, преданный Вам, — я знаю, — и умеющий действовать, когда нужно. Его ждут из Ковно послезавтра.

Вашего Императорского Величества верноподданный  
*Константин Победоносцев*».

Простому русскому человеку только и дела что до Мраморного дворца и разговоров, которые там ведутся. Но Константин Петрович знал, кому и что он пишет, он прекрасно отдавал себе отчет, в какую почву и какое зерно бросает. О ненавистном Лорисе — ни слова. Его черед, как давеча царь дал понять, еще не пришел.

Другое дело великий князь Константин. Двух дядей своих, Николая Николаевича и Константина Николаевича, новый император терпеть не мог. Первого за то, что был слишком глуп, второго за то, что слишком умен. И очень как-то кстати упомянул Константин Петрович про Николая Михайловича Баранова в роли спасителя отечества и престола. Ему ли не знать, как великий князь Константин ненавидит интригана и лгуна Баранова! И какой удар по Мраморному дворцу нанесет назначение Баранова на высокую должность в столице.

Читая письмо учителя своего, Александр, человек сентиментальный и в собственных глазах добрый, растрогался, он чувствовал правоту обер-прокурора Священного Синода и горячую заботу о нем самом и о всей России. Конечно, конечно, он еще доберется до дядюшки адмирала, но не сейчас, чуть погода. Царь пока не чувствовал в себе никакой решимости, переход из цесаревича в цари оказался неожиданно труден.

Все дни, часы начала марта были заполнены похоронными хлопотами, царь все распоряжения взял на себя — чтобы ни на минуту не оставаться наедине с беспокойными мыслями, тревогами, самым простым страхом — а страх сковывал каждое утро, едва выходил из дому и садился в карету. В конце концов решил переехать на первое время в Гатчину и оттуда отдавать распоряжения и указы.

Только шестого числа Александр принял с всеподданнейшим докладом Лорис-Меликова. Речь шла о последнем решении в Бозе почившего императора Александра II об учреждении подготовительных законодательных комиссий, о публикации указа на сей счет в «Правительственном вестнике». Одобрив тогда эту идею, отец распорядился обсудить проект постановления в Комитете министров в минувший вторник, 4 марта.

Лорис оправился от несчастья 1 марта, держался уверенно, разве что ироническая усмешка, всегда таившаяся в уголках губ, исчезла бесследно — это был строгий государственный деятель, растворивший свой ум в заботах об отечестве. Очень скромно, не умаляя собственной вины за промах нижних полицейских чинов, совершенный две недели назад, когда осматривали подозрительную квартиру на Малой Садовой, доложил, что вчера в этой же квартире был обнаружен подкоп с заложенной взрывчаткой, которая должна была сработать во время проезда царской кареты. Но сейчас подкоп обезврежен, арестованы новые лица, причастные к убийству покойного императора.

По поводу дел текущих, оставшихся незавершенными после трагедии, он очень толково и доходчиво доказал необходимость учреждения законодательной комиссии с участием выборных, успокоил тревогу нового императора, не умалит ли такая комиссия царскую власть, ведь говорил же отец им с Владимиром, что подписал конституцию в России. До конституции было далеко и по времени — не раньше осени, когда сенаторы подведут итог своим ревизиям, и по сути — выборные от земств и крупных городов обладали лишь совещательным голосом в решении местных, их собственных земств касающихся вопросов. Так что резолюцию на всеподданнейшем докладе по этому поводу успокоенный объяснением министра внутренних дел Александр наложил такую: «Доклад составлен очень хорошо». И назначил срок нового обсуждения в Комитете министров — 8 марта.

Но тень сомнения осталась. Вечером принесли очередное письмо от Константина Петровича. Оно окончательно смутило императора.

«Ваше Императорское Величество!

Измучила меня тревога. Сам не смею явиться к Вам, чтоб не беспокоить, ибо Вы встали на великую высоту. Не знаю ничего, — кого Вы видите, с кем Вы говорите, кого слушаете и какое решение у Вас на мысли. О, как бы я успокоился, когда бы знал, что решение Ваше принято и воля Вашего Величества определилась.

И я решаюсь опять писать, потому что час страшный и время не терпит. Или теперь спасти Россию и себя, или никогда. Если будут Вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направле-

нии, надобно уступить так называемому общественному мнению, — о, ради Бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и Ваша: это ясно для меня, как день. Безопасность Ваша этим не оградится, а еще уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родителя Вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только расsvирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью. Хотя бы погибнуть в борьбе, лишь бы победить. Победить нетрудно: до сих пор все хотели избегать борьбы и обманывали покойного Государя, Вас, самих себя, всех и все на свете, потому что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи и фокусники.

Нет, Ваше Величество: один только и есть верный, прямой путь — встать на ноги и начать, не засыпая ни на минуту, борьбу, самую святую, какая только бывала в России. Весь народ ждет Вашего властного на это решения, а как только почует державную волю, все поднимется, все оживится, и в воздухе посвежеет.

Народ возбужден, озлоблен; и если еще продлится неизвестность, можно ожидать бунтов и кровавой расправы. Последняя история с подкопом приводит в ярость еще больше народное чувство. Не усмотрели, не открыли; ходили осматривать и не нашли ничего. Народ одно только и видит здесь — измену, — другого слова нет. И ни за что не поймут, чтоб можно было теперь оставить прежних людей на местах.

И нельзя их оставить, Ваше Величество. Простите мне мою правду. Не оставляйте Лорис-Меликова. Я не верю ему. Он фокусник и может еще играть в двойную игру. Если Вы отдадите себя в руки ему, он приведет Вас и Россию к гибели. Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. Но в смысле государственном он сам не знает, чего хочет, — что я сам высказывал ему неоднократно. И он — не патриот русский. Берегитесь, ради Бога, Ваше Величество, чтоб он не завладел Вашей волей, и не упускайте времени.

А если не он, то кто же! Ваше величество, — я их всех вижу и знаю, каких грошей они стоят. Изю всех имен смею назвать вам разве гр. Николая Павл. Игнатъева. Он имеет еще здоровые инстинкты и русскую душу, и имя его пользуется доброй славой у здоровой части русского населения — между простыми людьми.

Возьмите его на первый раз, но кого-нибудь *верного* надобно взять немедленно.



Петербург надобно было с первого же дня объявить на военном положении: в Берлине после покушения тотчас сделали это и умели распорядиться немедленно.

Это — проклятое место. Вашему Величеству следует тотчас после погребения выехать отсюда в чистое место, — хотя бы в Москву, — и то лучше, а это место бросить покуда, пока его еще не очистят решительно. Пусть здесь останется новое Ваше правительство, которое тоже надо очистить сверху донизу. — Здесь, в Петербурге, люди найдутся авось. Завтра приедет сюда Баранов; еще раз смею сказать, что этот человек может оказать Вашему Величеству великую службу, и я имею над ним нравственную власть.

Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходов, о представительном собрании.

Все это ложь пустых и дряблых людей, и ее надобно отбросить ради правды народной и блага народного.

Сабуров не может быть долее терпим на месте: это совсем тупой человек, и тупость его наделала много бед, и с каждым днем больше делает. В приискании ему преемника было бы не так много затруднений. Из называемых кандидатов всех серьезнее барон Николаи: но в ожидании прочного назначения есть возможность немедленно поручить управление Делянову, которого знает все ведомство очень близко, и человек здорового духа.

Ваше Величество. Простите меня за откровенную речь. Но я не могу молчать, — долг мой говорить Вам; если не ошибаюсь, Вам никогда не было неудобно слушать меня. Вы, конечно, чувствовали, при всех моих недостатках, что я при Вас ничего не искал себе, и всякое слово мое было искреннее. Бог меня так поставил, что я мог говорить Вам близко, но верьте, счастлив бы я был, когда бы не выезжал никогда из Москвы и из своего маленького домика в узком переулке.

Страх берет меня, когда думаю, что Вы одиноки и не на кого Вам опереться. Ради Бога, если бы Вы пожелали ближе поговорить о том, что я пишу, прикажите мне явиться, — я каждый час и каждую минуту на службе Вашей. Сам собою я теперь не в праве явиться к Вам. Позовите к себе старика *С. Гр. Строганова*: он человек правды, старый слуга Ваших предков, свидетель и деятель великих исторических событий. Он на краю гроба, но голова его свежа, и сердце его русское. Нет другого человека в России, с кем было бы благоприятнее

Вам иметь совет в эту страшную минуту. Сегодня он приезжал ко мне, взволнованный, расстроенный, исполненный тревожной заботы об Вас и об России.

Боже, Боже! Спаси нас!

Но мы люди Божии и должны *действовать*. Судьбы России на земле — в руках Вашего Величества. Благослови Боже Вам сказать слово правды и воли, и вокруг Вас соберется полк истинно русских, здоровых людей вести борьбу на жизнь и на смерть за благо, за всю будущность России.

Вашего Императорского Величества верноподданный

*Константин Победоносцев.*

6 марта 1881 г.».

Письмо это тотчас же нарушило покой в душе Александра, воцарившийся после умного и убедительного доклада Лорис-Меликова. Министр с его черными чарующими глазами и впрямь показался хитрым фокусником, преследующим какие-то свои цели — смутные, неясные, страшные. Император пожалел о своей нечаянно вырвавшейся доброжелательной резолюции на Лорисовом докладе. Но Бог вразумит, Бог не оставит ни царя, ни Россию; надо завтра же всенепременно встретиться с Константином Петровичем, он человек разумный, подскажет.

И тут же написал ответ.

«Благодарю от всей души за душевное письмо, которое я вполне разделяю. Зайдите ко мне завтра в 3 часа, я с радостью поговорю с Вами.

На Бога вся моя надежда.

*А.»*

Константин Петрович угадал и угодил во всем. Каждое слово его письма, писанное с хорошо обдуманым темпераментом и последовательным трепетом душевным, пронимало простую душу его чувствительного ученика, обывающегося с внезапно постигшей участью русского монарха.

Умом Александра не пронять — он боится ума. И умников боится. Так что напрасно Лорис-Меликов полагается на свою и впрямь недюжинную сообразительность и образованность. С такими людьми, как Александр III, образованность-то и надобно прятать поглубже, ничем ее не выказывать. Странное дело: так ведь легко стать человеком образованным — возьми

книжку и почитай. Но в человеке ленивом, не желающем сделать над собою такого простого усилия, образованность собеседника вызывает неодолимое раздражение и подозрительность. Ему кажется, что его дразнят эрудицией, начитанностью; и душит никогда толком не осознаваемая люта и слепая зависть. Зависть к чужим, недоступным наслаждениям.

На этом-то слепом и злобном чувстве своего воспитанника великолепно сыграл Победоносцев, возбуждая подозрительность и неверие ни единому слову Лорис-Меликова. И как ловко он обернул победу над заговорщиками в поражение!

Ничего не скажешь — умнейший человек обер-прокурор Священного Синода. Но кого ж этот умнейший человек выдвигает в качестве спасителей отечества и престола! Граф Николай Павлович Игнатьев? Но его еще турки в пору посольства в Константинополе прозвали Врун-паша. А ваш, Константин Петрович, клевет, в скором будущем свирепейший из цензоров Феоктистов оставит о нем такую весьма точную характеристику: «Кому в России не известна была печальная черта его характера, а именно необузданная, какая-то ненасытная потребность ко лжи? Он лгал вследствие потребности своей природы, лгал, как птица поет, собака лает, лгал на каждом шагу без малейшей нужды и расчета, даже во вред самому себе». Баранов лгал все-таки с большим расчетом — «Георгия» получил, но и себе навредил немало после неизбежного разоблачения. Делянов, правда, не лгал, но кому в России не была известна тупость и ограниченность этого человека? Впрочем, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Константин Петрович презирал их настолько, что не снисходил разбираться в них.

Но главный козырь Константина Петровича — народ, простые русские люди. Можно подумать, что обер-прокурор Священного Синода время свое проводит исключительно в уличной толпе или среди пригородных крестьян. За простых людей у Константина Петровича сходили и московские ученые любомудры, и бойкие пером журналисты «истинно русского направления», и директор Публичной библиотеки, и фрейлины Ея Величества двора, и камергеры — все, кто разделял его взгляды. А он, бедный обер-прокурор, — всего лишь их идеолог и выразитель, ибо Бог наградил его этим даром.

О, эта фигура красноречия — простой народ, простые люди! Сколько хребтов под ее сурдинку переломано в иные повороты нашей затейливой и щедрой на казни истории! Кто только не охаживал этой простой, нетесаной дубиной врагов своих — и

реальных, и выдуманных. И монархисты-охранители, и безумные фанатики революции. Вы, Константин Петрович, хоть и ждали революции, ее грозowego разряда, который очистит атмосферу, и многое сделали для ее грядущей победы как раз этим своим письмом от 6 марта и другими письмами по тому же адресу, статьями, а более всего — тихими советами императору наедине, до нее не доживете: только краешек ее, «генеральная репетиция», смертельно перепугает вас перед самой могилой.

## ПЕРВЫЙ УДАР

Цели своей письмо Победоносцева от 6 марта достигло. Император счел за необходимое пригласить на заседание Совета министров 8 числа старого царедворца графа Сергея Григорьевича Строганова. Еще ничего толком не было понятно — куда, в какую сторону двинется Россия в новое царствование, что думает император, кого слушает и кому верит.

Чувствовалось одно: сегодняшний день — решающий. И по меньшей мере шестеро из участников того заседания — Лорис-Меликов, Милютин, Валуев, Маков, Победоносцев и Перетц — оставили о нем свои заметки. Наиболее полные — государственный секретарь Егор Абрамович Перетц, и мы сочли необходимым привести его запись в «Дневнике» от 8 марта 1881 года полностью. Следует заметить, что копия этой дневниковой записи хранится в личном архиве Александра III.

«На 8 марта в два часа пополудни назначено было заседание Совета Министров. В повестке, полученной мною накануне поздно вечером, не было назначено предмета совещания. Поэтому и так как государственный секретарь присутствует в заседаниях Совета Министров собственно для представления объяснений по делам Государственного Совета, то я просмотрел, насколько позволяло время, записки по всем нашим важнейшим делам. Заботы мои оказались напрасными, так как вопрос, подлежавший обсуждению, совершенно выходил из общего ряда. Приехав в Зимний дворец за четверть часа до назначенного времени, я застал в указанной для сбора малых комнат комнате многих министров, от которых узнал, что обсуждаться будет предложение графа Лорис-Меликова об учреждении редакционных комиссий с участием представителей от земств и городов.

Кроме министров, председателей департаментов Государственного Совета, меня и заведывающего делами Совета статсекретаря Н. П. Мансурова, прибыли великие князья Владимир Александрович, Константин Николаевич и Михаил Николаевич и граф С. Г. Строганов.

Ровно в два часа Государь прислал спросить, все ли налицо, и, когда ему было доложено, что не явился только великий князь Николай Николаевич по случаю болезни, его величество вышел в малахитовую комнату и, остановясь у дверей, попросил всех перейти в назначенную для заседания залу (через комнату от малахитовой). С каждым из проходивших Государь приветливо здоровался, подавая руку, которой с чувством пожимал руку проходившего. В зале стоял большой продолговатый стол, накрытый малиновым сукном; вокруг стола было поставлено 25 кресел; перед каждым креслом лежала на столе бумага и карандаш. Посреди стола, спиною к окнам, обращенным на Неву, было место Государя. Напротив Его Величества, подле заведывающего делами Совета, поместился министр внутренних дел, который должен был докладывать свои предположения; все же остальные разместились, как случилось (См. рис. 2).

Когда все заняли места, Его Величество, не без некоторого смущения, сказал:

«Господа! Я собрал вас сегодня, несмотря на переживаемое нами крайне тягостное время, для обсуждения одного вопроса, в высшей степени важного.

Граф Лорис-Меликов, озабочиваясь возможно всесторонним рассмотрением предположений, которые будут выработаны после окончания сенаторских ревизий, а также для удовлетворения общественного мнения, докладывал покойному Государю о необходимости созвать представителей от земства и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным моим отцом, который приказал обсудить ее подробно в особом совещании под председательством графа Валуева, при участии моем, великого князя Константина Николаевича и некоторых других лиц.

Журнал совещания, которое в сущности согласилось с проектом, был представлен Его Величеству и одобрен им. Покойный Государь сделал, однако, некоторые замечки относительно частных. Нам предстоит теперь обсудить эти замечки. Но прошу вас быть вполне откровенными и говорить мне ваше мнение относительно всего дела, нисколько не стесняясь.

Предваряю вас, что вопрос не следует считать предрешенным, так как и покойный батюшка хотел, прежде окончательно

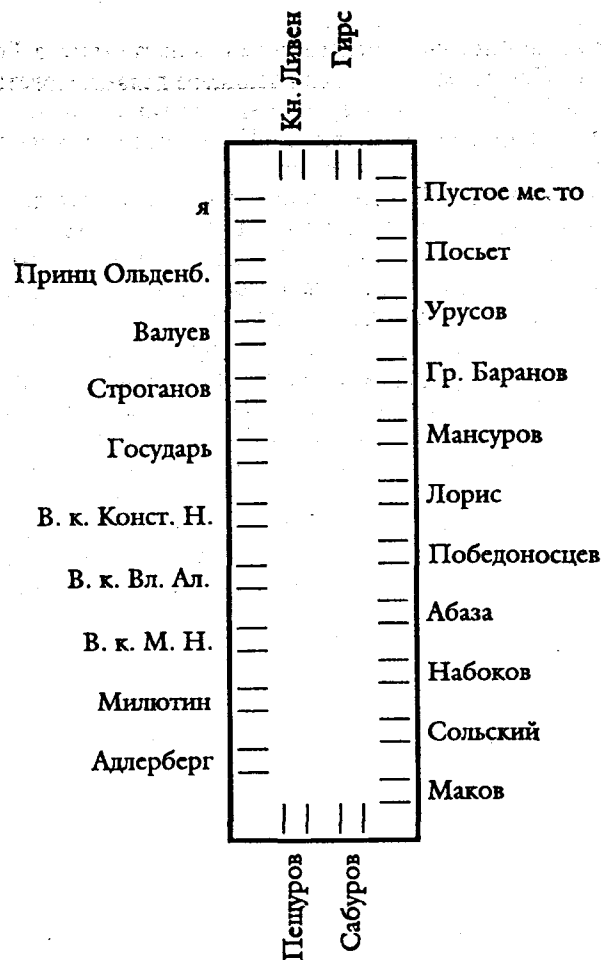


Рис. 2

ного утверждения проекта, созвать для рассмотрения его Совет Министров».

Затем, обратясь к графу Лорис-Меликову, Государь поручил ему прочесть записку о предположениях и проект публикации в «Правительственном вестнике».

Записка, прочитанная Лорисом, была составлена еще до катастрофы 1 марта; в начале ее говорилось об успехах, достигнутых примирительной политикой последнего времени.

В этом месте Государь прервал чтение словами: «Кажется, мы заблуждались».

Затем говорилось в записке о замеченных беспорядках в местном управлении и необходимости устройства его на лучших основаниях. Прежде всего нужно было обстоятельно изучить существующее, узнать, в чем именно заключаются его недостатки и зависят ли они от одних только злоупотреблений или же от несовершенства самого закона. С этой целью по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел, покойному Государю благоутодно было назначить сенаторские ревизии, которыми собирается, а отчасти уже и собран, богатый материал, требующий разработки. Придется составить весьма важные законодательные проекты. Но для того, чтобы проекты эти действительно соответствовали ощущаемым потребностям, министр внутренних дел считает необходимым, чтобы они были составлены и обсуждены при участии людей практических, знающих условия губернской и уездной жизни. Поэтому граф Лорис-Меликов испрашивал соизволение в Бозе почившего Императора на учреждение особой редакционной комиссии, в которой, кроме должностных лиц правительственных ведомств, участвовали бы представители земства (по два от каждой губернии) и городов (по одному от каждого губернского города и два от столиц). Комиссия должна подразделяться на отделы для первоначального обсуждения отдельных проектов, а затем соединиться в общее собрание под председательством лица, назначенного Государем Императором. Выработанные таким образом проекты должны быть внесены на рассмотрение Государственного Совета, права которого остаются без всякого изменения.

В проекте публикации выражена была сущность изложенного в записке, причем сказано было, что предположенные меры были одобрены покойным Государем и утверждены царствующим Императором.

По прочтении графом Лорис-Меликовым записки и проекта публикации Его Величество, вновь обращаясь ко всем присутствующим, просил их, в виду важности предлагаемой меры и тех последствий, к которым она может привести, высказывать совершенно откровенно мнение их, насколько не стесняясь предварительным одобрением как покойного Государя, так и его самого.

Засим Государь обратился прежде всех к сидевшему рядом с ним графу Строганову, спрашивая его, что думает он о предлагаемой мере.

Граф Строганов сказал приблизительно следующее: «Ваше Величество, предполагаемая вами мера, по моему мнению, не только не своевременная при нынешних обстоятельствах, требующих особой энергии со стороны правительства, но и вредная.

Мера эта вредна потому, что с принятием ее власть перейдет из рук самодержавного монарха, который теперь для России безусловно необходим, в руки разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде. В последнее время и без предполагаемой новой меры власть значительно ослабла, в журналах пишут Бог знает что и проповедуют невозможные доктрины. Дошло до того, что, как я слышал, сам министр внутренних дел признал необходимым призвать к себе журналистов, чтобы потребовать от них некоторой умеренности (обращаясь к Лорис-Меликову). Не так ли?»

Граф Лорис-Меликов: «Ваше Величество, граф Сергей Григорьевич не совсем прав. Я лично не видел редакторов повременных изданий с осени. В последнее же время, с разрешения вашего, я действительно объявил им, — но не сам, а через начальника главного управления по делам печати, что если в каком-либо периодическом издании будет напечатана статья о необходимости конституции, то такое издание будет мною немедленно прекращено, притом не на основании закона 6 апреля 1866 года, а в силу особого полномочия, дарованного мне Вашим Величеством. Угроза эта действовала».

Граф Строганов: «И слава Богу... Но, Государь, подобная мера не будет возможна уже тогда, когда вы вступите на путь, вам предлагаемый.

Путь этот ведет прямо к конституции, которой я не желаю ни для вас, ни для России...»

Государь: «Я тоже опасуюсь, что это первый шаг к конституции». Затем, обратясь к графу Валуеву, Его Величество сказал: «Граф Петр Александрович, вы, как председатель комиссии, которая рассматривала проект, вероятно, пожелаете высказать ваш взгляд».

Граф Валуев: «Ваше Императорское Величество, я, с моей стороны, не могу разделять тех опасений, которые только что были высказаны глубокоуважаемым мною графом Сергеем Григорьевичем.

Предполагаемая мера очень далека от конституции. Она имеет целью справляться с мнением и взглядами людей, знающих более, чем мы, живущие в Петербурге, истинные

потребности страны и ее населения, до крайности разнообразного. В пределах необъятной империи, под скипетром, Вам Богом врученным, обитают многие племена, из которых каждое имеет неоспоримое право на то, чтобы верховной власти Вашего Величества были известны его нужды.

Вам, Государь, неизвестно, что я — давнишний автор, могу сказать, ветеран рассматриваемого предположения. Оно сделано было мною, в несколько иной только форме, в 1863 году, во время польского восстания, и имело [целью], между прочим, привлечь на сторону правительства всех благомыслящих людей. Покойный Император, родитель Вашего Величества, изволил принять мое предложение милостиво, однако не признал своевременным дать ему тогда ход. Затем я возобновил свое ходатайство в 1866 году, но и на этот раз в Бозе почивший Государь не соизволил на осуществление предложенной мною меры. Наконец, в прошлом году я дозволил себе вновь представить покойному Государю Императору записку по настоящему предмету. Участь ее Вашему Величеству известна. Особым совещанием, состоявшимся под председательством его императорского высочества великого князя Константина Николаевича, признано было опять-таки несвоевременным издать к юбилейному торжеству 19 февраля 1880 года какое-либо законоположение о призыве представителей земства.

Из этого краткого очерка Ваше Императорское Величество изволили усмотреть, что я постоянно держался одного и того же взгляда на настоящий вопрос. Я не изменю своих убеждений и теперь. Напротив того, я нахожу, что при настоящих обстоятельствах предлагаемая нам мера оказывается особенно настоятельною и необходимою. Граф Сергей Григорьевич совершенно справедливо указывает на то, что теперь в газетах пишут: Бог знает что. Такие злоупотребления печатным словом могут иметь гибельные для государства последствия. Поэтому необходимо озаботиться, чтобы журналистам, этим самозванным представителям общественного мнения, был создан противовес настоящих, законных представителей общества, которое, без малейшего сомнения, и мыслит, и чувствует совершенно иначе, нежели авторы газетных статей.

Вот, Ваше Императорское Величество, соображения и убеждения мои по существу дела. Что же касается затронутого графом Строгановым вопроса о своевременности издать теперь же проектированное нами положение, то в этом отношении я воздержусь от какого бы то ни было заявления. Ваше Вели-

чество, будучи в сосредоточии дел и обстоятельств, без сомнения, будете сами наилучшим судьей того, следует и возможно ли в настоящую именно минуту предпринимать предлагаемую нам важную государственную меру. Разрешение этого вопроса должно зависеть исключительно от державной воли Вашего Величества.

После речи Валуева Государь обратился к великим князьям, но все они пожелали высказать свое мнение после других, когда вопрос более выяснится. Тогда попросил слова военный министр.

Граф Д. А. М и л ю т и н: «Предлагаемая Вашему Величеству мера, — сказал он, — по моему мнению, совершенно необходима, и необходима именно теперь. В начале каждого царствования новый монарх для пользы дела должен заявить народу свои намерения и виды относительно будущего. По части внешней политики взгляды Вашего Величества нашли себе прекрасное выражение в циркулярной депеше министра иностранных дел. Как видно из известий, приходящих со всех концов Европы, депеша эта произвела всюду наилучшее впечатление. Но она касается собственно международных наших сношений, — из нее не видно, какой внутренней политики будет держаться Император Александр III. Между тем вопрос этот естественно озабочивает всю Россию. Безотлагательное разрешение его представляется мне в высшей степени настоятельным.

Покойный Государь, по вступлении на престол, предпринял целый ряд великих дел. Начатые им преобразования должны были обновить весь строй нашего отечества. К несчастью, выстрел Каракозова остановил исполнение многих благих предначертаний великодушного Монарха. Кроме святого дела освобождения крестьян, которому покойный Государь был предан всей душой, все остальные преобразования исполнялись вяло, с недоверием к пользе их, причем нередко принимались даже меры, несогласные с основной мыслью изданных новых законов. Понятно, что при таком образе действий нельзя было ожидать добрых плодов от наилучших даже предначертаний, в России все затормозилось, почти замерзло, повсюду стало развиваться глухое неудовольствие... В самое последнее только время общество ожило, всем стало легче дышать, действия правительства стали напоминать первые, лучшие годы минувшего царствования. Перед самой кончиной Императора Александра Николаевича возникли предположения, рассматриваемые нами теперь. Слух о них проник в общество, и все бла-

гомыслящие люди им от души сочувствуют. Весть о предполагаемых новых мерах проникла и за границу...»

Г о с у д а р ь: «Да, но император Вильгельм, до которого дошел слух о том, будто бы батюшка хочет дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого; на случай же, если бы дело зашло так далеко, что нельзя отступить и обойтись вовсе без народного представительства, император германский советовал устроить его как можно скромнее, дав представительству поменьше влияния и сохранив власть за правительством».

Г р а ф М и л ю т и н: «Ваше Величество, не о конституции идет у нас теперь речь. Нет ее и тени. Предлагается устроить на правильных основаниях только то, что было и прежде. Когда рассматривались проекты крестьянских положений и других важнейших законов, всякий раз, с соизволения покойного Государя, приглашаемы были для предварительного обсуждения этих проектов люди практические, которые знают действительную жизнь, потому что живут не в столице, а в уездах и деревнях, где многие вопросы представляются в ином свете, нежели в нашей среде. Теперь предстоят важные законодательные труды по окончании сенаторских ревизий. Естественно, что для успеха дела необходимо сообразить их всесторонне, т. е. не с канцелярской только или бюрократической точки зрения. Ввиду этого, Ваше Величество, я позволяю себе горячо поддерживать предложение графа Лорис-Меликова».

М и н и с т р п о ч т и т е л е г р а ф о в Л. С. М а к о в: «Ваше Императорское Величество, предложения графа Лорис-Меликова мне не были вовсе известны; я ознакомился с ними в первый раз в настоящем заседании и поэтому не могу сообразить их как бы следовало. Но сколько я мог понять из записки, прочитанной министром внутренних дел, основная его мысль — ограничение самодержавия. Доложу откровенно, что я, с моей стороны, всеми силами моей души и моего разума решительно отвергаю эту мысль. Осуществление ее привело бы Россию к гибели. Таков мой взгляд на этот вопрос вообще. Но кроме того, по долгу совести, я считаю себя обязанным высказать, что не в такие минуты, как те, которые, к несчастью, переживаем мы, возможно заниматься проектами об ослаблении власти и об изменении формы правления, благотворительной для отечества.

В смутное нынешнее время, по глубокому убеждению моему, нужно думать только о том, чтобы укрепить власть и искоренить крамолу.

Воля Вашего Императорского Величества, без сомнения, священна. Если вам, Государь, благоугодно будет утвердить одобренные в Бозе почившим Императором предложения графа Лорис-Меликова, то все мы должны преклониться и все возражения наши должны смолкнуть. Тем не менее я считаю священной обязанностью обратить всемилостивейшее внимание Вашего Величества на то, что при обнародовании постановления по этому предмету нужно принять совершенно иную форму, нежели та, которая предлагается графом Лорис-Меликовым. Нельзя говорить о важной этой мере так, как будто она исходит от министра внутренних дел. Подобный правительственный акт может исходить исключительно от Вас, по завету покойного Государя и силою собственной державной воли Вашего Императорского Величества, а не по мысли и представлению министра внутренних дел. О нем в публикации не должно быть и речи».

М и н и с т р ф и н а н с о в А. А. А б а з а (с некоторою горячностью): «Ваше Императорское Величество, о министре внутренних дел речь идет вовсе не в публикации, приготовленной для «Правительственного вестника», а в докладной записке, которая может исходить только от министра.

Затем, что касается других возражений министра почт и телеграфов, то я попрошу разрешения остановиться прежде всего на указании его о невозможности принять предлагаемую меру в нынешние смутные времена. Я бы понял это возражение, если бы смута исходила из народа. Но мы видим совершенно противное. Смута производится горстью негодяев, не имеющих ничего общего с народом, исполненным любви и преданности своему Государю. Против шайки злодеев, ненавидимых всем населением, необходимо принять самые решительные и строгие меры. Но для борьбы с ними нужны не недоверие к обществу и всему народу, не гнет населения, а совершенно иные средства, — нужно устроить сильную, деятельную и толковую полицию, не останавливаясь ни перед какими расходами. Государственное казначейство отпустит на столь важную государственную потребность не только сотни тысяч, но миллионы, даже многие миллионы рублей.

Наконец, по поводу возражений министра почт, я не могу не заметить, что в предложениях графа Лорис-Меликова, ко-

торые по воле покойного Государя обсуждались в особой комиссии при участии Вашего Величества, нет и тени того, чего опасается статс-секретарь Маков. Если бы они клонились к ограничению самодержавия, которое более, чем когда-либо, необходимо в нынешнее время, то, конечно, никто из нас не предложил бы и не поддерживал бы этой меры.

Проектированные редакционные комиссии должны иметь значение учреждения только *совещательного*. Без совещания с представителями общества обойтись невозможно, когда речь идет об издании важных законов. Только посредством такого совещания познаются действительные нужды страны. Трон не может опираться исключительно на миллион штыков и на армию чиновников. В царствование покойного государя не раз приглашаемы были в различные комиссии и даже в Государственный Совет лица выборные, именно предводители дворянства, председатели земских управ, городские головы и т. п. Теперь предлагается поступить несколько иначе, т. е. приглашать не людей, избранных обществом для совершенно иной цели, а людей, которым население доверит его голос именно для рассмотрения законодательных проектов. Я, с моей стороны, считаю этот прием важным усовершенствованием, потому что очень хороший предводитель дворянства, городской голова или председатель земской управы могут быть очень плохими советниками по части законодательной.

Ваше Императорское Величество, предлагаемая графом Лорис-Меликовым мера представляется мне, как министру финансов, совершенно необходимою еще и потому, что, как Вашему Величеству известно, нам предстоит издать целый ряд законов о новых налогах. Подобного же рода вопросы не могут быть рассматриваемы путем исключительно кабинетным. Для справедливости и практического удобства налога он непременно должен быть соображен при участии тех лиц, которым придется платить его».

Министр внутренних дел граф М. Т. Лорис-Меликов: «Ваше Императорское Величество, при обсуждении настоящих предположений было не раз упоминаемо, что в нынешние смутные времена нужны иные меры, нежели те, которые теперь предлагаются. В этих отзывах слышится косвенный укор мне за то, что я не сумел уберечь незабвенного покойного Государя и общего благодетеля. Я не буду оправдываться. Я действительно виноват, как о том и докладывал вам, Государь, тотчас же после ужасного события

1 марта. Но если я не мог уберечь покойного Императора, то не по недостатку усердия. Я служил ему всеми силами, *всею душою*, и при всем том не мог предупредить катастрофы... Несмотря на убедительную просьбу мою, Вашему Величеству не угодно было уволить меня...»

Г о с у д а р ь: «Нет. Я знал, что вы действительно сделали все, что могли».

Г р а ф Л о р и с-М е л и к о в: «В настоящее время я полагаю, что в отношении к злодеям нужно принять самые энергические меры; но вместе с тем я убежден, что относительно всего остального населения империи правительство не должно останавливаться на пути предпринятых реформ. По окончании сенаторских ревизий нам предстоит издание весьма важных законодательных мер. Необходимо, чтобы меры эти соображены были как можно тщательнее для того, чтобы они оказались полезными в практическом применении.

Затем, не менее важно и то, чтобы на стороне правительства были все благомыслящие люди. Предлагаемая теперь мера может много этому способствовать. В настоящую минуту она вполне удовлетворит и успокоит общество; но если мы будем медлить, то упустим время, — через три месяца нынешние, в сущности весьма скромные, предположения наши окажутся, по всей вероятности, уже запоздалыми».

О б е р-п р о к у р о р С в. С и н о д а К. П. П о б е д о н о с ц е в (бледный как полотно, и, очевидно, взволнованный): «Ваше Величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать Вам все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. Как в прежние времена перед гибелью Польши говорили: «Finis Poloniae», так теперь едва ли не приходится сказать и нам: «Finis Russiae». При соображении проекта, предлагаемого на утверждение Ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальшь, скажу более: он дышит фальшью...

Нам говорят, что для лучшей разработки законодательных проектов нужно приглашать людей, знающих народную жизнь, нужно выслушивать экспертов. Против этого я ничего не сказал бы, если б хотели сделать только это. Эксперты вызывались и в прежние времена, но не так, как предлагается теперь. Нет, в России хотят ввести конституцию, и если не сразу, то, по крайней мере, сделать к ней первый шаг... А что такое конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции, там существующие, суть орудие всякой неправ-



ды, орудие всяких интриг. Примеров этому множество, и даже в настоящее время мы видим во Франции охватившую все государство борьбу, имеющую целью не действительное благо народа или усовершенствование законов, а изменение порядка выборов для доставления торжества честолюбцу Гамбетте, помышляющему сделаться диктатором государства. Вот к чему может вести конституция.

Нам говорят, что нужно справляться с мнением страны через посредство ее представителей. Но разве те люди, которые явятся сюда для соображения законодательных проектов, будут действительными выразителями мнения народного? Я уверяю, что нет. Они будут выражать только личное свое мнение и взгляды...»

Г о с у д а р ь: «Я думаю то же. В Дании мне не раз говорили, что депутаты, заседающие в палате, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей».

П о б е д о н о с ц е в: «...И эту фальшь по иноземному образцу, для нас непригодную, хотят, к нашему несчастью, к нашей гибели, ввести и у нас. Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его Царем. Такая связь русского Царя с народом есть неоцененное благо. Народ наш есть хранитель всех наших доблестей и добрых наших качеств; многому у него можно научиться. Так называемые представители земства только разобщают Царя с народом. Между тем правительство должно радеть о народе, оно должно познать действительные его нужды, должно помогать ему справляться с безысходною часто нуждою. Вот удел, к достижению которого нужно стремиться, вот истинная задача нового царствования.

А вместо того предлагают устроить нам говорильню, в роде французских 'etats g'en'eraux'. Мы и без того страдаем от говорилен, которые, под влиянием негодных, ничего не стоящих журналов, разжигают только народные страсти. Благодаря пустым болтунам, что сделалось с высокими предначертаниями покойного незабвенного Государя, принявшего под конец своего царствования мученический венец? К чему привела великая святая мысль освобождения крестьян?.. К тому, что дана им свобода, но не устроено над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того,

<sup>1</sup> Генеральные штаты — парламент времен Великой французской революции. (Примеч. авт.)

открыты повсюду кабаки; бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и лениться к работе, а потому стал несчастною жертвою целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков.

Затем открыты были земские и городские общественные учреждения, — говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разглагольствуют вкривь и вкось о самых важных государственных вопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует, кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают лица, не живущие со своим семейством, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту.

Потом открылись новые судебные учреждения — новые говорильни, говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления — несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния — остаются безнаказанными.

Дали, наконец, свободу печати, этой самой ужасной говорильни, которая во все концы необъятной русской земли, на тысячи и десятки тысяч верст, разносит хулу и порицание на власть, посеивает между людьми мирными, честными семена раздора и неудовольствия, разжигает страсти, побуждает народ к самым вопиющим беззакониям.

И когда, Государь, предлагают вам учредить, по иноземному образцу, новую *верховную* говорильню?.. Теперь, когда прошло лишь несколько дней после совершения самого ужасающего злодеяния, никогда не бывавшего на Руси, — когда по ту сторону Невы, рукой подать отсюда, лежит в Петропавловском соборе не погребенный еще прах благодущного русского Царя, который среди белого дня растерзан русскими же людьми. Я не буду говорить о вине злодеев, совершивших это ужасающее, беспримерное в истории преступление. Но и все мы, от первого до последнего, должны каяться в том, что так легко смотрели на совершавшееся вокруг нас; все мы виновны в том, что, несмотря на постоянно повторявшиеся покушения на жизнь общего нашего благодетеля, мы, в бездеятельности и апатии нашей, не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, павшего на русскую землю. Все мы должны каяться!..»

Г о с у д а р ь: «Сушая правда, все мы виновны. Я первый обвиняю себя».

**П о б е д о н о с ц е в:** «В такое ужасное время, Государь, надобно думать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые растлевающие речи, а о деле. Нужно действовать!»

Речь эта произвела на многих, в особенности на Государя, весьма сильное впечатление. Сознывая это, А. А. А б а з а произнес взволнованным голосом, но при этом весьма решительно:

«Ваше Величество, речь обер-прокурора Священного Синода есть, в сущности, обвинительный акт против царствования того самого Государя, которого безвременную кончину мы все оплакиваем. Если Константин Петрович прав, если взгляды его правильны, — то вы должны, Государь, уволить от министерских должностей всех нас, принимавших участие в преобразованиях прошлого, — скажу смело, — *великого* царствования.

Смотреть на наше положение так мрачно, как смотрит Константин Петрович, может только тот, кто сомневается в будущем России, кто не уверен в ее жизненных силах. Я, с моей стороны, решительно восстаю против таких взглядов и полагаю, что отечество наше призвано к великому еще будущему. Если при исполнении реформ, которыми покойный Император вызвал Россию к новой жизни, и возникли некоторые явления неутешительные, то они не более как исключения, всегда и везде возможные и почти необходимые в положении переходном от полного застоя к разумной гражданской свободе. С благими реформами минувшего царствования нельзя связывать постигшее нас несчастье — совершившееся у нас царевбийство. Злодеяние это ужасно. Но разве оно есть плод, возросший исключительно на русской почве? Разве социализм не есть в настоящее время всеобщая язва, с которой борется вся Европа? Разве не стреляли недавно в германского императора, не покушались убить короля итальянского и других государей? Разве на днях не было сделано в Лондоне покушение взорвать на воздушном помещении лорда-мэра? Обер-прокурор Священного Синода заявил нам, что вместо учреждения так называемой им «верховой говорильни» нужно главным образом заботиться и радеть о народе. Ваше Величество, в этом последнем собственном отношении, т. е. относительно забот о возможном благе народа, взгляды наши совершенно сходятся. Несмотря на то что всего в ноябре месяце отменен ненавистный всем соляной налог, причем народ освобожден от уплаты в год 15

миллионов рублей, я, не более двух недель назад, имел счастье докладывать покойному Государю, в присутствии Вашем, предложения министра финансов и внутренних дел о понижении выкупных крестьянских платежей на сумму 9 миллионов рублей в год. При первом моем всеподданнейшем докладе Вашему Величеству я счел долгом вновь обстоятельно доложить это дело, испрашивая разрешения Вашего внести его в самое безотлагательное время в Государственный Совет. Вашему Величеству благоугодно было на это соизволить, выразив желание, чтобы дело было рассмотрено в нынешнюю же сессию Совета. Смею думать, что предложения подобного рода служат доказательством заботы нашей и радения нашего о народе. Но, заботясь и радея о нем, не нужно забывать, что, кроме простого народа, в населении государства есть и образованные классы общества. Для пользы дела необходимо, по мере возможности, привлекать их к участию в управлении, выслушивать мнение их и не пренебрегать их советами, весьма часто очень разумными».

**Г о с у д а р с т в е н н ы й к о н т р о л е р Д. М. С о л ь с к и й** (совершенно спокойно): «Ваше Императорское Величество, обер-прокурором Священного Синода было высказано много такого, с чем согласны все. Поэтому между нами нет такого коренного различия в убеждениях, как казалось бы с первого взгляда. Разногласие происходит главным образом от недоразумения. Ни министр внутренних дел, ни все те из нас, которые согласны с его предложением, вовсе не считают предлагаемую им меру средством, ограждающим против преступлений социализма. И при действии ее преступления социалистов будут по-прежнему возможны. Для борьбы с социализмом нужно иметь прежде всего хорошую полицию, которой у нас нет.

С другой стороны, никто не помышляет о конституции или об ограничении самодержавия. В проекте министра внутренних дел, одобренном особым совещанием, в котором ваше величество изволили участвовать, прямо выражено, что редакционная комиссия с участием земства и городов имеет лишь *голос совещательный*; далее сказано также, что существующий порядок рассмотрения дел в Государственном Совете остается без изменения. Ввиду этого о конституции нет и речи.

Если бы в проекте была хоть тень такой мысли, то каждый из присутствующих, без сомнения, отверг бы ее с негодованием. Не конституция, не ограничение власти нужно нам теперь, — нам нужна, напротив того, власть сильная, энергическая, неограниченная, какою она была до сих пор на Руси. Одним

словом, нам нужно самодержавие. Но вместе с тем необходимо, чтобы самодержавная власть могла действовать сознательно, основываясь на познании действительных народных нужд. Константин Петрович уподобил предполагаемую меру составу французских *états généraux*. Уподобление это совершенно неправильное. Всем известно, из кого состояли *états généraux* и какое их было значение. Разве предполагается что-либо подобное этому учреждению? Предлагается созвать около ста человек, избранных губернскими земскими собраниями и городскими думами губернских городов. Нельзя сомневаться в том, что избранные лица будут люди вообще умеренные. Они будут совещаться при участии правительственных деятелей и под председательством лица, назначенного высочайшей властью. Затем, если б это собрание увлеклось, то нельзя думать, чтобы русское правительство, сильное, в некоторых отношениях всемогущее, не имело средств остановить подобное увлечение.

Опасения, и притом напрасные, у нас не новость. Когда покойным Государем возбужден был вопрос об освобождении крестьян, тогда многие у нас боялись революции. Последующие события доказали, что опасения эти не имели ни малейшего основания. Когда введены были земские учреждения, многие предсказывали, что вводимый порядок будет постоянно расти, что земство будет стремиться к приобретению политического значения, что силою вещей правительство будет вынуждено уступить и что таким образом водворится в России правление конституционное. Но разве эти опасения были справедливы? Разве земство стало политической силою и вышло из тех пределов, которые были ему предуказаны законом? За исключением некоторых отдельных случаев не серьезного даже сопротивления, а скорей невинной болтовни, которые были тотчас же остановлены распоряжением правительственной власти, земство наше никогда не выходило из границ. Его можно обвинить скорее в бездеятельности, в апатии. Итак, неоднократно возникавшие у нас до сих пор опасения по случаю принимавшихся либеральных законодательных мер, как дознано неопровержимыми фактами, были напрасны, были несправедливы.

Ваше Императорское Величество, возвращаясь к первоначальному заявлению, я должен снова указать на то, что между нами нет коренного различия в убеждениях. Сам Константин Петрович не отвергает пользы соображения важных законодательных мер при участии людей практических. Но решительно то же самое предлагается и нами. Может быть, мы не

сойдемся с Константином Петровичем в подробностях, но подробности есть дело дальнейшего рассмотрения. Обсуждать проект вновь во всех мельчайших его постановлениях, ввиду важности дела, может быть только полезно. Теперь речь идет собственно об основной мысли, а относительно ее, по глубокому моему убеждению, нет различия во взглядах. Нынешний порядок администрации признан самим правительством во многих отношениях неудовлетворительным и требующим исправления. С этим согласен и Константин Петрович. По возвращении сенаторов, которым поручена ревизия многих губерний, и по рассмотрении их трудов будут составлены предположения об изменениях в разных частях законодательства. Необходимо, чтобы изменения эти удовлетворяли действительным потребностям и не остались мертвою буквою. Для этого нужно содействие людей, знающих действительную жизнь.

Кроме общих проектов, касающихся порядка управления, нельзя оставлять без внимания крайней необходимости изменения нашей податной системы. Нынешнее податное обложение в высшей степени несправедливо и тягостно для некоторых классов населения. Но для того, чтобы облегчать одних, нужно обременить других, нужно ввести новые налоги, о чем упоминал еще сегодня министр финансов. Введение же новых налогов обыкновенно возбуждает ропот и увеличивает число недовольных. Почти ничто не ожесточает так людей, как то, если их быют по карману. Поэтому правительство должно озаботиться не только о том, чтобы подати были справедливые и чтобы они распределялись по возможности равномерно — в этом много помогли бы представители разных местностей и разных классов общества, — но также и тем, чтобы не нести *одному* всей ответственности в принятых мерах. Коль скоро меры эти будут предварительно обсуждены представителями страны, то ответственность будет разделяться ими, правительство найдет в них опору.

Ваше Величество, в заключение я должен сказать, что речью своей Константин Петрович нас всех расстроил. При этом он представил в самых мрачных красках весь ужас нынешнего нашего положения. Но дальше этого он не пошел. Он раскритиковал все, но сам не предложил ничего. В конце своей речи Константин Петрович справедливо сказал, что во времена, подобные настоящим, нужно действовать. Нам предложен план действий. Если он не хорош, то нужно заменить его другим; но ограничиваться одною критикою и оставаться неподвижным — невозможно».

После Сольского попросил слова министр путей сообщения К. Н. Посьет. Довольно нескладно и темно он объяснил, что предполагаемые меры несвоевременны, тем более что они могут быть приняты за уступку требованиям и угрозам социалистов.

Почти в один голос Лорис-Меликов, Абаза и Сольский заявили, что этого бояться нечего, так как социалисты требуют совсем не того, и что предлагаемая мера их, конечно, не удовлетворит.

Председатель департамента законов кн. С. Н. Урусов: «Ваше Императорское Величество, если предложение министра внутренних дел будет принято, то, по моему мнению, нужно рассматривать его не как меру политическую, а как меру практически полезную.

Коль скоро правительство должно искать себе помощи в содействии представителей общества, то необходимо, чтобы эти представители были *лучшие люди* страны.

Но из рассматриваемого нельзя вынести убеждения, что представители земства и городов будут именно такие люди. Поэтому, ваше величество, я, с моей стороны, признавал бы полезным и необходимым пересмотреть проект предварительно в Комитете Министров».

Управляющий министерством народного просвещения А. А. Сабуров: «Ваше Императорское Величество, проект министра внутренних дел признается здесь многими за меру слишком либеральную. Я не могу согласиться с таким мнением. Весьма основательно было возражаемо, что предложение графа Лорис-Меликова не есть что-либо совершенно новое и что, в сущности, оно есть лишь видоизменение и усовершенствование того, что делалось в прежние времена при рассмотрении важных законодательных проектов. При нынешних грустных обстоятельствах мера эта особенно необходима. Она вызывается неотложною потребностью опереться на здоровые силы страны. В настоящее время правительство опирается в своих действиях собственно на одних чиновников, т. е. на людей, хотя и образованных, но дышащих исключительно петербургским воздухом и усваивающих себе взгляды и убеждения из газет, не всегда верные и не всегда соответствующие истинным потребностям государства. Нужно выслушать и людей другой среды. Мнения их во многом не согласны с газетными статьями. Люди земские, особенно за Москвою, думают совершенно иначе, чем петербургские

деятели. Они несравненно более консервативны и самостоятельны, а потому представляют, несомненно, более твердую опору для правительства».

Министр юстиции Д. Н. Набоков заявляет тихим голосом (в нашем конце стола его почти не слышно) и в довольно туманных выражениях полное свое сочувствие проекту министра внутренних дел.

Принц П. Г. Ольденбургский: «Ваше Величество, я присоединяюсь вполне к предложению князя С. Н. Урусова о пересмотре проекта в Комитете Министров. К этому я прибавляю, что для упрочения порядка и благосостояния государства, по глубокому моему убеждению, нужны два условия: мир и поправление наших финансов, главным образом — посредством бережливости в расходах. Если не будет этих двух условий, то ничто не поможет».

Очередь доходила теперь до меня. Я был в чрезвычайном затруднении: говорить мне или нет. С одной стороны, вопрос почти уже выяснился, с другой же — государственный секретарь не есть министр и присутствует в совете собственно для объяснений по делам Государственного Совета. После некоторого размышления и — не скрою — волнения, я решил так: если Государь обратится прямо ко мне, то, высказав в кратких чертах сочувствие свое проекту, я приведу в виде практического аргумента в пользу предлагаемой меры то, что, как видно из многих наших дел, издаваемые у нас законы на деле часто не соответствуют благим намерениям правительства, главным образом потому, что они неудобоприменимы, что недостатком этим страдают в особенности те законы, при составлении которых вовсе не были выслушаны отзывы людей дела и практики, например: парциальное положение и закон, ограничивающий право городских и сельских обществ исключать из своей среды порочных людей. Как известно, оба этих узаконения вызвали массу справедливых жалоб, повлекших за собой пересмотр первого из них и приостановление действия второго в административном порядке. Засим, если бы Его Величество не обратился ко мне, я решил молчать.

По окончании принцем Ольденбургским коротенького своего заявления Государь посмотрел вопросительно в наш угол, т. е. на управляющего министерством государственных имуществ князя Ливена и меня. Князь Ливен попросил слова и затем, несколько кудряво, объяснил, что вполне сочувствует мысли опереться на здоровые силы страны, но по-

лагает, однако, что им следует предоставить широкую долю участия в местном самоуправлении. Призывать же депутатов земства в Петербург для участия в делах управления, по мнению князя Ливена, во многих отношениях опасно.

Выслушав Ливена с несколько утомленным видом, Государь обвел взглядом все собрание, как бы спрашивая, не желает ли еще кто-нибудь говорить? Я понял, что мне лучше воздержаться от прений.

Слова попросил великий князь Константин Николаевич: «Ваше Величество, в начале наших суждений П. А. Валуев заявил, что он считает себя давнишним автором или ветераном рассматриваемых предложений, так как основная их мысль была им предложена покойному Императору в 1863 году. Хотя и несколько позднее, именно в 1866 году, я счел также обязанностью, не зная ничего о предположениях Петра Александровича, представить покойному Императору записку, в которой выражал убеждение свое в необходимости привлечения сил общественных к рассмотрению важнейших законодательных дел. Государь не давал хода этой записке в течение 15 лет.

Только в январе прошлого года она подверглась обсуждению в особом совещании при участии Вашего Величества. Осуществление мыслей моих признано было тогда несвоевременным. Я, с моей стороны, покорился этому, сохранив за собой право возобновлять предложения мои впоследствии. Если бы министр внутренних дел не представил ныне своего проекта, во многом сходного с моим, то я счел бы обязанностью снова заявить о прежних, давнишних моих мыслях. Говорю об этом собственно для того, чтобы выразить, в какой степени я разделяю основную мысль обсуждаемого государственного дела.

Главный противник проекта — обер-прокурор Священного Синода. Но и он, если вникнуть хорошенько в сказанное им, как правильно заметил государственный контролер, не отрицает пользы призыва к рассмотрению важных законодательных дел людей свежих, практических. Следовательно, и Константин Петрович признает полезным, чтобы существовало звено между Государем и его народом. Такое звено я, с моей стороны, считаю безусловно необходимым. Благодаря такому звену русский Монарх мог бы узнавать как истинные потребности своего государства, так и недостатки законодательных предположений, составленных людьми кабинетными. Не подлежит сомнению, что в тысячу раз лучше убедиться в таких недостатках *прежде*,

чем *после* утверждения закона. Какое именно должно быть это звено, из кого состоять и как должно действовать, в этом отношении возникают в нашей среде разные мнения. Ввиду этого я присоединяюсь к предложению князя Урусова и принца Ольденбургского о дальнейшем еще пересмотре проекта. Покойный мой отец, дед Вашего Величества, неоднократно говорил мне, что любимую поговоркою Императора Александра I было: «Десять раз отмерь и один раз отрежь». Мне кажется, что поговорка эта как нельзя более применима к настоящему предмету первостепенного государственного значения. Нужно несколько раз отмерить наши предположения, но в конце концов нужно их отрезать».

Великий князь Михаил Николаевич не считает возможным высказаться, пока не ознакомится с окончательными по этому предмету предположениями.

Великий князь Владимир Александрович (с некоторым жаром): «Ваше Величество, всеми сознается, что нынешнее положение наше — невозможное. Из него необходимо выйти. Нужно сделать или шаг вперед, или шаг назад. Я убежден, что назад идти нельзя, поэтому нужно сделать шаг вперед. На это нужно решиться. Если против меры, предположенной графом Лорис-Меликовым, и были возражения, то, как оказывается, возражения возникли собственно в отношении к подробностям, а не относительно основной мысли. Ввиду этого не позволите ли, Ваше Величество, признать полезным повелеть, чтобы проект был пересмотрен? Но отвергать его, по моему мнению, не следует».

Граф С. Г. Строганов: «Государь, я тоже не возражал бы против пересмотра проекта в Комитете Министров».

Князь С. Н. Урусов: «Ваше Величество, если вам благоугодно будет принять мысль о дальнейшем еще пересмотре проекта, то не лучше бы было обсудить его сначала не в Комитете Министров, а в составе небольшой комиссии из лиц, назначенных вашим величеством?»

Государь: «Я не встречаю к тому препятствий. Цель моя заключается в том, чтобы столь важный вопрос не был разрешен слегка, но, напротив того, был соображен как можно основательнее и всестороннее. (Обращаясь к графу Строганову.) Граф, не примете ли вы на себя председательство в комиссии?»

Граф Строганов: «Я всегда и во всем готов служить Вашему Величеству. Но позвольте заметить, что 86-ти лет от роду нельзя быть председателем».

Г о с у д а р ь: «Так не согласитесь ли, по крайней мере, быть членом комиссии?»

Г р а ф С т р о г а н о в: «Охотно, Государь».

Г о с у д а р ь: «Благодарю вас. Я очень бы желал, чтобы вы участвовали в этом деле».

Граф Строганов, видимо довольный, молча поклонился.

Г р а ф В а л у е в: «Ваше Императорское Величество, не изволите определить состав комиссии? Или, может быть, Вашему Императорскому Величеству угодно будет определить его впоследствии?»

Г о с у д а р ь: «Да (вставая). Мы можем окончить заседание. Благодарю вас, господа. (Обращаясь к Лорис-Меликову.) Граф Михаил Тариелович, я должен поговорить с вами. Пойдемте ко мне».

Заседание окончилось в 4 часа 45 минут. При разъезде Валуев подошел к Абазе со словами: «J'espere que vous etes content de moi». — «Parfaitement. Mais je n'en dirai pas autant de votre eleve (разумея Макова), c'est un laquais» [«Надеюсь, что вы были мною довольны». — «Вполне. Но я не сказал бы того же о вашем питомце (разумея Макова); это — лакей». — фр.]

Возвратясь домой, я немедленно начертил себе план стола, означив имена сидевших и порядок, в котором говорились речи. Затем против каждого имени я тут же набросал сущность сказанного и отметил даже наиболее рельефные выражения. После обеда, несмотря на усталость, я тотчас же принялся за подробное изложение (на особых листах) всего бывшего в заседании и не отрывался от этого дела до поздней ночи. Однако мне не удалось окончить все за один раз. Я употребил на это дело еще целых два вечера. В эту книжку я внес составленное таким образом изложение, по обычаю своему, летом.

В заседании я следил за всем с таким напряженным вниманием, что у меня осталось в памяти едва ли не каждое слово. Лышу себя надеждою, что изложение мое почти фотографически верно».

За проект Лорис-Меликова высказалось большинство, и вроде бы автору можно только радоваться столь осязаемой победе. По окончании заседания император, попросив Лориса задержаться, дал всем понять, что министр внутренних дел по-прежнему остается первым среди прочих. Комиссия? Что ж, жалко, конечно, что вместо мгновенного всеилостивейшего

подписания указа придется ждать, что решит эта самая комиссия, как она обкорнает и без того куцую реформу, но соотношение сил все равно не в пользу ретроградов. Всего пятеро против десяти при нейтрально-положительной позиции осторожных великих князей.

Нет, не радовалось министру внутренних дел. Логика торжествовала викторию, интуиция горько переживала конфузию. Интуиция никогда не обманывала графа, и стоило ему под давлением здравого рассудка или обстоятельств переупрямить едва-едва выразимое в словах предчувствие, застигала врасплох катастрофа.

А по Петербургу — сперва по салонам, потом по редакциям — странные пошли слухи. Будто бы «конституционная партия Лорис-Меликова и Абазы» (так их величали в иных домах) потерпела сокрушительное поражение, что государь и слышать не хочет ни о каких созывах выборных от земств и городов, что Лорис уже подал в отставку, а на его место прочат чуть ли не Победоносцева. Из других же салонов сообщались «абсолютно достоверные» сведения о том, что проект, слава Богу, прошел, осталось согласовать две-три закорючки... Умы, как водилось всегда на Руси при смене власти, были в полном смятении.

Слухи, гулявшие по столице, выражали явные крайности и, как всякие крайности, еще больше вызвали любопытства и преувеличений. Обе версии, понимал Михаил Тариелович, ему невыгодны. Выгодна только правда. Да только как ее выскажешь, как преподашь?

«Щи сегодня отменны. Вот что значит повара держать, а не кухарку! Пахом, пока не запьет, просто чудеса творит. Всего и делов-то — из квашеной капусты щец соорудить. Нет, братец, шалишь — Пахом со ста кадок капустку отведаст, прежде чем в суп ее допустить. И говядинку не всякую в кастрюлю опустит. Чародей, да и только», — размышлял Василий Алексеевич в ожидании тетерки. Пока переменяли блюда, Василий Алексеевич успел подумать вот о чем. Обыватель полагает, что журналисты, властители дум только о том и помышляют, что о перспективах конституционного управления в Европе и России, о коварных замыслах Бисмарка, несчастном младшем брате — русском народе и т. д. А властитель дум за обедом думает себе исключительно о самом обеде. О народе и судьбах империи он отдумал свое с утра, пока не принесли гранки завтрашнего номера и глаз не уперся в ошибку в заголовке. А там пошла

такая кутерьма, что не до судеб российских: хозяин типографии, старый жулик, такой счет выставил, что глаза на лоб полезли, в Цензурном комитете придрались к фразе, которую дурак-цензор просто не понял, заметка о событиях в Болгарии оказалась ни к черту не годной и надо что-то придумывать, чтоб заполнить пустоту... И так до самого вечера.

Ну вот и тетерочка! Черт побери, та же курица, если разобратся, но какой аромат! И привкус, особенно у кожицы хорошо прожаренной. А Пахом нынче в ударе, до золотца прожарил. Василий Алексеевич вонзил зубы в дичь, и сок брызнул на салфеточку... И вздрогнул от резкого звонка. Вот тебе и тетерочка. Слуга доложил, что приехал чиновник от графа Лорис-Меликова.

В зале для приема гостей ждал чиновник для особых поручений министра внутренних дел.

— Граф просит вас, господин Бильбасов, пожаловать к нему.

— Хорошо, сейчас заложат лошадь, и я явлюсь.

— Граф просит сию же минуту. Экипаж у меня есть. По-едемте немедленно.

«Но лишь Божественный глагол, или приглашение графа Лорис-Меликова, — продолжил обеденные размышления Бильбасов, — до уха чуткого коснется, и вот опять властитель дум, бросив тетерку, должен рассуждать о судьбах отечества. Едва ли граф станет вызывать немедленно по пустяку».

— А что его сиятельство, чем-то встревожен? — спросил на всякий случай чиновника.

— Да нет вроде. Граф спокоен и по-прежнему острит и шутит.

Через пять минут редактор газеты «Голос» Бильбасов был в гостиной Лорис-Меликова. Хозяин был, как всегда, приветлив, любезен, хотя улыбка на его лице была чуть грустновата.

— Василий Алексеевич, вы помните, что я вам сказал при нашей последней встрече две недели назад?

— Еще бы! Дословно помню, ваше сиятельство. Вы сказали, прощаясь со мной, вот что: «Подумать только, какой-нибудь мальчишка игрушечным револьвером вмиг сможет разрушить все мои планы». Трех дней не прошло...

— То-то и оно. Сколько лет пережито с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз! И не игрушечный пистолет, а динамит в две недели все перевернул, и один только Бог знает, чем все это закончится. Вы уж простите, Василий Алексеевич, что пришлось прервать ваш обед, но восьмого марта

произошло событие, о котором вы, наверное, наслышаны, но суть его уж лучше я сам расскажу.

Покойный император, подписывая указ о созвании выборных от земств и городов, решил предварить его публикацию обсуждением в Совете министров четвертого марта. И во вторник, третьего числа, я решил напомнить новому царю об этом указе. Ваше величество, сказал я ему, первое марта потрясло всю Россию; в разных направлениях, но все, решительно все взволнованы. Вы можете легко успокоить умы: ваш родитель подписал указ — обнародуйте его, и новые благословения всей России осенят ваш путь и облегчат ваше сыновнее сердце. Все увидят, что власть в империи крепка и она идет по предначертанному отцом вашим пути, несмотря ни на какие происки жалкой кучки заговорщиков. Царь перечитал указ, нашел великолепным и обещал на завтра же назначить заседание. Проходит завтра, проходит послезавтра — о заседании ни слова. В четверг вечером после панихиды осмеливаюсь заговорить на эту тему, но царь на нее откликается уже не так охотно, и в пятницу снова приходится напоминать императору о его обещании. Пришлось прибегнуть к такому аргументу. Ваш покойный родитель, сказал я царю, в течение двадцати пяти лет приучал народ забыть о полицейском государстве; мало-помалу он вел его к общественной самодеятельности, призывая представителей общества к обсуждению земских, городских, судебных дел. Теперь настало время передать обществу хотя бы частицу дел государственных. Если же вы, ваше величество, думаете повести народ в другую сторону, опять к полицейско-административной опеке, вы приготовьте себе бурное царствование, полное случайностей. Кажется, эти мои слова убедили государя, и он созвал Совет министров на воскресенье 8 марта в 2 часа пополудни.

«В интересное, однако, времечко мы живем, — подумал Василий Алексеевич. — Шеф жандармов, можно сказать, полицеймейстер всей империи уговаривает императора не устраивать полицейского государства!»

Впрочем, всякие посторонние мысли вылетели из головы, Бильбасов обратился в слух. Лорис-Меликов, невольно подражая каждому, в лицах передал все заседание Совета министров, кто что говорил, как наблюдал за острыми схватками император — вроде спокойно, невозмутимо, но по редким репликам государя было видно, что он по меньшей мере находится в колебаниях.



Бильбасов пытался встать на место царя, и, если Лорис точен в пересказе, все должно складываться в его пользу. Аргументы сторонников законодательных комиссий кажутся и логичнее, и остроумнее. Как ловко Милютин поддел Макова: «Принцип самодержавия сильнее всего развит в войсках — во всяком случае, сильнее, чем в телеграфной проволоке и почтовом ящике!» Да и концовка его выступления весьма внушительна. Он сказал, что если указ будет подписан, то как военный министр он не будет переживать тех тяжелых минут, когда, как три года назад, русская армия своим штыком, выкованным в стране абсолютизма, расчищала путь для конституции Болгарии и Румелии, когда, как ныне, мы покоряем текинцев для того только, чтоб вместо их сардарей поставить своих исправников.

Для рассказчика слова Милютина ничего нового не представляли — он-то уж десятки раз слышал суждения Дмитрия Алексеевича на этот счет и только восхищался ровным, бесстрастным тоном, с каким военный министр излагал свои разवे что не революционные взгляды. Гораздо больше его удивил Валуев. От Петра Александровича Лорис-Меликов ожидал услышать нечто подобное тому, что, как передавали очевидцы, он преподнес на обсуждении подобных проектов в Мраморном дворце в прошлом году. Валуев, конечно, не был бы Валуевым, если б не полюбовался своей правотой и тем, что его проект, гораздо более радикальный, существует уж без малого двадцать лет. Тогда он тоже любовался таким обстоятельством, что не помещало ему с презрением опрокинуть собственную идею — дескать, неужели выборные из какого-нибудь Царевкокшайска умнее нас. Но в тот день, 8 марта, Валуев встал, видимо, с постели не русским чиновником, а европейцем. Он и говорил о том, как на нас будет смотреть Европа, если мы не продолжим реформы минувшего царствования. Россия не имеет пока права называться европейской державой, и недоверие к нам Европы понятно: нам чужды учреждения, без которых Европа не понимает государственной жизни. Народы Российской империи (ох как передернуло Победоносцева от этого слова — народы, а не народ!) все равно обречены идти по тому пути, который прошли все культурные, цивилизованные страны. Уж лучше подражать учреждениям западных государств, чем деспотиям Востока. И добил Валуев Константина Петровича таким аргументом: «Говорят, русское общество, русский народ не дозрели еще до самостоятельной деятельности; я спрошу: был ли английский народ развитее русского, когда 500 лет назад

пользовался уже свободными учреждениями?» Эк ведь вывернул: он же этих фарисеев, радетелей о народе, обвинил в полном к нему презрении. Что, в общем-то, справедливо. Впрочем, комментарии в своем изложении Лорис-Меликов опустил — достаточно Бильбасову и того, что сказано. Не дурак, сам поймет. Но не скрыл от журналиста нападок Валуева на печать, на которые министру внутренних дел пришлось немедленно отвечать. Лорис доказывал, что это печать восстала против расхищения государственного достояния, указала правительству много зол и служила охранительницей законов, нарушителей которых она клеймила и позорила на всю страну. В конце концов, это печать подвигла правительство на создание сенаторских ревизий.

Завершилось заседание Совета министров, по словам Лорис-Меликова, вроде как благополучно, в пользу большинства. Но... Но не случайно призвал он к себе спустя четыре дня Бильбасова и в подробностях изложил редактору «Голоса» весь ход того заседания, попросив при этом оставить разговор в тайне от газетной полосы. Что-то подсказывало ему, что впереди предстоит борьба за неизданный указ и еще далеко не ясно, чьей победой она завершится. Но молва в нужном направлении была пущена. А дальше пусть работает общественное мнение.

## МАНИФЕСТ. УДАР СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ

И все же истинное свое положение при новом императоре Лорис-Меликов понять затруднялся. Царь покинул город и замкнулся в Гатчине, настолько плотно опекаемый конвоем, что казался как бы под домашним арестом. А для водворения порядка в Санкт-Петербурге из Ковенской губернии был выписан генерал-майор Баранов. Тот самый Баранов, от которого Лорис не чаял, как избавиться, когда подсунили его наследник с Победоносцевым в корпус жандармов. В назначении Баранова столичным градоначальником явно ощущалась рука обер-прокурора Священного Синода.

Николай Михайлович по возвышении своем тотчас же начал куролесить. Он распорядился окружить Петербург заставами и проверять каждого выезжающего в город. Мера эта не дала решительно никаких положительных результатов, зато породила недовольство буквально во всех кругах общества. Рабочие,

жившие в основном в пригородах, стали опаздывать на смену, снабжение Петербурга продовольствием обросло пустыми затруднениями, и уже 3 апреля градоначальнику пришлось самому отменить собственный приказ о досмотре на заставах. Как и другую меру, тоже предпринятую без долгих рассуждений: обязать всех прибывающих железной дорогой брать на вокзалах извозчиков через посредство полиции, с означением ею номеров экипажей. С другой стороны, к неопишному возмущению Победоносцева, Баранов созвал некий совет при градоначальнике из членов, избираемых населением столицы. Выборы в этот совет проводились на редкость беспорядочно: правом голоса жителей наделяли по своему усмотрению okolоточные надзиратели. Однако ж членов совета заранее указал сам градоначальник по каким-то наспех составленным спискам. Совет этот, который так ничего толком не решил, прозвали «бараньим парламентом».

Государь предоставил петербургскому градоначальнику право личного ему доклада, чем приткий Баранов не преминул воспользоваться. Он бегал к императору раза по три-четыре на дню, безбожно врал и пугал императора новыми заговорами, которые вот-вот намеревался разоблачить. То докладывал, будто на Миллионной, у самого дворца, нашли целых семнадцать проводов от адской машины, то объявлял об аресте какого-то загадочного господина с пистолетом. И все это с целью показать, что именно он, Баранов, и есть спаситель отечества, а министр внутренних дел, для того приставленный, не отвечает своему назначению. Вкупе с ежедневными записочками Победоносцева, где обер-прокурор Синода давал бывшему ученику своему советы гнать от себя Лориса, Абазу, Милютину и великого князя Константина Николаевича и опираться на «здоровые силы», барановские доносы держали Михаила Тариеловича в постоянной тревоге и беспокойстве.

Но царь как будто не поддавался наущениям и при встречах оказывал доверие министру внутренних дел; значение его как первого из министров тоже не подлежало сомнению. Холуйство Макова и князя Ливена на заседании 8 марта не спасло их от сокрушительного падения. Маков сам наварлся на отставку, спросив царя, как быть дальше с порядком перлюстрации писем. Александр, которому по милости Макова не раз влетало от отца за неосторожные высказывания в посланиях Каткову, Аксакову и Победоносцеву, легко согласился с мнением Лорис-Меликова, что в деликатном деле перлюстрации было мно-

го злоупотреблений, и распорядился упразднить Министерство почт и телеграфов, образовав из него департамент в Министерстве внутренних дел.

Кресло князя Ливена — министра государственных имуществ — зашаталось после сенаторской ревизии Ковалевского в Оренбургской и Уфимской губерниях. Александр III, в отличие от отца, не был снисходителен ни к какому упущению в делах с казенной собственностью и карал за таковые беспощадно. Отставка Ливена — только начало. Летом вынужден будет уйти Валуев — в пору его управления государственными имуществами расхищения плодородных башкирских земель и начались, хотя сам Петр Александрович был к ним непричастен, лишь попустительствовал. А в январе 1883 года клубок расследований докатится до Макова. Лев Саввич покончит с собой.

Министром государственных имуществ назначили графа Николая Павловича Игнатьева, который, приехав в Петербург на похороны Александра II, всячески заискивал перед Лорис-Меликовым, и Михаил Тариелович не сразу разгадал, что стоит за столь настойчивой дружбой бывшего дипломата, и министерский пост предложил ему сам. Но, едва получив царский указ о своем назначении, Николай Павлович как-то охладел к первому министру, зато примкнул к партии Победоносцева и во всем стал советоваться именно с ним.

Пришлось расстаться и с министром просвещения Сабуровым — умным и тонким человеком, но совершенно непригодным к министерскому посту. Дело это для него и окончилось позором — еще в феврале, когда министр приехал в университет успокоить волнение студентов, некий Папий Подбельский дал пощечину почтеннейшему Андрею Александровичу. Интересно, посмел бы он так обойтись с ненавистным реакционером Дмитрием Толстым? Но на его место назначили не Делянова, о котором так хлопотал Победоносцев, а барона Николаи, которого еще по Кавказу прекрасно знал Лорис-Меликов и почитал за человека вполне разумного. И была надежда, что Александру Павловичу — человеку ухищренному — достанет воли и рассудка претворить в жизнь обещания Сабурова.

Но вот что началось. Недели шли за неделями, а комиссия под началом великого князя Владимира Александровича по поводу указа о выборных от земств и городов так и не собиралась. Все оттягивалось какими-то пустячными предложениями. Становилось ясно, что тихим, ползучим бюрократическим способом верх одерживает меньшинство. Частные ус-

пехи не радовали. Лорис-Меликов как-то не чувствовал прочности своего положения. Однажды после доклада речь зашла о Дальнем Востоке. Михаил Тариелович обратил внимание императора на странности в поведении послов Японии и Китая. Что-то они зачастили к нашим министрам и к нему самому. И уж очень они взглядчивы и пристальны, во все внимательно вникают, вслушиваются. Надо бы с ними поосмотрительнее. И что же? Часа два спустя государь со смехом рассказывает Черевину:

— А Лорис-то, слышь, япошками вздумал меня пугать!

И новый приступ хохота. Раскаты его эхом разнесутся по годам и достигнут ушей империи в 1904 году. Его подхватят газеты: «Ах, япошки, макаки! Мы их шапками закидаем!» И только мудрый генерал Драгомиров проворчит: «Война макак с кое-каками!» Но то будет через четверть без малого века, а сейчас по гостинным пущен был слух, что Лорис-Меликов, не уберегший покойного царя на посту министра внутренних дел, готовит себе тихую пристань на месте престарелого канцлера князя Горчакова.

Наконец, на 21 апреля император после настойчивых уговоров Лорис-Меликова назначил в Гатчине совещание самых, на его взгляд, важных министров. В конце концов, давно пора определиться, какой дорогою намерено идти правительство в новое царствование, нельзя ждать неведомо чего и неведомо от кого: вот уже два месяца страна живет как бы без государя: Александр Третий сидит взаперти в Гатчине, а по столице бродят самые несусветные слухи. То будто бы министры держат царя-батюшку в плену, то будто бы на его величество злодеи свершили покушение и раненый царь не хочет в этом признаваться народу... С трудом, одолевая влияние Баранова и Победоносцева, удалось-таки уговорить государя появиться в Петербурге.

На совещание приглашены были великий князь Владимир Александрович, граф Лорис-Меликов, граф Милютин, Абаза, граф Игнатьев, барон Николай, Победоносцев и Набоков. За последнего — министра юстиции — пришлось хлопотать, но почему-то государь решительно отказал Лорис-Меликову в предложении пригласить графа Валюева и главноуправляющего II Отделением собственной его величества Канцелярии князя Урусова. И это после столь теплого рескрипта Валюеву по случаю его пятидесятилетия безупречной службы престолу!

Накануне вечером, после заседания Государственного совета, на котором пока еще председательствовал опальный великий князь Константин Николаевич, у Абазы съехались Ми-

лютин и Лорис-Меликов, чтобы предварительно обменяться мыслями по поводу завтрашнего. Настроение у всех троих было преотвратительнейшее.

— Признаться честно, — начал Михаил Тариелович, — я ничего хорошего не жду. Мы увязли в какой-то болотной жиже. Тебе вроде и не возражают, но ничего, как ни бейся, не делается. И не знаешь, как поступить. Добро бы стена была — стену можно лбом разбить или уж, на худой конец, отступить. А тут вата какая-то — все в ней глохнет и вязнет. Говорю с царем, убеждаю, уезжаю из Гатчины умиротворенный, а с полдороги начинаю понимать, что ничего сделано не будет. Царь тут же пошлет за Победоносцевым, тот надует ему в уши ужасов — погибнет самодержавие, погибнет Россия, весь простой народ... Ой!

— А вот и надо, — вскипел Абаза, — поставить перед императором вопрос: доверяет он своим министрам или нет. И не давать ни Победоносцеву, ни Игнатьеву распылять по мелким частностям завтрашнее совещание. Надо сразу так и заявить государю, прямо и категорически: если нужна сильная власть, она возможна лишь в том случае, когда император окружит себя министрами, которым он имеет полное доверие и через которых мог бы действовать без всякого посредствующего влияния.

— Думаю, что этого недостаточно, — сказал Милютин. — Кроме личного доверия государя, необходимо еще другое условие: надо, чтобы правительство было однородное, чтобы все министры действовали в одном смысле, а не противодействовали один другому, как у нас случается сплошь да рядом.

— Хорошо бы, если б так и повернулся завтрашний разговор, — Лорис-Меликов тяжело вздохнул, — да боюсь, многоглаголивый Победоносцев или речистый Игнатьев в такие дебри нас заведут своими умствованиями и опасениями, что поневоле потеряешь всякую осмотрительность и все дело погубишь.

— Не вижу в том большой беды, — возразил военный министр. — Лучше уж сразу вывести дело на чистоту, чтоб разъяснить наконец, можем ли мы, с нашими понятиями и убеждениями, еще долее тянуть лямку, не зная, куда тянем.

— Да, тут вы, пожалуй, правы, — заключил Лорис-Меликов. Гостеприимный хозяин предложил партию в вист, но как-то было не до игры, и все разъехались в смутной тревоге по поводу завтрашнего дня.

Министры ехали в Гатчину в одном вагоне. Настроение у всех было довольно мрачное. Все разделились на мелкие груп-

пки и вполголоса переговаривались между собою. Победоносцев сидел в гордом одиночестве — даже Игнатъев не решился занять его разговором.

Император обратился к министрам с краткой речью о том, что намерен выслушать мнения господ министров, что надлежит делать в ближайшее время и какова должна быть вообще программа действий правительства. Первым попросил высказаться на сей счет Лорис-Меликова.

— Я считаю, ваше величество, что путь для вашего царствования проложен вашим покойным отцом императором Александром Вторым. У России нет другого пути, нежели продолжение реформ, начатых в предыдущее царствование. Мы покамест топчемся на месте и только проигрываем во времени, тогда как общество ждет от нас решительных мер и в государственном управлении, и в финансах, и в судебной сфере, и в сфере народного образования. Я уж не говорю о скорейшем завершении реформы крестьянской — сокращении выкупных платежей и отмене подушной подати. Нельзя стоять на месте. Христианству уже без малого две тысячи лет, и оно постоянно совершенствуется, а уж учреждения государственные должны совершенствоваться тем более.

Настал черед военного министра.

— Ваше величество, — начал Милютин, — я совершенно согласен с графом Михаилом Тариеловичем. Именно незаконченность начатых реформ и отсутствие общего плана в их проведении, а затем четырнадцатилетний застой и реакция, когда все строгости полицейские не только не подавили крамолу, а, напротив того, создали массу недовольных, среди которых злонамеренные люди набирают своих новобранцев, и привели нас сегодня к столь печальному результату.

Царь с каменным лицом выслушал лекцию Милютина, который говорил ровным, спокойным профессорским тоном о будущих реформах в России, только они одни способны внести успокоение в недоумевающим растревоженном обществе.

Игнатъев, почуяв, чья берет, в своем выступлении тоже говорил о необходимости продолжать реформы и даже примеры привел из своего недавнего губернаторства в Нижнем Новгороде, полного смятения местных чиновников и земских деятелей от неожиданных поворотов правительства в минувшее царствование.

Тайный советник Александр Аггеевич Абаза говорил пылко, как молодецватый поручик на экзамене в академию:

— Ваше величество, мы все мечтаем о сильной власти, сильном правительстве. Так вот что я вам скажу. Сила власти не в кулаках, не в полицейском произволе — мы достаточно нагляделись и на кулаки, и на произвол и вместо собственной силы получили целую партию злодеев. Сила наша только в единстве и сплоченности всех министров, в доверии к нам государя как своим ближайшим советникам. — И быстрый взгляд в сторону Победоносцева при этих словах. Достаточно откровенный, чтобы и государь почувствовал, в чей огород камешки летят. — Правительство не может идти к цели, не видя сочувствия со стороны высшей власти или чувствуя, что оно неравномерно распределено между министрами.

Набоков и новый министр просвещения барон Николаи были поосторожнее в словах, поскучнее, педантичнее, но и они высказались в пользу продолжения и развития реформ каждый по своему ведомству.

Последнее слово оставалось за Победоносцевым. Министры с любопытством, и немалым, ждали, что же на сей раз будет прорицать этот авгур. Авгур удивил. Авгур заговорил совсем не тем языком, что на достопамятном совещании 8 марта. Напротив, он начал с того, что полностью разделяет высказанные мнения о необходимости дальнейших улучшений в государственном строе, о том, что правительство должно быть едино и в своих устремлениях, и в предприятиях тех или иных мер оздоровления государственной жизни. Правда, Константина Петровича вскоре понесла его вечная стилистическая сила, он оторвался от смысла собрания и стал вещать о правде, о честности, русском народе-Богоносце. Ответил и Лорис-Меликову, отчитав генерал-адъютанта, как двоечника-семинариста: начала христианства вечны и незыблемы, но осуществление их правдою жизни безгранично, и в этом смысле реформа внутренняя не останавливается никогда, намекнув тем самым, что в реформах внешних необходимости нет.

Абаза его тут же и срезал, резонно заметив, что сейчас разговор идет не о высших материях, а о конкретных государственных делах. Нужны соглашения на практической почве. В том же, что все, здесь присутствующие, истинно верующие христиане, никто пока не сомневается. И опять заговорили о том, что нужно единое правительство, пользующееся безусловным доверием императора, которое будет и дальше развивать начатые реформы.

Неожиданный диссонанс вызвало последнее выступление — великого князя Владимира Александровича. Он стал зачитывать невесть кем составленное письмо о необходимости создать центральную следственную комиссию по делам о политических преступлениях. Поскольку опыт таковых был неоднократный и не привел ни к чему, Лорис-Меликову ничего не стоило опровергнуть эту идею, тем более что он уже подготовил доклад о дальнейшем ведении таковых дел.

Завершая совещание, государь выразил желание, чтобы министры собирались по мере надобности для предварительных совещаний по вопросам общего государственного интереса, дабы тем самым достигнуть желаемого единства в действиях; на первый же раз предложил обсудить в течение недели самые ближайшие неотложные меры при настоящих обстоятельствах, для окончательного обсуждения которых будет назначено вторичное совещание в высочайшем присутствии. О реформах — ни слова.

И вот что странно — либеральные министры, умнейшие, проницательнейшие люди, обрадованные лишь тем, что император внял мысли о едином правительстве, пропустили мимо ушей именно это обстоятельство: о реформах — ни слова.

Назад ехали в настроении приподнятом. Лед растаял, и даже Абаза был необычайно приветлив с Победоносцевым, не ведая того, что вдогонку Константину Петровичу летит из Гатчины письмо такого содержания:

«Сегодняшнее наше совещание сделало на меня грустное впечатление. Лорис, Милютин и Абаза положительно продолжают ту же политику и хотят так или иначе довести нас до представительного правительства, но пока я не буду убежден, что для счастья России это необходимо, конечно этого не будет, я не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убежусь в пользу подобной меры, слишком я уверен в ее вреде. Странно слушать умных людей, которые могут *серьезно* говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма.

Более и более убеждаюсь, что добра от этих министров ждать я не могу...»

Оно верно, Александру Третьему нужно единое правительство, только какое? Увы, не то, которое завершило бы реформы. Скорее, наоборот. Впрочем, и веяний свободы новый царь

оказался не чужд. 25 апреля он пришлет военному министру графу Милютину собственноручную записку с приказанием объявить, что дозволение носить бороды распространяется на всех военных без всяких изъятий.

Но ни Лорис-Меликов, ни Милютин, ни Абаза не угадали истинного настроения императора. Более того, они дали повод тихо торжествовать Победоносцеву, празднуя прежде времени победу прогрессивных идей над ретроградством. Как подкупленные слуги донесли Константину Петровичу, а Константин Петрович ближайшей почтой — императору, три министра ужинали с шампанским у Елены Николаевны Нетидовой.

И вот ведь что удивительно: два голых генерала и тайный советник, в интригах при дворе калачи весьма тертые, должны же были понимать, что судьбы отечества не на совещаниях решаются, пусть и самых представительных. Судьбы решаются в частных беседах и частной переписке. К частным же беседам с новым императором никто из них допускаем не был.

Но такова сила надежды и веры в разумное. Соединившись, они порождают иллюзию, фантом. Совещание министров, о котором договорились в Гатчине, состоялось дома у Лорис-Меликова, на Фонтанке, в 9 часов вечера 28 апреля. Великий князь Владимир Александрович вновь поставил на обсуждение вопрос о Центральной следственной комиссии, но Лорис-Меликов и Набоков блистательно доказали неразумность подобного учреждения сейчас, когда силы полиции, наконец, объединились и удалось устранить антагонизм между полицейскими и судебными учреждениями. Ничего, кроме разлада и разрушений с трудом созданной системы, такая комиссия не внесет. Ни у великого князя, ни у Победоносцева возражений не нашлось. Зато вспыхнули дебаты по вопросу о земствах. Победоносцев опять начав доказывать вредность выборного начала в России, опасность допущения «местных сил» к решению важных государственных вопросов. Разве что, сквозь зубы допустил Константин Петрович, исключительно по приглашению самого правительства можно было бы призывать экспертов для испрошения их мнения по отдельным вопросам. «И ни на йоту больше!» — докторальным своим тоном заключил обер-прокурор Синода и воздел перст указующий к потолку. Министры дали столь дружный и пылкий отпор злым вещаниям Победоносцева, что великий князь Владимир Александрович никак не мог успокоить разбушевавшееся совещание. Сам он выглядел в этот момент растерянным и, чтобы как-то защитить

Победоносцева от нападок, заявил, что в понятиях молодого императора, да и его тоже, сильно впечатлелась фраза покойного отца, произнесенная им злополучным утром 1 марта. Будто бы, подписав указ и отпустив Лорис-Меликова, император сказал присутствовавшим при сем великим князьям Александру и Владимиру: «Я дал свое согласие на это представление, хотя и не могу скрыть от себя, что мы идем по пути к конституции». Милютин, записав этот рассказ в своем дневнике, дал ему такой комментарий: «Затрудняюсь объяснить, что именно в предположениях Лорис-Меликова могло показаться царю зародышем конституции; но понятно, что произнесенные им незадолго до мученической кончины вещи слова должны были глубоко запастись в мысли обоих молодых царевичей и приготовить почву к восприятию ретроградных теорий Победоносцева, Каткова и комп.». Разумеется, после таких аргументов великого князя министры согласились на компромисс: на первый раз ограничиться призывом из губерний небольшого числа известных правительству дельных и вполне благонадежных людей собственно только для обсуждения самого вопроса о порядке призыва представителей земств к обработке законопроектов, и то лишь в тех случаях, когда правительство сочтет это полезным.

В первом часу ночи великий князь с чувством изрядного облегчения покинул совещание. Но оставшихся ждал сюрприз. И пренеприятнейший.

Дмитрий Николаевич Набоков открыл папку с бумагой, которую до того в конце заседания прочел лишь один Лорис-Меликов. То был оттиск приготовленного для печати в завтрашнем номере «Правительственного вестника» манифеста. Попросили прочесть вслух, что министр юстиции и исполнил. По оглашении императорского манифеста немая сцена наступила в кабинете Лорис-Меликова. Министры застыли как громом пораженные.

Еще бы не поразиться громом! Всего неделя миновала, как пили шампанское за победу разума и Пушкина при сем читали: да скроется тьма, — тут она, тьма эта, и объявилась:

«Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного Родителя Нашего мученической кончиной, а на Нас возложить священный долг самодержавного правления».

Так начинался этот документ, прилепивший новому императору прозвище Ананас Третий. Это были цветочки. А горь-

кие ягодки — впереди, после бесцветного и слезливого обзора предыдущего правления и ругательств в адрес убийц:

«Но посреди великой нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

— Та-ак, — произнес, наконец, Абаза. — И кому мы обязаны появлением столь интересного документа?

Мог бы и не спрашивать. По стилистике ясно было. Но Победоносцев, бледный и несколько струхнувший от общего впечатления, все же выдал из себя:

— Я. Мне государь повелел.

Ревнитель правды и благочестия врал безбожно. Повеления этого он добивался от молодого императора еще с 3 марта. И в каждом письме Александру упорно твердил, что пора, наконец, определиться, твердо заявить свою волю, и не вообще, а именно в том направлении, которое лишает всяких надежд на малейшее послабление. Осчастливленный царским письмом после встречи министров в Гатчине, Константин Петрович дожимает государя: «Смею думать, Ваше Императорское Величество, что для успокоения умов в настоящую минуту необходимо было бы от имени Вашего обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоемыслия. Это ободрило бы всех прямых и благожелательных людей. Первый манифест был слишком краток и неопределителен. Часто указывают теперь на прекрасные манифесты Императора Николая 19 декабря 1825 года и 13 июля 1826 года». Даже образец указан как бы от имени неопределенного множества патриотов, жаждущих свернуть шею уже проведенным реформам. На это письмо от 23 апреля ответа нет. Видно, слишком силен образец. Значит, надо еще. Через день летит в Гатчину депеша с такими словами: «Вчера я писал Вашему Величеству о манифесте и не отстаю от этой мысли. Состояние нерешительности не может длиться, — в таком случае оно будет губительно. А если принять решение, то необходимо высказаться. Я сижу второй день, обдумывая проект манифеста, посоветуюсь с графом С. Г. Строгановым и представлю на Ваше усмотрение. Да благословит Бог решение Ваше». И уже на следующий день, отправляя императору текст манифеста, наставляет: «Нет надобности и советоваться о манифесте и о редакции. Дело ясное до оче-

видности само по себе: я боюсь, что если призовутся советники, то многие из них скажут: «Зачем? Не лучше ли оставить намерения Государя в неизвестности, дабы можно было ожидать всего от нового правительства. Ведь слышал же я, в присутствии Вашего Величества сказано было, что *вся Россия ждет* новых учреждений, которые были предложены». Тою же ночью, не утерпев, благодарный император шлет из Гатчины телеграмму: «Одобряю вполне и во всем редакцию проекта. Приезжайте ко мне завтра в 2 часа переговорить подробнее. *Александр*». Давно ли тою же царственной рукой начертано было на проекте доклада Лорис-Меликова о созвании законодательных комиссий: «Доклад составлен очень хорошо»? Славно поработал Константин Петрович над головушкой русского царя.

Но министры лишь подозревали о той тайной работе. Только в 1925 году, видно в благодарность за создание революционной ситуации в России, потомки издадут все эти письма. Пока же на дворе второй час ночи 29 апреля 1881 года. Фонтанка. Казенная квартира графа Лорис-Меликова. Презренный всеми, как обвиняемый на суде, стоит обер-прокурор Священного Синода Победоносцев. Громы бессильной ярости грохочут вокруг него.

— Ну как же так? — возмущается Абаза. — Мы же договорились с царем! Контракт заключили. Как можно после этого оставаться министром? Я... я немедленно подаю в отставку!

— Мне в такой ситуации тем более нельзя оставаться, — заявил Лорис-Меликов. — Мы только что пришли к соглашению о взаимном доверии. И вот в тайне от всех нас, только что облеченных доверием, появляется акт государственной важности, и я не вижу в нем места для продолжения начинаний покойного императора. Значит, то были слова, а на деле нам не доверяют.

— Я бы еще понял появление такого манифеста, — невозмутимым, как всегда, тоном, скрывавшим глубочайшее оскорбление и негодование, заговорил Милютин, — на другой день после катастрофы первого марта. Но теперь, по прошествии двух месяцев, заявлять о твердом намерении всеми силами удержать самовластные права предков, отнимая тем самым у всех благомыслящих людей малейшую надежду на постепенное движение к лучшему, к более совершенному государственному устройству... Нет, такое я понять отказываюсь. И предвижу, сколько людей, надеявшихся мирным путем прийти к цивилизованному обществу, отшатнутся от нас и примкнут к бе-

зумным революционерам. Я не желаю участвовать в приготовлении такого будущего для России и тоже подам в отставку.

Министры вполне лояльные Александру — новоназначенные Игнатьев и Николай и весьма умеренный законник Набоков — тоже были предельно возмущены, хотя об отставке речи, разумеется, не заводили. Впрочем, не помянув о новых, в доносе своем об этой ночи Набокова Константин Петрович не забудет. Года через три, когда и его черед придет, сгодится.

— Ну вот, Нина, кажется, я свободен.

С этими словами Михаил Тариелович разбудил жену, когда гости разъехались.

— Я ждала этого со дня учреждения комиссии. А 1 марта вообще все стало ясно. Ты уж прости, Мико, но насчет нынешнего императора у меня давно нет иллюзий. Вы с ним и не могли сработаться. И жалко только тебя, твоих усилий, твоего ума — бисера перед свиньями.

Эта пронизательная женщина все знала, все понимала, все видела заранее. Явившись из далекого и, по мнению светских снобов, азиатского Тифлиса сразу в высший свет, она всех поразила именно умом своим. В пору наивысшего всецелия, безграничной власти мужа она говорила старшим дочерям, внезапно пожалованным во фрейлины ее величества двора, много выезжавшим в свет и потому невольно зазнавшимся:

— Полноте важничать, давно ли на простых извозчиках ездили. Пожалуй, скоро опять смените собственный выезд на простые извозчицьи дрожки.

А людям, нуждавшимся в графе и подъезжавшим к ней с комплиментами в адрес дочерей, отвечала:

— Прежде они были некрасивы, а с прошедшей зимы очень похорошели.

Валуев, которого страшная весть об убийстве царя застала в доме графа Лорис-Меликова, когда он советовался с «ближним боярином» о назначенном на 4 число заседании Совета министров по поводу тех самых конституционных предложений, очень в те дни недоброжелательный к министру внутренних дел, записывая события того дня, отметил в дневнике: «Не могу забыть лица графини Лорис-Меликовой, когда ее муж уезжал во дворец. Она стояла на лестнице, как статуя, как жена Лотова, без краски, без движения, без голоса, даже без подвижности в устах и взгляде. Она чувствовала и сознавала, — смутно, — но более, чем он».



Сейчас же Нина Ивановна сказала, завершая ночной разговор:

— И слава Богу, что все кончилось. Прими снотворного и попытайся заснуть, мой милый. Утро вечера мудренее.

Никакое снотворное, конечно, не помогло. Бессонница терзала до самого утра, преувеличивая беды. Нет ничего мерзее, унизительнее для умного человека, чем внезапно обнаружить себя в смешном положении. Михаил Тариелович много промахов совершил в своей жизни, творил и глупости, а кто их не творил? Но вот последняя, в общем-то незначительная, допущенная по безоглядной доверчивости, — куда ей до детской шалости с клеем в Лазаревском институте, перевернувшей судьбу! — жжет позором. Преждевременно торжествуя победу, мы доставили самую тонкую, изощренную радость врагам своим. И ему мерещился смешок Победоносцева, Каткова и всей этой оголтелой компании, и зубы скрипели в бессильной ярости. Окна были распахнуты, ночной балтийский ветер задувал в спальню, а ему было душно, не хватало воздуха...

Когда забывался в полусне, видел всякую нечисть с узнаваемыми ужимками то Константина Петровича, то Михаила Никифоровича, и примешивался сюда фанатик Желябов со своей бессердечной подругой Перовской — надо же, убили мальчика и даже гордились этим, революция без жертв не бывает... Глупый Черевин, жирный Дрентельн... Сколько ж недоброжелателей накопилось всего-то за год! Потом снился ему европейский старинный замок, построенный из песка и на глазах обращающийся в руины. Потом, слава Богу, наступила тьма, хотя сквозь гардины давно пробилось утреннее солнце.

Встал поздно и едва не опоздал на парад на Марсовом поле по случаю приезда императора в Петербург из гатчинского затворничества. Царь приехал не прямой дорожкой, а кружным путем через Тосну и прибыл с Николаевского вокзала. Так его напугал Баранов страстями о чуть ли не ежедневно разоблачаемых заговорах. Парад, разумеется, прошел благополучно, никто и не думал покушаться на особу государя.

Александр был весьма любезен с министрами и на параде, и на завтраке у принца Ольденбургского, но видеть его большого удовольствия не доставило, и в Лорис-Меликове окрепло решение не ехать завтра в Гатчину, а отправить письмо об отставке с фельдгером сегодня же вечером. Он участвовал в сегодняшних церемониях последний раз и глядел на все как бы со стороны, чувствуя себя даже более чужим всему происходя-

щему, чем персидский посол Гусейн-хан. Тому хоть все было любопытно.

В 3 часа император, посетив усыпальницу отца в Петропавловском соборе, отбыл тем же кружным путем в Гатчину, Лорис-Меликов — на Фонтанку. Письмо его, обдуманное за бессонную ночь и хлопотный день, легло на бумагу сразу, без черновиков:

«29 апреля 1881 г.

С.-Петербург.

Ваше Императорское Величество.

Давно уже расстроенное здоровье мое, в последнее время, вследствие чрезмерных трудов, стало ухудшаться все более и более.

В 1876 году, находясь на излечении за границей, я, ввиду осложнившихся политических отношений и ожидания возможности военных действий, призван был, по личному выбору в Бозе почившего Государя Императора, для сосредоточения на кавказской границе корпуса, действовавшего впоследствии в Азиатской Турции, и с той поры до настоящего времени не прерывал усиленной деятельности в званиях: сперва командующего означенным корпусом, затем, последовательно: временного Астраханского генерал-губернатора для принятия мер против эпидемии на низовьях Волги, вызвавшей повсеместную тревогу; Харьковского генерал-губернатора, главного начальника Верховной распорядительной комиссии и, наконец, министра внутренних дел.

Исполнение всех этих обязанностей, требовавших чрезвычайного напряжения сил, довело ныне здоровье мое до такого состояния, при котором продолжение занятий является невозможным.

Обстоятельства эти вынуждают меня повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества всеподданнейшую просьбу мою об увольнении от занимаемой ныне мною должности.

Настоящую просьбу я желал представить лично Вашему Величеству, но по нездоровью лишен, к прискорбию, возможности явиться в Гатчину.

С чувством глубочайшего благоволения и безграничной преданности

имею счастье быть Вашего Императорского Величества верноподданным слуга

Граф Михаил Лорис-Меликов».

С ответом император не замедлил. Уже в полдень Михаил Тариелович вскрыл конверт с царским вензелем.

«1881 г. 30 апреля  
Гатчина.

Любезный граф Михаил Тариелович, получил Ваше письмо сегодня рано утром. Признаюсь, я ожидал его, и оно меня не удивило. К сожалению, в последнее время мы разошлись совершенно с Вами во взглядах, и, конечно, это долго продолжаться не могло. Меня одно очень удивляет и поразило, что Ваше прошение совпало со днем объявления моего манифеста России, и это обстоятельство наводит меня на весьма грустные и странные мысли?!

Так как Ваше здоровье действительно сильно расстроилось за последнее время, то понимаю вполне, что оставаться Вам трудно на этом тяжелом посту. И так (орфография императора), любезный граф Михаил Тариелович, мне остается одно: поблагодарить Вас от души за то короткое время, которое мы провели вместе, и за все ваши труды и заботы.

Искренно Вам благодарный

*Александр».*

В тот же день прошение об отставке подал и министр финансов. Александр не считал нужным отвечать ему отдельным письмом, а возвратил прошение с грубой по форме резолюцией, в которой не скрыл своего раздражения демонстративным уходом лучших министров предшествующего царствования. В архиве Лорис-Меликова хранится двойной лист, видимо, начала письма Абазы с характерной для непривычной руки ошибкой в титуловании: «Ваше Императорское Высочество...» На обороте почерком Лорис-Меликова выписана царская тирада:

*«Весьма сожалею о Вашем решении. Действительно, без единства между министрами никакое дело идти не может.*

*Грустно только, что поводом Вашей просьбы послужил мой манифест, в котором я заявляю России о твердом моем намерении охранять в неприкосновенности Самодержавную власть. Сожалею, что ни Вы, ни Гр. Лорис-Меликов не нашли более приличного повода».*

5 мая в отставку подал военный министр граф Милютин. Эпоха реформ в России закончилась.

Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов прожил еще семь с половиной лет и умер в Ницце 12 декабря 1888 года, не достигнув трех недель до 63 лет. Чем были заполнены эти годы?

Страданиями. И отнюдь не физическими. Он с ужасом наблюдал, как Россия катится к катастрофе, и есть, было в его программе средство предотвратить, но то-то и оно, что никому его трезвый разум, понимание сути вещей и ясное предвидение не нужны. Россия опять пойдет «своим путем» по головам ее подданных, и он ясно видит перспективу гибельной дороги. Сначала, говорил он своему собеседнику, мы ввяжемся в какую-нибудь дурацкую войну и проиграем ее, а потом будет революция, война перекинется внутрь. Собеседник этот вспомнит предсказания Лорис-Меликова в 20-е годы, выброшенный бурями великой смуты на берега тихой Влтавы. И поразится еще проницательностью графа насчет Японии, уготовавшей нам 1905 год.

В записной книжке Лорис-Меликова замечательна одна фраза: «По мнению Данте, нет тяжелее горя, как в несчастии вспоминать о прошлом счастье». Вот в этом тяжелом горе он и прожил оставшуюся жизнь. Он, конечно, хотел вернуться в Россию еще осенью 1881 года, но власти, прослышав об этом, вдруг страшно озаботились его здоровьем. Граф Игнатьев, первый преемник Лориса на посту министра внутренних дел, написал ему несколько трогательных дружеских писем, но в последнем из них содержалась угроза крупных неприятностей: дескать, с вашим приездом связываются надежды некой конституционной партии. Так что не сочтете ли благоразумным посвятить зиму своему самочувствию... И возвращение в Санкт-Петербург пришлось отложить еще на год.

Печальным было то возвращение. Император при обязательном для генерал-адъютанта представлении встретил отставного министра чрезвычайно любезно, но о деле — ни слова. Атмосфера переменилась. Его привычные союзники обжились в новых условиях и давали понять недавнему своему кумиру, что напрасно он нарушает установившийся покой. Егор Абрамovich Перетц с явной неловкостью встретил предложение Лориса участвовать в работе Департамента законов Государственного совета: иные времена, иные и законы... Высший свет вдруг обнаружил, что Лорис-Меликов, оказывается, не воздержан на язык и его шутки в адрес императора и высших

должностных лиц несколько неуместны. Почему-то выяснилось, что генерал Ванновский, хвастающийся тем, что без высшего образования стал военным министром, устраивал всех больше, чем профессор Милютин. И столь когда-то всеми ненавидимый граф Толстой обнаружил в кресле министра внутренних дел приятные черты... Половцов характеризует Лориса в эти дни как человека, «к удивлению не понимающего отпетого своего положения... который острит и шутит хотя и умно, но как подобает отставному властителю, ошибочно думающему, что когда-нибудь еще попадет во власть».

В конце концов он и сам увидел нелепость своего положения и сразу после торжества коронации Александра III отправился на Кавказ навестить маму, проверить состояние дел в имении на Кубани. В Тифлисе положение его было еще двусмысленнее. Там его по-прежнему воспринимали всесильным министром и одолели просьбами, выполнить которые он был не в состоянии. Одно только дело удалось ему — во Владикавказе Лорис-Меликов за свой счет учредил ремесленное училище для детей из недостаточных семей. Весной 1883 года Лорис-Меликов покинул Россию навсегда.

Уйдя в отставку, Лорис-Меликов намеревался писать мемуары, но, начитавшись воспоминаний своих современников о том, что видел собственными глазами, понял, что и его перо не будет свободно от пристрастий, и оставил это занятие. Лишь в 1886 году, когда в Петербурге на торжествах по случаю открытия памятника герою русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов великий князь Михаил Николаевич даже имени командующего Кавказским корпусом не упомянул, разобиженный герой Карса написал длинное письмо своему другу по добровольному изгнанию доктору Николаю Андреевичу Белоголовому с изложением основных событий тех лет. И в записной книжке посвятил этому немало строк.

Впрочем, еще в начале своего затворничества, осенью 1881 года, когда в печати, главным образом реакционной, на его голову полились помои, он попытался в письме своему верному другу последних лет А. А. Скальковскому подвести краткий итог своей государственной деятельности.

«В письме Вы сообщаете также, что в среде враждебных мне людей и праздных болтунов нередко слышатся толки: «Что же Михаил Тариелович сделал?..»

1) Прежде всего и главное всего укажу на то, что с февраля 1880 г. — времени вступления моего в должность главного на-

чальника, началась, если можно так выразиться, новая эра для земского и городского самоуправления. Учреждения эти, как многое кое-что другое, вздохнули свободнее, и прекратились то неумолимое преследование и презрение, которым они подвергались в течение многих лет. Начало это неотъемлемо принадлежит мне, и никто отнять его у меня не может...

В исходе 1880 г. я представляю уже Государю Императору записку, Вам известную, о пользе и неизбежности привлечения общества, чрез своих выборных, к участию в разработке законопроектов, касающихся местных нужд и хозяйства. Записка удостоивается одобрения (за исключением привлечения к окончанию работ Комиссии от 1015 лиц из числа выборных в Государственный Совет) и передается на рассмотрение особого совещания, которое выражает также свое полное согласие. Наконец, на журнале этого совещания 1 марта положена собственная резолюция Государя Императора «исполнить»...

Таковы ли были доклады моих предшественников, не они ли старались убедить Государя, что всякий судебный чин, профессор, учитель или служащий в общественных учреждениях есть несомненный нигилист или поощритель его? Разве не так было? Ликующие друзья мои болтают песни, что у меня не было никакой программы. Программа здесь вся налицо, и я ни на шаг не отступал от нее, несмотря на все трудности и каверзы, которые испытывал на каждом шагу.

Какую же нужно иную программу?

Продолжаю далее.

2) После двухмесячных трудов и усилий удалось, наконец, достигнуть смены графа Толстого, этого злого гения русской земли. Радость была общая в государстве... Личность эта, стоявшая в продолжение целых 15 лет во главе одной из важнейших отраслей государственного управления, сотворила более зла России, чем все остальные деятели, даже вместе взятые.

Если случайно занесенный к нам нигилизм принял столь омерзительные формы, то в заслуге этой пальма первенства бесспорно принадлежит графу Толстому. Жестокими, надменными и крайне неумелыми приемами он сумел вооружить против себя и учащих, и учащихся, и самое семейство. Отвернулось, таким образом, все общество, за весьма редкими исключениями, от государева министра, и это чувство недовольства оно стало переносить от министра к правительству...

3) В начале 1880 г. прекратился антагонизм, существовавший между администрацией и судебным ведомством...

4) Отмена налога на соль, разрешение постройки Баскунчакской солеварной и Криворожской ж. д., да притом правительственным способом, последовали по моим стараниям.

5) В начале 1880 г. прекратилась повсеместная, за исключением злосчастного Кавказа, огульная раздача казенных земель. Думать надо, что это не было явлением случайным.

6) Испрошенная ревизия четырьмя сенаторами нескольких губерний и преподанная им особая инструкция служила ясным выражением, что правительство намерено отныне фактически контролировать и согласовать действия местных учреждений и лиц. Инструкция требовала от сенаторов обильных материалов для обсуждения и рассмотрения таковых в приготовительной и общей комиссиях совместно с самими сенаторами.

7) Некоторая свобода, предоставленная с прошлого года нашей прессе, послужила поводом к наиболее ожесточенным на меня нападкам со стороны претендентной нашей аристократии, разных фрейлин вкупе с Победоносцевым и К<sup>о</sup>. Наветам и сплетням, доходившим неоднократно до Государя, не было конца...

8) Не стану входить в подробности последовавшего упразднения III Отделения, стоявшего более полувека вне закона и выше закона... Много наделало оно бед за время своего существования, и тысячи оскорбленных людей привлекло оно в лагерь недовольных.

Вы знакомы, впрочем, и с организацией этого учреждения, хотя и созданного с плохой целью, и с деяниями его.

Катастрофа 1 марта оперила, однако, тех немногих и единичных особ, которые вменяют мне в ошибку упразднение III Отделения и усматривают в существовании его спасение отечества...

Время — великий учитель, и кто прав — укажет будущее. Но как бы то ни было, свершившееся несчастье 1 марта и последующие затем эпизоды до 28 апреля положили окончательный рубеж дальнейшему служению моему отечеству. Видно, Богу не угодно было помочь мне...

## КОММЕНТАРИИ

**Холмогорова Елена Сергеевна** родилась в Москве 26 августа 1952 года. Прозаик, эссеист. По образованию историк. Выпустила две книги — «Улица Чехова, 12» (серия «Биография московского дома») о герое Отечественной войны 1812 года декабристе генерале М. Ф. Орлове и «Великодушный русский воин», которая посвящена также герою Двенадцатого года генералу Н. Н. Раевскому.

**Холмогоров Михаил Константинович** родился 7 апреля 1942 года в Москве. Прозаик. Окончил факультет литературы и русского языка МГПИ им. В.И. Ленина. Автор книг «Ждите гостей» (М., 1985), «Напрасный дар» (М., 1989), «Авелева печать» (М., 1995). В последние годы опубликовал в журналах несколько рассказов и эссе о литературе.

Роман «Вице-император» печатается впервые.

Стр. 13. *Лазаревский институт восточных языков* (ЛИВЯ) — основан в 1815 г. и содержался на средства армянских предпринимателей и меценатов Лазаревых, принадлежавших к дворянскому роду.

Стр. 19. *Бенкендорф Александр Христофорович* (1781 или 1783) — 1844) — государственный деятель, генерал от кавалерии (1829), генерал-адъютант (1819), сенатор (1826), член Государственного совета (1829), граф (1832), почетный член Петербургской академии наук (1827). С 1826 г. шеф Корпуса жандармов и главный начальник III Отделения.

Стр. 20. Потомственные дворяне каждой губернии по владению недвижимостью вносились в родословную книгу, которая велась дво-

рянским депутатским собранием и хранилась в архиве дворянского собрания. Книга делилась на шесть частей, согласно способу получения дворянства, древности рода и наличию титула. В шестую ее часть вносились древние благородные роды, которые могли доказать свою принадлежность к дворянскому сословию в течение ста лет до момента издания Жалованной грамоты, т. е. до 1785 г.

Стр. 24. *Семенов-Тянь-Шанский* (до 1906 Семенов) Петр Петрович (1827 — 1914) — русский ученый и путешественник.

*Плещеев* Алексей Николаевич (1825 — 1893) — русский поэт. За участие в кружке революционера М. В. Петрашевского в 1849 г. был приговорен к каторжным работам, замененным ссылкой до 1858 г. Романтические стихи Плещеева посвящены гражданским темам. Его стихотворение «Вперед, без страха и сомненья!» стало революционной песней.

Стр. 26. *Стихи некоего Майошки*. — «Майошка» — школьное прозвище М. Ю. Лермонтова.

*Бярятинский* Александр Иванович (1815 — 1879) — князь, военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1859), генерал-адъютант (1853), почетный член Московского университета (1868).

Стр. 30. *Кони* Федор Алексеевич (1809 — 1879) — журналист, драматург. Историк театра. Отец выдающегося русского адвоката А. Ф. Кони.

Стр. 34. *Панаев* Иван Иванович (1812 — 1862) — писатель и журналист, автор «Литературных воспоминаний», один из редакторов «Современника».

*Краевский* Андрей Александрович (1810 — 1889) — издатель и журналист. Редактор нескольких газет и журналов, в том числе с 1839 г. «Отечественных записок».

Стр. 38. *Одоевский* Владимир Федорович (1804 — 1869) — писатель и музыкальный деятель.

Стр. 42. *Вырин* — герой повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель».

Стр. 48. *Абаза* Александр Аггеевич (1821 — 1895) — государственный деятель, предприниматель. Гофмейстер императорского двора (1871), действительный тайный советник (1874), почетный член Петербургской академии наук (1876).

Стр. 49. *Константин Павлович, отказавшийся от престола из пренебрежения к династическому браку...* — Константин Павлович (1779 — 1831), великий князь, цесаревич, в 1820 г. развелся со своей супругой, великой княгиней Александрой Федоровной, и женился на графине Жаннетте Грудзинской, отказавшись ради нее от права наследования престола.

Стр. 53. *Картуш* (фр.) — лепное или графическое украшение в виде не до конца развернутого свитка или щита, обрамленного завитками, на котором помещаются надписи, эмблемы, гербы и т. д.

Стр. 55. *Кронеберг* Андрей Иванович (1815 — 1885) — переводчик и критик. Автор работ о Шекспире и русских переводах его произведений. Ему принадлежат переводы пьес Шекспира «Ричард II»,

«Двенадцатая ночь, или Что угодно», «Много шума из ничего», «Гамлет», «Макбет».

*Рикардо* Давид (1772 — 1823) — английский экономист.

Стр. 56. *Клейнмихель* Петр Андреевич (1793 — 1869) — государственный деятель, граф, генерал от инфантерии (1841). С февраля 1842 г. был заведующим канцелярией Комитета по строительству железной дороги Петербург — Москва. С августа 1842 г. — главным-управляющий путей сообщения и публичных зданий. Имя Клейнмихеля упомянуто в эпиграфе к стихотворению Н. А. Некрасова «Железная дорога» (В а н я: Папаша! Кто строил эту дорогу? — П а п а ш а: Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!).

Стр. 63. *Был тяжело ранен при Валерике...* — Валерик, Валарик — речка в Чечне, приток Сунжи. 11 июля 1840 г. там произошло кровопролитное сражение с войсками Шамиля отряда генерала Галафеева. В бою участвовал и отличился М. Ю. Лермонтов, который описал эти события в стихотворении («Валерик»).

Стр. 69. *Ермолов* Алексей Петрович (1772 — 1861) — военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1818), генерал от артиллерии (1837). С июня 1816 г. был командующим Отдельным Кавказским корпусом, управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях и чрезвычайным послом в Персии. В ходе Кавказской войны Ермолов разработал систему постепенного продвижения в глубь горных районов и освоения кавказских земель. Чтобы расчленил и блокировать отряды горцев, он широко применял вырубку лесов и тактику уничтожения непокорных аулов. С восшествием на престол Николая I рядом своих действий Ермолов вызвал его недовольство и в марте 1827 г. подал в отставку. Впоследствии был членом Государственного совета, а во время Крымской войны был избран начальником государственного ополчения в нескольких губерниях. В мае 1855 г. из-за разногласий с Петербургом покинул этот пост.

Стр. 86. *Клитемнестра* — в греческой мифологии жена Агамемнона, предводителя греческого войска во время Троянской войны. Когда Агамемнон возвратился из-под Трои, Клитемнестра и ее возлюбленный Эгисф убили его. Сама Клитемнестра была убита сыном Орестом, отомстившим за отца.

Стр. 93. *Даль* Владимир Иванович (1801 — 1872) — русский писатель и этнограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».

*Гильфердинг* Александр Федорович (1831 — 1872) — историк-славист, фольклорист, публицист, член-корреспондент Петербургской академии наук.

Стр. 111. *Венгерский поход*. — В 1849 г. Николай I оказал военную помощь Австрии в борьбе с революционной Венгрией, которая в 1848 г. восстала против австрийского владычества. Русской армией командовал И. Ф. Паскевич.

Стр. 117. *Паскевич* Иван Федорович (1782 — 1836) — русский военный деятель, генерал-фельдмаршал. С 1827 г. — управляющий Кавказским краем. В войнах России с Ираном (1826 — 1828) и с Турцией

(1828 — 1829) русские войска под командованием Паскевича заняли Таврию, крепости Карс, Эрзерум и др. В результате от Ирана отошли к России армянские провинции Эривань и Нахичевань. В 1831 г. Паскевич подавлял восстание в Польше. В Крымскую войну 1853 — 1856 гг. Паскевич был Главнокомандующим русской армией на Дунае (в марте — мае 1854 г.).

Стр. 126. *Сарачинское пшено* — рис.

Стр. 136. *Святополк-Мирский* Дмитрий Иванович (1825 — 1899) — князь, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С 1876 г. помощник наместника Кавказа. Участник русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. В 1882 г. занимал должность командующего Харьковским военным округом и был временным Харьковским генерал-губернатором. Член Государственного совета.

Стр. 143. *Дантон* Жорж Жак (1759 — 1794) — деятель французской буржуазной революции XVIII в. Возглавлял группировку, которая с начала 1794 г. стала выступать с критикой якобинского правительства. 30 марта 1794 г. Дантон и его ближайшие сподвижники были арестованы, преданы суду революционного трибунала и казнены. *Сен-Жюст* Луи Антуан (1767 — 1794), *Робеспьер* Максимилиен Изидор (1758 — 1794) — руководители якобинского революционного правительства.

Стр. 152. *Милютин* Дмитрий Алексеевич (1816 — 1912) — граф, генерал-фельдмаршал, почетный член Петербургской академии наук, профессор Военной академии. В 1861 — 1881 гг. — военный министр. Огромную ценность представляет наследие Милютина, в том числе «Дневник» и «Воспоминания».

Стр. 160. *После выстрела Каракозова...* — Каракозов Дмитрий Владимирович (1840 — 1866) — участник революционного движения. 4 апреля 1866 г. стрелял в императора Александра II при выходе его из Летнего сада в Петербурге, но промахнулся. Схватенный на месте покушения, Каракозов был арестован, и 31 августа 1866 г. Верховный уголовный суд приговорил его к смертной казни. Он был повешен в Петербурге на Смоленском поле.

Стр. 161. *Кошелев* Александр Иванович (1806 — 1883) — публицист, журналист, мемуарист, общественный деятель.

Стр. 162. *Погодин* Михаил Петрович (1800 — 1875) — русский историк, публицист и писатель. В 1835 — 1844 гг. заведовал кафедрой русской истории в Московском университете. В 1827 — 1830 гг. издавал журнал «Московский вестник», в 1841 — 1856 гг. — «Москвитянин».

Стр. 166. *Щит Олега.* — Киевский князь Олег в 907 г. совершил успешный поход на Византию. Существует легенда о том, что воины Олега в знак своей победы повесили щиты на воротах Царьграда (Константинополя).

Стр. 251. *Берлинский конгресс* — был созван в 1878 г. под давлением Англии и Австро-Венгрии для пересмотра Сан-Стефанского мирного договора, заключенного 19 февраля (3 марта) между Россией и Турцией по окончании русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. Подписанный

13 июля 1878 г. Берлинский трактат изменил условия договора в ущерб интересам России и народов Балканского полуострова.

Стр. 253. *Намеками на Седанскую доблесть...* — Седан — город на северо-востоке Франции, близ границы с Бельгией. Во время франко-прусской войны 1870 — 1871 гг. в районе Седана 1 сентября 1870 г. немецкие войска окружили французскую Шалонскую армию и заставили французов прескратить сопротивление. Французская армия вместе с Наполеоном III, подписавшим капитуляцию, сдалась в плен.

Стр. 282. *Черкасский* Владимир Александрович (1824 — 1878) — князь, помещик, общественный деятель, принимавший участие в крестьянской реформе. Во время войны 1877 — 1878 гг. уполномоченный Красного Креста при действующей армии и заведующий гражданской частью на территориях, занятых русскими войсками.

По Сан-Стефанскому мирному договору Болгария превращалась в самостоятельное автономное княжество.

Стр. 288. *Босх* ван Акен, *Бос* ван Акен, *Иероним* (1450 — 1516) — нидерландский живописец. В его религиозных и жанровых композициях изощренная средневековая фантастика, трагическая окраска образов своеобразно сочетались с фольклорными сатирическими и нравоучительными тенденциями, смелой реалистической трактовкой народных типов и пейзажей.

Стр. 291. *После выстрела Веры Засулич и суда, ее оправдавшего...* — Засулич Вера Ивановна (1849 — 1919) — участница революционного движения, литературный критик, публицист. За свою революционную деятельность неоднократно арестовывалась. Была членом народнического кружка «Южных бунтарей», после разгрома кружка работала в подпольной типографии общества «Земля и воля». В январе 1878 г. по собственной инициативе совершила покушение на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, по приказу которого был наказан розгами заключенный земледелец Боголюбов. В марте 1878 г. Засулич была оправдана судом присяжных под председательством А. Ф. Кони, что вызвало широчайший резонанс в различных слоях русского общества.

Стр. 297. *Валуев* Петр Александрович (1815 — 1890) — граф, член Государственного совета, с 1861 по 1868 г. министр внутренних дел, с 1872 по 1879 г. министр государственных имуществ, с 1879 по 1881 г. председатель Комитета министров.

Стр. 303. *Набоков* Дмитрий Николаевич (1826 — 1904) — статс-секретарь, с 1867 по 1876 г. управляющий собственной его императорского величества Канцелярией по делам Царства Польского, с 1878 по 1885 г. министр юстиции. Дед писателя Владимира Набокова.

Стр. 312. *Толстой* Дмитрий Андреевич (1823 — 1889) — граф, с 1866 по 1880 г. обер-прокурор Синода и министр народного просвещения, с 1882 по 1889 г. министр внутренних дел.

Стр. 329. *Перетц* Егор Абрамович (1833 — 1899) — барон, статс-секретарь, государственный секретарь, с 1878 по 1883 г. член Государственного совета.

Урусов Сергей Николаевич (1816 — 1883) — статс-секретарь, член Государственного совета, главноуправляющий II Отделением собственной его императорского величества Канцелярии.

Стр. 336. *Халтурин* Степан Николаевич (1856 — 1882) — революционер, организатор «Северного союза русских рабочих».

Стр. 337. *Адлерберг* Александр Владимирович (1818 — 1888) — граф, генерал-адъютант, с 1872 по 1881 г. министр императорского двора и уделов.

Стр. 345. *Елисеев* Григорий Захарович (1821 — 1891) — публицист, журналист. С 1868 г. руководил публицистическим отделом «Отечественных записок».

Стр. 346. *Перовская* Софья Львовна (1853 — 1881) — революционерка, народница. Активно участвовала в подготовке и руководила покушением на Александра II 1 марта 1881 г. Была арестована и казнена вместе с А. И. Желябовым, Т. М. Михайловым, Н. И. Кибальчичем, Н. И. Рысаковым.

*Михайловский* Николай Константинович (1842 — 1904) — социолог и публицист, идеолог либерального народничества. В 70-х гг. был близок к народолюбцам, помогал революционному подполью.

*Млодецкий* Ипполит Осипович (1855 — 1880) — член организации «Народная воля».

*Тихомиров* Лев Александрович (1852 — 1923) — общественный деятель, публицист. Член исполнительного комитета и редакции газеты «Народная воля», в 1883 — 1886 гг. — соредaktor журнала «Вестник «Народной воли». В 1888 г. отрекся от революционных убеждений в пользу монархии.

Стр. 347. *Желябов* Андрей Иванович (1851 — 1881) — революционер. Один из главных организаторов убийства Александра II. Накануне покушения был арестован. Желая достойно представлять партию на суде, он подал заявление с требованием приобщить его к делу 1 марта. Был приговорен к смертной казни и повешен вместе с другими первоапрельцами.

Стр. 353. *Прочитав некролог о страшной гибели этого человека...* — Писатель Всеволод Михайлович Гаршин (1855 — 1888) страдал маниакально-депрессивным психозом. В марте 1888 г. болезнь обострилась, и в момент помутнения сознания он бросился в пролет лестницы.

Стр. 355. *Баранов* Николай Михайлович (1837 — 1901) — капитан I-го ранга, позднее генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. В 1881 г. был ковенским генерал-губернатором, затем петербургским градоначальником. С 1882 г. — нижегородский губернатор.

Стр. 357. *Победоносцев* Константин Петрович (1827 — 1907) — сенатор, член Государственного совета, с 1880 по 1906 г. обер-прокурор Синода.

Стр. 358. *Катков* Михаил Никифорович (1818 — 1887) — реакционный публицист, редактор газеты «Московские ведомости».

Стр. 361. *Эгерия* — в римской мифологии нимфа-пророчица, супруга легендарного римского царя Нумы Помпилия.

Стр. 368. *Баранов* Эдуард Трофимович (1811 — 1884) — граф, генерал-адъютант, член Государственного совета.

Стр. 378. *Столыпин* Петр Аркадьевич (1862 — 1911) — государственный деятель. С 1902 г. губернатор Гродненской губернии, с июля — одновременно председатель Совета министров. Был убит в Киеве агентом охраны эсером Д. Богровым.

Стр. 386. *Азеф* Евно Фишелевич (1869 — 1918) — участник революционного движения, агент Департамента полиции.

*Малиновский* Роман Вацлавович — с 1910 г. тайный агент царской охраны в социал-демократическом движении. В 1912 г. член ЦК РСДРП, депутат IV Государственной Думы. С 1913 г. — председатель думской фракции большевиков. В 1914 г. скрылся за границу, был исключен из партии по обвинению в дезертирстве. Связь Малиновского с охранкой раскрылась в 1917 г. В 1918 г. Малиновский вернулся в РСФСР, был осужден и расстрелян.

Стр. 393. *Воронцов-Дашков* Илларион Иванович (1837 — 1916) — граф, государственный деятель, крупный землевладелец. Участник Кавказской войны, военных действий в Туркестане в 1865 г. С 1867 г. командир лейб-гвардии гусарского полка, с 1881 по 1897 г. министр двора и главноуправляющий государственным коннозаводством. Член Государственного совета. После убийства Александра II был начальником царской охраны и одним из организаторов тайного общества по борьбе с революционным движением — «священной дружины». С 1905 по 1915 г. наместник и командующий войсками Кавказского военного округа.

*Островский* Михаил Николаевич (1837 — 1901) — член Государственного совета, министр государственных имуществ с 1881 по 1893 г. Брат драматурга А. Н. Островского.

Стр. 400. *Николаи* Александр Павлович (1831 — 1899) — барон, статс-секретарь, член Государственного совета, министр народного просвещения с 1881 по 1882 г.

*Строганов* Сергей Григорьевич (1794 — 1882) — граф, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета.

Стр. 426. *Бильбасов* Василий Алексеевич (1838 — 1904) — историк, журналист. Наиболее значительный его труд — «История Екатерины II», из задуманных 12 томов которой были опубликованы I, II и XII.

Стр. 441. *Лотова жена*. — В ветхозаветном предании рассказывается о Лоте, жившем в Содоме, жители которого, как и другого города — Гоморры, были за несправедность обречены на истребление. Ангелы вывели Лота с женой и дочерьми из обреченного города, но запретили им оглядываться. Когда Бог начал проливать на Содом и Гоморру дождем серу и огонь, жена Лота нарушила запрет, оглянулась и превратилась в соляной столб.



## ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

### 1825 год

*1 января* — Михаил Тариелович Лорис-Меликов родился в Тифлисе.

*19 ноября* — смерть императора Александра I.

*14 декабря* — восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. На российский престол вступил Николай I.

### 1826 год

*13 июля* — казнь декабристов.

Указ об образовании в составе «Собственной его величества канцелярии»

III Отделения. Шефом корпуса жандармов и командующим императорской главной квартирой назначен А. Х. Бенкендорф.

Издание цензурного устава.

### 1828 — 1829 годы

Русско-турецкая война.

### 1830 — 1831 годы

Польское освободительное восстание.

Эпидемия холеры в России.

### 1843 год

М. Т. Лорис-Меликов закончил школу гвардейских подпрапорщиков и гвардейских юнкеров в Петербурге и начал службу в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку.

### 1845 год

Даргинская экспедиция под командованием М. С. Воронцова.

### 1847 год

*Июль* — в чине поручика Лорис-Меликов переведен на Кавказ и служит под началом Главнокомандующего Кавказским корпусом князя М. С. Воронцова.

*Осень* — Лорис-Меликов участвует в военных действиях в Малой Чечне.

### 1848 год

Лорис-Меликов состоит в отряде князя Аргутинского-Долгорукова. Взятие аула Гергебиль. Лорис-Меликов произведен в штабс-ротмистры.

### 1849 год

Русские войска направляются в Трансильванию для поддержки Австрии в борьбе с восставшей Венгрией.

Лорис-Меликов состоит в особом отряде, которым штурмует и занимает аул Чох, оборонявшийся войском Шамиля.

### 1851 год

За отличие в военных действиях в Большой Чечне и в боях против Мегмет-Аминя Лорис-Меликов произведен в ротмистры.

### 1853 — 1856 годы

Крымская война.

### 1854 — 1855 годы

Оборона Севастополя.

### 1855 год

*18 февраля* — смерть Николая I. На престол вступил Александр II.

Н. Н. Муравьев назначен Главнокомандующим Кавказской армией и наместником на Кавказе.

*16 ноября* — падение крепости Карс.

Женитьба Лорис-Меликова на Нине Ивановне Аргутинской-Долгоруковой.

Лорис-Меликов назначен комендантом Карса.

### 1856 год

*Март* — заключение Парижского мирного договора — окончание Крымской войны.

Лорис-Меликов произведен в генерал-майоры.

### 1858 год

Лорис-Меликов назначен начальником войск в Абхазии и инспектором линейных батальонов Кутаисского генерал-губернаторства.

### 1859 год

Лорис-Меликов командирован в Турцию для переговоров о переселении горцев.

### 1863 год

*Март* — Лорис-Меликов назначен начальником Терской области и командующим войсками в этой области.

*Апрель* — Лорис-Меликов произведен в генерал-лейтенанты.

### 1863 — 1864 годы

Польское освободительное восстание.

**1864 — 1868 годы**

Война с Кокандским и Бухарским ханствами.

**1865 год**

*Август* — Лорис-Меликов — генерал-адъютант.

**1866 год**

*4 апреля* — покушение Д. В. Каракозова на Александра II.

**1873 год**

Создание «Союза трех императоров» — России, Германии и Австро-Венгрии.

**1875 год**

Лорис-Меликов произведен в генералы от кавалерии.  
Лорис-Меликов уезжает на лечение за границу.

**1877 год**

Начало русско-турецкой войны.

Лорис-Меликов назначается начальником Особого корпуса для военных действий в Малой Азии.

*Май* — русские войска овладели Ардаганом.

*Октябрь* — сражения при Авлиаре и Деве-Бойну.

*Ноябрь* — взятие Карса.

**1878 год**

*19 февраля* — Сан-Стефанский мирный договор.

Лорис-Меликов возведен в графское достоинство.

*Июнь — июль* — Берлинский конгресс, пересмотревший условия Сан-Стефанского договора.

**1879 год**

Лорис-Меликов назначен временным Астраханским, Саратовским и Самарским губернатором для борьбы с эпидемией чумы.

*2 апреля* — покушение А. Соловьева на Александра II.

Лорис-Меликов назначен временным генерал-губернатором в Харьков.

**1880 год**

*Февраль* — взрыв в Зимнем дворце, подготовленный и осуществленный С. Халтуриним.

Лорис-Меликов назначен членом Государственного совета.

Создание Верховной распорядительной комиссии во главе с Лорис-Меликовым.

*20 февраля* — И. О. Млодецкий совершает покушение на Лорис-Меликова.

*Август* — прекращается деятельность Верховной распорядительной комиссии.

Лорис-Меликов назначен министром внутренних дел.

**1881 год**

Александр II утверждает «Положение о крестьянах».

*1 марта* — убийство Александра II.

Начало царствования Александра III.

*Май* — Лорис-Меликов оставляет пост министра внутренних дел и уезжает за границу.

**1888 год**

*12 декабря* — Лорис-Меликов умер в Ницце.